95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2004

РОМАН МЕЙРА ШАЛЕВА "В ДОМЕ СВОЕМ В ПУСТЫНЕ" / СТИХИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА / РОМАН ТОМАСА ВУЛФА "О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ" В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / "РИВЕРСАЙД-ДРАЙВ" ВУДИ АЛЛЕНА / РОМАН ЯНЫ СИМОН "ВЕДЬ МЫ – ДРУГИЕ. ИСТОРИЯ ФЕЛИКСА С." / "САМУРАИ НА ЭКРАНЕ" АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

Редакция журнала
поздравляет нашего постоянного автора

ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА,

получившего Государственную премию
Российской Федерации 2003 года за
переводы английской и американской
поэзии.

[7]

2004

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Вуди Аллен. *Риверсайд-драйв.* Пьеса. Перевод с английского Олега Дормана

30 Меир Шалев. *В доме своем в пустыне.* Главы из романа. Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман

98 Яна Симон. *Ведь мы – другие. История Феликса С.* Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой

Литературное наследие

156 Шарль Бодлер. *Стихи.* Перевод с французского и вступление Анатолия Гелескула

Из классики XX века

166 Томас Вулф. *О времени и о реке.* Главы из романа. Перевод с английского и вступление В. Бабкова

Письма из-за рубежа

283 Александр Генис. *Самураи на экране*

Среди книг

286 Татьяна Баскакова. *О кулинарном искусстве, убийцах персиков и "неистинности истины"*

290 *Открытое письмо.* Обзор ответов на читательскую анкету, опубликованную в № 12, 2003

Авторы номера

302

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

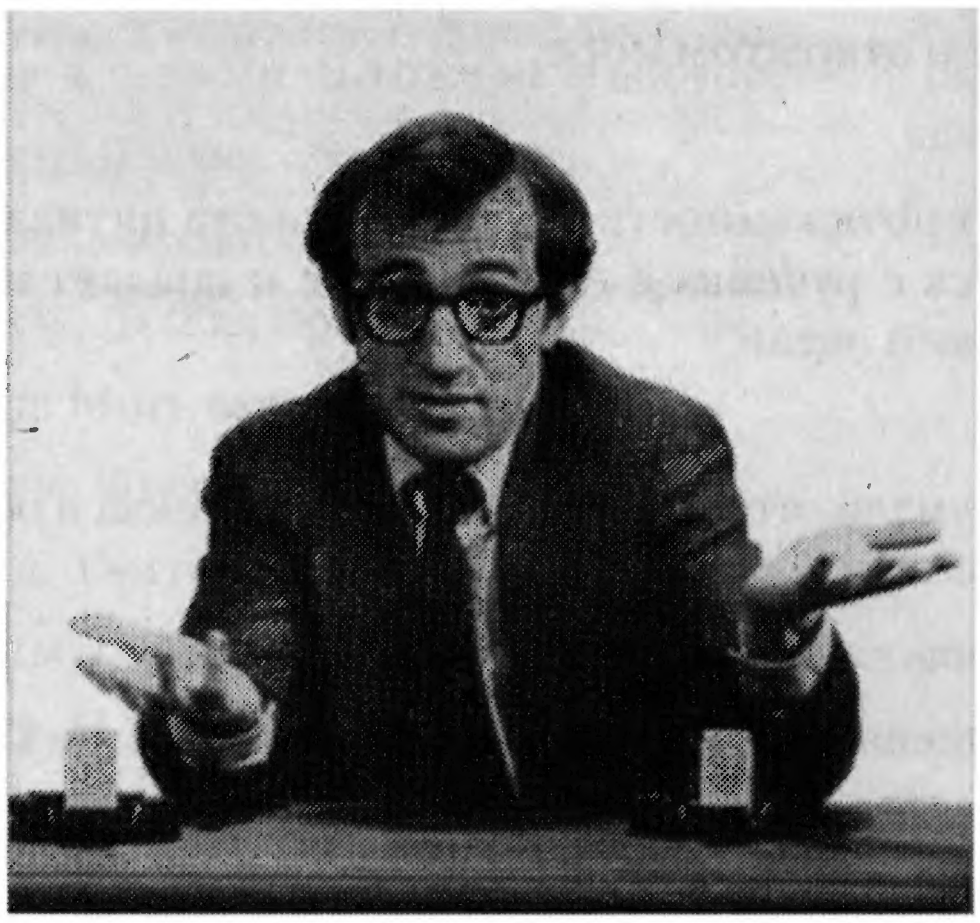
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Вуди Аллен



Риверсайд-драйв

Пьеса

Перевод с английского Олега Дормана

Занавес открывается. Пасмурный день в Нью-Йорке. Может быть, легкий туман. Сцена представляет уединенное местечко на берегу Гудзона — где-нибудь в районе Западных 70—80-х улиц. Отсюда, облокотившись на парапет, можно наблюдать за судами и смотреть на Нью-Джерси на том берегу.

Джим Свейн — писатель, ему лет сорок пять. Он нервно расхаживает по набережной, то и дело поглядывает на часы, звонит по мобильному телефону, но номер не отвечает. Понятно, что он кого-то ждет.

Джим потирает озябшие руки, проверяет, не начало ли моросить, и, возможно, поплотнее запахивает куртку, чувствуя, как пробирает сырость.

Затем на набережной появляется здоровенный небритый бродяга и не спеша направляется в сторону Джима, явно приглядываясь к нему. На вид они ровесники. Бродягу зовут Фред.

Чем ближе он подходит, тем сильней его присутствие нервирует Джима, который не то чтобы боится, но чувствует себя неуютно в безлюдном месте наедине с подозрительным громилой. Вдобавок Джим очень рассчитывал, что свидание, которого он ждет, пройдет без свидетелей. Наконец Фред обращается к нему.

Фред. Дождливый денек.

Джим кивает, соглашаясь, но не желая поддерживать разговор.

Изморось.

Джим кивает с кислой улыбкой.

Даже, я бы сказал, хмарь. Изморось и мгла.

© 2003 by Woody Allen
© О. Дорман. Перевод, 2004

Джим. Угу.

Фред (*помолчав*). Ты смотри, какое течение. Уронишь кепку — через двадцать минут будет в открытом море.

Джим (*сухо, но вежливо*). Да-да.

Фред (*после паузы*). Общая протяженность Гудзона — триста пятнадцать миль. Река начинается с ручейка в Адирондаксе и впадает в бескрайний Атлантический океан.

Джим. Любопытно.

Фред. Не то слово. Вы не думали, что было бы, если б она текла в обратном направлении?

Джим. Как-то не доводилось.

Фред. Хаос. Сумятица. Роняешь кепку, и ее уносит не в океан, а в Покипси.

Джим. Нда... Действительно.

Фред. Бывали в Покипси?

Джим. Что?

Фред. Не бывали в Покипси?

Джим. Я?

Фред (*оглядывается; вокруг никого*). А кто же?

Джим. Почему вы спрашиваете?

Фред. А что такого? Нормальный вопрос.

Джим. Бывал ли я в Покипси?

Фред. Ну да.

Джим (*помедлив, решает ответить*). Нет, не бывал. И что с того?

Фред. Ну, не бывал и не бывал — чего так нервничаете?

Джим. Послушайте... Мне надо кое-что обмозговать.

Фред. Вы сюда редко захаживаете, верно?

Джим. А что?

Фред. Просто любопытно.

Джим. Что вам нужно? Хотите сшибить подачку? Нате, держите доллар.

Фред. Секундочку. Я всего лишь спросил, часто ли вы тут бываете.

Джим (*начиная терять терпение*). Не часто. У меня сейчас важная встреча. Совершенно занята голова.

Фред. Ну вы и денек подгадали.

Джим. Откуда я знал, что будет такая гнусь?

Фред. А что, прогноз не слушаете? Ничего себе. По-моему, как ни включишь, только о погоде и говорят. Вот скажите: вас на Риверсайд-драйв очень беспокоит порывистый ветер в Аппалачах? Нет, в самом деле, достали.

Джим. Ваша правда. Ну что ж, было приятно побеседовать.

Фред. Гляди-ка, какой туман — Джерси почти не видно.

Джим. И слава богу.

Фред. Согласен. Я тоже не в восторге от Джерси.

Джим. Я шучу. Это просто...

Фред. ...хохма? Трёп?

Джим. Легкая ирония.

Фред. Могу вас понять.

Джим. То есть?

Фред. Учитывая, как я сам отношусь к тамошнему университету...

Джим. Откуда я знаю, как вы к нему относитесь?

Фред. И лучше вам не знать.

Джим. Угу. Нда. Ну что ж... Теперь мне надо сосредоточиться. (*Смотрит на часы.*)

Фред. Когда она должна прийти?

Джим. Что-что? Прошу вас, ступайте.

Фред. У нас свободная страна. Я имею право стоять и глазеть на Нью-Джерси откуда хочу.

Джим. Безусловно. Только не надо со мной разговаривать.

Фред. Можете не отвечать.

Джим (*достает мобильный телефон*). Значит, так: хотите, чтобы я позвонил в полицию?

Фред. И что скажете?

Джим. Что вы пристаете. Нарушаете общественный порядок. Попрошайничаете.

Фред. Вот смотрите: допустим, я беру ваш мобильник и бросаю в воду. Через двадцать минут он будет в Атлантическом океане. Но если бы течение шло вспять, его отнесло бы в Покипси. Кстати, я не ошибся? В Покипси или в Территаун?

Джим (*слегка напуган и разозлен*). В Территауне я бывал — если вы собирались спросить.

Фред. Где останавливались?

Джим. В "Покантико-Хиллз". Я там жил одно время. Всё?

Фред. Теперь они переименовались в "Сонную лощину". Приманивают туристов.

Джим. Понятно.

Фред. В честь этого дерьма про Икабода Крейна. Смотрели? Сонная лощина, Рип ван Винкль[1]... Все заботятся только об упаковке.

Джим. Послушайте. Мне правда нужно собраться с мыслями...

Фред. Бросьте, давайте поговорим о литературе. Вы ведь писатель.

1. "Легенда о Сонной лощине", "Рип ван Винкль" — рассказы американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859). По рассказу "Легенда о Сонной лощине" снят фильм. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Джим. Откуда вы знаете?

Фред. То есть? Мне ли не знать.

Джим. Ну вы же не по костюму догадались?

Фред. А это считается костюмом?

Джим. Чем плохо — твидовый пиджак с вельветовыми штанами?

Фред. Жан-Поль Сартр сказал: после тридцати человек отвечает за свое лицо.

Джим. Это сказал Камю.

Фред. Сартр.

Джим. Камю. Сартр сказал, что профессия накладывает отпечаток: у официанта становится походка официанта, у клерка — жесты клерка. Потому что люди мечтают стать вещами.

Фред. Но вы-то не стали.

Джим. Стараюсь.

Фред. Конечно, вещью быть безопасно — вещи не умирают. Приговоренный стоит у стенки и мечтает слиться с ней, раствориться среди камней, стать прочным, вечным, иными словами жить — быть живым.

Джим (*оценивающе посмотрев на Фреда*). С удовольствием как-нибудь продолжил бы этот разговор.

Фред. Отлично. Когда?

Джим. Сегодня я целый день занят...

Фред. Ну, не сегодня. Можно вместе позавтракать — я свободен всю неделю.

Джим. Честно говоря, пока не представляю.

Фред. Я написал забавную вещицу по мотивам Ирвинга.

Джим. Какого Ирвинга?

Фред. Вашингтона Ирвинга. Мы же говорили об Икабоде Крейне.

Джим. Я думал, мы закончили.

Фред. История такая: Икабод Крейн обречен вечно носиться по лугам и долам, держа башку под мышкой. Этот всадник без головы был немецким солдатом, и его убили на войне.

Джим. Он был гессенским кавалеристом.

Фред. И вот он прискакивает в дежурную аптеку, и голова говорит: у меня дикая мигрень. Аптекарша отвечает: вот, пожалуйста, две таблетки суперсильного экседрина. Тело платит и помогает голове запить лекарство. Следующая сцена — тем же вечером, позже. Всадник едет по мосту, и голова говорит: знаешь, я просто заново родилась — мигрень как рукой сняло. И от этих слов телу становится грустно. Оно понимает, что здорово влипло, ведь если мигрень начнется у него самого, то, не имея головы на плечах, от нее уже не избавиться.

Джим. Как тело может понимать?

Фред. Кого это интересует?

Джим. Как кого? Вполне резонный вопрос.

Фред. В том и вся штука. Вы неплохо строите сюжет, диалог, но вам не хватает вдохновения. Поэтому вы и вынуждены полагаться на меня. Хотя в последний раз вышло не очень ловко.

Джим. Что вышло? О чем вы?

Фред. О деньгах. О скромном гонораре и подобающем месте в титрах.

Джим. Послушайте, у меня важная встреча...

Фред. Знаю-знаю — она опаздывает.

Джим. Ничего вы не знаете и знать вам не надо.

Фред. Я понимаю: у вас рандеву, я вам тут не нужен. Так давайте закончим с делом — и меня нет.

Джим. С каким делом?

Фред. Вы еще скажите, что все это сущий Кафка.

Джим. Да уж куда там Кафке.

Фред. Думаете? А что же это? Постмодернизм?

Джим. Что вы хотите?

Фред. Свой процент и имя на афише. Я понимаю — фильм уже вышел, сейчас поздно менять титры; но я хочу получить свою долю, а имя надо будет вписать при допечатке копий. Я не претендую на половину, но надеюсь на справедливость.

Джим. Вы рехнулись? С какой стати я должен с вами делиться?

Фред. С той, что я дал вам идею.

Джим. Дали идею?

Фред. Вернее вы сами взяли.

Джим. Взял вашу идею?

Фред. И у вас впервые в жизни купили сценарий. Картина вроде имеет успех, так что я хочу получить то, что мне причитается.

Джим. Я не брал ваших идей.

Фред. Джим, кончай.

Джим. Это вы кончайте. И я вам не Джим.

Фред. Хорошо. Джеймс. Сценарий Джеймса Свейна. Хотя все зовут тебя Джимом.

Джим. Откуда вы знаете, как меня зовут?

Фред. Знаю. Слышал.

Джим. Где? Когда?

Фред. Джим Свейн, угол Семьдесят восьмой и Централ-парк-вест. Личный автомобиль "БМВ", номерной знак ноль—ноль—ноль—ноль—один, конечно-конечно, тщеславие тут ни при чем... Это у Джимми Коннерса[1] четыре ноля—один, а не у тебя: видал я, как ты пытаешься попасть ракеткой по мячику. Так что даже не думай мне вешать лапшу.

1. Джимми Коннерс — знаменитый теннисист.

Джим. Вы что, следили за мной?

Фред. А та чернявая мышка и есть твоя Лола?

Джим. Моя жена отнюдь не мышка!

Фред. Ладно-ладно, не мышка. Только зубки, как у грызуна.

Джим. Она очень красивая женщина.

Фред. Это дело вкуса.

Джим. Слушайте, как вы смеете!

Фред. Она не узнает, клянусь.

Джим. Вы говорите о моей жене. О женщине, которую я люблю.

Фред. И поэтому гуляешь?

Джим. Что?

Фред. Могу легко угадать с кем. Она чуть-чуть дешевочка, да?

Джим. Я ни с кем не гуляю.

Фред. Тогда чего ты сюда приперся?

Джим. Черт побери, проваливайте! Если вы сию секунду не уберетесь, я зову полицию.

Фред. Последнее дело звать полицию, когда пришел на рандеву.

Джим. Откуда вы знаете имя моей жены?

Фред. Я слышал, что ты зовешь ее Лола.

Джим. Вы шпионили?

Фред. Я что, похож на шпиона?

Джим. Да.

Фред. Я писатель. Во всяком случае, был писателем. Пока управлял своими фантазиями, а не они мной.

Джим. Боюсь, у вас чересчур живое воображение.

Фред. Живое, живое. То-то ты спер у меня идею.

Джим. Я не присваивал ваших идей.

Фред. Не просто идею. Это был автобиографический замысел. Так что в некотором смысле ты украл у меня жизнь.

Джим. Если мой фильм чем-то напоминает вашу жизнь, уверяю вас: все совпадения случайны.

Фред. Судиться я не стану. Есть люди, которые обожают таскаться по судам. (*С оттенком угрозы.*) Я предпочитаю договориться.

Джим. Но каким образом я мог узнать ваш замысел?

Фред. Подслушал, когда я рассказывал.

Джим. Кому? Где?

Фред. В Центральном парке.

Джим. Я подслушивал, как вы рассказывали о себе в Центральном парке?

Фред. Именно.

Джим. Кому? Когда?

Фред. Джону.

Джим. Кому?

Фред. Джону.

Джим. Какому Джону?

Фред. Большому Джону.

Джим. Кому-кому?

Фред. Большому Джону.

Джим. Кто такой Большой Джон?

Фред. Не знаю. Бездомный бродяга. Был бродягой, пока не попал в приют, где ему перерезали глотку.

Джим. Вы травили байки с каким-то бродягой и считаете, что я подслушивал?

Фред. И использовал.

Джим. Я вас вижу впервые в жизни.

Фред. Ничего себе! Да я уж который месяц сижу у тебя на хвосте!

Джим. На хвосте?

Фред. Я знаю тебя, как облупленного, а ты меня даже не замечал. А ведь я не малютка. Я большой мальчик. Я, думаю, мог бы свернуть тебе шею одной левой.

Джим (*нервничая*). Послушайте: кто бы вы ни были, даю честное слово...

Фред. Меня зовут Фред. Фред ван Далл. Неплохо для сценариста, а? В номинации "лучший оригинальный сценарий" — открываем конверт — приз получают Фредерик ван Далл и Джеймс Свейн за сценарий фильма "Путешествие".

Джим. "Путешествие" написал я. Сам. И замысел тоже мой собственный.

Фред. Джим, ты слышал, как я рассказывал эту историю Джону Келли. Бедняга Джон. Шел по Йорк-авеню, грузчики поднимали пианино на десятый этаж, веревка развязалась... Господи, это был кошмар.

Джим. Вы же сказали, его зарезали в приюте.

Фред. Маниакальная склонность к логике — удел ограниченных умов.

Джим. Фред, послушайте. Я в жизни не крал чужих идей. Во-первых, потому, что мне незачем — мне хватает собственных. А во-вторых, даже если б и не хватало. Понимаете?

Фред. Но это моя история. Во всех подробностях. Мой нервный срыв, смирительная рубашка, дурацкая драка с санитарами, резиновый жгут в зубах, удары током... Господи боже мой — шокотерапия... Нет, конечно, я понимаю: я был опасен...

Джим. Опасен?

Фред. Я опасен время от времени.

Джим. Что-то я начинаю волноваться.

Фред. Не волнуйся. Придет.

Джим. Я не из-за нее. Ну, хорошо: раз вы считаете себя писателем...

Фред. Когда-то считал. Пока не сломался и не началась вся эта мура... я писал для одного агентства.

Джим. Какая мура?

Фред. Я не хотел бы к этому возвращаться. Это довольно мучительно.

Джим. Для какого агентства вы писали?

Фред. Рекламного. Писал сценарии телевизионной рекламы. Вот вроде того, про суперсильный экседрин. Правда, он не пошел. Мы очень на него ставили, но — не пошел. Заказчикам не по зубам картезианство.

Джим. И это вас... выбило из колеи.

Фред. Еще чего. Подумаешь, не приняли сценарий. Замшелые пошляки. Нет, источником моих бед были совсем другие силы.

Джим. А именно?

Фред. А именно некие лица и группы лиц, объединившиеся в подпольную организацию с целью моего устранения, унижения, нравственного и физического уничтожения. Организацию такую могущественную и разветвленную, что к настоящему времени ее тайные агенты внедрились повсюду — от ЦРУ до штаба кубинского сопротивления. Они беспощадны. Они отняли у меня работу, семью и последние сбережения. За мной следили, мой телефон прослушивался, моему психиатру посылали зашифрованные сигналы с крыши Эмпайр-стейт-билдинг прямо через мое среднее ухо на кончик его спиннинга, когда он уезжал порыбачить. Так что не надо мне заливать — поговорим как мужчина с мужчиной.

Джим. Ужасно, Фред. Мне вас искренне жаль. Если я могу чем-то помочь...

Фред. О том и речь. А пугаться нечего. Я не так уж давно перестал пить таблетки и вполне держу себя в руках. По крайней мере, мне так кажется.

Джим. Что вы принимаете?

Фред. Всего понемногу — нейролептики, успокоительные.

Джим. Целый коктейль, да?

Фред. Только без соломинки.

Джим. Но вы знаете, что совсем прекращать прием ни в коем случае нельзя?

Фред. Спокойно. Я в порядке. В полном порядке. Не надо на меня наезжать.

Джим. Нет-нет, я и не думал...

Фред. Поговорим начистоту.

Джим. Я как раз хотел попробовать убедить вас, что просто не мог бы украсть вашу идею...

Фред. Жизнь, жизнь — ты украл у меня жизнь.

Джим. Ни вашу жизнь, ни ваши воспоминания — называйте, как хотите. Я полагаю, что сумею шаг за шагом доказать вам, что...

Фред. Логика зачастую обманчива. Ты украл мою жизнь, душу мою.

Джим. Да ни к чему мне ваша жизнь. Мне вполне достаточно собственной.

Фред. Кто ты такой, чтобы говорить, что моя жизнь ни к чему?

Джим. Поверьте, я не хотел вас обидеть.

Фред. Я понимаю — ты на взводе.

Джим. Честно говоря, да.

Фред. Она уже здорово опаздывает. Это не к добру.

Джим. Странно... Вообще она очень пунктуальна.

Фред. Почуяла что-то, как пить дать. На твоем месте я бы держал ухо востро.

Джим. Само собой. Я просто хотел объяснить, что в моем сценарии...

Фред. В нашем сценарии.

Джим. В этом сценарии... — назовем его "этот сценарий", да? — в этом сценарии идет речь о страданиях человека, попавшего в некую психиатрическую лечебницу, которую я решил разместить в Нью-Джерси.

Фред. Знаем. Бывали.

Джим. Разумеется, немало людей прошли через что-то подобное. С тем же успехом они могли бы считать, что в фильме рассказана их история.

Фред. Нет-нет-нет. Эту историю ты услышал от меня. Я даже сказал Большому Джону, что из нее вышло бы мировое кино. Особенно та часть, где герой устраивает пожары.

Джим. Вы устраивали пожары?

Фред. А то ты не знаешь.

Джим. Даю слово, нет.

Фред. Я получил приказ сжечь несколько зданий.

Джим. То есть как приказ?

Фред. По радио.

Джим. Вы слышали голоса по радио?

Фред. Я слышу оттенок недоверия в твоем голосе?

Джим. Нет-нет-нет...

Фред. Я не всегда был... ну, что называется...

Джим. ...шизофреником?

Фред. Как ты сказал?

Джим. Просто хотел помочь.

Фред. Все такие образованные... Это вопрос терминологии. Мне поставили "деменция прекокс". Пожалуй, и впрямь звучит симпатичнее. Терминология! Она же косметология. Девушка приводит хахаля знакомиться с предками: мамуля, папуля, это Макс, у него небольшой маниакально-депрессивный психоз. Можешь себе представить: единственное дитя собирается замуж за психа, кото-

рый по понедельникам будет прыгать с крыши Крайслер-билдинг, а по вторникам скупать все подряд в "Блуминдейле". Но скажи она "знакомьтесь, это Макс, у него биполярное расстройство" — и это уже звучит почти героически. Перед нами отважный полярник.

Нет, Джим: мне поставили более прозаический диагноз. Разумеется, не "чокнутый" и не "тронутый" — там не любят шутить. Там сказали: Фред ван Далл — неуправляемый психопат с маниакальной тягой к насилию.

Джим. Психопат?

Фред. Ты же ценишь красивые этикетки.

Джим. Э-э... Вот видишь, Фред, тем более: ты, как никто зная природу психических отклонений, способен понять, почему я не исключаю, что твое предположение о том, что я украл у тебя идею, может не быть основано на объективной реальности.

Фред. Ну кто же знает, что реально, что нет? Мы волны или частицы? Мир расширяется или сжимается? Если мы окажемся в черной дыре, где законы физики отменяются, будет мне нужен мой гимнастический пояс — или нет?

Джим. Фред, ты образованный человек и...

Фред. Диплом с отличием. Брауновский университет. Читаю на санскрите. Докторская степень по литературе. Диссертация о позитивных аспектах взаимовлияния и взаимоотталкивания Гёте, Шопенгауэра и мамы Шопенгауэра. Ты спросишь, что же я тогда делал в рекламном агентстве. Имел нервные срывы. Даже не из-за того, что заказчики не сумели оценить блистательной концепции суперэкседрина. Нет — потому, что они в принципе были слепы и не понимали всей оригинальности моего мышления. Вот тебе еще пример. Публичный дом. Восемь шлюх ждут посетителей. Заходит клиент. Придирчиво осматривает каждую, бракует всех по очереди, идет к вешалке и берет стойку для зонтиков. С этой стойкой удаляется по коридору, затем ложится с ней в кровать и яростно ею овладевает. Конец эпизода. Следующий кадр: мы видим его за рулем "фольксвагена" модели "жук", и идет надпись: "'Фольксваген' для тех, у кого изысканный вкус". Видел бы ты, как они взбесились! Я тогда уже не вылезал из психушек, как будто завел годовой абонемент. А потом меня выперли из агентства, и Генриетта — моя подружка, которая до того еще терпела, думаю, потому что у самой были хорошие тараканы, она была, мягко говоря, термоядерная мазохистка — выставила меня на улицу.

Ты правильно догадался, Джим: я очень расстроился. Я плакал. Соленые слезы струились по этим румяным щекам. Я понадеялся, что сумею вернуть ее, и стал метаться в поисках какого-нибудь подарка, который смягчит это внезапное отвращение. Генриетта обожала старинные украшения. Я решил, что может сработать антикварная шпилька или брошка в викторианском духе, и уже приглядел то, что надо, в одной лавке на Третьей авеню, как вдруг смотрю — очень стильный приемничек годов сороковых. Абсолютно под мою кухню. Такой красный, пластмассовый, фирмы "Филко". Ну, принес я его домой, включил, и слышу — диктор при-

казывает мне поджечь то самое рекламное агентство, где я до недавних пор ишачил... Такого удовольствия я в жизни не испытывал, Джим. Я тебе наскучил?

Джим. Какая грустная история.

Фред. Я любил ее. Генриетту. И хотя из-за ее проблем с концентрацией мы не могли разговаривать дольше сорока секунд, было что-то в наших отношениях, что держало меня на плаву. Так что мне вполне понятны твои романтические бури.

Джим. Нет у меня никаких бурь.

Фред. Джим, ты же разговариваешь с соавтором.

Джим. Вы мне не соавтор.

Фред. Тебе необходим соавтор.

Джим. В жизни не работал вдвоем.

Фред. Ты прекрасный ремесленник, но тебе требуется помощник, который высекает искру. Я настоящий генератор идей. Хотя, может, действительно слегка авангардных — на вкус посредственностей.

Джим. Мне хватает собственных.

Фред. Хватало бы — не спер моей.

Джим. Я не крал.

Фред. Гений передается с генами. Ты знаешь, что у меня ДНК светится в темноте?

Джим. Почему вы считаете меня ремесленником?

Фред. Я считаю, что ты настоящий... профессионал. Это заслуживает уважения. Автор множества экранизаций... Заметь, экранизаций — не оригинальных сценариев. А я, в свою очередь, настоящий оригинал — как Стравинский или как лицензионная копия на видео. Потому-то моя идея и помогла тебе впервые в жизни сделать что-то значительное. В ней было зерно, была искра.

Джим. Я ее придумал, стоя под душем.

Фред (*с внезапной яростью*). Хватит гнать! Я хочу мою половину!

Джим. Ради бога, только не волнуйтесь.

Фред. И не надо мне рассказывать сказки про личную жизнь. Какого дьявола ты бы гулял от Лолы?

Джим. Это не ваше дело.

Фред. Нет конечно — это твои дела.

Джим. У меня нет никаких дел.

Фред. Проблемы с Лолой?

Джим. Никаких проблем.

Фред. Я не вообще, с этим ясно. Она что-то пронюхала?

Джим. Ну-ка заткнись. Ты говоришь о женщине, которую я люблю.

Фред. Так что там с ней?

Джим. Ничего.

Фред. Джим.

Джим. Ничего.

Фред. Джим, кончай.

Джим. Все было прекрасно, пока не родились двойняшки.

Фред. Понятно. Близнецы. Кошмарное знамение.

Джим. Да они чудесные мальчуганы.

Фред. Мальчуганы... Девочек еще можно было бы приодеть.

Джим. Они очень симпатичные, очень славные, они...

Фред. ...абсолютно одинаковые?

Джим. Ну и что?

Фред. И оба, как Лола, похожи на сурка?

Джим. Пока они не родились, у нас был чудесный брак.

Фред. Ты считаешь?

Джим. Считаю. Все было замечательно.

Фред. Только замечательно? Не потрясающе, нет?

Джим. У нас была масса общих интересов...

Фред. Назови парочку.

Джим. На выходные ездили в Коннектикут, ели только натуральные продукты.

Фред. Тоска какая.

Джим. Любили нырять с аквалангом, разговаривали о любимых книгах.

Фред. Под водой?

Джим. Она играла на фортепиано, я — на баритон-саксофоне.

Фред. Слава богу, что не наоборот.

Джим. Можешь смеяться, сколько влезет.

Фред. Ну, а что секс?

Джим. Это тебя не касается.

Фред. У нее такие передние зубки... — не поранился?

Джим. Что за пошлость.

Фред. Я просто пытаюсь влезть в твою шкуру. И часто вы занимались любовью?

Джим. Часто, часто. Пока двойняшки не родились.

Фред. Ты, я думаю, в принципе сторонник классической позиции, верно?

Джим (*с раздражением*). Мы достаточно поэкспериментировали.

Фред. Что ты называешь экспериментом?

Джим. Почему я должен отчитываться?

Фред. Мы же с тобой напарники.

Джим (*с раздражением*). Ну да, ну да. (*Маленькая пауза.*) Однажды мы устроили трио. Сойдет?

Фред. Она позвала подружку?

Джим. Третьим был мужчина.

Фред. Ты что, бисексуал?

Джим. Я его пальцем не тронул.

Фред. А кто предложил позвать?

Джим. Она.

Фред. Интересно почему.

Джим. Мы однажды ночью видели такую порнушку по телику.

Фред. Регулярно смотрели?

Джим. Нет, конечно. Время от времени. Иногда можно позаимствовать любопытные идеи.

Фред. Ага... так что ты не прочь попользоваться чужими идеями.

Джим. А однажды занялись любовью дома у ее родителей — это было на обеде в День благодарения.

Фред. Оторвали гостей от индейки.

Джим. Мы заперлись в ванной.

Фред. Значит, известная спонтанность присутствовала?

Джим. Не понимаю, с чего ты решил, что я тухлый зануда.

Фред. И у Лолы бывал оргазм?

Джим. Я полагаю, вопрос неуместен.

Фред. Они ведь умеют симулировать, знаешь?

Джим. Да чего ради ей симулировать?

Фред. Ради тебя, ради твоего достоинства. Она же не хотела, чтобы ты думал, что не удовлетворяешь ее.

Джим. Я совершенно спокоен насчет своих мужских доблестей.

Фред. Ну, ты же знаешь поговорку.

Джим. Какую?

Фред. Про бревно в глазу.

Джим. В каком смысле?

Фред. Может быть, ты преувеличиваешь свои доблести.

Джим. Не думаю.

Фред. Тогда зачем же Лола симулировала?

Джим. Это *ты* сказал, что она симулировала.

Фред. Такие у меня сведения.

Джим. Откуда у тебя такие сведения?

Фред. С крыши Эмпайр-стейт-билдинг. Мне поступают сигналы. На крыше Эмпайр-стейт-билдинг установлена большая антенна, она

посылает в эфир импульсы, они приходят ко мне, и каждый квант говорит: Лола не кончала, она притворялась.

Джим. Слушай, я пытаюсь как-то здраво...

Фред. А потом родились близнецы, Дэвид и Сет.

Джим. Карсон и Джанго.

Фред. Как-как?

Джим. Лола обожает книги Карсон Маккаллерс[1].

Фред. А ты лабаешь джаз, так что...

Джим. Так что мы решили назвать их не совсем обычно.

Фред. Но ты их любишь.

Джим. Обожаю. Но Лола на них просто помешалась. И вмиг жизни не стало: существовали только двойняшки — на меня, на нас уже не оставалось времени.

Фред. И никаких больше подводных бесед о Прусте.

Джим. Секс, ясное дело, тоже увял.

Фред. И ты стал гулять.

Джим. Ну, в общем... да.

Фред. Угу... Теперь понятно. Послушай меня: завязывай. Заработаешь инфаркт, больше ничего.

Джим. Обойдусь без советов. Я и намерен завязать. Если она наконец придет.

Фред. Может, она догадывается, что ты затеял, и решила не приходить?

Джим. С чего бы? Нет. Для нее это будет удар.

Фред. Я должен это видеть! Покантуюсь-ка тут неподалеку.

Джим. На кой дьявол мне такая романтика? Полгода по темным забегаловкам, грязным барам, занюханным номерам. Вороватые звонки по телефону, вечно на нервах, презираешь самого себя...

Фред. А что говорит твой психоаналитик?

Джим. Он говорит: заканчивайте.

Фред. А ты?

Джим. Я закончил. Закончил ходить к психоаналитику.

Фред. Кстати, чтоб ты знал: они часто пишут пациентов на диктофон.

Джим. Вчера вечером я пришел домой и увидел Лолу — она сидела на диване, усталая, взъерошенная, как... как...

Фред. Как морская свинка?

Джим. Нет, вовсе нет. Как родное существо, милая, порядочная женщина, которая всегда была моим самым лучшим другом.

Фред. Ты что-нибудь обещал любовнице? Говорил, что любишь или что готов бросить семью?

1. Карсон Маккаллерс (1917—1967) — американская писательница.

Джим. Никогда, что ты, ни слова, ни намека.

Фред. Не знаю... чувствую какие-то флюиды, которые говорят, что, может, все-таки обещал.

Джим. Чепуха!

Фред. Странно, странно...

Джим. Она захотела, чтоб мы вместе слетали на Карибы, дней на пять. Лоле я должен был наврать, что еду в командировку.

Фред. Ты что, согласился?

Джим. Не совсем. Сказал, подумаю. От растерянности. Мы лежали раздетые, я выпил три "маргариты", на ободке вот такой слой соли, а я на бессолевой диете. У меня, конечно, скакнул натрий...

Фред (*безвольно роняет руки, подражая Лоле*). А потом ты вернулся домой, увидел свою милую женушку...

Джим. Да. И в ту секунду, как собрался ей соврать, понял, что люблю ее. Что люблю Лолу, несмотря на все наши дела, и что я полный идиот.

Фред. Нда. Сцена предстоит омерзительная.

Джим. Ничего страшного. Мы с ней оба взрослые люди.

Фред. Ты же говорил, она своего не упустит.

Джим. Ничего я не говорил.

Фред. Значит, послышалось. Был голос — думал, твой.

Джим. Люди рвут отношения каждый день — это в природе вещей, разве не так?

Фред. То-то ты подыскал укромный уголок. Предвкушаешь, что будет?

Джим. Да что с тобой говорить о женщинах. Ты же все видишь в кривом зеркале.

Фред. Когда-то и я был женат.

Джим. Ты?

Фред. Помню смутно. Когда башку часто включают в розетку, память начинает барахлить. Но помню, она все звонила девять—один—один.

Джим. Знаешь, что? Хочешь добрый совет?

Фред. Валяй.

Джим. Я думаю, иди-ка ты отсюда и начинай снова принимать лекарства. Кроме шуток. И чем больше, тем лучше. Я не хочу, чтобы ты тут околачивался, когда она придет. Как-нибудь сам справлюсь.

Фред. Пожалуйста, как хочешь. Закончим дела — и меня нет.

Джим. Какие дела? У нас нет никаких дел, я не крал у тебя сюжетов.

Фред. Может, ты просто возместишь мне в следующий раз и немного увеличим мою долю?

Джим. Никакого следующего раза. Я не пишу в соавторстве. Я работаю в одиночку. Я... о Господи...

Вдали появляется Барбара.

Слушай, всё... Уходи, иди, иди...

Фред. Ты чего такой белый?

Джим. Она идет.

Фред. Ну и что? Без паники.

Джим. Ты мне совершенно заморочил голову.

Фред. Я просто сказал, что сейчас начнется.

Джим. С чего ты взял?

Фред. Эмпайр-стейт-билдинг.

Джим. Да нет, все будет нормально. Я репетировал под душем. Полтора часа. Я знаю, что говорить. Уходи.

Подходит Барбара.

Барбара. Прости, пожалуйста, я опоздала. Кто это?

Джим. Где? Не знаю... (*Головой делает знаки Фреду, чтобы тот уходил.*)

Барбара. Что, невралгия?

Джим (*протягивая Фреду деньги*). Вот, старина, держите свой доллар, как просили, отправляйтесь и хорошенько заморите червячка. Удачи... ха-ха...

Фред. Фред ван Далл. Я друг Джима.

Барбара. Что же ты не сказал?

Джим. Он шутит.

Фред. Друг и соавтор.

Барбара. Соавтор?

Фред. Мы вместе делали "Путешествие". Сюжет мой, а он, фактически, писал сценарий. (*В сторону.*) Войдите.

Барбара. Что? Ничего не понимаю.

Фред. Объясни ей, Джим.

Барбара. Что объяснить?

Джим. Фред, оставь нас.

Фред. Я боюсь, ты дашь слабину.

Барбара. Джим, что-то случилось?

Фред. Лучше выложить начистоту.

Джим. Проваливай, Фред.

Фред. Барбара, Джим должен тебе кое-что сказать.

Барбара. Что сказать? О чем сказать?

Фред. О вашей внебрачной связи.

Джим. Фред спятил. Он городской сумасшедший.

Фред. Скажи ей, Джим, или я сам скажу.

Барбара. Да в чем дело?

Джим. Ты тут ни при чем.

Барбара. Не знала, что у тебя есть соавтор.

Фред. Я даю идею, а Джим возится с сюжетом и диалогами. Хотя у меня самого тоже сильный диалог. Когда-то я сочинил гениальный слоган для шикарных японских пылесосов...

Джим. Фред...

Фред. "Хороши собой и сосут без звука". Но заказчики не оценили.

Джим. Пойдем, Барбара, я хочу побыть с тобой наедине.

Фред. Он не сумеет поехать на Карибы, Барбара. Он слишком привязан к жене.

Барбара. Джим...

Фред. Он честно собирался наврать Лоле, но в последний момент оказалось, кишка тонка.

Барбара. Не верю.

Джим. Барбара, пожалуйста, постарайся понять...

Барбара. Это правда? Значит, все кончено?

Джим. Барбара, я не смогу. Я понял, что не смогу.

Барбара. Ничего себе! Ты только что уверял, что жить без меня не сможешь, строил планы на будущее, сулил златые горы...

Джим. Тебе казалось. Я вовсе не собирался уходить из семьи.

Барбара. Значит, попользовался мной — и обратно к Лолочке?

Джим. Я не пользовался тобой. Мы оба отлично понимали, что делаем.

Барбара. Ты думаешь, мной можно играть, как будто я персонаж из твоего сценария?

Джим. Я почувствовал, что мы зашли слишком далеко, что дальше будет хуже, и решил, пока не поздно...

Барбара. Прости, Джим, уже поздно. Я поговорю с Лолой сама.

Джим. Поговоришь с Лолой?

Барбара. Да. Думаю, если с ней поговорю я, она все поймет. (*Замолчав, беспомощно озирается.*)

Фрэд (*в сторону*). Войдите!

Барбара. Я не верю, что ты любишь ее больше, чем меня. Мне надо встретиться с ней, и мы все уладим.

Джим (*Фреду*). Ну, давай, скажи что-нибудь, ты же мой соавтор!

Фред. Я даю идеи, диалоги — твои.

Джим. Мне нужна свежая концепция.

Фред. Слушай, Барбара, — могу я тебя так называть?

Барбара. Я вас впервые вижу, гуляйте отсюда.

Фред. Меня зовут Фредерик ван Далл, и хотя мое имя не знакомо тебе по титрам и рекламе, я являюсь соавтором первого фильма Джима, а также изобретателем радиотелефона и растворимого кофе.

Джим. Фред, ради бога!

Фред (*в сторону*). Да-да, войдите!

Барбара. Но ты же обещал, Джим...

Джим. Никогда. Ни разу. Как раз наоборот...

Фред. Войди в его положение, Барбара. Рохля, в семье кризис, сексуальная неудовлетворенность. И вдруг — очаровательное существо, вроде тебя. Ясное дело, у мальчика едет крыша, фантазия расшалилась, он сходит с пути праведного. Но потом однажды вечером он смотрит на своих домашних и на него обрушивается шквал воспоминаний, его охватывает чувство вины, и в тот же вечер небольшой космический корабль из системы Вега посылает нейтронный луч, который проникает в этот череп...

Джим. Фред, ты же хотел мне помочь...

Барбара. Прости, Джим: все эти ночи, когда мы лежали в объятиях друг друга, ты думал не о Лоле.

Джим. Ты неправильно понимала. Или я. Я совершил ужасную ошибку. Мне хочется ее исправить...

Барбара. Я совершенно растеряна. Мне нужно подумать, как быть. В любом случае, я не собачка, чтобы сидеть, лежать и приносить палку по команде. Ты, наверное, должен мне как-то все это компенсировать...

Джим. В каком смысле?

Барбара. Я решу. Но не надейся, что выйдешь сухим из воды. Знаешь, есть такое выражение: если тебя не любят, пускай платят.

Джим. Но это же шантаж.

Барбара. Когда ты первый раз привел меня в ту поганую гостиничку, тебе следовало подумать, что придется платить по счетам. Я не прощаюсь. (*Уходит.*)

Фред. Я знаю, о чем ты думаешь. Как прекрасно все получалось под душем.

Джим. Фред... Фред... Что делать?

Фред. В любом случае не платить.

Джим. Ты считаешь?

Фред. Она сядет тебе на шею, будет требовать еще и еще, выпьет из тебя всю кровь, и твоим детям придется ходить в государственную школу.

Джим. Я должен признаться Лоле. Должен, другого пути нет.

Фред. Почему?

Джим. Пусть лучше она узнает все от меня, чем от коварной мошенницы.

Фред. Думаешь?

Джим. Плюс это помешает меня шантажировать.

Фред. Ты не можешь сказать Лоле, что полгода ходил налево.

Джим. Почему не могу? Я куплю цветы...

Фред. Во всем Ботаническом саду нет столько цветов.

Джим. Тысячи людей заводили романы, а потом понимали, что ошиблись.

Фред. Ты слишком здраво рассуждаешь. Лола ни за что не простит супружеской измены. Измены отравили ей детство.

Джим. Откуда ты знаешь?

Фред. От верблюда.

Джим. Я объясню, что это ничего не значит. Маленькая мужская шалость.

Фред. Гениально. Какая жена устоит? Лола нежно улыбнется и принесет тебе свежую газету.

Джим. А если все отрицать? Мало ли, что плетет какая-то истеричка? Кому Лола скорее поверит?

Фред. Войдите!

Джим. Все кончено. Мне крышка. Выхода нет. Я буду гореть в аду.

Фред. Одну минутку: кажется, меня вызывают. Пошел сигнал... Чувствую, как лучи проникают в мозг...

Джим. Что мне твои лучи, мне нужна хорошая идея. Ради бога, мы же оба писатели...

Фред. Ужасные помехи.

Джим. А может, все-таки заплатить?

Фред. В такую погоду паршивый прием.

Джим. Что я наделал? Грехи отцов будут на детях!

Фред. Да что ж такое... Никак.

Джим. Или уехать, а? Купим фургончик, будем путешествовать — она нас ни за что не отыщет.

Фред. Наверное, кто-то готовит в микроволновке.

Джим. Нет, это не выход. Проклятье, что делать, что делать?

Фред. Потерпи... Есть! Есть!

Джим. Что есть, Фред?

Фред. Решение твоей проблемы поступило в кору моего головного мозга по гамма-каналу две тысячи.

Джим. Поздравляю. Мой мозг не подключен к кабельному.

Фред. Тебе следует избавиться от нее.

Джим. Угу. Это тебе сейчас пришло в голову?

Фред. Нет. Я имею в виду, избавиться буквально.

Джим. В каком смысле?

Фред. Голос говорит: тотальное устранение.

Джим. Отлично. И как это сделать? Не убивать же ее. А другого способа я... Я... (*Понимает, что́ Фред имел в виду.*) Фред, я серьезно, а ты...

Фред. И я серьезно.

Джим. Что серьезно? Убить ее?

Фред. Это единственный способ сохранить семью.

Джим. Ты затянул без лекарств.

Фред. Принимаю зеленый сигнал. Значит, путь открыт.

Джим. Фред, я не собираюсь ее убивать.

Фред. Почему?

Джим. Это безумие. Ты сумасшедший.

Фред. А ты всего лишь невропат. Кто старше по званию? Учись, пока я жив.

Джим. Это не выход, а если и выход, я бы не мог им воспользоваться, а если б и мог — не стал.

Фред. Почему? Это жест, достойный гения.

Джим. Это невозможно ни с психологической, ни с моральной, ни с интеллектуальной точки зрения. Это бред.

Фред. Это прыжок в неведомое.

Джим. Пусть остается неведомым.

Фред. Вопрос в том, как лучше это сделать.

Джим. Никак.

Фред. Я же не хочу, чтоб тебя в результате поймали. Сейчас в Нью-Йорке восстановили смертную казнь. Тыща ватт в задницу совершенно не решат твоих проблем.

Джим. Мне тоже так кажется. Фред...

Фред. Нам надо спешить. Эта женщина — враг, не исключено, что она зомбирована.

Джим. Ну ладно, закончили.

Фред. Если ты не пойдешь на ее условия, она все расскажет Лоле. В красках. Лола тебя любит, доверяет тебе, да, на какое-то время она посвятила себя детям, после родов это нормально, я уверен, все восстановится, и вы снова будете заниматься любовью на каждый День благодарения.

Джим. Это экстремизм. Ты экстремист!

Фред. А ты рационалист. Послушай, когда все пути ведут в тупик, я предпочитаю взлететь.

Джим. Да-да, ты взлетишь, а я сяду.

Фред. Тебя не поймают. Мы все идеально спланируем.

Джим. Поймают, не поймают — я не хочу. Это нехорошо. Сказано: не убий.

Фред. Где сказано? В правилах хорошего тона?

Джим. Мне пора домой.

Фред. Послезавтра у тебя не будет дома.

Джим. Как я не почуял, на что она способна?

Фред. Потому что ты — баран, славный упитанный барашек, лишенный воображения.

Джим. Я предал жену.

Фред. Безусловно. Не говоря о том, как скажется развод на невинных младенцах. Вдобавок близнецах. Мало им того, что придется жить в двойном экземпляре.

Джим. Нет, об убийстве не может быть и речи.

Фред. А как еще ты помешаешь ей пойти к Лоле? Как еще?

Джим. Не знаю. У меня страшно разболелась голова.

Фред. Сходи к акупунктурщику. Только не давай ставить иглы близко к спинному мозгу, как сделали мне.

Джим. Фред, пожалуйста...

Фред. Где она живет?

Джим. Возле "Коламбии". Фред...

Фред. Высотный дом? Там есть швейцар, который сможет тебя опознать?

Джим. Есть.

Фред. Какой этаж?

Джим. Двенадцатый.

Фред. Лифтер имеется?

Джим. Нет. Только швейцар.

Фред. Круглосуточно? Вряд ли.

Джим. Он все время уходит пить кофе.

Фред. Тогда можно подняться по лестнице.

Джим. Его не бывает минут десять, не дольше. Этого мало, чтобы взбежать на двенадцатый этаж, убить и вернуться.

Фред. Она кому-нибудь рассказывала о вашем романе? Может, подруге?

Джим. Нет, никому. Ни она, ни я. Я знаю точно.

Фред. Не забудь по пути купить перчатки.

Джим. Естественно. Не хватает оставить повсюду пальчики, чтобы... Фред, о чем мы говорим? Я совершенно не собираюсь ее убивать.

Фред. Придется, старичок. Или — прощай, Лола, простите, детки.

Джим. Это бесчеловечно! Я что, должен незамеченным пробраться в дом...

Фред. Так.

Джим. Позвонить в дверь...

Фред. Она будет ждать. Ты сначала позвонишь по телефону.

Джим. А потом что — задушу ее?

Фред. Это уж как решишь, выбирай сам. Задушишь, прибьешь, зарежешь кухонным ножом...

Джим. Можно удавить телефонным шнуром.

Фред. Как захочешь.

Джим. Или полиэтиленовый пакет на голову?

Фред. Инсценируй самоубийство... не знаю... ограбление.

Джим. Идеально. Я мог бы сочинить записочку, а лучше под каким-нибудь благовидным предлогом заставить, чтоб она сама написала. Ее как раз недавно уволили из журнала. Одинокая женщина, депрессия...

Фред. Смотри, какая идея: если бы ты сумел раздобыть немного крови ее группы, ты покупаешь пистолет и патроны, берешь плоскогубцы, вынимаешь пулю, делаешь с нее формочку, в этой формочке замораживаешь кровь, вставляешь в гильзу, приходишь и стреляешь ей в грудь. Она убита пулей из замороженной крови, пуля растворяется в теле — группа крови совпадает, — полиция находит убитую, но пули нигде нет. Входное отверстие есть, выходного — нет. (*В сторону.*) Войдите.

Джим. Можно уронить какую-нибудь вещицу на улице, попросить прохожего поднять, он оставит отпечатки. Потом я веду Барбару в знакомую гостиничку, записываюсь под именем Сэм и Фелиция Арбогаст[1], убиваю ее, оставляю в номере вещь с чужими отпечатками и смываюсь по пожарной лестнице.

Фред. Фелиция, Фелиция... Мне не нравится: старомодное имя.

Джим. Не вопрос. Джейн Арбогаст.

Фред. И потом: ты даешь образец почерка. Ничего не стоит провести экспертизу.

Джим. Я буду писать левой рукой.

Фред. Подожди-ка, подожди-ка... Нет, это тоже не получится.

Джим. Что?

Фред. Я подумал: ты запираешь ее в туалете, вставляешь в замочную скважину резиновую трубку и высасываешь весь воздух.

Джим. Я читал рассказик про то, как жена забила мужа бараньей ногой, а потом съела орудие убийства. Очень смеялся. (*Смеется.*) Съела орудие убийства.

Фред. Ничего смешного, Джим. Тебе надо устранить эту женщину, и как можно скорее.

Джим. Нет, Фред. Я не в состоянии.

Фред. В конце концов, может быть, самое лучшее — пригласить ее в кафе, потом пришить в темном переулке и ограбить. Пусть выглядит как разбой.

1. Арбогаст — фамилия сыщика из фильма А. Хичкока "Психоз".

Джим. Я не буду этого делать.

Фред. А с другой стороны, может, на самом деле тебе хочется порвать с семьей.

Джим. С чего ты взял?

Фред. Ну да, сбросить эту грымзу со своей шеи, избавиться от странной парочки однояйцевых пареньков и с полным правом говорить, что это не ты сломал им жизнь, ты не мог ничего поделать — ревнивая мерзавка разрушила семью.

Джим. Пожалуйста, избавь меня от своих псевдофрейдистских озарений.

Фред. Само собой — ты снова станешь свободен. Разведенный драматург, новая жизнь, актрисы, модели, ночные клубы.

Джим. Перестань.

Фред. Я угадал?

Джим. Пойми, я не отрицаю, что крупно прокололся. Я не говорю, что огорчился бы, если Барбара вдруг... вдруг...

Фред. Ну, скажи.

Джим. Скончается. Но она живой человек.

Фред. Ты так говоришь, как будто это хорошо.

Джим. Разве нет?

Фред. Как посмотреть. Ты когда-нибудь ходил на общее собрание жильцов?

Джим. Может быть, я действительно виноват перед ней. Может, недооценивал своей ответственности.

Фред. Ты вел себя как полный идиот. Чуточку не хватало внимания, романтики — и ты с головой бросаешься в адюльтер. Тайные ласки, милые шалости, то-сё. Теперь ты одумался — но уже поздно. Ты, оказывается, напоролся на интриганку. И в результате имеешь жалкий вид. Но это не страшно, большинство людей жалки. Впрочем, с другой стороны, посмотри на меня: я трагичен.

Джим. Я жалок, а ты трагичен?

Фред. Ну конечно. Во мне есть величие. Ляг карта иначе — я мог бы стать Шекспиром или Мильтоном.

Джим. Шутишь? С этой хохмой про восемь шлюх и "фольксваген"?

Фред. У тебя есть последняя возможность искупить свой грех. Предотвратить распад семьи, остановить мстительную тварь, которая не сумела заполучить, что рассчитывала, и теперь пустится во все тяжкие.

Джим. Это безнравственно.

Фред. А то, что ты делал до сих пор, — нравственно? Ты изменял жене, врал, нарушал брачный обет.

Джим. Да, согласен. Но я не убивал.

Фред. Ты говоришь "убивал" таким тоном, будто это что-то немыслимое. Для действительно творческих умов, вроде моего, это лишь одна из возможностей.

Джим. Вот в чем разница между нами, Фред. У тебя мания величия. А я человек земной. Я не получаю указаний с крыши Эмпайр-стейтбилдинг или с космического корабля.

Фред. Это дело поправимое. Я знаю одного нейрохирурга, поставит тебе хорошую тарелку.

Джим. Я признаю иудеохристианскую мораль.

Фред. Получаешь указания от мирового сионизма?

Джим. Ты путаешь психоз и вдохновение.

Фред. Ну хорошо, не веришь мне — почитай рецензии. Что, по-твоему, критики имели в виду, когда вежливо называли тебя прекрасным профессионалом?

Джим. Что в своем деле я мастер. А ты всего лишь псих.

Фред. Вот почему вместе мы отличная команда.

Джим. Да не хочу я быть с тобой в одной команде.

Фред. Ты просто трусишь.

Джим. Возможно. Но это мой выбор. Я решительно отвергаю насилие. Я понимаю, что меня ждет, но за свои поступки надо отвечать, и даже если Барбара решила превратиться в гадюку, лишить ее жизни для меня совершенно неприемлемо.

Фред. Вот где корень твоих проблем, дружок. Ты не способен шагнуть в неведомое.

Возвращается Барбара.

Барбара. Нам надо поговорить.

Джим. Барбара, я подумал...

Барбара. Хорошо, что ты еще не ушел.

Фред. Барбара, у тебя нет аллергии на средства от тараканов?

Джим. Фред!

Барбара. Нам надо поговорить с глазу на глаз.

Фред. С глазу на глаз? Как же это устроить?

Барбара. Чтобы вас здесь не было.

Фред. Но мы соавторы.

Джим. Ладно, Фред, оставь нас ненадолго, мы же с тобой не сиамские близнецы.

Фред. А как же наши совместные творческие планы?..

Джим. Прошу тебя, нам с Барбарой надо поговорить. Пойди пока поболтай с центром управления.

Фред. Ладно. Валяйте. Я ушел. (*Джиму вполголоса.*) Видишь красную ауру вокруг нее? Единственный раз я видел такую же вокруг Никсона. (*Уходит.*)

Джим. Барбара, прости меня. Мне очень, очень жаль.

Барбара. Мне надо было взять себя в руки.

Джим. Я решил, что совершенно убил тебя.

Барбара. Просто ты застал меня врасплох, я была не готова.

Джим. Пожалуйста, прости. Расставание никогда не бывает легким.

Барбара. Я сама знала, на что иду.

Джим. Я действительно не давал тебе никаких обещаний. Мы оба взрослые люди.

Барбара. Я была тогда выбита из колеи. Потеряла работу, стала попивать...

Джим. Я понимаю. И у меня дома было неладно. Может, там уже ничего не поправить, но заводить интрижку на стороне, конечно, не выход. Если я могу что-то для тебя сделать...

Барбара. Триста тысяч долларов.

Джим. ...ты только скажи.

Барбара. Триста тысяч сейчас и двести в конце года.

Джим. Прости, что?

Барбара. Ты неплохо получил за сценарий. Думаю, пол-лимона осилишь.

Джим. Барбара, что ты говоришь, подумай!

Барбара. Ты подумай. Я могла бы сломать тебе жизнь, но не буду. Это чего-нибудь да стоит.

Джим. Полмиллиона долларов?

Барбара. Ты собираешься торговаться? Ну ладно, тогда я пошла к Лоле.

Джим. Я не могу заплатить такие деньги.

Барбара. В смысле — не хочешь.

Джим. И не хочу. Даже если бы мог. Потому что ты ведь не остановишься. Ты будешь доить меня в будущем году и через год.

Барбара. Джим, не в твоем положении диктовать правила игры.

Джим. Я пытаюсь выбраться из дерьма, в которое угодил, а не закопаться поглубже. Так мы никогда не расстанемся. Год за годом ты будешь пить из меня кровь, а я не смогу даже пикнуть.

Барбара. Деньги я хочу получить завтра — в смысле, первый платеж. У тебя есть сутки.

Джим. Мне не нужны сутки.

Барбара. Если не появишься завтра до полудня, я буду считать, что ты выбрал скандал. Решай. Спокойной ночи.

Она уходит. Джим не знает, куда пойти, затем достает мобильный телефон.

Джим (*с пафосом*). Ничего ты не будешь считать. Потому что я сам, сам все расскажу Лоле. Я покаюсь. Я буду рыдать и ползать на коленях. Лола интеллигентный человек — может, она сумеет меня про-

стить. Не будем загадывать. Но я не смогу существовать, зная, что в любой момент мою жизнь можно пустить под откос. Она ведь будет требовать больше и больше. И я буду вынужден давать. И больше и чаще. Что я скажу Лоле? Прости, Лола, мы теперь не сможем платить за эту квартиру — но я не скажу тебе почему. С отпуском тоже не получится, и вообще мальчикам придется пойти работать. Бедные двойняшки...

На сцене незаметно появляется Фред и молча смотрит на Джима, который, не видя его, говорит по телефону.

Алло, Лола, это Джим. Джим Свейн. Твой... твой муж. Твой старый Джим Свейн, Джим Свейн, ха-ха-ха... Ну что, как поживаешь? Неплохо?.. Да, все в порядке. Что? Нет, не выпил. Просто захотелось поболтать. Ты знаешь, я тебя люблю, ха-ха... Лола, я хочу тебе кое-что сказать...

Фред вырывает у него телефон и бросает на землю.

Фред. Что ты делаешь?

Джим. Это *ты* что делаешь?

Фред. Ты что, собрался признаться Лоле?

Джим. Да, собрался. Знаешь, ты прав: у Барбары очень красная аура. Я уверен, что тоже видел ее. Она хочет пятьсот тысяч долларов. Для начала. Нормально, да? Триста тыщ завтра, а остальное до конца года. Но я не заплачу. Ни доллара, ни цента.

Фред. Не надо волноваться. Через двадцать минут Барбара будет в Атлантическом океане. Или в Покипси — если течение идет вверх.

Джим. Ты не понял, Фред... Ты... Ты же не?..

Фред. Я не ошибся, Джим: она получала приказы из другой галактики.

Джим. Фред, скажи: ты ведь пошутил?

Фред. Успокойся, тебя никто ни в чем не заподозрит.

Джим. Господи боже мой...

Фред. Остроумно придумали: вживили ей компьютерный чип прямо в ухо. Она была частью их плана порабощения Бронкса.

Джим. Мне надо отсюда уйти.

Фред. Если ее когда-нибудь и найдут — где-нибудь в открытом океане, — это будет выглядеть как самоубийство. Без вариантов. Ты же сам говорил: одинокая женщина, потеряла работу.

Джим. Ты бросил ее в Гудзон?

Фред. Все наши с тобой разработки... Литературщина. Лучшие сюжеты — простые сюжеты. Я сидел на лавке, она шла мимо, вокруг никого, и я почувствовал вдохновение. В этом разница между нами, Джим: ты бы начал анализировать и рассуждать. А я не гонюсь за правдоподобием, мне логика необязательна. Я просто пошел за чувством.

Джим. Меня сейчас вырвет.

Фред. Слушай, Джим: забудь про отчисления за фильм, забудь о совместной работе. На самом деле я вовсе не хочу возвращаться в писатели — я и забыл, какое скучное это дело. Скучное и одинокое, Джим. А меня зовут в экипаж "Аполлона": поговаривают о пилотируемом полете на Альфа Центавра. Но ты не бросай кино. Ты прекрасный профессионал, хотя я все-таки посоветовал бы тебе поискать соавтора: в этом нет ничего зазорного — признать, что не справляешься в одиночку.

Джим. Я в полном шоке.

Фред. Посмотри на звезды, Джим. На многих из них тоже есть жизнь. Но это вовсе не значит, что там друзья. Цель нашей экспедиции — изучить кое-какие подозрительные закоулки Вселенной. Мы должны быть готовы встретить любую неожиданность лицом к лицу. Президент в курсе, мы с ним подробно все обсудили. Там отнюдь не райские кущи...

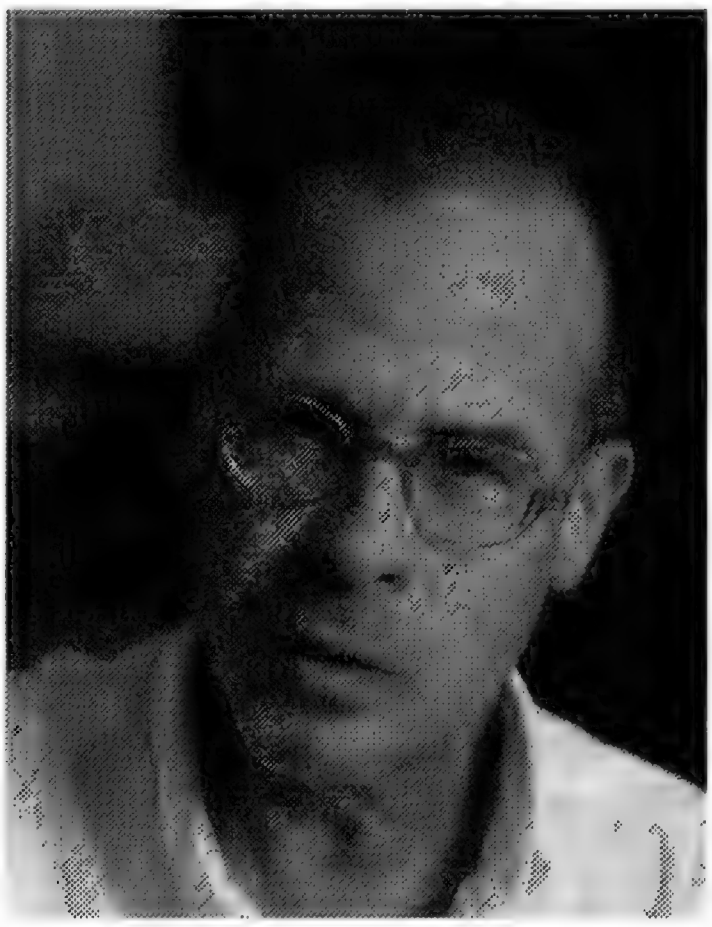
Звонит мобильник. Джим отвечает.

Джим. Слушаю. Лола? Да. Нет, ничего — просто разъединилось. Нет-нет. Я хотел сказать... Я позвонил, потому что соскучился. Я зайду за тобой на работу и вместе пойдем домой. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я... знаешь, Лола... (*Уходит, пока Фред произносит монолог.*)

Фред. С Нептуном я попробую договориться по своим каналам. Хотя там может быть ловушка. Даже не понимаю, чем мы их так разозлили. Ничем, говоришь? А ты подумай получше. Не умеешь ходить налево — не ходи, и скажи спасибо, что все обошлось: слишком велика цена — любовь к Лоле. Войдите!

Затемнение

Меир Шалев



В *доме своем в пустыне*

Главы из романа

Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман

В*от он я*

ВОТ он я – дрожащим на воде отраженьем. Миллион соломенных волос теснится на голове. Лоб – низкий и гладкий. Сотня молочно-белых зубов сверкает во рту. Кривая улыбка.

– Когда ты наконец повзрослеешь, Рафаэль? – спрашивает Мать.

– Когда ты наконец умрешь, Рафинька? – любопытствует Бабушка.

– Когда ты наконец присоединишься к нам? – дивятся четверо Наших Мужчин – Дед, и Отец, и двое Дядей, – висящие в коридоре, ждущие меня.

– Рафауль, обезьяна ты эдакая, бизабразина! – смеется сестра. – Почему ты от нас ушел? Так плохо тебе было с нами? – И слово "безобразина" она произносит, как все женщины в нашей семье: "и" после "б" и "а" после "з". "Бизабразина".

А две мои Тети – Черная с Рыжей – только качают коротко стриженными головами, качают беззвучно. Кач-покач, молчи-не-плачь – качают, молчат, уличают. Одна поддакивает всерьез, другая подражает с улыбкой – вниз-и-вверх, вверх-и-вниз, в слитном ритме, дарованном им родством, и судьбой, и годами.

© Meir Shalev, 1998
© Р. Нудельман, А. Фурман. Перевод, 2004

Название книги восходит к библейскому рассказу о военачальнике Иоаве, который прогневил царя Давида и был им проклят, а впоследствии по приказу царя Соломона, сына Давидова, был убит его слугой Ванеей: "И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне" (Третья Книга Царств, 2:34). *(Здесь и далее – прим. перев.)*

Этот уединенный водоем — ни разу не довелось мне приметить на его берегу чьи-нибудь чужие следы, притоптанную золу или остатки пищи — я навещаю каждые несколько дней, едва лишь оказываюсь поблизости по работе. Как овальная глубокая чаша, эта притаившаяся в пустыне обитель водяных лилий вся затенена отвесными стенами скал и даже летом сохраняет бóльшую часть своей воды.

Потаенное мое озерко. Даже Роне — моей бывшей жене, моей нынешней возлюбленной, моей будущей беде — я не открыл, где находится оно, но однажды взял ее туда.

— Закрой глаза, Рона, — сказал я ей. — Не хочу, чтобы ты видела, куда мы едем.

— Ты настолько уверен, что я не буду подглядывать? — Она посмотрела на меня сквозь трепетанье сдвинутых почти вплотную ресниц.

— А что, у меня есть другой выход?

— Есть. Ты можешь завязать мне глаза.

В нескольких километрах к западу от нашей новой скважины я останавливаю машину и озираюсь. Никого. Короткий рывок, и пикап перепрыгивает через каменный порог перед устьем уходящей вбок расщелины. Пара царапин на железном брюхе, и вот я уже за выступом скалы. Кто бы ни проехал теперь по главной дороге, не увидит ни пикап, ни ее, ни меня.

Вот он, изгиб пересохшего русла, вот она, белая нагота утеса. Все мои старые приятели уже ждут меня не дождутся. Привет вам, две бесстыдно растрепанные акации, и тебе привет, крохотная пичуга с черным хвостом, мечущаяся между ними словно в постоянном сомненье, — когда же ты наконец решишься, которую выбрать? Я обрываю урчанье мотора, заглушаю шелест "моторолы", и вокруг воцаряется великий покой. Глубокий и мягкий — как тот, в который погружается голова, когда покоится меж ее грудей.

Какое-то время я стою так, приучая тело и чувства. А затем, подобно первым звездам пустыни, что вспыхивают одна за другой с наступлением ночи, первые звуки раздвигают занавес тишины. Поначалу — крохотная пичуга с черным хвостом, зазывно попискивающая в моих ушах. Потом — воздух, гудящий в моих легких. И следом — кровь, свирепеющая в моих сосудах.

Вот он, черный камень, а вот и огромный валун, который некогда приволокло в эти края древнее наводненье. Ниже-ниже скатывалась тогда вода, и пела, гудя, и перепахивала, и взрезала, разливаясь, и бурлила, бессильно оскудевая в глубинах своих желаний. Когда-то, еще в школе, у нас был старенький учитель физики, которого так возбуждали чудеса притяжения, что он забывал о законах Ньютона и начинал рассказывать нам всякие небылицы. "В самой глубине земного шара сидит старик и тянет, и тянет, и тянет..." — сообщал он нам, и поскольку тоже был стар, то и сам начинал тянуть руками за воображаемые веревки, и на лице его проступало выражение крайнего усилия, благодаря которому я его и запомнил. Кто лучше тебя, сестричка, знает, что память у меня никудышная. Слова и факты протекают сквозь меня, словно медяки сквозь дырявый карман. Зачем помнить то, что можно придумать? Но запахи и картины, но вкусы и прикосновенья — эти врезаны в меня, как надпись в надгробный камень.

В свои пятьдесят два года, старше всех мужчин, что жили и умерли в нашей семье, я тоже превратился в большого поклонника силы притя-

жения. Но я верю не в силу притягивающих тел, а в стремление тел притягиваемых: ниспадать, низвергаться, все ниже-ниже, и скатываться, и собираться в том месте, ниже которого ничего уже нет, — в том, где наконец обретают покой.

Только зов моей плоти — там, ниже-ниже, в моих пропастях. Только гладкие камни, поющие под ногами. И тоска, что сжимает сердце в своей горсти и направляет мои шаги. Вот он, каменный гриб, а вон там, внизу, два могучих валуна, которым все-таки удалось сорваться с утеса и рухнуть на дно пересохшего русла. А вон и тот, третий, что застрял на полпути, посредине склона, и с тех пор ждет там, гневный, молящий: скати меня вниз, Рафаэль, толкни меня, низвергни меня к моему спасению.

Сбиваясь на бег, сбиваясь с дыхания, я взбираюсь по скальным ступеням. Здесь я сказал ей: "Осторожней, Рона, тут большой камень". Здесь я взял ее за руку, а здесь возвестил: "Всё, мы на месте, можешь снять повязку".

Но Рона сказала, что ей приятней оставаться так, с повязкой, и с нее вполне достаточно окунуть руку в воду, чтобы убедиться, что я ее не обманул, что тут и в самом деле есть озерко, и ей хочется полежать на его берегу. Рядом со мной. Именно так, любимый мой, с завязанными глазами, чтобы запомнить, что я была здесь с тобой, доверчивая и слепая.

Еще несколько осторожных шагов, и я ложусь ничком над потаенностью каменного рта. Вот краешек водного среза, вот дрожащая рябь, а вот и я, глядящий из глубины. Ты ждал меня, Рафаэль? Ты соскучился? Комариные личинки испуганно разбегаются от тени моего тела, и высоко-высоко надо мной, в отверстии скальной трубы, — круглый глаз небосвода.

Глянь на меня, голубое небесное око, на родившегося и растущего тебе навстречу, глянь на меня, когда я всплываю к тебе из глубин. Скажи и ты: "Когда ты наконец повзрослеешь, Рафаэль? Когда ты наконец умрешь, Рафаэль? Когда наконец и ты присоединишься?"

Я рос сиротой

Я рос сиротой, без отца, без дядей и деда, в доме, где жили пять женщин — моя Мать, моя Бабушка, две Тети и ты, моя маленькая сестричка-паршивка, — которые воспитывали меня, ласкали меня, кормили меня, пересказывали мне свои воспоминания и подводили к стене в коридоре.

Там, на известковой белизне, висят четыре больших фотографии четырех Наших Мужчин. Вот они: Наш Рафаэль, Наш Дедушка Рафаэль, который был Бабушкиным мужем. Наш Давид, который был нашим с тобой Отцом и мужем нашей Матери. Наш Эдуард, который был мужем Рыжей Тети и хозяином белой крысы, что вечно сидела у него на плече и даже тут, на фотографии, тоже там сидит. И Наш Элиэзер, Дядя Элиэзер, ветеринар, автодидакт[1], который был мужем Черной Тети и братом Рыжей. Все четверо погибли рано, как и все прочие мужчины в нашем роду, от самых разных и странных несчастливых случайностей. И все четверо были повешены, один подле другого, на стене коридора и удос-

1. Самоучка — от *греч.* autos сам + didaktos обученный.

тоились звания "Наш", которое наши женщины присвоили каждому из них после его смерти.

Дважды в неделю Бабушка готовила мне жидкость для чистки стекол — из уксуса, разведенного в воде. "За такую бутылку в кооперативе требуют уйму денег", — ворчала она. "Уймой денег" она называла любую цену, которая представлялась ей слишком высокой, а слишком высокой представлялась ей любая цена, которую у нее просили. Она учила меня окунать в раствор старую газету и до блеска тереть ею все четыре портрета. "Нечего зря тратить тряпку", — говорила она. У нее на веранде лежала куча тряпок, но все они приберегались на черный день ("Ойф нит цу бедарфн, — объясняла она. — Дай Бог, чтоб не понадобилось"), а старыми газетами можно было чистить не только стекла на портретах Наших Мужчин, но и оконные стекла тоже, а еще ими можно утеплить ботинки и сунуть под подкладку пальто, если, не приведи Господь, придется опять бежать по снегу, потому что снег всегда идет как раз в тот самый день, когда приходят погромщики, и ты лучше не умничай мне тут, маленькая паршивка, какая разница, что тут нет казаков и снега, зато тут есть арабы и песок, а это в точности одно и то же.

Я с силой дул на портретные стекла, и сдувал с них пыль, и тер их смоченной в уксусе бумагой, пока они не становились такими прозрачными, что их вообще уже не было видно. Но я знал, что они все еще там, как знали это и те четверо, что смотрели на меня из-за них — вместе с белой крысой Нашего Эдуарда — и ждали меня каждый в квадрате своей рамки и каждый за скорбью своего стекла.

— Я кончил, — сообщал я Бабушке. — Можно я почищу еще что-нибудь?

— Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает женскую работу.

— Я хочу пи-пи, — пробовал я зайти с другой стороны. — Можно я пойду в ваш туалет?

— Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает пи-пи в женской уборной.

Как пять лепестков, окружали мой стул пять этих женщин, высились, как шахматные фигуры, вокруг моей колыбели, склонялись, как ивы, над тазом для моего мытья.

— Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше? — допытывались они у меня.

— Нет, — отвечал я заученно, послушно и готовно. — Нет, я не знаю.

Даже сейчас — а тебе уже пятьдесят два, твержу я себе снова и снова, и ты самый старый из всех мужчин, что жили и живут еще в твоем роду, — даже сейчас они время от времени навещают меня в моем доме в пустыне. Они привозят мне свои разносолы, они проверяют, хорошо ли я выгляжу, в порядке ли мои десны и чисто ли в моих шкафах, они делают мне замечания и интересуются всеми моими делами. И мне не раз бывает нужна их хорошая память, особенно твоя память, сестричка, как и ты сама нужна мне — как якорь и зеркало, как компас и мишень: чтобы выжить, чтобы отыскать пути, чтобы рассказать самому себе эту историю, которую наконец приспело рассказать, пока я не умер тоже.

— Почему ты от нас ушел, Рафауль?

— Когда ты вернешься?

— Так плохо тебе было с нами?

В моей пустыне есть место, откуда глазу открывается огромный простор, на первый взгляд — монотонно однообразный, но, если присмот-

реться, весь исполосованный шрамами неприметных глубоких расщелин, и в тенях его таятся подвохи, а среди скал скрыты сокровища, и горячий воздух дрожит над ним в переливах иллюзий. Так и ты, сестричка: слова ты помнишь, секреты ты знаешь, но тропы пальцев на моей коже? Овечьи следы моей любви? Иссохшие колодцы? Осыпавшиеся утесы моего гнева?

История моей жизни

Историю моей жизни, как и жизни любого человека, можно начать с тысячи разных мгновений и в сотнях различных мест:

С момента моего рождения в Иерусалиме — если вести ее просто и прямо, как одну из тех водоводных труб, за которыми я надзираю в пустыне.

Со дня моей женитьбы на Роне (твоей бывшей жене, твоей нынешней возлюбленной, твоей будущей беде, это я тоже твержу себе снова и снова) в доме ее родителей в Хайфе, в тени двух сросшихся верхушками сосен — если вести ее маршрутом глубоких скважин и ножевых ран.

Со дня моей смерти в этой пустыне — она вскоре наступит, эта смерть, нет сомнений, даже если замешкалась немного, — если вести ее обратным ходом, пятясь в прошлое безглазым затылком, испуганными ногами.

Так или иначе, моя жизнь, как и жизнь любого человека, куда проще ее сюжета. Начну, например, с первой встречи наших родителей.

Наша Мать приехала в Иерусалим из мошавы[1] "Киннерет" и поступила в учительскую семинарию имени Давида Елина[2]. А Отец, который погиб несколько лет спустя во время армейских маневров, раздавленный гусеницами танка на ночной стоянке своего резервного батальона, приехал из Тель-Авива и учился на медицинском факультете университета, что на Сторожевой горе[3]. Как просты они, эти начала: лишь напряг крыльев перед полетом. Лишь дрожащий намек перед раскрытием тайны. Мгновенный проблеск перед взмахом косы и хлынувшей кровью.

И как запутаны продолжения: каждый год в день памяти Отца ("Почему это день памяти устраивают только умершим? — спросила ты однажды. — Давайте устроим день памяти Рафауля, пока он еще жив, пусть привыкает") — каждый год в этот день Мать непременно вспоминает их первую встречу. И поскольку она нередко думает и вспоминает вслух — точно так же, как вслух читает свои книги, — мы снова и снова удостаиваемся возможности услышать и повторить уже выученные наизусть детали. А поскольку ее стареющая память, подобно заброшенной тропке, меняется с каждым годом — старые следы зарастают и новые стебли встают над пылью, — мы удостаиваемся также возможности припомнить с ее помощью то, чего не было, и забыть вместе с нею о том, что когда-то было и чего давно уже нет.

То был холодный и прозрачный зимний день. Отец в большой спешке вышел из книжной лавки "Игарта" ("Сегодня это книжный магазин

1. Мошава — сельскохозяйственное поселение в Израиле, основанное на принципе частной собственности.
2. Давид Елин (1845—1941) — израильский писатель, педагог, ученый, основатель Союза учителей Израиля, первый президент Академии языка иврит.
3. Сторожевая гора возвышается над северо-восточным краем Иерусалима; с незапамятных времен играла решающую роль в многочисленных сражениях за Святой город.

'Ярден'" – в очередной раз сообщает Мать всем жаждущим сориентироваться поточнее) – и тут же увидел ее. Она стояла под большим кипарисом на площади Сиона[1] ("Сегодня он превратился в эвкалипт" – в очередной раз снисходительно поправляет ее моя язва-сестричка) и читала только что купленную книгу, восторгаясь тем, как складно соединяются между собою слова, и наслаждаясь близостью могучего дерева, тень и запах которого напоминали ей родительский дом в мошаве "Киннерет". Сегодня уже не учуять запах этого эвкалипта, что на месте тогдашнего кипариса, – его перекрывает удушливая гарь рычащих автобусов, жаркий пот городской толпы да кислая вонь мочи и отбросов, – но "в прежние времена", как наша Мать именует времена мандата[2], это еще было возможно.

Наша Мама любит читать. В сущности, читать она любит больше всего и всегда загибает "ушки" на страничных углах вместо того, чтобы просто вложить закладку. Есть книги, которые она никак не может закончить, и тогда она говорит: "Мне неприятно бросать посредине, Рафи. Может, ты дочитаешь за меня? Вот, это как раз то место, где мне надоело. Продолжай с последнего ушка". Так она делала в детстве, в нашем доме в Иерусалиме, так и сегодня она привозит эти пристыженные книги с их загнутыми ушами ко мне домой, и я дочитываю их здесь, в пустыне. Ее отец, Дедушка Рафаэль, – ему было тридцать девять, когда он покончил с собой, один из самых молодых покойников в нашем роду, – научил ее буквам еще до того, как ей исполнилось три года. Вскоре она уже научилась опознавать и выпевать все буквы до единой, и тогда Дедушка Рафаэль поразвешивал для нее повсюду записки с названиями всех предметов, и инструментов, и деревьев, и живых существ, что были в их доме и во дворе, вроде: "стол", "шкаф", "ко-ро-ва", "о-тец", "кастрю-ля", "дверь", "Ре-у-вен", "кран", "ки-па-рис".

Записка со словом "Реувен" была пришпилена к рубашке их старшего брата, Нашего Реувена, как его называют Бабушка, и Мать, и Черная Тетя, которые всегда говорят о нем с жалостью и любовью. Его жена, тетя Иона, принесла ему в приданое целые стада рогатого скота и верховую лошадь, которая сбросила его с седла. Голова Дяди Реувена раскололась, ударившись об одну из базальтовых плит в долине ручья Явниэль, и лишь два дня спустя, когда в небе начали кружить черные точки, люди, тщетно искавшие его все это время, пошли к тому месту, над которым они кружили, и нашли там дядино тело.

– А на Бабушку? – спросил я Черную Тетю.

– Что на Бабушку? – Черная Тетя выплюнула косточку финика, и та, пролетев по коридору, ударилась о белую стену, отскочила и присоединилась к своим многочисленным сестрам, уже густо усеявшим пол.

– На Бабушку он тоже повесил записку "Ба-буш-ка"?

– Нет, Рафаэль, на Бабушку он повесил записку: "Ма-ма". В те времена она была только нашей мамой, а не твоей Бабушкой.

Мать была сообразительным ребенком. "Умничка моя", – называл ее Отец, и поскольку она была как раз в правильном возрасте ("Для всего на свете есть правильный возраст", – говорит Рыжая Тетя), между нею

1. Площадь в центре Иерусалима.
2. После Первой мировой войны согласно так называемой декларации Бальфура, одобренной Лигой Наций, Британия получила мандат на управление всей Палестиной. Срок действия этого мандата закончился в 1948 г. Последний верховный комиссар сэр А. Дж. Каннингем, занимавший этот пост с 1945 г., покинул страну 14 мая 1948 г.

и языком сразу же завязались отношения. Буквы казались ей лицами, слова – картинками, и она больше не соглашалась слушать, как ей читают, но хотела читать сама или же сидеть рядом с читающим и в оба глаза смотреть на перелистываемые им страницы.

– Я должна видеть слова, – говорила она каждому, кто предлагал почитать ей сказку.

В силу своей замечательной словесной памяти и обостренного чувства языка, тех двух способностей, которыми она наградила тебя, но, увы, не меня, Мать ухитрялась угадывать даже значения незнакомых ей слов. "По их форме, – говорила она всем, кто удивлялся этому. – А вы что, разве не видите?" "А ну-ка, напиши девочке какое-нибудь трудное слово, – бывало, обращался к гостю Дедушка Рафаэль. – Напиши такое слово, что даже взрослые с трудом понимают".

– Это что-то про лошадей, – говорила Мать, увидев слово "аллюр". – Это где-то здесь! – говорила она о слове "кушак", победно кладя руку на талию.

И слово "пион" она до сих пор произносит как "пьён", потому что именно так научил ее впервые отец и именно так это врезалось в ее память.

В четыре года она уже читала вовсю, радостно и бегло, и самое большое удовольствие от этого жадного чтения получала дочь соседей, ее ровесница Рахель Шифрина, которая стала ее лучшей подругой.

– А вам? – спрашивал я Черную Тетю. – Тебе и Дяде Реувену она тоже читала?

– Нет.

– Но ведь она же ваша сестра!

– Наш Реувен был уже большой и все время занят по хозяйству, а я не хотела. Хоть я и высокая, но сказки я не люблю.

Черная Тетя видит повадки мира и обитающих в нем творений на свой особенный лад: "Я не понимаю, как такой блондин может преуспевать в математике, – сказала она однажды об одном из своих кавалеров, а о другом обмолвилась: – Хоть он и боится высоты, но прекрасно играет на скрипке".

Мать читала дочери соседей и самой себе книги, а ее младшая сестра носилась по двору и по полям, ввязывалась в драки, играла и лазила по деревьям – точно так же, как продолжала это делать многие годы спустя, когда стала взрослой и превратилась – благодаря мне – в Черную Тетю.

Она очень метко стреляла камнями из пращи, которую украла у арабского пастуха, когда тот полез искупаться в озере, и, хотя уже тогда была убежденной вегетарианкой и питалась в основном овощами и финиками, все же согласилась отстреливать с помощью этой пращи голубей, расхаживавших по черепичной крыше коровника, потому что Бабушка, уже тогда убежденная скряга и скупердяйка, сказала, что, если добавить этих голубей в семейный котел, ей не придется сворачивать головы курам, расхаживающим по двору.

Что же до Дедушки Рафаэля, "Нашего Рафаэля", то он был убежденный самоубийца. Спустя несколько лет он повесился, оставив после себя лишь долги жене, имя – мне да предмет для великого спора всем женщинам в нашем семействе: считать самоубийство мужчины естественной смертью или тоже отнести его к несчастным случаям? Вопрос

любопытный и вполне достойный обсуждения, сестричка, но не из-за него я вас оставил. Не из-за этого.

Вернусь к первой встрече

Вернусь к первой встрече наших родителей. Отец вышел из книжной лавки "Игарта" (которая сегодня книжный магазин "Ярден"), прошел мимо матери, которая стояла и читала в тени эвкалипта, остановился, постоял, повернул, опять прошел мимо нее, еще раз вернулся, пожирая ее глазами, развернулся и на четвертый раз набрался смелости и спросил ее, что за книгу она читает.

— Он остановился возле меня, но в тень дерева не вошел, потому что был вежливый юноша, — рассказывает Мать и тут же добавляет: — Это дерево и сейчас стоит на площади Сиона, — чтобы те из слушателей, которые заинтересованы в паломничестве к месту их встречи, знали, куда именно им следует направить шаги.

Она улыбнулась ему, и не только из-за его хороших манер, но еще и потому, что сразу увидела, что они с ним в точности одного роста.

— Ты хочешь сказать "росточка", да, мама? — смеется сестра, которая выше меня и наших родителей по меньшей мере на полголовы.

И еще прежде, чем Мать ответила ему, Отец, все в том же приступе отчаянной смелости, пригласил ее в кафе, что на противоположной стороне площади, — то кафе, которого там тоже сегодня уже нет, как нет и находившегося по соседству кинотеатра, — разделить с ним стакан чаю с лимоном и пирожное под названием "шнекке"[1], которое сегодня тоже там уже не пекут и не едят и оно лишь медленной-медленной улиткой вползает в ностальгические сны пожилых иерусалимских ашкеназов[2].

— Мы сидели там, пили чай с лимоном и разговаривали. Сначала о книге, которую я читала, потом о других книгах, а под конец каждый говорил о своем море. Наш Давид говорил о Средиземном море, а я рассказывала о Киннерете[3], и мы так смеялись, что два английских офицера рассердились, встали и ушли.

И потом, со вздохом:

— А кончилось тем, что мы остались в Иерусалиме. Без всякого моря, зато друг с другом.

— Видишь, — сказала сестра. — Если бы ты не пила с ним чай и не говорила с ним о море, он был бы жив до сих пор. Я бы, конечно, не родилась, но он по крайней мере был бы жив.

— Я не знаю, что лучше, — сухо ответила Мать. И удивленно добавила: — От кого у тебя такая злость? Ни я, ни Отец не были злыми.

— Я не такая злая, как тебе кажется, — вскинулась сестра. — Да и ты, извини меня, не такая добрая, как тебе кажется, а Нашему Давиду, позволь тебе напомнить, уже не так важно, добрый он был или злой.

— Паршивка! — сказала Мать. — Отродье бездомной собаки и сестрица мусорной кошки — вот чем наградил меня Господь.

1. Шнекке (*нем.*; букв. "улитка") — сладкое печенье из полосок теста, свернутых в виде спирали.
2. Ашкеназы — выходцы из Центральной и Восточной Европы (эти страны когда-то назывались у евреев "Ашкеназ"), говорящие на языке идиш, близком к немецкому.
3. Киннеретом в Израиле называют Генисаретское, или Тивериадское, озеро (также Галилейское море) — озеро на северо-востоке Израиля, самый большой в Израиле и самый низкий в мире (210 метров ниже уровня моря) пресный проточный водоем.

— Замечательно, мама. Можешь повесить на нашем доме объявление: "Приют для бездомных животных"!

Отец с Матерью справили свадьбу в доме друзей, заняли денег и уплатили первый взнос за квартиру в нашем квартале, который тогда как раз начали строить. А пока им сняли комнату в одиноко стоящем каменном доме на въезде в район Ромема, рядом с северо-западным углом ограды Библейского зоопарка[1].

— И вот в этом доме и был зачат Рафаэль, — заканчивает Мать, берет свою книгу, открывает ее на странице с последним по счету загнутым ушком и поднимается с места.

— Поминанье окончено!

Слушатели — Бабушка, и сестра, и обе Тети, и еще несколько родственников и друзей, которые помнят Отца даже спустя столько лет и каждый год приходят помянуть его, — наполняются торжественной важностью, которую распространяют вокруг себя слова "поминанье" и "зачат", а Мать, с такой же торжественной важностью, вновь удаляется в "комнату-со-светом", которая когда-то служила кабинетом Отцу и где теперь никогда больше не гасят свет, потому что она читает там свои книги, и грызет свои облатки[2], и всю ночь не смыкает глаз.

Строительство зоопарка

Строительство зоопарка и заселение его клеток были тогда в самом разгаре. Каждый день со Сторожевой горы, где раньше содержались животные, прибывал маленький грузовик и выгружал павлинов с увядшими хвостами, попугаев, выцветших от холода, и обезьян с потухшим взглядом. Привезли и огромного тигра с написанным на широченной морде крайним удивлением и волочащимся за лапой грязным бинтом. Льва, явно знававшего лучшие времена, усыпили перед переездом и прямо так, спящего, вкатили в его новую клетку, и двое маленьких сирийских медвежат начали реветь по ночам из своих новых бетонных берлог.

Стена родительской комнаты прилегала к забору "королевских оленей". Английский король Георг ("Его Королевское Величество Георг Пятый", — поправляет Рыжая Тетя, бракосочетание которой с Нашим Эдуардом происходило во дворце Верховного Комиссара, в присутствии самого сэра Алана Каннингема лично) прислал этих оленей из своего поместья в подарок жителям Иерусалима.

Огромные, рыжие и прекрасные были они, с этими своими великолепными светлыми пятнами и величавой развесистостью рогов, и хотя я никогда не видел Дядю Эдуарда кроме как на стене коридора, где он висит рядом с остальными Нашими Мужчинами, я всегда представлял его себе в виде одного из таких оленей — только с более светлой шерстью и без белых пятен на спине, — пасущимся на сочной зеленой траве королевского поместья, ибо Дядя Эдуард тоже был из Англии и его тоже прислал Английский Король в подарок Стране Израиля. Только не всем ее жителям, а одной-единственной женщине.

1. Библейский зоопарк — собрание животных, упоминаемых в Библии; в ту пору находился на северо-восточной окраине Иерусалима, сейчас на его месте религиозный квартал вокруг "Санедрии" — дома отпевания покойников.
2. Облатки — в Израиле это небольшие, круглые и очень тонкие, лист, соленые крекеры.

По ночам, когда темные кошмары обезьян воплями врывались в ее сны, Мать просыпалась, прислушивалась к непрестанному металлическому побрякиванию и понимала, что это два оленя-самца, большой и молодой, закрыв глаза, бьются и бьются своими могучими телами о железные прутья забора.

"К животным Иерусалим еще злее, чем к людям", — написала она в одной из своих записок. Тогда она оставляла записки Отцу, своему покойному ныне мужу, а сегодня мне, своему беспокойному ныне сыну. А по утрам, каждое утро, она открывала железные ставни — те ставни, что до сих пор на месте, зеленые и закрытые, словно после той покрасившей тогда руки их не касалась больше ничья другая, — и подзывала к себе королевских оленей.

Шагами легче коровьих, но тяжелее, чем поступь лани, они приближались и останавливались у ее окна, поднимали большие головы и высовывали влажные языки. Поскольку Мать была маленького роста, ей приходилось становиться на перевернутое ведро для мытья полов и еще привставать на нем на цыпочки, чтобы высунуться из окна наружу, и вот так, почти падая в вольер, красная от напряжения, она протягивала руку и приманивала их остатками сухого хлеба и кожурой грейпфрутов или огурцов — тогда они вытягивали к ней шеи и позволяли погладить бархатистость своих влажных носов и фиолетовую черноту оттопыренных губ.

Однажды, несколько лет назад, когда я был в армии и пришел на побывку — и в тот раз ночью и в тот раз из пустыни, — а Бабушка, сестра и обе Тети уже спали, и только Мать, как всегда, бодрствовала, читая и грызя свои облатки в "комнате-со-светом", она вдруг сказала мне, что я уже достаточно повзрослел, чтобы выслушать, как и когда я "был зачат".

Откровенна была она, и ее рассказ был на удивление подробен. На заре того дня, так она рассказывала, королевские олени бились об ограду особенно сильно, не давая ей заснуть, и когда колокола городских церквей принялись вторить ударам рогатых пленников, она прижалась шеей к губам Отца — "которые тогда были еще живыми, Рафаэль, и такими теплыми и мягкими со сна", — взяла его руку и положила себе на живот, а свою ногу положила на его сонное бедро и обняла его — "вот этой самой рукой!", — и стала тормошить до тех пор, пока он не проснулся и не взял ее в объятья.

Так она рассказывала. Мне, а не тебе — может быть, потому, что знала, как хорошо ты помнишь и как хорошо я забываю.

— Люди отправляются в самые разные места, Рафаэль, лишь бы иметь где вспоминать и о чем тосковать, — сказала она. — Здесь мы гуляли, здесь мы поцеловались, здесь ты помог мне спрыгнуть с террасы, а здесь у тебя порвалась сандалия и я скрепила ее двумя шипами мимозы. Но мне — мне не нужно никуда ходить. Я даже в тот наш дом ни разу не заходила с тех пор, как твой Отец погиб.

Ее ладони шевельнулись. Поднялись с бедер, задержались на диафрагме и потом остановились перед глазами, растопырив пальцы.

— Я и на могилу не хожу. Мне достаточно глянуть на эти вот пальцы, которые гладили его, притронуться к своей шее, которую целовали его губы... Ведь наше тело — самое лучшее хранилище воспоминаний, правда? Ты теперь уже большой мальчик, Рафаэль, солдат, тебе уже можно рассказать об этом, верно? Почему ты так улыбаешься? А?

Я улыбался, потому что только такие беспамятные, как я, способны услышать и правильно понять то, о чем она говорила, распознать воспоминания, которые хранятся не в мозгу, а в теле, осаждаются на барабанной перепонке и в сетчатке глаза, скапливаются в усталых волокнах мышц и собираются в слизистой желудка и в пазухах носа. Вот они — одна за другой их дивизии маршируют внутри моего тела на парадах своих побед, спускаются по костистому склону спины, грохочут тысячами подкованных подошв в ущельях ребер, экзаменуют мои почки и посмеиваются над ними.

И сейчас я опять улыбаюсь, потому что таким вот беспамятным, как я, чье мозговое сито не способно ничего удержать, только этот вид памяти и знаком, а все остальное для них — незаполненные пустоты: вот эти промежутки стены между портретами, и эти прогалины кожи между прикосновениями, и эти зазоры безмолвия между звуками, и эти ласки, и эти вкусы, и эти запахи. Ты уж прости мне столько "этих" подряд, сестричка, но правда — ничто так прочно не закрепляется в памяти, как несколько "этих" одно за другим.

Медленно-медленно

Медленно-медленно, в ритме неторопливого урчания дизельного мотора, сопровождаемый желто-коричневым шлейфом жужжащих пчел и вечно голодным, немигающим взглядом черных ворон, еду я на своем пикапе от водосборника к водосборнику, от скважины к скважине, от вентиля к вентилю. И временами, оказываясь в краях Хамады, этой пустынной, покрытой мелким темным щебнем равнины, останавливаюсь, выхожу из машины и иду по бескрайним каменным осыпям.

Эта пустыня непригодна для тяжелых военных колесниц или легкого кросса. Ее тропы хороши лишь для мягкого шага верблюдов и спокойной походки пастуха. Щебень хрустит под моими ногами. Глаза мои всматриваются. Я высматриваю мелкие потайные знаки, которые пустыня припрятала для тех, кто ее знает, и следы тропок, которые она приготовила тем, кто ее любит.

В горах тропа всегда одна, петляет и подымается неспешно, будто уверенная в правильности своего единственного пути, а на равнине она разветвляется на множество дорожек, которые расходятся в разные стороны, и возвращаются, и снова разделяются в споре, и опять сходятся, и все до единой, как жизни Наших Мужчин и как ручьи в широких оврагах, приходят к одному концу. С вершины скалы или с высоты птичьего полета эти тропки легко различить, но с высоты головы идущего человека они видны не всегда, и глаз, что выискивает их следы, должен советоваться с ногой, которой хочется ступить поудобней, и с разумом, которому хочется логики, и с сердцем, которое хочет биться неторопливо.

Не раз нога обнаруживает истину раньше глаза, ибо, едва лишь ступив на правильный путь, она успокаивается, и вместе с ней успокаивается все тело. И вот уже колено и лодыжка начинают улыбаться, и назойливый хруст мелких камешков, что сопровождал тебя с первого шага, начинает приятно и мягко звучать в лабиринтах уха. Теперь самое время вдохнуть полной грудью, и поднять голову, и позволить глазу увидеть то, чего он раньше не видел. Камни тропы уже раздроблены ногами древ-

них путников, в незапамятные времена. Вот они — меньше размером, чем обычные камни на равнине, более гладкие и пыльные, а между ними — светлые пролысины почвы.

Уже различив слабый след тропы, я удивляюсь, как я мог не заметить ее раньше. Больше ему от меня не ускользнуть. Я шагаю по тропе, мои легкие впитывают ее покой, а мои глаза уже выискивают красивые камни, чтобы принести их Дяде Аврааму, Аврааму-Каменотесу, моему другу и моему покровителю.

Упоминал ли я уже это имя? Кажется, нет. Много лет назад, мальчишкой, убегавшим от десяти удерживающих рук, и от десяти ищущих глаз, и от пяти зовущих ртов Большой Женщины, я всегда находил убежище в его дворе. Авраам отламывал мне от своего хлеба, отреза́л мне от своей памяти и время от времени повторял: "Когда ты вырастешь, и начнешь бывать в разных местах, и увидишь красивый камень — принеси его мне, да, Рафаэль?!"

Я сказал ему: "Да, Дядя Авраам" — и с тех пор держу свое слово. Стоит мне увидеть в пустыне красивый камень, все равно — большой или малый, я бросаю его в кузов своего пикапа и, когда поднимаюсь в Иерусалим навестить Большую Женщину, захожу также к Аврааму-Каменотесу и приношу ему этот подарок.

Через девять месяцев

Через девять месяцев после того рассвета Мать родила меня, а через пять лет после моего рождения Отец был призван на резервную службу, погиб в результате несчастного случая и из "майора медицинской службы Давида Майера" стал "Нашим Давидом".

Все очень переживали, но никто не был удивлен. "Есть семьи, в которых деньги тянутся к деньгам, а в нашей семье смерть тянется к смерти", — объяснила Бабушка, осведомленность которой в обоих этих вопросах была признана всеми в нашей семье.

У Бабушки на памяти было предостаточно мужчин и смертей, чтобы подтвердить эти слова. Ее муж, Наш Рафаэль, повесился в коровнике мошавы "Киннерет". Сын ее, Наш Реувен, погиб, упав с лошади. Ее хайфский племянник врезался на мотоцикле в огромное дерево точно в свой сорок восьмой день рождения. Муж ее племянницы был убит в возрасте сорока шести лет — его печень пробила шальная пуля, когда он сопровождал свою старшую дочь в ежегодном школьном походе. Другой родственник — "замечательный парень, первый красавец Петах-Тиквы" — был убит током сорока четырех лет от роду, в типографии, унаследованной от отца, который, в свою очередь, погиб в том же самом месте двадцатью пятью годами раньше, когда огромный рулон бумаги случайно скатился с грузовика и раздавил его насмерть.

Женщины не раз рассказывали мне истории этих странных кончин, и сестра говорила, что они соревнуются в своих рассказах друг с другом и даже классифицируют эти смерти в соответствии со степенью их жестокости и неожиданности, количеством пролитой крови и мерой боли, выпавшей на долю их мужей, сыновей, братьев и дядей. Лично мне, кстати, особенно симпатичен в этом списке несчастный случай, произошедший с одним из бабушкиных братьев, которого ударило током, когда он гладил нарядное платье дочери, собиравшейся на свидание со сво-

им кавалером. Годами он запрещал ей встречаться с ухажерами где бы то ни было, кроме гостиной их дома, причем только при широко открытых дверях и в присутствии одного из родителей или старшей сестры. Но однажды, никто не знает почему, он внезапно сменил гнев на милость, уступил мольбам дочери и уговорам жены, и убеждения его настолько переменились, что он решил собственноручно погладить платье, выбранное дочерью для свидания.

Мать и дочь сидели, с облегчением улыбаясь друг другу. Из соседней комнаты послышался скрип раздвигаемых ножек гладильной доски, и шелест раскладываемого платья, и шипенье пара, поднимающегося из его складок, и потом короткий вскрик, за ним грохот свалившегося утюга и, наконец, звуки падения человеческого тела — ниже-ниже, к месту последнего успокоения, в строгом порядке: колено, локоть, плечо, череп, ударяющиеся о пол одно за другим. По окончании годичного траура сиротка вышла замуж за своего ухажера, плача горючими слезами и надев заботливо сохраненное ею платье: половина проглажена, другая половина смята, и черное пятно от утюга на спине. Великолепно.

— Видишь, Рафинька. Вот что случается с мужчинами, которые делают женскую работу.

— Если бы он не умер так, то умер бы как-нибудь иначе, — заметила Мать.

Иногда, усевшись под одной из своих акаций — отдохнуть или заварить себе чай, — я беру сухую ветку и рисую в пыли наше маленькое генеалогическое древо. Вот Дед и Бабушка. Вот их дети: Дядя Реувен, Мать и Черная Тетя — ответвляющиеся от них. Тетя Иона возле Дяди Реувена, и Дядя Элиэзер возле Черной Тети, и рядом с ним его сестра, Рыжая Тетя со своим Дядей Эдуардом. Возле Матери я рисую Отца, а под ними себя, без Роны, и рядом тебя, старая дева, одну. Вот и все дерево — с его живыми женщинами, с его мертвыми мужчинами и со мной, Чудо-Рафаэлем: смерть, которая с такой тщательностью и усердием выкашивает мужчин, созревших на полях нашей семьи, словно забыла обо мне. В свои пятьдесят два года я старше своих дядей, отца и деда.

Вот он я — дрожащим отраженьем в зыбкой воде озерка. Круглый глаз небосвода синеет надо мною, еще живым и глядящим в свое отраженное лицо.

— Я очень боюсь, что наш Рафинька умрет от старости.

Столетнее лицо Бабушки очень серьезно, но ты, сестричка, не сдержавшись, взрываешься смехом. Я тоже улыбаюсь, но во мне нет твоей насмешливости и юмора, как потому, что мы очень разные с тобой, так и потому, что на этот раз речь идет обо мне самом. Обо мне, моей жизни и моем теле.

Вот он я: волосы светлые и густые, но в глазах уже видна усталость. Мышцы сильные и упругие, но внутренние органы в своих укрытиях уже износились и одрябли. Легкие уже не так заслуживают своего названия, внутренности просятся вниз, ниже-ниже, на дно, расслабиться в последнем покое, сердце мечтает выброситься на землю, кровь хочет выплеснуться... Только вот эти молодые мышцы живота, как сыновья, что упрямо и неведомо зачем заставляют старика-отца упражняться, еще держат все на своем месте, наизготовку.

— Зачем? — наклоняюсь я над водой.

Мое отраженье качает лицом, что его породило: “Зачем, Рафаэль? Правда, зачем тебе все это, а?”

В *те дни*

В те дни Иерусалим заканчивался внезапно. Вот — стена последнего дома, а вот, прямо за ней, — граница. Четкая, настораживающая линия. С одной стороны — квартал с его обитателями, маленькая, бедная бакалейная лавка и робко пробивающиеся цветы, с другой — ощетинившиеся коварные животные да непокорные колючки безлюдных полей. Досюда — город, улица и человек, отсюда и далее — земля скал, пустошей и гор.

Настоящая граница, до последней мелочи и детали. Напомнить тебе? Здесь даже боевые кличи порой раздавались: звонкий возглас "Баруд!"[1] и злобный крик ястреба, шипенье потревоженного ужа и скрежет катка по булыжнику. С этой стороны — дома и тротуары, бельевые веревки и тусклый электрический свет, а с той — дикость и камень, шакалы и чертополох.

В летний полдень скалы плавились от жары, а в полночь лопались со звоном, и зимой между ними собирались прозрачные стылые лужи, по дну которых стелилось медленное колыхание зелени, а вода едкой горечью обжигала жабью кожу. Богомолы искали здесь себе добычу, крот вгрызался в грунт, неподатливый и твердый, и порой свора свирепых одичавших псов в их разбойничьем беге проходила на север, волоча за собой стелющийся след ужаса и крови.

Три больших здания возвышались над кварталом моего детства, как бессонные часовые на трех его углах: Дом сирот, угрюмый и мрачный, точно крепость, Дом сумасшедших, запертый замками и решетками, и самый близкий из трех, совсем рядом с нашим жильем, окруженный запретным парком, стенами и кипарисами Дом слепых, как для краткости именовали в округе "Воспитательный дом для слепых детей Израиля". Каждое здание со своими обитателями. Каждое со своими воплями. Каждое со своими заборами, запорами и засовами.

Словно в тени их стен, рос и строился новый район, и вскоре его серые корпуса наполнились жизнью, и запахами, и гомоном людей. Маленькие, тупоносые, покрытые брезентом грузовички начали взбираться по нашей грунтовке. Раньше они, бывало, доставляли солдат к полям сражений, а теперь выгружали то стол со стулом, то кровать с лампой, то младенца с родителями. Молодежь вернулась с войны и по обычаю вернувшихся с войны торопилась обзавестись семьей, въехать в новую квартиру и заполнить ее мебелью и детьми.

Напомнить тебе? Вслед за ними появился продавец сладостей с багровостью своих засахаренных яблок и липкостью петушков, и старьевщик со своей тележкой, и продавец льда со своим фургоном, и продавец керосина со своей цистерной, и продавец газировки со своим передвижным ларьком, и каждый из них запечатлевал во мне очертания своей фигуры, и звук своего колокольчика, и громкий крик, оповещавший о его товаре. Но через несколько месяцев после смерти Отца, когда Мать вдруг закрыла книгу, которую читала, объявила: "Я хочу газировки!" — и вышла наконец из комнаты, в которой закрылась (той, что служила Отцу кабинетом, а после его смерти превратилась в "комнату-со-светом"),

1. "Взрыв!" *(араб.)* — возглас, которым строители или каменщики предупреждали прохожих о готовящемся подрыве сносимого здания или вскрытии нового слоя камней в каменоломне.

она впервые за долгое время засмеялась, увидев, что тележки, ларьки и фургоны всех этих уличных торговцев тащит один и тот же замученный мул, и сказала, что все они — один и тот же человек.

— Смотри, Рафаэль, ну совершенно один и тот же, — и показала мне, как один раз человек этот рядится в старого ашкеназа, выпевающего свое "Сифоны! Сифоны! Сифоны!"; другой раз становится жирным иракцем, орущим свое: "Керосин! Керосин! Керосин!"; а порой превращается в тощего араба, который яростно торгуется на поразительно беглом идише; или вдруг становится молодым, могучим орпали[1], что швыряет тяжелые блоки льда, словно мешки с перьями, громко выкрикивая: "Лёт! Лёт! Лёт!" — и вращает в руках страшный стальной лом, от которого во все стороны разлетаются сверкающие осколки, на радость детишкам — словить на лету, сунуть торопливо в рот и пососать.

А еще, раз в две недели, в квартале появлялся Дзын-Дзын-Дзын — точильщик ножей, яснолобый красавец-венгр, который гладил нашу Черную Тетю взглядом и улыбался ей так, что ее угольные глаза становились темно-синими и жаркими, как примус под цинковым баком, в котором грели воду для стирки.

— Хоть он и венгр, — выстреливала она изо рта очередную косточку, — а глаза у него ужасно красивые. И пальцы тоже.

— Самые обыкновенные пальцы, — презрительно сказала Рыжая Тетя. — Как у любого простолюдина.

— А глаза у него как у цыгана, — сказала Бабушка. — Вот увидишь, он уворует все твои деньги, разобьет твое сердце, надует тебе пузо и бросит.

— Тоже мне новости, — сказала Мать. — Ты видела хоть одного мужчину, который не надул бы ей пузо и не бросил в конце концов?

— Обо мне не беспокойтесь, — смеялась Черная Тетя. — Это не они, это я цыганка, это я их всех надуваю и это я их всех в конце концов бросаю.

Дзын-Дзын-Дзын получил такое прозвище, потому что он всегда трижды приговаривал "дзын" перед тем, как начинал точить очередной нож. Он приходил, толкая перед собой маленькую, узкую деревянную тележку на трех велосипедных колесах, и возле нашего дома останавливался, подпирал эту тележку парой деревянных ножек, которые поднимали ее переднее колесо над землей, а затем надевал на это колесо приводной ремень, давил ногой на педаль и крутил точильный камень, бросая в сторону Черной Тети жаркие взгляды и искры.

Бабушка говорила: "Этот венгерский мошенник берет уйму денег за свои ножи", потом плевала на свой точильный камень и острила наши кухонные ножи сама. Но Черная Тетя не упускала случая выйти к венгру-точильщику, обменяться с ним улыбкой и беглым взглядом да наточить ножницы, которыми они с Рыжей Тетей коротко стригли друг дружку.

Закончив работу, Дзын-Дзын-Дзын проверял остроту каждого ножа на ладони быстрым рубящим движением, которое Черная Тетя научилась хорошо имитировать, и при этом тоже шептал про себя по-венгерски то тройственное заклинание, которое стало в конце концов его прозвищем. Я опасливо приближался к нему и начинал искать в пыли его отрубленные пальцы, а когда не находил, Дзын-Дзын-Дзын со смехом раскрывал ладонь и, как фокусник, показывал мне, к моему великому

1. Турок, уроженец города Орфа (Орпа) вблизи турецко-сирийской границы.

удивлению, что все они там, по-прежнему красивые и по-прежнему крепко прилаженные к руке.

Как они отличались

Как они отличались друг от друга, эти две женщины! Сегодня старость сгладила иные из этих различий, но тогда — эта черная, а эта рыжая, эта костлявая, а эта мягкая, эта "родственница по крови", а эта "просто родственница", эта "беспутная", как выражалась Бабушка, "и нагуливает пузо, как уличная кошка", по словам нашей Мамы, а эта сидит дома и ждет "мужа-европейца", то бишь человека культурного, высокого и светловолосого, образованного, чуткого и вежливого, короче — второе издание "Нашего Эдуарда", который явится и избавит ее от ежедневной рвоты и унылой серости вдовства.

Но хоть их различия были так велики, они все же казались мне сестрами.

Мать сердилась.

— Чего вдруг "сестры"?! — говорила она. — Они вообще не родные, и они совершенно разные!

"У одной воспоминания вызывают боль, а другую они возбуждают", — написала она на одном из листков, которые прятала между страницами своих недочитанных книг. Поскольку мне не дозволялось заниматься "женской работой", я как-то спросил ее — мне было тогда лет шесть или семь, — а можно ли считать "работой для мужчин" разглаживание тех ушек, которые она загибала на страницах. Она засмеялась и сказала, что да, что на свете нет другой работы, которая более подходила бы для мужчины. Так я начал распрямлять эти маленькие уголки ее памяти, и так я стал находить эти ее листки.

— Они и не ведут себя как сестры и не выглядят как сестры.

— Но ведь и вы с Черной Тетей тоже не выглядите как две сестры.

— Мы — другое дело, — сказала Мать.

Я не понимал этого до конца, но Мать была совершенно права. Тети очень отличались друг от друга.

— Это ты должна была родиться рыжей, а я — черной, — говорила Рыжая Тетя своей невестке. И верно — Черная Тетя вечно бегала и прыгала без устали, тогда как Рыжая Тетя ступала медленно, с какой-то лишь ей свойственной томной грациозностью, которую так похоже изображают гладиолусы, едва лишь почуют самое слабое дуновение ветра. Черная Тетя любит финики и по сию пору выплевывает их косточки на пол, а Рыжая Тетя осторожно сплевывает семена своих любимых груш в сложенную горстью, смущенную, прячущуюся ладонь. Черная Тетя всегда ходит в защитного или синего цвета штанах, как правило длинных, но иногда и совсем коротких — и тогда волосы ее памушки[1] выпирают с обеих сторон, — а Рыжая Тетя носит только свободные голубые платья: у нее три таких наряда, которые "очень любил" Наш Эдуард, и она их непрерывно стирает и гладит.

Помнишь? Когда Черная Тетя, бывало, выходила на улицу, все дети бросались к ней с криком: "Рафина тетя, поиграй с нами, пожалуйста!

1. Памушка — "семейное слово" героев романа, то же, что в русском сленге "мохнушка", "мохнатка" и другие эвфемизмы для обозначения женского полового органа.

Ну что тебе стоит, Рафина тетя, давай сыграем!" Но когда выходила Рыжая Тетя, они гнались за ней и дразнили: "Хау ду ю ду, миссис-писсис?! Ху ар ю энд вот ю ду?!" А были и такие, что швыряли ей вслед ругательства и проклятия, услышанные дома от родителей, которые не забыли ей и не простили, хотя "прежние времена" давно уже прошли, и Дядя Эдуард давно уже умер, и англичане давно уже покинули страну: "Английская подстилка! Изменница! Шлюха!"

Так кричали ей вслед все дети, кроме двух маленьких светловолосых девочек-близняшек из третьего корпуса, чьи имена давно выветрились из моей памяти, хотя я помню эти их одинаковые платьица, и эти туго заплетенные косички, и эти белые туфельки — именно так, со многими "этими", мне всегда легче, сестричка, запоминать.

Нам нравилось приставать к ним с расспросами, какого цвета у них глаза и волосы и в каком корпусе они живут, — близняшки кротко подымали четыре одинаковых, голубых и невинных глаза, старательно выговаривали: "Мы бвондинки с говубыми гвазами и живем в тветьем корпусе свева, — и не понимали: — Гвупые, почему вы все увыбаетесь?"

Они собирали салфетки и открытки с киноактерами и уже в шесть лет мечтали о "женихах из Амевики" и о "пвическе с вовнами". Они никогда не играли с Черной Тетей — ни в прятки, ни в "шарики", ни в "пять камешков" — и никогда не приходили посидеть у костра, который она устраивала по вечерам для детворы квартала. Каждое утро они наливали в блюдечки молоко, ставили эти блюдечки за домом, выходили на веранду и звали двумя одинаковыми голосами: "Кисы, кисы, пвиходите поесть мовочко". И с той же веранды в четыре одинаковых глаза следили за дверью нашей квартиры, поджидая выхода Рыжей Тети. А когда та появлялась на улице в своем голубом платье, торопливо подбегали к ней, пристраивались позади, с блаженно закрытыми глазами и возбужденно раздутыми ноздрями, и шли, торжественно подняв перед собой руки, как будто держали невидимый шлейф того бального платья, которое было на Рыжей Тете в воображении всех троих, и жарко шептали друг дружке: "Когда мы будем взвосвыми, у нас тоже будут говубые пватья..."

Так или иначе — может, из-за своей одинаково короткой стрижки, а может, из-за своих одинаково цветных прозвищ, — но обе тети казались мне сестрами. Короткие волосы Черной Тети были тогда черными, блестящими, жесткими и густыми, а короткие волосы Рыжей — каштановыми и тонкими, даже неказистыми на вид, но мгновенное чудо преображения происходило с ними, стоило солнцу выстрелить в них своими лучами. Тогда они вспыхивали тысячами внезапных рыжих искр и начинали шептать на языке, который я научился слышать и даже понимать лишь много лет спустя, в одном из тех жестоких разъяснений, которые время любит преподносить мне задним числом. "Потрогай нас, Рафаэль, — шептали волосы, — погладь нас, пропусти сквозь пальцы, полюби". Но тогда я уже не жил с Большой Женщиной, а Рыжая Тетя состарилась, и ее волосы давно были перекрашены и больше никогда не вспыхивали на солнце.

— Когда-то ее волосы были как пламя, — сказал мне мой друг Авраам, Авраам-Каменотес, в белом от пыли дворе которого я провел многие долгие и блаженные часы детства. — Даже ночью, даже когда были облака, они горели на ее голове, как угольки вот в этой жестянке. Я помню, как я увидел ее в первый раз, с этой ее рыжей косой, обмотанной вокруг головы и шепчущей что-то, — рассказывал он мне. — Неподалеку от дир-ясин-

ской каменоломни это было, мы добывали там местный камень, из него получаются самые лучшие плиты для настилки пола. Она со своим братом-ветеринаром и второй твоей теткой, ну, этой, дикой, и с твоими матерью и отцом гуляли там, и я увидел их издали, и они с братом были как два красных полевых цветка. — Он вздохнул: — Посмотри сквозь дырки этой жаровни, Рафаэль, посмотри, и ты поймешь, какой огонь я имею в виду.

Я стал на колени и заглянул в отверстия продырявленной жестянки, в которой Авраам-Каменотес разжигал уголь, выжженный из оливковых полешек, кипятил себе чай и добела раскалял острия своих зубил. Эта жаровня, всасывавшая воздух через грубо проделанные дыры, представляла собой простейшую, но весьма эффективную обжигательную печь. Жар ее был так силен, что я тотчас почувствовал, как высыхают и стекленеют мои глаза, и торопливо отпрянул.

— Ты видишь, да, Рафаэль?

Я поморгал, смахивая слезы, и наклонился вновь, и заглянул, и увидел: багрово-оранжево-желтая бесконечность шуршала-шептала-шелестела там внутри.

— Такими были ее волосы раньше. Как хвосты тех лисиц богатыря Самсона[1], даже рыжее, чем лисицы, и ярче, чем факел.

— И что же с ними случилось?

— Их загасили.

А когда я спросил у Матери, правду ли говорит Авраам и как это женщинам гасят волосы, она сказала:

— Зачем тебе ковыряться в этом, Рафаэль, зачем тебе все это, а? — А потом вздохнула: — Это правда. Их загасили. Иногда даже у совсем простого человека рождается такое красивое выражение. — И подытожила: — Но чего вдруг сестры? Они ведь такие разные.

М*не было пять лет*

Мне было пять лет, когда погиб Отец. Я хорошо помню тот армейский "виллис", что свернул с главного шоссе, поднялся по нашей грунтовке, припарковался около Дома слепых и выплюнул из себя трех торжественных герольдов, которые направились прямиком к нашему дому.

В те времена на грунтовой дороге, которая взбиралась к нашему кварталу, почти не было движения. Изредка появлялась закрытая машина, в которой привозили очередных слепых, сирот или сумасшедших, да еще заворачивал порой в гости маленький серый "стандарт", принадлежавший сыну стариков из пятого корпуса. То был толстый, улыбчивый парень, который состоял в кооперативе "Эгед"[2], что, по мнению Бабушки, делало его "большим богачом", так "чего удивляться, что у него собственная машина".

У Рыжей Тети и Дяди Эдуарда тоже была собственная машина. Я видел ее на фотографиях, которые тетя разглядывала у себя в комнате. Но после того как "Наш Эдуард" был убит, Рыжая Тетя продала ее, потому что не умела водить и не хотела учиться. А тогда они с Дядей Эдуардом

1. "И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами. И зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады *и* масличные" (Книга Судей Израилевых, 15:4—5).
2. "Эгед" (от *ивр.* "объединение") — самый крупный израильский автобусный кооператив.

без конца путешествовали и без конца фотографировались. Я видел их стоящими у ворот церкви, что на горе Тавор[1], и на вершине Мухраки[2], и в гавани Тель-Авива, и на заросшем берегу ручья Александр[3]. Вокруг пустынно — ни домов, ни людей, только дядя с тетей стоят выпрямившись, в полном одиночестве. Вот они — веселые, улыбаются той улыбкой, какой улыбаются супруги, когда поблизости никого нет и они сами фотографируют себя автоматической камерой.

А еще, раз-другой в день, в квартал заворачивала голубая "де-сото" Хромого Гершона, водителя такси, который снимал квартиру во втором подъезде первого корпуса. Один мальчишка, который жил там же, но этажом выше, — его имя я хорошо запомнил, потому что мать звала его из окна не иначе как Амо-о-а-а-с!, и когда она выпевала это имя, то под конец маленькое округлое "о" ее рта распахивалось в широкий прямоугольник "а", — так вот, этот Амоас рассказывал нам, что Хромой Гершон скрывает в штанах протез, а в багажнике машины — "томаган"[4]. И хотя никто из нас никогда не видел ни того, ни другого, ни протеза, ни "томагана", даже их предполагаемого существования было достаточно, чтобы меня каждую ночь охватывал жуткий страх, когда Хромой Гершон возвращался с работы и по стене моей комнаты медленно проползали широкие полосы света, вычерчиваемые фарами его "де-сото" сквозь щели в ставнях.

Этот Амоас был довольно противный малый, весь состоявший из новостей и слухов, которые всегда казались сомнительными и неизменно оказывались верными. В Иерусалим он приехал из "Рананы"[5], как он называл свое прежнее место жительства, и хотя был из религиозных и носил на голове вязаную кипу, быстро подружился со всеми детьми квартала и влез во все местные секреты. Кроме истории с "томаганом" Хромого Гершона, он поведал нам еще о "каменной шкатулке" Авраама-Каменотеса, в которой "денег навалом, но крышка такая тяжелая, что ни за что не откроешь, даже замка не надо", и сказал, что знает место, откуда можно заглядывать в комнаты слепых девочек, когда они раздеваются перед сном.

— Только нужно очень тихо, а то они жутко острые на слух, эти слепухи, — шепнул он, когда мы прокрались туда.

А на обратном пути вдруг объявил:

— Нет, самолучшее, это когда зрячий мужик женится на слепой бабе!

— Почему? — спросил я.

— Алеф, он может делать, что захочет, она все равно ни фига не увидит, а бет[6], потому как она его будет все время шшупать.

Однако это его утверждение опровергли сами слепые дети, которые сказали мне, что наоборот, самое лучшее и общепринятое — это когда слепой мужчина женится на зрячей женщине.

1. Гора Тавор (Фавор) — гора куполообразной формы на востоке Нижней Галилеи, в северной части Израиля. Согласно Новому Завету, на горе Фавор произошло чудо преображения Христа.
2. Мухрака — арабское название вершины Алтарь Элиягу на горе Кармель, на севере Израиля, связанной преданием с пророком Илией.
3. Александр — ручей, впадающий в Средиземное море к северу от Тель-Авива.
4. Искаж. "томмиган" — английский пистолет-пулемет времен Второй мировой войны.
5. Ранана (искаж. Раанана) — город к северу от Тель-Авива. Во времена, описываемые в романе, иммигранты из разных стран, собираясь в Израиле, привносили в иврит свое произношение. Мальчик Амоас проглатывает длинный звук "аа" в таких ивритских словах, как "Раанана" или "Бааль Шем-Тов".
6. Алеф, бет — первые буквы ивритского алфавита. В иврите буквы имеют также численное значение. Буква "алеф" соответствует числу "один", "бет" — "два".

— Почему? — спросил я.

— Потому что слепая женщина не может так прибрать в доме, как зрячая, — сказали они.

Я помню, что этот ответ вызвал у меня какое-то неясное разочарование. Прошли годы, и уже став "юношей по всем приметам и признакам", как выражалась Большая Женщина, я завел привычку спрашивать знакомых женщин, какое сочетание, по их мнению, предпочтительней в браке: зрячий мужчина и слепая женщина или наоборот, и в результате наслушался множества ответов, как на подбор весьма практичных и скучных, кроме двух, твоего и Роны. Ты сказала, что самая лучшая пара — это зрячая женщина и слепая женщина, а Рона, моя бывшая жена, моя нынешняя возлюбленная и моя будущая беда, сказала, что вопрос глупый, потому что все супружеские пары в мире состоят из слепого мужчины и зрячей женщины.

Так или иначе

Так или иначе, но в тот момент, когда у нашего дома появился армейский "виллис", я сидел на одной из скал на обочине грунтовой дороги и вместе с соседскими детьми смотрел, как "Слепая Женщина" учит семерых своих воспитанников. Со всеми с ними я играл и все их имена запомнил навсегда, из-за той особой мелодии, которую им придавало непривычное ударение на предпоследнем слоге[1], но так никогда и не научился различать, кто из них Аврам, а кто Яков, а кто Давид, или Герцель, или Шимон, или Ави, или Рувен.

Я написал "Слепая Женщина" в кавычках, потому что так ее называли все жители нашего квартала. Она жила и работала в Доме слепых и очень выделялась среди прочих его обитателей. Как все слепые в частности и братья по несчастью вообще, обитатели этого Дома были очень похожи друг на друга (четверо "Наших Мужчин", каждый в своей рамке, тоже кажутся мне иногда похожими друг на друга), тогда как она была совершенно иной — высокая, прямая, со звонким голосом и зелеными глазами, слепота которых угадывалась не сразу.

Она проводила долгие часы в парке Дома слепых, то объясняя работавшему там садовнику-инвалиду Готлибу, что именно следует посадить и посеять, то обучая слепых детей находить дорогу на запутанных гравийных тропках. В тот день — день, когда армейский "виллис" появился в нашем квартале, — она впервые вывела своих воспитанников на грунтовую дорогу, чтобы научить их, как пройти от Дома слепых до автобусной остановки.

Сначала она им объясняла на словах, а они, как обычно, раскачивались, стоя на месте, как раскачиваются все слепые, будто молясь или пытаясь что-то различить в своем теле.

Затем они начали практиковаться.

— Шагайте и считайте шаги, ребята, шагайте, и считайте, и запоминайте, — повторяла Слепая Женщина.

— Раз, два, три, четыре, пять... — громко считали слепые дети на ходу.

1. Ударение на предпоследнем слоге типично для произношения имен на языке идиш; на иврите правильные ударения еврейских имен обычно приходятся на последний слог.

Вот она, словно вырезанная на сетчатке моих глаз, — идет уверенно и прямо по усыпанным гравием дорожкам запретного парка Дома слепых. А иной раз, когда мы осмеливались прокрасться в этот запретный парк — тихо-тихо, ступая самыми кончиками затаивших дыхание пальцев, — мы видели, как она молча стоит подле притаившегося в парковых глубинах маленького зеленого декоративного бассейна, где днем в воде посверкивали золотом пузатые рыбки, а по ночам искрами вспыхивали вокруг светлячки.

Обычно она стояла там одна, а иногда — с Готлибом, с этим безногим садовником, который охранял, и удобрял, и сажал, и подстригал все, что она ему указывала, и ездил по скрипучему гравию дорожек на своей большой инвалидной тележке, вылавливая детей, прокравшихся в парк поиграть, и прогоняя влюбленные парочки, нашедшие там укромное место.

А иногда она гуляла там со своими воспитанниками — поразительно похожими друг на друга своими именами с одинаковым ударением на предпоследнем слоге, своими одинаковыми темно-синими беретами и одинаково высокими, одинаково стоптанными ботинками, — которые под ее руководством заучивали и запоминали каждое дерево, каждый куст и цветок по его запаху и вкусу, прикосновению и шелесту.

— Она нам совсем как старшая сестра, — сказал мне однажды один из них. — Она нас охраняет, и учит, и никогда не бьет, как другие учителя, а еще она умеет предсказывать будущее.

— Шагайте и считайте, дети, — учила она их сейчас. — Считайте шаги и запоминайте препятствия.

А нам крикнула:

— Тише! Слепые дети учатся ходить по дороге!

— Шесть, семь, восемь... — Один за другим ("И не подглядывая", — со смехом добавляет моя сестричка-паршивка) спускались слепые дети вниз по дороге, низкими и громкими голосами считая шаги и запоминая препятствия. — Девять, десять, одиннадцать, двенадцать... учительница, тут яма посреди дороги... тринадцать, четырнадцать... двадцать один, двадцать два... здесь электрический столб, учительница... Сто тридцать семь, сто тридцать восемь, сто тридцать девять, сто сорок, сто сорок один шаг. Я пришел к автобусной остановке, учительница, я пришел.

— А теперь возвращайтесь. Идите назад и опять считайте, — позвала Слепая Женщина. — Смотрите ногами, глядите памятью.

Мы, хитроумная квартальная ребятня, тотчас придумали себе игру под названием "Вслепую". Мы тоже закрывали глаза и тоже считали шаги — от большого тополя в начале квартала и до цветущего куста в конце тротуара, от грунтовой дороги и до столба электропередачи, от своего дома и до бакалейной лавки.

Вот мы идем — дрожащие веки, тщательно изображаемая притворная слепота, а глаза то и дело подглядывают сквозь испуганный просвет ресниц, а руки то ли нащупывают путь, то ли защищают тело, — вот мы идем и считаем, делая вид, будто оступаемся, пока наконец не приходим к цели.

Сто сорок один шаг асфальта и пыли от входных ворот Дома слепых до автобусной остановки на обочине дороги.

Двадцать восемь шагов коридора от их комнаты с пианино, темно-синие звуки которого поднимались из окон и таяли между домами квартала, и до их столовой с вонью грязных клеенок, намертво приклеив-

шейся к стенам, вонью такой ошеломляющей, что ее не могли перебить даже ветки мирта, которые Слепая Женщина специально разбрасывала по полу, чтобы другие слепые наступали на них и тогда приятный запах раздавленных миртовых листьев наполнял бы воздух.

И восемь шагов белого гравия от последнего ряда кустов до маленького зеленого декоративного бассейна с лениво плавающими в нем жирными, выцветшими золотыми рыбками — там, в самом сердце запретного парка, за их Домом, там, где каждый, прокравшийся по парковому лабиринту, рисковал встретиться со страшным Готлибом, который ездил по дорожкам на своей инвалидной коляске, сажал растения, обрабатывал парк и охранял его для Слепой Женщины.

Трое мужчин, что приехали

Трое мужчин, что приехали на армейском "виллисе", осторожно пробрались между рытвинами и ухабами нашей грунтовой дороги, переступили полотняными туфлями через ямки, вырытые нами для игры в "шарики", извинились перед Слепой Женщиной, неподвижно застывшей посреди дороги, повернули и зашагали по тротуару к нашему дому.

— Рафи, Рафи, они идут к вам! — закричали дети.

Я побежал за ними. Они вошли в наш подъезд, глянули на табличку "Доктор Давид Майер" на нашем почтовом ящике, медленно поднялись по ступенькам и постучали в нашу дверь.

Мать открыла, выслушала то, что они пришли ей сообщить, и сказала им, что все это ложь.

— В нашей семье мужчины никогда не погибают в бою, — заявила она. — Они погибают только от несчастного случая.

И она оказалась права. Отец, который прославился храбростью в сражениях Войны за независимость[1] (видимо, сердце подсказывало ему то же самое, что мать только что сказала армейским герольдам), вышел целым и невредимым из самых тяжелых военных операций в Галилее[2], в Иерусалимском коридоре[3] и в само́м городе, а погиб в конце обычного дня танковых учений, на ночной стоянке резервной части, где служил военным врачом.

— Наш Давид, — вздыхала Бабушка. — Но он хотя бы ничего не почувствовал. — И тут же разъясняла: — Ведь он умер во сне, — будто находя утешение в этой расхожей фразе, которую разговорный язык придумал для того, чтобы с ее помощью заслонить муки смертного мига, столь живо представляющиеся нам в воображении.

И действительно, Отец умер той смертью спящих, о которой все мечтают, но я не уверен, что он ничего не почувствовал, — ведь его раздавили гусеницы танка, двигавшегося задним ходом в темноте, и он наверняка проснулся в эту последнюю секунду боли и ужаса, которые я не могу себе представить, даже когда временами представляю свою собст-

1. Война за независимость (ноябрь 1947-го — июль 1949-го) — война за сохранение своего государства, которую евреи вели с армиями пяти арабских государств после решения ООН о разделе Палестины.
2. Галилея — гористая зеленая область на севере Израиля, между Хайфой и Киннеретом, место тяжелых боев в Войне за независимость.
3. Иерусалимский коридор — во время Войны за независимость так называли единственную не занятую арабами дорогу, соединявшую горный Иерусалим с Прибрежной равниной, т. е. с основной частью Израиля.

венную смерть — ту медлящую, хитрую на выдумки смерть, которая ждет меня в засаде за каждой скалой, под каждым откосом, в каждой расщелине пустыни.

— Его так и положили в гроб — прямо в спальном мешке, перемолотого, как тушенка. Армейские раввины даже молнию не решились расстегнуть.

Это резкое, дерзкое описание принадлежало Дяде Элиэзеру, который тогда был еще жив, — ветеринару, автодидакту, мужу Черной Тети и брату Рыжей. "У меня были два зятя-врача", — не раз с гордостью говорила Бабушка, и Мама, которая никогда никому не предъявляла претензий по поводу гибели своего мужа, но простить не простила, тихо добавляла: "Один лечил животных в Иорданской долине, а другой — в Армии обороны Израиля".

— Может быть, бык убил Нашего Элиэзера, потому что у него были рыжие волосы? — спросил я однажды.

— Возможно, — сказала Черная Тетя.

— Ты говоришь глупости, — сказала Рыжая Тетя. — Быки не различают цветов.

— А как это получилось, что твой брат был рыжий-прерыжий, а ты только немножко? — спросил я ее.

— Я тоже была когда-то такой же рыжей, как брат, — сказала она.

— Что же с тобой случилось?

— Я изменилась. Сейчас я уже не такая.

— Почему?

— Потому что мне так положено, — в очередной раз высказала Рыжая Тетя свое всегдашнее убеждение.

Таким вот образом, в слишком молодом возрасте и в слишком несчастном случае, как то заведено у всех "бизабразных" мужчин в нашей семье, мой Отец перекочевал в лучший из миров. И как все они, каждый в свой черед, взял с собой на тот свет всю свою сотню молочно-белых зубов, выстроившихся, сверкая, в смеющемся кривящемся рту, весь миллион соломенных волос, теснящихся на голове, и молодой лоб — низкий и гладкий. Как дядя с мотоциклом, и как дядя с утюгом, и как дядя с самолетом (армейский "пайпер" рухнул прямо ему на голову), и как племянник, которому поставленный им капкан на крота раздробил ступню, так что он умер от потери крови, и как Дедушка Рафаэль, Наш Дедушка Рафаэль, который повесился на балке коровника в мошаве "Киннерет", завещав жене свои долги, мне — свое имя, а всем нашим женщинам — нескончаемый спор: считать ли самоубийство мужчины естественной смертью или его тоже следует отнести к несчастным случаям?

— Разумеется, это естественная смерть, — убежденно говорит Черная Тетя. — Для мужчины очень даже естественно покончить жизнь самоубийством.

А моя сестричка немедленно расширяет и уточняет это утверждение — чем вызывает у Рыжей Тети очередной приступ рыданий и рвоты, — заявляя, что все мужчины, которые присоединились к нашей семье посредством женитьбы, фактически покончили с собой, потому что никто не скрывал от них, что их ожидает в ближайшем будущем, и если, несмотря на это, они все-таки решили присоединиться, то, значит, сами навлекли на себя преждевременную смерть.

— Чем не самоубийство?! — победоносно восклицает она и тут же добавляет, что выбор времени, способа и места — это уже дело второстепенное.

— Ну, тут ты уже слишком... — возразила Черная Тетя. — Как можно сравнить рога племенного быка с каким-то рулоном бумаги, упавшим на человека с грузовой машины?

Так или иначе, от камня или от бумаги, от рога или от железа, это дурной конец, и люди непременно хотят понять, в чем тут причина. Злые языки нашептывают сплетни, бегающие глазки ищут вешалку, чтобы повесить на нее вину, и пальцы, как это свойственно пальцам, указывают.

А они, матери, и тети, и сестры, и бабушки, прислоняются друг к другу, точно укрепленная стена, и их лбы негодуют, и глаза щурятся в оскорбленном изумлении: "Мы, Рафаэль, мы?"

Вот они все — в их маленьких вдовьих кучках, в их соединенных вместе квартирах, с их детьми, которые растут наилучшим способом, каким только может расти мужчина, большие женщины с прямыми плечами, с тяжело дышащими грудями, ладони сжимаются в кулаки и бессильно расслабляются снова: "Мы, которые кормили, купали, укладывали спать, рассказывали сказку? Мы, Рафаэль? Мы?"

Я молчу. И когда они встают передо мною вот так, словно сплошная стена, с их могучими лбами, с их нахмуренными бровями, с их затвердевшими, ссохшимися памушками, я сознаю, что и у меня нет надежды понять.

— Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше? — вонзается в меня их копье.

— Нет, — тороплюсь я ответить, благодарный, уступчивый и послушный. — Нет, я не знаю.

А *что с Аароной?*

— А что с Аароной? — спросила меня сестра. — Ты еще встречаешься с ней иногда?

— Что вдруг ты называешь ее Аароной?

— Это ее имя, разве нет?

Когда-то Аарона была моей женой, потом оставила меня и вышла замуж за доктора Герона, который руководил ее специализацией ("Мой второй муж, человек честный и добрый", — говорит о нем она), родила от него двух сыновей и в один прекрасный день вновь постучала в мою дверь.

— Просто навестить, — сказала она. — И не спорь со мной. У меня муж, и дети, и много работы, и мне еще долго вести машину обратно.

— Кто ты? — спросил я у нее наш пароль.

— Я Рона, — ответила она и вошла.

— Аарона, Рафауль, Аарона... — смеялась сестричка-паршивка, собирательница воспоминаний, хранительница секретов. — Ты не так уж забывчив. Ты знаешь, как ее зовут, и ты помнишь, где ее встретил. Ты знаешь, что́ она любит, почему она от тебя ушла, почему она тебя навещает и известно ли это ее второму мужу.

— А знаешь, я никогда его не видел, — сказал я. — Хотя нет, на самом деле я его видел, один-единственный раз.

И я рассказал ей, как мы лежали однажды на одной из тех больших плоских скал, которые Рона так любит, и вдруг я увидел доктора Герона, медленно-медленно проплывшего в бассейне левого глаза своей жены, точно вялая, разжиревшая золотая рыбка, а потом нырнувшего и исчезнувшего в бассейне второго ее глаза.

— Прелестная история, Рафауль. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, почему она предпочитает его, а любит тебя?

Ты права, как всегда, сестричка. И, как всегда, ты права лишь в отношении внешней, видимой насквозь, выразимой словами стороны дела. Я всегда думал, что это я не понимаю их, а они читают меня, как открытую книгу. Похоже, что я ошибался. Они тоже не понимают, ни эти пять женщин, ни весь ваш прочий женский народ.

Я с ужасом вижу

Я с ужасом вижу, что перенял некоторые привычки Большой Женщины. Подобно Бабушке, сам точу свои кухонные ножи. Подобно Черной Тете, выхожу во двор своего дома поиграть с соседскими детьми. Подобно Рыжей Тете, перебираю старые фотографии и вздыхаю над ними. Подобно Матери, грызу облатки, когда дочитываю книги, только она бросает посередине, а я, послушный сын, заканчиваю их вместо нее. Иногда она оставляет на мою долю кусок подлиннее, иногда покороче, но так или иначе, мне давно уже не доводилось читать какую-нибудь книгу с самого начала.

А когда в наших пустынных краях наступают жаркие и сухие летние дни, я замачиваю простыни в ванне и выжимаю их в ведро, чтобы полить цветы на окнах, — зачем зря тратить воду? она ведь стоит уйму денег! — а затем, как делали все наши женщины, развешиваю эти простыни по квартире, на веревках, протянутых от туалета к окну и от двери к холодильнику. Потом сажусь, наслаждаясь приятной прохладой, плывущей от влажных простыней, и прямо со сковородки ем колбасу, которую жарю с зеленым луком, тонко нарезанной картошкой, располовиненными зубчиками чеснока, петрушкой и яйцом, и запиваю все это холодным пивом. Выкуриваю трубку и, слегка затуманенный, предаюсь воспоминаниям, слушаю португальскую певицу Кармелу, одну из моих давних любимиц, прижимаюсь ухом к старому отцовскому стетоскопу, прислушиваюсь к своему сердцу, отдыхаю, наслаждаюсь прохладой.

— Ты знаешь, как можно еще лучше слушать сердце? — спрашивает меня мое тело.

— Нет, — заученно отвечаю я в круглое отверстие стетоскопа. — Я не знаю. А ты?

— Ты знаешь, как можно еще лучше охлаждать квартиру? — спрашивают меня мои воспоминания.

— Нет, — сердятся слуховые проходы моего уха. — Мы не знаем.

— Почему ты не ставишь себе кондиционер? Тебе что, не хватает денег? — спросила меня одна из соседок, худая высокая женщина, которая живет этажом ниже и однажды поднялась одолжить у меня молока.

— Нет, деньги у меня есть, — ответил я.

— Тогда почему?

— Так меня приучили с детства — пользоваться мокрыми простынями.

Бабушка вставала утром со словами: "Сегодня будет жарко. Я чувствую". И начинала раздавать указания. "Ты, — говорила она Черной Тете, — я тебе велела с вечера выжать воду из тряпки в ведро. Так возьми теперь эту воду и полей во дворе. Прямо сейчас, пока еще не так жарко. А ты, — поворачивалась она к Рыжей Тете, — замочи простыни в ванной и выжми воду в бак, чтобы не пропадала даром. А ты, — обращалась она к моей сестре, — пойдешь со мной, поможешь мне развесить простыни".

Я помню, как вы входите в мою комнату с мокрой простыней и бельевой веревкой. Рыжая Тетя открывает окно, чтобы привязать веревку к раме, и солнечный свет, разом хлынув в комнату, очерчивает стебель ее тела внутри голубого платья.

На мгновенье я чувствую слабость. На мгновенье я готов признать: Большая Женщина была права — нет лучшего способа, которым мог бы взрослеть мужчина. Тонкое тело Рыжей Тети медленно плывет в заполненной светом голубизне. Мое горло пересыхает и сейчас. Моя диафрагма вспоминает. Я и сейчас легко припоминаю очертания ее тела, но мне трудно его описать, и я уже, кажется, говорил, что тут годится только слово "гладиолус". Меж ее бедрами вдруг вырисовывается мягкий, чуть приподнятый, заросший островок, который солнце ласкает кистью своего света, ее правая грудь становится прозрачной, и один луч, неожиданно ударив в ее волосы, зажигает их багровым огнем.

— Не двигайся! — сказал я.

— Что? — Она повернулась ко мне. — Что ты сказал, Рафи?

Поворот сдвинул ее тело. Тень ее ног исчезла. Ее волосы вновь потухли.

— Ничего.

— Сегодня будет жарко, Рафи, — сказала она. — Надень шапку, когда пойдешь в школу, и возьми с собой бутылку воды. Пей побольше на переменках.

Я уже старше Отца

Я уже старше Отца, но все еще живее, чем он, и наши женщины относятся ко мне, как к хрупкой посуде. Дети наших родственников, которых я вижу порой на семейных сборищах, так и льнут ко мне, а подростки и юноши — эти вообще смотрят на меня, как моряки на маяк. Но взрослые мужчины нашего рода, те, кого судьба должна вот-вот призвать к себе, смотрят на меня с той тупой злобой, которой наделяет взгляд безнадежность: "Идущие на смерть ненавидят тебя, Рафаэль"[1] — как будто я вычерпал из общих семейных источников долголетия те годы, которые в противном случае могли бы достаться им.

Временами, когда Рона приезжает навестить меня, она просит дать ей руль — поводить мой пикап по дорогам пустыни. Я спешу вручить ей ключи, про себя размышляя о вполне вероятной возможности перевернуться на повороте. Иногда, согнувшись над воздушным вентилем, замерзшим и треснувшим от ночной стужи, или над ящиком с трубами, который засыпало оползнем, я вдруг слышу, как сверху, крутясь, подпрыгивая и грохо-

1. Перефразировка латинского выражения "Ave, Caesar, morituri te salutant!" ("Славься, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют"), с которым римские гладиаторы обращались к императору перед боем.

ча, несется под откос тяжелый камень. Тогда затылок мой застывает в ожидании удара милосердия[1]. Зрачки уже затягиваются багровой пеленой, мышцы уже предвкушают страшную слабость и падение на землю: колено, локоть, плечо, череп и наконец щека, примявшая пыль. Компания "Мекорот"[2] и сотрудники Южного округа скорбят о преждевременной смерти инспектора Рафаэля (Рафи, Рафиньки, Рафауля) Майера и выражают соболезнование семье покойного. Большая Женщина скорбит о смерти сына, внука, племянника и брата. О смерти своего первого мужа скорбит его бывшая жена, его нынешняя возлюбленная, его будущая беда доктор Аарона Майер-Герон. Вакнин Кудесник скорбит о смерти близкого друга и товарища по работе.

Но тогда, пятилетним сиротой, я думал не о радости своей смерти, а о печалях своей жизни. Утрата и сиротство способны трансформироваться в самые разные и весьма странные состояния, и мое сиротство немедленно трансформировалось в одиночество. Не одиночество ребенка, у которого нет друзей, а одиночество единственного существа мужского пола среди пяти женщин, что склоняются над ним, следят за ним, заботятся о нем, укладывают в постель, простирают над ним свои десять крыльев и несут к предназначенной судьбе.

– Просто красавец!

– Вот увидите, он еще будет разбивать сердца.

– Посмотри, какие у него крохотные пальчики на этих прелестных ножках, сладенькие, как горошки.

– Горошинки.

– Нет, горошки.

– Дура.

– Сама дура.

– Не поправляй меня. Слышишь?!

– А какие у него чудные яичечки.

– Я бы уже сейчас сменялась с девушкой, с которой он будет спать.

– Не сменялась, а поменялась.

– Она обратно меня поправляет!

– Может, ты знаешь, как еще лучше мог бы расти мужчина, а, Рафаэль?

И я, этакая глупая арифметическая задачка: один мальчик, четыре вдовы, шесть грудей, десять глаз, одна сестра и пятьдесят пальцев, что ласкают, проверяют, оценивают и гладят, – я сдерживаю себя и отвечаю: "Нет".

Почему я ушел

– Почему я ушел? – огрызаюсь я. – Ты не знаешь, почему я ушел? Из-за всех вас я ушел, и из-за него, и из-за нее, из-за того, что вы все сделали со мной, и с ним, и с нею.

Они пугаются. Сами того не замечая, прижимаются друг к другу – и она, Рыжая Тетя, тоже, – образуя стену плеч, глядя исподлобья, схватившись за руки.

– Что мы такого сделали? – удивляются они. И она, Рыжая Тетя, тоже.

1. Удар милосердия (*франц.* coup de grâce) – смертельный удар, избавляющий от страданий.
2. "Мекорот" (*ивр.* "Источники") – Управление водными ресурсами.

— Ты опять ошибаешься, — говорят они. Все до единой, и она, запуганная, тоже.

— Я не ошибаюсь. У меня плохая память на слова, но то, что я видел, я не забываю.

— С такой памятью, как у тебя, очень опасно лгать. — И кто это говорит? Именно она, Рыжая Тетя.

Иногда я беру матраку[1], которую подарил мне Авраам-Каменотес к моей бар-мицве[2], крепко сжимаю короткую дубовую рукоятку, и тогда, как и обещал Авраам, воспоминания тотчас всплывают во мне. Но обычно помнящими оказываются женщины, а забывчивым — я. Они — колодцы с водой, а я — летящая по ветру пыль. Они — незыблемые скалы, а я — стертая тропа. Но я никогда не лгу. Ни на путях своей жизни, ни на ветвящихся путях моих рассказов, пытающихся эту жизнь описать. Ты, возможно, снова скажешь, что забывчивость — это тоже своего рода ложь, но в отличие от припоминания в ней, во всяком случае, нет ни зла, ни дурного умысла.

Я не лгу. Человек со слабой памятью не может позволить себе такое удовольствие. Я слышал по ночам, как Большая Женщина всхлипывает на пять голосов, я массировал натруженные просторы ее спины своими маленькими ступнями, я видел, как она выщипывает одиночество своих ног и разлет своих бровей. Я слышал, как она упражняет пять своих памушек: раз, два, три, четыре и пять, пять, пять. Четыре раза сжать быстро, а пятый подольше. Нет, я не знаю, как мог бы мужчина расти еще лучше. К чему мне лгать?

Много лет назад

Много лет назад я преподавал в средней школе. Странно, даже название ее уже просочилось и вытекло из разрушенных колодцев моей памяти, а вот большой кипарис в углу двора я помню, и зеленую полосу, протянувшуюся параллельно полу по всем стенам, классам и коридорам, тоже могу запросто восстановить перед глазами и легко по ней пройти.

В окружении женщин, заполнявших учительскую своими разговорами, запахами и мелочами, я снова ощутил одиночество моего детства, увидел, как движутся руки Авраама-Каменотеса и услышал постукивание его молотка и зубила. Багровый шелест углей в продырявленных жестяных жаровнях, сладость чая, и запах пыли, и вкус его особого "бутерброда каменотесов" поднимаются во мне и сейчас, вяжут меня по рукам своими соблазнами, влекут к себе мои ноги и сердце.

Сначала учительницы пытались болтать со мной, а когда стало известно, что я разведен, предложили меня сосватать, но в конце концов махнули на меня рукой. Иногда какая-нибудь из них подходила ко мне и просила передвинуть тяжелый ящик, который оказался не под силу старому служителю, или открыть заупрямившуюся банку сахара для кофе. Но обычно они оставляли меня в покое, и поскольку одиночество, как и

1. Матрака — молоток каменотеса.
2. Бар-мицва (*ивр.*; букв. "сын заповеди") — мальчик, достигший 13 лет и считающийся правомочным и обязанным блюсти все заповеди, предписанные еврейскому мужчине религиозной традицией; также — религиозная церемония "посвящения во взрослые", происходящая в тот же день.

скука, и выпивка, и тоска, имеет тенденцию самоудваиваться и самоутраиваться, я все больше и больше замыкался в себе.

Но в один прекрасный день заместительница директрисы сказала в шутку, что, если б не я да не мужской шовинизм языка иврит[1], табличка на дверях учительской гласила бы не "Комната учителей", а "Комната учительниц".

Я глянул на нее и вдруг ощутил бесконечную усталость человека, кожа которого насквозь исколота чересчур частым умничаньем окружающих, а терпению настал конец от их чересчур глубоких познаний. Я сказал ей: "Уважаемая коллега, в твоих словах нет ничего такого, чего бы я не знал. Я вырос в доме, где жили одни лишь женщины, целых пять, и нахожусь в той же ситуации сейчас, в этой 'комнате учительниц', как ты соизволила сказать. И поскольку я, как и все мужчины, до сих пор расту, разреши мне процитировать тех пятерых женщин и сказать тебе, что я не знаю, как еще лучше может расти мужчина".

Давно принятое решение вдруг дозрело во мне. Я нетерпеливо встал и, вынимая бумаги, книги и карандаши из своего ящика, продолжил: "Я не большой знаток женской души, коллега, но я знаю, как скрыть усы, приподнять грудь и разгладить кожу на локтях. Мне знакомы боли месячных и ночная тоска. Я умею устраивать дни рождения и поминовенья. Я знаю, как резать лук, чтобы не текли слезы, и как выбирать на рынке хорошие баклажаны и огурцы, пригодные для маринования. И как разглядывать старые фотографии в темноте, и как плакать беззвучно, и как сушить обертки от маргарина на кухонных плитках. Я даже знаю, как самым лучшим способом укреплять памушку, что в твоем возрасте, извини меня, безусловно рекомендуется и доставит удовольствие и тебе, и твоему супругу. А секрет прост: четыре раза сжать быстро, а на пятый подольше. Ты была в скаутах? Это как просигналить цифру 'четыре' по азбуке Морзе, только там, внутри".

И тут я поклонился вице-директрисе тем коротким учтивым поклоном, которым слуги в доме Верховного Комиссара кланялись высокопоставленным гостям и которому я научился от Рыжей Тети, которая научилась ему от Дяди Эдуарда.

— Вот так, мадам, сядьте на стул, сдвиньте ноги и сжимайте: раз, два, три, четыре, — а сейчас пятый раз, подольше, вот так... и держать, держать, не отпускать... делайте это упражнение несколько минут в день, и у вас перестанет капать, когда вы смеетесь, и ваш супруг тоже скажет вам спасибо. — И говоря все это и собирая свои вещи, я сожалел лишь о том, что тебя нет при этом, сестричка, чтобы услышать мои речи и понять, что ты не все понимаешь, паршивка, нет, не все ты понимаешь и знаешь.

Я расстегнул медные пряжки моей сумки — старой пузатой кожаной сумки, которую Бабушка в неожиданном и неповторимом приступе щедрости купила Отцу, когда он закончил медицинский факультет, а он, в таком же неповторимом и совершенно ожиданном приступе смерти завещал мне, — затолкал в нее свои немногие вещи и пошел домой, оставив заместительницу директрисы в виде соляной столбыни потрясения и обиды, с оскорбленно распахнутым ртом и изумленно разинутым влагалищем, что сигналило "четыре".

1. В иврите, как и в русском, когда речь идет о группе женщин и мужчин, всегда употребляется мужской род ("четверо", "пятеро", "шестеро"), даже если на пять женщин приходится один мужчина.

Мне хотелось бы еще добавить, что обычно я ни с кем не говорю в таком стиле, но я и сегодня еще улыбаюсь, когда пью свое пиво, и гадаю, не стоит ли она до сих пор там — со своими черными усами, уныло обвисшими грудями, шершавыми локтями и вялой памушкой — всем тем, что моя жизнь с Большой Женщиной научила меня скрывать, приподымать, разглаживать и укреплять.

Понятно, что после этого маленького урока я больше не вернулся в школу. Я работал то тут, то там, и в конечном счете, после нескольких малоинтересных метаморфоз, сунул в сумку стетоскоп, который завещал мне Отец, бинокль, и записную книжку, и перочинный нож, и мешок, набитый камешками для игры в "пятерки", которые собрались в течение многих лет, проведенных мною при дворе моего друга Авраама, запаковал свои одежки, пожитки и короткую память, спустился в пустыню[1] и стал сотрудником Южного отделения компании "Мекорот". Теперь я обладатель жестковатого, подпрыгивающего на ходу пикапа, радиотелефона для связи, который не горит желанием разговаривать, переносного холодильника, походной сумки, образцово уложенного ящика с инструментами, а также странного звания "райобходчик", которое дает мне право сколько угодно ездить по грунтовым дорогам северовосточного Негева и присматривать за изрядным скопищем труб и скважин, вентилей и резервуаров.

Работа не такая уж сложная. Здравый смысл, основы электротехники, немного гидравлики и механики, все это у меня есть, и вдобавок еще стремление к одиночеству, унаследованное от Отца, педантичная любовь к порядку, которая у меня от рождения, и две умелые руки, которые я унаследовал от Матери. А если мне нужно решить задачу, которая превышает мои возможности, я зову на помощь своего друга, Вакнина Кудесника, начальника отдела эксплуатации нашего округа, мастера на все руки — и соединить, и починить, и разобрать, и отрегулировать.

Я записываю показания водомеров и электрических счетчиков на насосах, добавляю масла в двигатели и воду в охлаждающие втулки, проверяю содержание хлора в питьевой воде и беру пробы для министерства здравоохранения и даже заработал уже славу инспектора с особым чутьем на утечки. В пустыне обычно легко обнаружить утечку, потому что терпеливые семена, ожидающие в земле, тотчас торопятся взойти и окрасить влажное пятно в зеленый цвет. Но иногда протекает какая-нибудь глубоко залегающая труба, и тогда утечку никто не может заметить, разве что служба контроля, которая обнаруживает спад давления и сообщает об этом мне. Тогда я отправляюсь в путь, иду себе вдоль трассы трубопровода — этакий любитель прямых линий, с их ясным началом и надеждой в конце, — и сообщаю по связи Вакнину Кудеснику: "Нашел, гони бульдозер!" Что может быть проще трубы с водой? Проще начала и дороги, вентилей, клапанов и теченья воды?

— Вода — штука элементарная, в точности как люди, — сказал мне окружной начальник, когда я приступал к работе. — Все, что ее интересует, — это как бы спуститься пониже, а все, что интересует нас, — как бы поднять ее повыше. Поэтому мы ее либо толкаем, либо высасываем, а все остальное — пустая болтовня.

1. В иврите из Иерусалима всегда "спускаются" (а в Иерусалим всегда "поднимаются"), а "пустыня" в данном случае — это Негев, расположенная между Мертвым, Красным и Средиземным морями южная, в основном пустынная часть Израиля, пересеченная высыхающими летом руслами рек — вади.

Мне очень понравились его слова, как нравится мне сильная и сухая жара, которая наполняет мое тело энергией и жизнью, и как нравится мне мой давний друг, одиночество, — единственный цветок, которому привольно здесь, в пустыне, и как нравится этот пыльный, черно-коричнево-желто-серо-белесый пейзаж, который все больше зачаровывает меня, давая понять, что, подобно поздней любви, он тоже — жестокая разновидность отсрочки конца, а больше всего нравится мне щедрое обилие, подлинное затоваривание времени, что может по достоинству оценить лишь тот, кто занят полировкой воспоминаний и обработкой раскаяний.

Как я уже рассказывал тебе, сестричка, у меня есть образцово уложенный ящик с инструментами, в котором мужчина может найти любой инструмент, даже не помня и даже с закрытыми глазами, и там у меня собраны всякого рода ниппели, и муфты, и лопатки, и жестянка с суриком, и банка со скипидаром, и кисти для небольших красильных работ, и насос на аккумуляторах, чтобы дренажировать воду, затекшую в ящики и ямы.

А еще у меня есть завещанный Отцом стетоскоп, которым я прослушиваю собственное сердце, и маленький воздушный насос, который я использую в основном для того, чтобы подкачать колеса в машине Большой Женщины всякий раз, когда она приезжает ко мне в гости — проверить, и осмотреть, и сделать свои замечания.

А кроме того, у меня есть еще несколько милых моему сердцу акаций, в тени которых я отдыхаю, а в рыхлой земле у корней черчу генеалогические эскизы, и расшифровываю следы, и ловлю личинки муравьиных львов, которые потом приношу домой и выращиваю до тех пор, пока они не созреют, вылупятся, распустят крылья и улетят. И есть прозрачный воздух пустыни, чтобы рисовать в нем видения, и цветущие кусты ракитника, чтобы зарывать в них лицо и нюхать воспоминания, и его сухие ветви, чтобы развести костер, и успокоить кипятящийся чайник, и заваривать себе сладкий чай, снова и снова.

И еще у меня есть маленькое потайное озерко, над краем которого я сейчас распластался как идиот. Вот он ты, Рафаэль. Ты ждал меня? Ты соскучился? Голубое небесное око смотрит на меня из бездны, что сверху, а лицо мое, улыбаясь, всплывает ко мне из бездны, что внизу.

Рафи, Рафи!

— Рафи, Рафи! Твои подружки приехали, в синей машине!

Я выглядываю в окно. Моя сестра припарковывает "вольво" ("Почему ты всегда паркуешь ее за метр от тротуара?" — выговаривает ей Бабушка), и пять женщин окружают машину, проверяя, все ли дверцы закрыты, а потом выстраиваются в колонну и маршируют к моему дому.

Сверху я вижу десять шагающих ног и десять размахивающих рук. И четыре головы с крашеными волосами: две темные — Бабушки и Матери, черную и каштановую — двух моих Теток и одну седую — голову самой молодой из них, моей сестры, застарелой девы. Когда-то она была натуральная блондинка и несколько лет назад, когда в ее волосах начала проступать седина, покрасила их в естественный цвет. Но однажды, когда она ехала в машине, какой-то молодой человек обогнал ее, оглянулся — и она не могла не различить гримасу разочарования на его лице.

— Понимаешь, Рафауль, — объясняла она мне, — сзади он видел блондинку с загорелыми плечами и решил, что это молоденькая красотка. Но после того как я увидела его лицо после того, как он увидел мое лицо, я решила, что я больше не крашу волосы. Мне это не пристало.

Мать идет первой, Бабушка за ней, Черная Тетя осторожно поддерживает ее сзади, а сестра несет коробку с Пенелопой. Последней приходит Рыжая Тетя, которая взбирается по ступенькам и при этом громким пронзительным голосом и с гримасой отвращения читает имена на дверных табличках.

Одна за другой они входят в мою квартиру. Одна за другой обнимают меня. Пять быстрых правых ладоней одна за другой похлопывают по моему левому плечу, сигналя мне "двойки" фамильной морзянкой, точками и тире нашего семейного кода.

Трудолюбивыми пчелами гудят они в пространстве квартиры. И вот уже кастрюли с едой греются на газовых горелках, фрукты, головки сыра и селедка спрятаны в холодильник, книги для чтения с сиротливо брошенными окончаниями положены на книжную полку, маринованные огурцы порезаны, сладкие пироги из дрожжевого теста — о, сладкие пироги из дрожжевого теста! с мягким изюмом; яблоками и маком, который всю ночь вымачивался в молоке! — уже нарезаны и выставлены на стол, а страшные Бабушкины закрутки с консервированной всячиной расставлены по шкафам. "Выброси все старые закрутки, потому что на завтра мы приготовили тебе сюрприз и прибываем с новыми, — предупредила ты меня по телефону накануне, — и, кстати, надень старую рубашку, потому что она, конечно, будет тебя кормить очередным вареньем, которое варит в данный момент".

Бабушкины глаза зорко рыщут.

— А это сколько стоит? — спрашивает она о каждом предмете, на который натыкается ее взгляд, что новом, что старом.

— Уйму денег, — отвечаю я о каждой вещи.

В ее комнате в их доме в Иерусалиме оконные рамы все еще заклеены липкой лентой времен Синайской кампании[1]. "Сними это уже наконец! — кричат на нее дочери. — С тех пор прошло сорок лет!" Но Бабушка отвечает, что война все равно повторяется каждые несколько лет, "так что́, мне каждый раз снимать и снова наклеивать?".

Пенелопа расхаживает между ножек стульев, а мы — не шесть, а шестеро, в силу мужского шовинизма языка иврит, — сидим у стола, едим, и пьем, и беседуем, и пока мы беседуем, пальцы Большой Женщины продолжают перебирать на столе воображаемую чечевицу, а ее глаза высматривают, и выискивают, и фиксируют каждое изменение, которое произошло за истекший месяц в моей внешности, в моей квартире и в моих привычках.

— Ты как будто плохо выглядишь, — говорит Бабушка.

— Он выглядит много лучше, чем Наш Отец, и Наш Дедушка, и оба Наших Дяди, — говорит сестра. Но Бабушка уже перестала перебирать отсутствующую чечевицу — она немедленно вытаскивает и открывает новую банку с вареньем, и сладкая кормящая ложечка, дело столетних старческих рук, уже дрожит у моего рта, который сам собой раскрывается ей навстречу.

1. Синайская кампания (29 октября — 5 ноября 1956 г.) — англо-франко-израильская война против Египта, в результате которой Израиль временно захватил Синай и сектор Газа.

— Вот, Рафинька, ты уже выглядишь много лучше, — декламирует сестра вместе с нею, и я послушно глотаю и вытираю две липкие красноватые капли со старой рубашки, которую надел в ожидании ее визита (спасибо тебе за предупреждение, сестричка).

— Вкусно?

— Очень вкусно, Бабушка, спасибо.

Теперь она добавит несколько слов по поводу страшного пекла пустыни, которое наверняка не прибавляет мне здоровья, снова спросит, как я себя чувствую, и заметит: "Ну, так сколько тебе уже лет? Пятьдесят два? Что вы на это скажете..." И улыбнется, и произнесет мою любимую фразу — фразу, которая шелестит в глубинах сердец Большой Женщины, но которую лишь Бабушкин рот позволяет себе произнести вслух: "Я ни за что не умру, пока не увижу тебя в гробу, Рафинька..."

— Именно так, Рафинька. Она не умрет, пока не увидит тебя в гробу.

Сестра говорит, что бабушкино долголетие ("не 'исключительное', Рафауль, просто 'слишком долгое' летие...") наделяет ее особенно отвратительным видом неприкосновенности. Я слушаю и улыбаюсь, потому что не только мое долголетие, — "исключительное"? "слишком долгое"? ненужное зачеркнуть, — но и мое имя тоже мечется, точно красная тряпка, перед Бабушкиными глазами, имя "Рафаэль", полученное мною в память о ее муже, который покончил с собой, оставив своей вдове столько долгов, что ей это до сих пор кажется злобной местью.

— За что он мне так отомстил? — часто говорит она. — Что я ему сделала плохого?

— Если ты хорошенько подумаешь, то наверняка найдешь причину.

— Если тебе так хочется, Бабушка, я могу умереть хоть завтра, от солнечного удара или укуса змеи, — предлагаю я ей. — И пожалуйста, похороните меня возле колодца или ямы с водой, как хоронят своих бедуины.

— Почему?

— Потому что тогда покойники могут быть уверены, что люди придут их навестить.

— У Наших Мужчин нет оснований жаловаться, мы помним.

— Мы похороним тебя возле электрического счетчика, — говорит сестра, — и тогда Бабушка будет навещать тебя три раза в день.

Я рассказываю им о камнях, на которые я люблю смотреть, о больших валунах пустыни, которые когда-то сорвались с вершины утеса, покатились вниз, да почему-то застряли на полпути, посредине склона, гневные и удрученные, не добравшись до дна, не найдя покоя.

— И так тоже может случиться, Рафинька.

— Ты не должна была тащиться в такую жару в такую даль, Бабушка, — говорю я ей, этакий пожилой и опытный внук. — Не так уж это хорошо для твоего здоровья.

— Она здоровая, как бык, — говорит Рыжая Тетя.

— Бык? — усмехается Бабушка. — А хундерт-ерике ку, вот я кто. Столетняя корова, — и она икает и надолго удаляется в мой туалет, наполняя его постаныванiями и вонью, в то время как остальные женщины делают вид, что ничего не слышат и ничего не чуют, а потом появляется оттуда с измученным лицом человека, которого заставили расстаться с весомой частью своего достояния.

Теперь она пойдет отдохнуть в моей постели, и я уже знаю, что сразу же после их ухода я прежде всего быстренько простирну простыни и

вытащу матрац на солнце для дезинфекции. В Иерусалиме, в нашей сдвоенной квартире, я не раз пробирался в их туалет, пользоваться которым мне запрещалось, чтобы понюхать, и опознать, и запомнить, и ее запах не нравился мне уже тогда.

— А что ты делаешь здесь после работы, Рафи? — спрашивает Рыжая Тетя.

— Сижу в кресле.

— И что?

— Думаю, читаю, потягиваю пиво.

— Какое печальное кресло.

Она права. Теперь, приглядываясь к этому креслу, я вижу, что оно и в самом деле выглядит печальным.

— И кормлю своего муравьиного льва.

— Кого?

— Вот, здесь. — Я встаю и показываю им маленький ящик с песком, стоящий на подоконнике. — Видите ямки в песке? У меня здесь живет такое существо, которое поедает муравьев.

Черная Тетя прижимается ко мне сзади, чтобы лучше видеть. Груди, которые когда-то кололи меня, как острые обломки камня, теперь распластываются на моей спине, как бумажные мешочки. Старая женщина моя тетя, но сквозь все ее годы по-прежнему пробивается ко мне тот темный запах, шалфейный запах ее молодости, который пробивался сквозь ткань в углублении ее колен в то далекое время, когда мне разрешалось спрятать там голову и понять, что так, сквозь кожу, и ткань, и собственный нос, я буду любить, и так запомню, и так буду тосковать по ее телу.

— Ты еще любишь меня, Рафи? — интересуется она.

— Не переставал ни на минуту.

— Мы всё слышим!

— Видите? Он сам говорит. Любовь никогда не кончается. Она только отдыхает, только прячется. Люди — эти могут исчезнуть, но любовь не исчезает.

— Мы бы согласились с тобой, даже если бы ты сказала эту глупость наоборот, — говорит Мать.

— Я не понимаю, — возвращается Рыжая Тетя к теме разговора. — Это то, что ты тут делаешь? Кушаешь муравьев?

— Не я. Это то, что делает муравьиный лев.

— Зачем тебе это насекомое, Рафаэль? — неожиданно возмущается Мать. — Оно разбрасывает весь песок вокруг. Зачем тебе эта грязь на окне, а?

— Я убираю. Сама посмотри, как у меня чисто и убрано.

— Действительно убрано.

— Я нахожу любую вещь с закрытыми глазами. У вас я никогда ничего не находил. Ночью, когда я шел в темноте в туалет, я считал шаги в коридоре, потому что никогда не мог найти выключатель.

— Почему это, интересно?

— Потому что это мой дом.

— А у нас нет?.. Очень интересно...

— А что еще ты делаешь?

— Я беру папин стетоскоп и слушаю свое сердце.

Я победил. Их глаза увлажняются, губы дрожат, но они тут же приходят в себя.

— А гости у тебя бывают?

Когда Рыжая Тетя говорит "гости", она имеет в виду такого рода гостей, которые заранее предупреждают о времени своего визита и являются с подарком, с наманикюренными ногтями, в отглаженной рубашке, с тщательно уложенными волосами, чистые и сверкающие. Гостей, к приходу которых в доме наводят порядок, достают красивые веджвудские тарелки, до блеска надраивают в их честь туалет и кладут на журнальный столик альбом с репродукциями. Короче, таких гостей, за которых можно и замуж выйти, если они не женаты.

— Нет, — ответил я. — У меня не бывает гостей.

— И так вот ты живешь здесь? Один, как пес?

— Пес? — огрызаюсь я. — Почему "как пес"?

— Почему ты говоришь "один"? Мы с Роной навещаем его, — говорит сестра.

— Ты еще видишься с Роной? — Черная Тетя довольна. Она любит Рону и единственная из всех пяти женщин была искренне огорчена, когда мы разошлись. — Правда? Она все еще приходит к тебе? Ну и как она?

— Преуспевает. Уже получила отделение, — говорю я, испытывая странную гордость.

— Что это значит, что он видится с Аароной? Она ведь замужем, — ворчит Бабушка.

— Хватит! — прошу я. — Вы за этим приехали? Действовать мне на нервы?!

— А если ты хочешь поговорить с кем-нибудь?

— Почему ты переводишь разговор? Мы ведь говорили о Роне.

— Я не хочу говорить с вами о Роне.

— Но мне нравится говорить о ней. Стоит упомянуть ее имя, у тебя сразу появляется такое смешное выражение на лице.

— Это выражение, которое осталось у меня от любви.

— Ты не должен был разводиться с ней.

— Это она оставила меня, а не я ее! Вот вам, пожалуйста, я рос самым лучшим образом, каким только может расти мужчина, и вот что из этого получилось.

— И это мы виноваты? — они подымаются и встают, как стена.

— Я просто констатирую.

— А культурные люди здесь есть, в этом месте? — упрямствует Рыжая Тетя.

— Тут есть очень симпатичные люди. Например, один, который работает со мной, его зовут Вакнин Кудесник, и мы с ним разговариваем о Боге.

— Вакнин? Ты дружишь с человеком по имени Вакнин[1]?

— Что поделаешь, так его зовут.

— А почему Кудесник?

— Потому что у него золотые руки.

— Да оставьте вы Вакнина, лучше скажи, с каких это пор ты вдруг интересуешься Богом?

— Я не интересуюсь Богом. Это Вакнин Кудесник интересуется.

— Люди, которые живут в пустыне, всегда интересуются Богом.

— А если очень жарко, им даже кажется, что они его видят.

1. Вакнин — типичная фамилия выходцев из Марокко (сефардов), к которым израильские ашкеназские евреи относятся подчас презрительно.

— А если им сильно напечет голову, они начинают с ним разговаривать.

— То есть люди здесь в основном простые? — подытоживает Рыжая Тетя.

— Совершенно верно, — говорю я. — Как я. Все мы здесь простые. Устаем, когда нас поджаривает солнце, радуемся, когда есть ветер и тень.

А потом все мы понемножку погружаемся в свои дела. Черная Тетя поливает мои цветы на подоконниках, подмигивает и брызжет водой на соседских детей, смеющихся на тротуаре, Рыжая Тетя уходит в туалет и исторгает там из себя все, что съела, Бабушка выводит рулады храпа на моей кровати, которая постепенно пропитывается отвратительностью ее запаха, Пенелопа грызет салатные листья и оставляет темно-зеленые катышки на полу.

А мы с сестрой спускаемся к старому синему "вольво" и говорим о том и о сём. "То" — это ее привычка отменять свои свадьбы в последнюю минуту: так случалось уже четыре раза и два из них — с одним и тем же мужчиной, а "сё" — это теплящаяся во мне надежда, что когда-нибудь, во время одного из своих визитов, Рона все-таки перевернет мой пикап, и тогда я тоже сподоблюсь достойного несчастного случая. И покуда мы разговариваем, я успеваю проверить их старый драндулет, добавить в него масла, подкачать шины, залить тормозную жидкость и воду для охлаждения, подтянуть и укрепить болты и гайки. Мы, мужчины, должны стоять друг за друга, а их "вольво", хоть и среднего рода, почему-то представляется мне пожилым усталым мужчиной.

А когда мы поднимаемся обратно в квартиру, Мать спрашивает, о чем мы там беседовали, и вздыхает, услышав ответ, и снова устраивается в моем печальном кресле, и снова начинает читать. Сначала вслух, бормоча себе под нос, потом все тише и тише и под конец почти совсем неслышно, но по-прежнему шевеля губами, как будто кто-то рядом слушает ее.

В *моей памяти*

В моей памяти вдруг всплывает образ продавца сладостей. По четвергам он появлялся в нашем квартале, брел со своей тележкой средь невзрачных серых домов и выкрикивал:

В канун субботы все хотят
Купить конфет и шоколад.
А кто жалеет детям сласти,
Тому не видеть в жизни счастья.

Так он шел и покрикивал, разукрашивая унылую серость квартала красными пятнами своих сахарных петушков, а потом уходил.

— Спой мне еще, — просил я.

— Что тебе спеть?

— Песню продавца сладостей.

— Но я ее только что пела.

— Спой опять.

Она смеялась и пела.

— А сейчас расскажи.

– Что рассказать?

– Про белую крысу Дяди Эдуарда.

– Я уже рассказывала. Она убежала, – сказала Мать. – Когда он упал, она спрыгнула с его плеча, и больше ее не видели.

– Расскажи мне о желтом коте из Дома слепых.

– Об этом коте не надо рассказывать, Рафаэль, его надо убить и всё.

Мать ненавидела желтого кота из Дома слепых, потому что он то и дело приходил в наш квартал, выискивал котят, которые рождались от других котов, и беспощадно их убивал.

Черная Тетя говорила ей:

– Что ты от него хочешь? У котов так принято. Ты что, хочешь исправить эволюцию, которой уже миллионы лет?

– Почему "исправить"? – спрашивала Мать. – Такого кота не исправляют, его убивают. Или я убью его сама, или Рафи вырастет еще немножко и убьет его вместо меня.

– Хоть ты и маленького роста, но изо рта у тебя выходят ужасные слова, – говорила Черная Тетя.

– Тогда расскажи мне еще раз о свадьбе Рыжей Тети и Дяди Эдуарда, – просил я.

– Мне не хочется.

– Тогда расскажи мне о ней и о Дяде Аврааме.

– Что тут рассказывать?

– Своей подружке в "Киннерете" ты бы рассказала.

– Ей я бы читала. Она была слепая.

Я зажмурил глаза так сильно, что в темноте зажглись огненные искры.

– Я тоже слепой!

Она засмеялась.

– Тогда расскажи мне о ней.

– Успокойся, Рафаэль!

– Расскажи, как она поехала к знаменитому доктору в Вену, и как она не вернулась, и как никто не знает, где она сегодня.

– Зачем тебе все эти сказки, Рафаэль, а? Иди лучше, поиграй с ребятами в поле, и дай мне спокойно почитать.

В*ечерами*

Вечерами Большая Женщина сидела в кухне, перебирала воспоминания и загадывала сама себе загадки в духе тех викторин, которые нам устраивали тогда в детские дни рождений и во время соревнований между параллельными классами: "Кто сказал и кому?", "Что было сказано и почему?" и "Закончите предложение". И вот так, не только из рассказов и воспоминаний, но также из этих вопросов и ответов, мне становились известными факты.

Кто сказал и кому: "Сильные души ломаются легче"?

Кто сказал и кому: "Я говорила ему не жениться на вас"?

И кто сказал и о ком: "Я больная, а он взял и умер"?

И кто сказал о себе: "У меня иногда так горит внутри, что матка из ушей вылазит"?

Кто сказал: "Рафаэль, слышь, Рафаэль! Я знавал твоего отца"?

Кто сказал и о ком: “Одну из твоих теток воспоминания возбуждают, а другой они причиняют боль”?

И кто та, что кричала: “Но тут темно! Тут темно! Тут темно!”?

И кто: “Он умер! Он умер! Он умер!”?

Я открою тебе еще один секрет

Я открою тебе еще один секрет. Я дважды терял невинность. Первый раз, когда был еще слишком мал, по существу ребенок, и об этом я расскажу потом, и второй раз, когда был уже слишком стар, в двадцать один год, когда отслужил в армии и поступил в университет.

Помнишь ли ты? У меня было тогда несколько частных уроков. Одним из моих учеников был одиннадцатилетний мальчик, наделенный телосложением, глазами и тупостью теленка. В мои обязанности входило выполнять с ним домашние задания и учить арифметике — предмету, который вызывал у него особенно большие затруднения. И не столько деление или вычитание, сколько как раз самое простейшее из действий — сложение. Когда я спрашивал его, сколько будет десять и два, он отвечал: “Сто два”. А если я спрашивал “семь плюс пять”, он говорил: “Семьдесят пять”. Когда я поправлял его, он говорил: “Правильно”, произнося это с раздражающей смесью покорности и восторга, и тут же снова брался за свое: один и один — одиннадцать.

— Ну что ты скажешь?! — говорила Бабушка. — Этот ребеночек обеспечит нашему Рафиньке заработок на долгие годы.

Поскольку я опасался, что мальчик тоже услышит эти ее предположения, которые она произносила в полный голос за неплотно прикрытой дверью моей комнаты, я перенес наши занятия к нему домой. Его отец был богатый иерусалимский купец, которого я так никогда и не увидел, а мать — женщина лет тридцати, невысокая и очень тихая. Она заплетала свои темные волосы в косу, свертывала ее, как плетеную халу, и закалывала на затылке, а ее губы выглядели так, будто собирались сказать фразу, что была уже сформулирована, и отточена, и произнесена про себя, но знали, что никогда не выговорят ее. Тридцать лет прошло уже с той поры, и я, бывает, думаю про себя, сказала она все-таки ту свою фразу, и какую? И те ее волосы — они побелели? И жар ее кожи — что, остыл? А тиски ее лона, сильные, молчаливые, — ослабли с тех пор? А может, она уже умерла и все это умерло вместе с нею?

Она обычно входила в комнату посреди урока, неся маленький поднос с фруктами, два острых ножичка и две салфетки. Наклонялась, ставила поднос на стол и говорила одно только слово: “Пожалуйста”.

Из темноты слишком низкого выреза ее платья сигналило белое, подрагивая и прячась, как хвостик лани. Занавеси ее ресниц поднимались и опускались во взгляде, который был слишком долгим, чтобы счесть его коротким, и слишком коротким, чтобы счесть его долгим.

Их фрукты были фруктами богатых людей, и я ел их с удовольствием: багряно-золотые сливы “Сомерсет”, виноград “Гамбургский мускат”, совсем не по сезону, маленькие апельсины “Кумкват”, коричневые груши “Вильямс”. Рыжая Тетя любит груши, и я иногда прятал одну из них в карман, чтобы она могла разрезать ее перочинным ножом Нашего Эдуарда и съесть, запершись в своей комнате.

Каждый божий день я давал мальчику урок, и каждый божий день его мать входила в комнату, ставила на стол поднос и говорила: "Пожалуйста". Белый проблеск, бархат ее век, тишина шагов, — но я был парень, росший самым наилучшим образом, каким только могут расти мужчины, и эти стыдливые сигналы не пробивали стену моей тупости.

Но однажды она изменила тактику и подошла со своим подносом сзади, из-за моей спины. Она шла очень тихо, так что я не замечал ее, пока тепло ее кожи не защекотало мне затылок. Она наклонилась между сыном и мной, поставила поднос, и когда произнесла свое "Пожалуйста", ее левая грудь прижалась к моему правому плечу.

Мы оба оцепенели, но ее грудь не ведала колебаний. Она прижалась к моему телу слишком откровенно, чтобы ошибиться, — точно печать, оставившая мягкую вмятину понимания в моей плоти.

— А сейчас, — сказал я ее сыну, когда она вышла, — я задам тебе большое упражнение по арифметике, и мы посмотрим, сможешь ли ты сделать его самостоятельно.

Он широко распахнул материнские ресницы и тупо посмотрел на меня:

— Но я не могу самостоятельно.

— Ты должен попытаться, — сказал я ему, трогая рукой свое согретое плечо. — Делай медленно-медленно, и я уверен, что у тебя получится. Пиши...

Я выпрямился и, ни секунды не думая, без единой запинки продиктовал: ...семью два минус четыре, поделенное на два, плюс четырнадцать раз три, поделенное на шесть, минус десять, плюс восемнадцать минус три, деленные на три, плюс тридцать раз четыре, минус двадцать один и плюс двадцать два.

Он записал задание под мою диктовку и умоляюще посмотрел на меня, словно насмерть напуганный длинной змеей угрожающих цифр, которая выпрыгнула из его предательского карандаша и поползла по белой странице.

— Медленно-медленно, — напомнил я ему. — Не спеши. И главное — сделай все самостоятельно, без посторонней помощи.

Пальцы моих ног, эти хладнокровные молодчики, уже высвободились тем временем под столом из сандалий, словно маленькие Гудини.

— Сейчас я выйду из комнаты, а немного погодя вернусь, и мы посмотрим, что у тебя получается.

Представляю себе твою улыбку, сестричка. Я прошел по длинному темному коридору, миновал две закрытые двери по правую сторону и одну закрытую слева. Я ступал босыми ногами по невидимым следам, которые его мать оставила на полу, и они были еще теплыми, как оттиск ее груди.

В конце коридора была еще одна дверь, полуоткрытая. Я нырнул в темноту, споткнулся о низкую кровать и упал, кружась, как перышко, ниже-ниже, в блаженный покой ее теплой кожи.

Пальцы одной руки схватили мою правую ладонь и прижали ко рту, который хотел закричать. Ее бедра обхватили мои ребра. Пальцы другой руки провели меня в нее.

— Заполни! — велела она.

И я оказался внутри нее, поднимаясь и опускаясь на кончике своей плоти, изумленный, распираемый смехом, ощущая, как песок сыплется во все поры моего тела.

— Вслепую, — прошептал я про себя.

И в этот миг, задыхаясь от смеха и запаха духов, охваченный ее хлопотливой и теплой плотью, я вдруг увидел, что где-то в темноте робко мелькнула полоска света: задохнулась, исчезла, сверкнула снова.

И тогда дыхание мое оборвалось, и вернулось, и я снова стал видеть, и мой голос стал голосом, выговорившим быстро и четко: "Сто сорок один".

— Что ты сказал? — прошептала она.

—Сто сорок один. Твой мальчик закончил. Это ответ.

Вот, я рассказал тебе секрет. Историю, которую ты не знала.

Каждые несколько недель

Каждые несколько недель Черная Тетя устраивала настоящие посиделки — с картошкой и луком, с питами и кофе — и собирала на них всю квартальную детвору. Приходили также несколько сирот, вырвавшихся на зов костра из-за стен своего сиротского дома, а не раз — и беспризорные дети из соседней Лифты. В обычные дни они швыряли в Черную Тетю камни и дрались с ней, но на ее посиделки приходили как полноправные участники. Появлялись и воспитанники Слепой Женщины из Дома слепых — Аврам, и Яков, и Давид, и Герцель, и Шимон, и Ави, и Рувен, приходили и стояли, покачиваясь, как на молитве, все в темно-синих беретах, в стоптанных, прощупывающих дорогу ботинках, с принюхивающимися ноздрями, расширенными, как зрячие зрачки в темноте.

Запах очищенных луковиц поднимался к их ноздрям, тепло пламени влекло к себе их кожу, и треск горящих ветвей звал к себе их уши. Меня удивляло, когда я видел, что они спотыкаются в темноте, как и мы, потому что мне, по моей детской логике, представлялось, что как раз в темноте слепые видят лучше и ходят уверенней.

Мать-Перемать приходил тоже, прихватив с собой двух-трех друзей из Дома сумасшедших. Он всегда садился как можно ближе к огню и начинал выплевывать ругательства, а они стояли позади, говорили Черной Тете "ахалан, ахалан"[1], тихо-тихо напевали себе под нос странные песни и ждали, когда их тоже пригласят подойти к костру.

Все вручали Черной Тете принесенные с собою картофелины, и она нанизывала их на длинный и тонкий железный прут, хоронила его под слоем углей и объясняла, что "так их легче потом найти и вытащить, и они так лучше пекутся, потому что прут согревает их изнутри". Спустя некоторое время она извлекала нанизанные картофелины из раскаленной золы, давала каждому по одной, и тогда ночной воздух между скалами оглашался возгласами:

— Рафина тетя, моя еще не готова!

— Рафина тетя, моя получилась замечательно!

— Рафина тетя, ты дала ему мою картошку, это я ее принес!

— Рафина тетя, ты дала мне очень маленькую, дай мне еще одну, пожалуйста...

Стояли жаркие ночи, и когда огонь угасал и угли начинали перемигиваться замирающими огоньками, к костру приходила Слепая Женщина — понюхать, погреться и поискать своих семерых учеников.

1. Арабское приветствие.

– Не подходи к ней, Рафаэль, – шептала мне Черная Тетя, – я не люблю эту женщину, она меня пугает...

– Но почему? – удивленно спрашивал я.

– Так. Мы даже не знаем, как ее зовут. У других слепух есть хотя бы имена.

И действительно, в Доме слепых было еще несколько слепых женщин, и у всех у них были имена: Ривка, и Эстер, и Сара, и Лея, – всегда из Библии и всегда с ударением на предпоследнем слоге. Потому что имена, – так объяснила мне однажды Мама, внезапно загоревшаяся желанием объяснять, – спустились в наш мир, чтобы мы могли различать, и определять, и запоминать, – "как эти твои 'эти', Рафи, которые ты так любишь". Все прочие слепые женщины, которые были так тревожно и даже пугающе похожи друг на друга, нуждались в своих именах, без которых их нельзя было бы различить.

Но она, Слепая Женщина, была иной, удивительно не похожей на всех прочих, и потому не нуждалась в имени. Когда она проходила по нашему кварталу, дети кричали, или говорили, или шептали, или думали про себя – в зависимости от того, как далеко от них она находилась: "Вот идет эта Слепая" или "Вот идет эта Женщина", и все понимали, о ком идет речь. Именно так, "эта Слепая" и "эта Женщина", с двумя подчеркнутыми "этими" – одно при прилагательном, второе при существительном, одно как знак особости, а второе – как знак узнавания, и оба вместе – как опоры памяти, подобно пальцам Роны на моем теле и моим рукам на гладкости ее кожи: этот ее запыхавшийся живот, весь любовь, и эта ее гладкая щека, вся моя, и этот ее встопорщившийся пушок на этом ее смеющемся затылке, и вот эти горошины этих ее ног, – открой рот, Рафаэль, сделай: "А-а-а..." А вот и эта Женщина, эта Слепая, единственная и особенная, как будто это не просто существительное и прилагательное, а ее звание, ее степень, а может, роль, предназначенная ей, – то ли в нашем маленьком квартале, то ли в Иерусалиме, то ли в Стране, то ли во всем мире.

Какое-то время Слепая Женщина стояла у костра, а потом произносила:

– Пойдемте, дети. И захватите картофелину для бедняги Готлиба тоже.

Она поворачивалась и уходила, и хорейные Аврам, и Яков, и Давид, и Герцель, и Шимон, и Ави, и Рувен следовали за ней гуськом, как птенцы.

И к нам еще долго доносился издалека ее голос, который выговаривал им в темноте:

– Вот, вы не считали, и не запоминали, и не заучивали дорогу туда, поэтому вам так и положено – споткнуться и упасть на пути обратно.

Всю ночь

Всю ночь землю заливали дожди. Повсюду струились грязевые потоки, валялись вывернутые водой валуны, проселочные дороги затопило напрочь. Поутру, когда я поехал проверить очередную артезианскую скважину и глянуть, не повреждено ли ее оборудование, укрытое в одной из небольших котловин, мне пришлось выложить настил из камней, чтобы

пересечь вади, потому что хлынувший в него поток начисто смыл дорогу и прорыл уступы высоко на склонах ущелья.

Въехать внутрь котловины мне так и не удалось. Огромные обломки скал, принесенные водой, перегораживали вход. Я оставил пикап снаружи, забрался на завал и прополз внутрь по-пластунски, цепляясь как мог руками и ногами. Настоящий разгром открылся моему взгляду. Двенадцатидюймовая стальная труба, по которой вода поступала из скважины в котловину, в отсек охлаждения и компрессии, была разворочена наводнением. Куски ее были разбросаны по берегам русла, переплетенные друг с другом, будто остатки спагетти в тарелке великана.

Там и сям еще журчали последние небольшие ручьи. Радостные птицы кувыркались в них, и этот их плеск и щебет казались особенно умиротворяющими на фоне разрушений минувшей ночи. Воздух был наполнен сильными запахами пустыни, как это обычно бывает, когда капли дождя испаряются с нагретых листьев. Я вернулся к машине, сообщил о себе по радиотелефону, спустил воду из уцелевшего участка трубы в русло вади и едва управился, когда у котловины появился Вакнин Кудесник со своей бригадой технадзора.

Вакнин был счастлив.

— Вот видишь, мон ами, — сказал он. — Сколько лет мы с тобой смотрели на эту котловину, ты и я, и спорили, существует ли Бог?

— Слишком много, — сказал я.

— А теперь посмотри, как тут все разворочено, и ответь мне, существует Бог или нет?

— Даже если Он существует, Вакнин, эти наши скважины и трубы Его не интересуют.

— Не интересуют? Судя по тому, что здесь произошло прошлой ночью, они Его еще как интересуют!

— И это твой Бог, Вакнин? Всемирный водопроводчик?

— Благослови Бога, душа моя, — пропел Вакнин, — Который распростер небеса, точно шатер, и установил на водах основания его; Который сидит на тучах, как на колеснице, и несется на крыльях ветров; Который открывает источники в долинах, чтобы их воды текли меж холмами...

— Послушай, Вакнин, — прервал я его, — когда кончишь свои кантор-ские[1] песнопения, вызови, пожалуйста, бульдозер. А я тем временем освобожу тебе вторую трубу, а потом съезжу на вади Цин[2], посмотреть на тамошние скважины.

— Бульдозер я уже вызвал, — сказал Вакнин, — а ты мне нужен здесь, помочь с трубами. Садись лучше, выпей кофейку, месье Майер, ребята уже вскипятили финжан[3]...

— Я не люблю кофе, — сказал я ему. — Ты же знаешь, что я пью только чай. И кроме того, это не то время и не то место, где я привык пить.

— "Не то время и не то место..." — передразнил Вакнин. — Вот, пригласи йеке[4] на чашку кофе, и он тут же разведет тебе из этого целую философию.

— Сейчас я должен съездить на скважины вади Цин.

— Сдался тебе этот Цин! — рассердился он. — Ты мне нужен здесь.

1. Кантор — главный исполнитель молитв в синагоге.
2. Долина пересыхающей летом реки — центр оазиса в пустыне Негев.
3. Кофейник *(араб.)*.
4. Насмешливое израильское прозвище выходцев из Германии (йеке — педант).

Я уложил свои инструменты в чемоданчик, а сам чемоданчик уложил внутрь ящика в кузове пикапа. Мужчины нашей семьи должны опасаться любых вентилей, молотков и ключей, которые имеют обыкновение вылетать из кузова машины, когда она переворачивается. Одно дело, как говорила Рыжая Тетя, принимать удары судьбы и даже склонять перед ней голову, и совсем другое дело — оставить ей свет снаружи, распахнуть дверь и пригласить внутрь.

Вакнин повысил голос:

— Я тебя отлично знаю, месье Рафи Майер. Вади Цин и тамошние скважины интересуют тебя как прошлогодний дождь, ты просто хочешь улизнуть на свою обычную прогулку.

В действительности правы были мы оба. Мне и вправду нужно было кое-что сделать на скважинах вади Цин, и я не собирался эту работу откладывать, но одновременно я надеялся, что мне достанет времени подъехать потом к своему заветному озерку и глянуть, что там натворил дождь, — не забито ли и оно камнями, не потемнела ли та его прозрачность, что под, и то голубое око, что над, и удалось ли тому большому камню, что застрял посреди склона и ждет там, разгневанный, повиснув без опоры над пустотой, осуществить свое давнее желание и рухнуть наконец вниз?

— Вакнин, — сказал я ему. — У меня есть и еще работа, кроме как сидеть здесь с тобой и смотреть, как ты командуешь бульдозером. Я слил для тебя воду из трубы до последней капли, как только йеке может слить, а теперь вы тут займитесь своим делом, а я займусь своим. А к вечеру я вернусь посмотреть, нужно ли вам от меня еще что-нибудь.

– А если тебя будут искать по связи, что сказать?

— Правду, Вакнин, — сказал я ему. — Всегда говори только правду.

Он побежал за мной к пикапу, смягчив и понизив голос, чтобы не слышали рабочие:

— Тогда хотя бы благослови меня перед тем как уедешь. Скажи: да поможет тебе Господь, Вакнин, найти такую же хорошую жену, как твоя мать.

Мы с Вакнином часто благословляем друг друга самыми различными благословениями. Обычно это я благословляю его, но иногда я прошу, чтобы и он меня благословил.

— Не волнуйся, Вакнин, — сказал я, медленно трогая с места, — ты найдешь себе жену, и она будет такой же хорошей, как твоя мать.

— Нет, нет! — сердито крикнул он, не отставая от машины. — Скажи, как мы договаривались, слово в слово, как сказал я: "Да поможет тебе Господь, Вакнин, в один прекрасный день найти такую же хорошую жену, как твоя мать". Останови машину и скажи.

Я притормозил:

— Да поможет тебе Господь, Вакнин, в один прекрасный день найти такую же хорошую жену, как твоя мать. — И поехал.

Дорога, что вела к вади, приняла на себя удар наводнения, и ее размыло окончательно. Я вернулся чуть назад, проехал обходным путем, мимо заброшенной каменоломни, и спустился к вади по одному из его боковых отрогов. Всякого рода кусты — я только ракитник способен назвать по имени — лежали там вповалку, цветы их были вырваны с мясом, между ветками набились колючки и мелкая галька. Красными, белыми и темными были камни, когда неслись в сильном потоке, который выворачивал их со дна вади и увлекал за собой. Розовыми, желтыми и фиоле-

товыми пятнами пестрели они теперь на прозрачном дне, обозначая путь прокатившейся здесь воды. В некоторых местах крутые стены ущелья рухнули вовсе, обнажив новые слои спрессованных речных наносов, следы воды и песка, древние истории скал и почвы. Годы земли, годы засухи, годы моря, годы потока и бури.

— Это книги воспоминаний, летописи реки и ее берегов, — объяснял я когда-то Роне. — Вот слой песка, оставшийся от медленного, непрерывного течения. Вот слой больших наводнений, с валунами. Вот крепостные камни, откуда только их принесло?

— А меня откуда? — засмеялась она. — Иди уже ко мне, мой любимый...

"... и у меня есть муж, и дети, и мне еще долго вести машину обратно".

Солнце уже всползло на вершину небосвода. Тень стены, у которой мы сидели, все уменьшалась. Подобно неспешной, не знающей жалости гильотине, солнечный свет отсекал от земли полоску за полоской. Небо было таким голубым, а поток лучей — таким жарким, что мне казалось, будто над моей головой развернуто огромное голубое платье, в центре которого пламенеет красный цветок.

— Вот она я, мой любимый.

— Я тебя вижу, — сказал я.

— Ты часто думаешь обо мне?

— Ложась и вставая[1], — сказал я.

— И это все?

— Ложась и вставая, любимая моя, когда я ложусь, а ты встаешь, и когда я встаю, а он ложится, и когда он ложится, и ты ложишься, — уточнил я в деталях.

Все ниже-ниже скатывалась вода к срезу водопада, низвергалась в пропасть, грохотала в узком ущелье, успокаивалась, расширяясь, и оттуда, на сходящем на нет уклоне, постепенно умеряя пыл, в усталой обессиленности победителей, — вниз, к топкому покою Соленого моря. Можно было бы написать здесь: "к вечному покою Мертвого моря", но поскольку ты читаешь эти мои слова, сестричка, я лучше поостерегусь и воздержусь от подобных деклараций.

В *конце концов*

В конце концов я все-таки пошел и сказал Аврааму, что Бабушка просит его прийти и убрать камень из нашего двора.

Авраам был вне себя от радости:

— Уже иду, Рафаэль, уже иду, только сполосну лицо и только переоденусь!

Я думал, что он зайдет для этого в свой маленький дом и я смогу улучить минутку, когда дверь будет открыта, чтобы заглянуть вовнутрь. Но Авраам снял пару чистых брюк хаки, что висели на ветках харува[2], и сильно встряхнул их, разглаживая, а голову сполоснул прямо из крана во дворе.

Вода вычернила его волосы, смыв с них белесоватый налет каменной пыли. Лицо его, изможденное от печали, потрескавшееся и потем-

1. Обыгрывание талмудического указания, которое предписывает мужчине учить Тору, "когда ты ложишься и когда ты встаешь".
2. Харув — рожковое дерево и его плоды, сладкие рожки.

невшее от солнца, вдруг ожило и засветилось. Он пристроил ведро с инструментами на плечо, и мы двинулись в путь. Я шел медленно-медленно, сдерживая свои нетерпеливые колени, чтобы приспособиться к шагам его еле волочащихся ног.

Бабушка встретила его холодно, как будто делала одолжение, хотя это она нуждалась в нем, а не он в ней. Она провела Авраама через квартиру на заднюю веранду — он шел, жадно рыская глазами по комнатам, — спустилась с ним во двор и показала камень. Авраам посмотрел, потом легко, словно проверяя, постучал по нему своей матракой и улыбнулся довольной улыбкой.

— Здоров как бык, — сказал он. — Послушай-послушай, Рафаэль, как он звенит — совсем как колокол. Мы сможем сделать из него что-то красивое.

— Вытащи его, забери к себе, а там делай с ним что захочешь, — сказала Бабушка. — Мне главное, чтобы его духу здесь не было.

— Пойди ко мне во двор, — сказал Авраам, — разбери мой навес, сложи доски и джут на тачку и привези все сюда, да, Рафаэль? И захвати несколько гвоздей и канистру с водой, а заодно привези мою доску, чтобы сидеть, и подушку тоже привези.

Он вбил шесты по обеим сторонам камня, прибил гвоздями поперечины и натянул на них джутовое полотнище. Канистру с водой поставил в тени веранды, чтобы она запотела и охладилась, а сам уселся на свою доску, подложив под себя подушку, и принялся за работу.

— Что ты там стучишь, Авраам? — сказала Бабушка. — Выковыряй его этим своим ломиком, и все. Он нам здесь не нужен, этот камень. Вытащи его совсем, как зуб со рта.

Но Дядя Авраам стучал себе, не обращая внимания на ее слова, а поскольку она продолжала ворчать, он поднялся, натянул джутовое полотнище на шесты так, чтобы мы с ним и с камнем были укрыты от глаз Большой Женщины и могли без помех продолжать нашу работу — работу мужчин.

Авраам стучал и поливал, стучал и поливал, и слаженные звуки его матраки и шукии, не знавшие ни композитора, ни нот, ни дирижерской палочки, казались мне волшебными и влекущими. Но прошло несколько часов, и в них стало слышаться нетерпение и даже раздражение, потому что Рыжая Тетя все не появлялась. Так мы работали под маленьким джутовым навесом, пока не село солнце, и тогда Авраам собрал инструменты обратно в ведро, выполз наружу и попросил меня приготовить ему чаю.

Он растянулся под кустом маминой Санта-Розы и закурил одну из своих плоских и вонючих сигарет "Эль-Аль" — тех, что горят с одного конца и намокают от слюны с другого и сами собой гаснут, когда огонь и слюна встречаются друг с другом.

Все это время Рыжая Тетя сидела, закрывшись, у себя в комнате, а Мать, и Бабушка, и Черная Тетя шепотом обсуждали, "пригласить его внутрь поужинать" или "вынести ему что-нибудь во двор". Но тем временем его сигарета уже погасла, голова медленно-медленно откинулась назад, глаза закрылись, и он уснул. Мы с Черной Тетей укрыли его простыней и положили на нее сверху джутовое полотнище, чтобы защитить от ночной росы, и я еще долго смотрел из окна, как он лежит там, постепенно исчезая в темноте.

На следующий день удары начались сразу же с восходом солнца и снова казались моему слуху волшебными и влекущими, и в полдень, вер-

нувшись из школы, я поспешил присоединиться к нему под тенью навеса. Так продолжалось семь дней, а потом мы с Авраамом выползли из-под полотнища и позвали Большую Женщину глянуть на приготовленный для нее сюрприз.

Авраам рывком сдернул с шестов джутовое покрытие, протянул свою огромную ладонь и показал женщинам то, что я уже знал: камень превратился в спину, плечи, бедра и затылок обнаженного каменного мужчины, лицо которого, грудь, руки и ноги скрывались в земле, а голова, могучие лопатки, поясница и ягодицы выступали наружу.

Мать сказала в изумлении:

– Это великолепно, Авраам.

Черная Тетя прыгнула и уселась верхом на спине каменного человека, размахивая длинными руками, шлепая его по твердой заднице и хохоча.

Бабушка крикнула:

– Я же тебе сказала "совсем", Авраам! Убери этот камень совсем! Мне не нужен этот труп у меня во дворе! – И хлопнув дверью, скрылась в доме.

Миновали еще четыре дня постукиваний, и Дядя Авраам снова появился из-под своего джутового покрытия и снова позвал Большую Женщину прийти посмотреть.

Глыба, которая превратилась в каменного мужчину, теперь превратилась в белую каменную скамейку, низкую и плоскую, для двоих, чтобы они могли сидеть на ней, читать и беседовать.

– Ты что, идиот? Не понимаешь, что к тебе говорят? – кипела Бабушка. – Убери его совсем! Я не желаю никакого камня, ни в каком виде, чтоб он торчал посреди моего двора!

А ты шепнула мне:

– Он нарочно тянет, чтобы оставаться тут подольше.

Авраам снова скрылся под своим навесом и по прошествии двух дней снова позвал Большую Женщину прийти посмотреть. Глыба, которая превратилась в мужчину, который превратился в скамейку, теперь превратилась в шахматную доску, клетки которой не были покрашены в разные цвета, а отличались друг от друга направлением высеченных на каждой из них глубоких бороздок, так что тени этих насечек то зачерняли, то просветляли каждую клетку. По мере движения солнца и тени клетки меняли свой цвет. Те, что были черными утром, становились белыми после полудня.

– А ровно в полдень? – спросил я.

– В полдень жарко. В полдень не сидят во дворе и не играют в шахматы, – сказал Дядя Авраам.

Эта доска вызвала большой восторг. Черная Тетя вытащила Рыжую Тетю из ее комнаты, чтобы она тоже полюбовалась, и та сказала:

– Наш Эдуард тоже иногда играл в шахматы.

Авраам велел мне принести из его пещеры несколько сухих веток оливы, чтобы выжечь угли для жаровни. Он раскалил и заново заострил свои зубила, выдолбил на углах доски два квадратных углубления и вернулся к себе домой.

Несколько дней спустя он пришел снова и принес шахматные фигуры, которые вырезал у себя во дворе из особо твердых пород камня: светлого "мизи йауди" и темного "хаджар асвад". Там были два маленьких широкоплечих короля со слепыми глазами, и хотя они изрядно отличались друг от друга, оба были удивительно похожи на своего создате-

ля. И две высокие, изящные королевы, и четыре плотно сбитых ладьи, одна из которых с тех пор уже потерялась, и четыре толстеньких слоника, один из которых уже сломался, четыре коня с раздувающимися ноздрями, и шестнадцать пешек, которые представляли собой попросту шестнадцать одинаковых женщин — без лица и без талии, приземистых и с огромными грудями. Авраам положил фигуры в каменные углубления и не задерживаясь вернулся к себе.

Я снова вспоминаю

Я снова вспоминаю продавца сладостей. Иногда он приносил также мелкую галантерею, а однажды появился в нашем квартале, неся на спине тяжелый рулон хлопчатобумажной ткани голубого цвета. Согбенный и озабоченный, пришел он, радостный и налегке уходил, и той весной все девушки квартала щеголяли в больших голубых колоколах на тонких талиях, а все мальчишки бегали в коротких голубых штанах, и голубые простыни развевались на бельевых веревках, и все радостно улыбались друг другу, кружились и прыгали в полях, как Рыжие Тети на ветру.

А потом весна кончилась, красные пятна маков увяли и сморщились, как папиросная бумага от сильного жара. Явилось лето со своим беспощадным блеском и привело за собой в сады гнев июльских хамсинов. Голубые платья посерели от пыли, голубые простыни выцвели от пота, осы влетали в окна, птицы в беспамятстве падали на веранды.

Черная Тетя поливала за домом из старого чайника зелень, которую они с сестрой посеяли по весне. Поливала и проклинала. А по ночам одичалый клич шакалов звал к себе прирученные матки уличных сук, и вопли слепых, сирот и сумасшедших вылетали из зарешеченных окон и поднимались над тремя большими домами на трех углах нашего маленького квартала.

Чего ты расплылся?

— Чего ты расплылся, как идиот? — смеется Рона.

— Потому что я люблю быть с тобой вот так — когда ты одета, а я голый.

— Ты вовсе не голый, а я не так уж и одета.

Рона лежит на спине на белой скале. Ее ноги сдвинуты и выпрямлены, а сильные руки закинуты под голову. Ее неморгающие глаза изучают меня, как пальцы, щупают, исследуют и гладят. Под белизной ее открытой блузки розовеют две тени — пятна ее красных сосков, маленьких и очень нетерпеливых.

— Ну и что, под одеждой я совершенно гол.

Шершавое прикосновение ткани к моей коже точно приятная острая свежесть утреннего холодка за миг до того, как солнце обнажит пламя своих мечей и облущит покров этой прохлады с пустыни, как кожуру с апельсина.

— Все мы голые под своей одеждой.

— Но не под моей одеждой, — сказал я ей. — Под моей одеждой только я совершенно гол.

— Хорошо...

У Роны есть множество разновидностей “хорошо”, и они отличаются друг от друга продолжительностью и небольшими изменениями интонации. Есть “хорошо”, конец которого выше начала, и есть “хорошо”, начало которого выше конца, и есть нетерпеливое “хорошо”, и “хорошо” ликующей любви, и “хорошо” вожделения, и мелодичное “хорошо”, и сварливое “хорошо”, и торопящее “хорошо”, и стонущее “хорошо”, и “хорошо” наслаждения после глотка чаю и слов “ах...” и “это...”.

– А кроме того, – сказал я, – я первый, кто подумал о том, что под всеми одеждами он совершенно гол.

– Хорошо, мой любимый, а теперь покажи.

Я показал. Я занятный любовник. Из тех, что преданы этому делу.

– Повернись.

Я из тех любовников, что стараются.

– Но ты и сейчас не совсем голый, – сказала она. – У тебя есть кожа. В следующий раз не вздумай меня обманывать. Будешь обманывать, я сниму с тебя и ее.

– Хорошо.

– И не передразнивай.

– Хорошо.

Мои босые ноги

Мои босые ноги осторожно ступают в темноте коридора. Мои уши слышат булькающие всхлипывания. Моя рука шарит по стене, ищет – и не находит.

Всё слышал. Всё видел. Всё трогал. Всё нюхал. И ничего не понимал. Шалфейный запах тела Черной Тети, раскаленные угли волос Рыжей Тети, смех сестры, любимый Бабушкин черепах, усохшие груди Матери, заточенные в клетке ребер, – скрыты были они от моих глаз, но набухшие, гладкие и теплые воспоминания о них касаются сейчас моей щеки.

Не раз, когда я останавливаю пикап на одном из своих участков и заглушаю мотор, мне слышится мелодия флейт и человеческое пение. А когда я открываю или закрываю дверцу машины, они то усиливаются, то затихают. В первые мои дни в пустыне это меня очень пугало. Я боялся, что, может, мой собственный мозг, окруженный тишиной и одиночеством, воображает себе всякие звуки. Но позже я понял, что это проделки Эола, древнего бога ветров. Иногда он дует в трубы ограждения, как в мундштуки оркестровых флейт, и извлекает из них протяжную мелодию. А иногда дергает, точно пальцами струны, антенну, торчащую из водительской кабины, и когда она колеблется под перебором божественных пальцев, весь мой пикап превращается в один большой металлический резонатор. И тогда я слышу пение женщин, слышу их плач, слышу траурные рыдания их плоти в обрядах их воспоминаний.

Бабушка любила обоих своих зятьев

Бабушка любила обоих своих зятьев и особенно Дядю Элиэзера. Однажды, во время очередной бурной ссоры, Черная Тетя крикнула ей:

– Какая же ты мать после этого? Ты сказала ему, чтоб он вообще на мне не женился! Думаешь, я не знаю?!

И Бабушка ответила:

– Должен же был кто-то сказать ему, что́ с ними приключается в нашей семье.

– Нашему Давиду ты, небось, этого не сказала! – кипела Черная Тетя.

И Бабушка ответила:

– Его мать ему сказала, а он не послушался ее слов, как Наш Элиэзер не послушался моих.

И действительно, Дядя Элиэзер не обратил внимания на предостережения будущей тещи. Ему было лет сорок – "настоящий старый холостяк", – когда он встретил Черную Тетю и влюбился в нее, и поскольку, будучи автодидактом, он разбирался также и в оптике, то сам признался, что никогда не видел ее такой, как она есть, а всегда "будто через выпуклую линзу", сфокусированную на увеличенном и горящем изображении одной-единственной женщины.

– Сорока с лишним лет жизни мне безусловно хватит, если последние я проживу с ней, – сказал он Бабушке.

И действительно, через несколько лет, прожитых вместе с Черной Тетей, судьба, которую Дядя Элиэзер сам навлек на себя, воплотилась в образе вспыльчивого племенного быка из кибуца Афиким, который придавил его к стене в загоне для случки. Я уже рассказывал об этом? Дядя пытался ухватиться за столб, упал на землю и, когда бык отступил, пополз в угол загона. Со стороны казалось, что он остался невредим. Все думали, что он тут же придет в себя и подымется. Но те двое, что участвовали в этом происшествии, знали и поняли. Бык понял, что сделал свое дело, отступил и мигом успокоился. А Дядя Элиэзер улыбнулся гримасой боли и покорности приговору и стал судорожно глотать и задыхаться, потому что кровь уже покинула его внутренние органы, и поднялась, и залила полость его легких и живота. В какие-то несколько секунд пламенная рыжесть его волос стала пригашенной, возвещающей о смерти темноволосостью его сестры. Он повернулся на бок, подтянул колени к груди и умер.

Я не вполне уверен, но мне кажется, что из всех четырех Наших Мужчин, портреты которых висят на стене в коридоре, только Дядя Элиэзер осознал, что наступили последние секунды его жизни, и сказал себе: "Вот, сейчас я умираю. Вот, то, что происходит со мной сейчас: дыхание быка на коже моего живота, бульканье крови внутри моего тела, вкус пепла у меня во рту – все это моя смерть, МОЯ смерть". И осознал, что онемение, расползающееся по его телу, и приятная слабость от потери крови, и холодок угасания в кончиках пальцев и корнях волос – не признаки неожиданного заболевания или стремительного старения и не последствия отчаяния, или сна, или каких-либо излишеств, а попросту смерть, обычная смерть всех мужчин нашего рода, прибирающая в свой мешок то, что ей положено.

Не так, как Отец, который спокойно спал в своем армейском спальном мешке, и не так, как Дядя Эдуард, услышавший крик "Баруд!", которого он не понял, и глухой взрыв, который он понял, и не удивившийся дождю летевших в воздухе камней, но лишь одному, последнему. И даже не так, как Дедушка Рафаэль, который сам приготовил, и срежиссировал, и исполнил перед публикой сцену своего самоубийства и тем не менее был удивлен. Ибо смерть, несмотря на банальное утверждение, что она – самое ожидаемое и неотвратимое в человеческой жизни, всегда удивляет, и больше всего (так я думаю порой, сидя на краю какой-нибудь

высокой скалы посреди пустыни и глядя вниз-вниз) она удивляет тех, кто сам лишает себя жизни. Несмотря ни на что — именно их.

— Потому что их удивляет, что им что-то все-таки удалось в конце концов, — смеялись Рона и сестра, каждая по отдельности, когда я пересказал им, каждой по отдельности, эти свои мысли.

— Нет, — сказал я им, каждой по отдельности, — это самый легкий ответ. Они удивлены потому, что только в последнюю секунду им становится ясно, что они проиграли. Что, хотя они сами все это задумали, и знали, и контролировали, но — с последним проблеском жизни, с последним дыханием, с безвозвратным захлопыванием последнего клапана — смерть, как это у нее в обычае, все-таки победила.

— Ты слишком много думаешь об этом, — сказала Рона.

— О чем?

— О самоубийстве.

— Это, по-твоему, означает слишком?

— Потрогай меня здесь, мой любимый, потрогай. Ты чувствуешь?

— Что я должен почувствовать?

— Вот это, дебил! Ты чувствуешь?

— Да. Я чувствую.

Большая Женщина ошиблась. Я не "красавец", я не разбиваю сердца, "галстучек", который мне оставили при обрезании, не мешает мне в постели, и я умею чувствовать любовь.

Как бы то ни было

Как бы то ни было, случилось так, что Дедушка Рафаэль оставил после себя нескончаемый спор своей семье, долги жене и имя мне, а мой Отец Давид оставил после себя "комнату-со-светом" нашей Матери, звенящие уши моей сестре и стетоскоп мне, а Дядя Эдуард оставил полный веджвудский чайный сервиз, один патефон фирмы "Жерар" и три светлых пиджака своей булимийной и беспомощно-растерянной вдове — той, что "за один день съедает и вырывает больше, чем весит сама", и прячет стебель своего тела только в голубые, колоколом, платья, "потому что он любил, когда я так одевалась". И та маленькая льняная сумочка, которую он купил ей в Каире, тоже осталась ей, и сегодня, когда она порой выходит совершенно голая из своей комнаты и спрашивает тонюсеньким и сенильным голоском, умер ли уже Эдуард, эта сумочка висит у нее на плече.

А вот Дядя Элиэзер, автодидакт и ветеринар, Наш Элиэзер, готовый и ждавший предназначенного ему удара набычившейся судьбы, оставил после себя идеально упорядоченные ящики письменного стола, и аккуратно разложенные папки, и доведенные до последнего дня книги записей рогатого поголовья, и ясное как день завещание, содержавшее все необходимые технические и юридические подробности и великодушное наставление жене, в котором говорилось: "Ты еще молода, красавица моя, — живи!"

Свои книги он завещал моей Матери, а пластинки — своей сестре, а всем своим рыжеволосым родственникам в Пардес-Хане, которые передавали друг другу мотыгу, засыпая землей его могилу, — "точно грядка маков, так они выглядели там", восхищалась Черная Тетя, — он оставил различные, в зависимости от степени родства и симпатии, суммы денег, которые были вручены им прямо там в закрытых конвертах и наличными.

— Как это, что нам он тоже не оставил какой-нибудь пакет? — обижалась Бабушка.

Но когда они вернулись из Пардес-Ханы домой, оказалось, что Дядя Элиэзер оставил Бабушке сюрприз: электрический холодильник — чтобы ей больше не приходилось причитать над творогом, который обошелся в "уйму денег", а потом испортился, чтобы ей больше не приходилось "одалживаться" у соседей и чтобы она больше не тащила тяжелые глыбы от повозки продавца льда до своей кухни, считая и запоминая каждую каплю, которая капнула по дороге и пропала впустую.

Дядя Элиэзер, человек упорядоченный и организованный, купил этот холодильник за несколько месяцев до своей смерти и оставил его Бабушке на складе магазина. Это был холодильник фирмы "Дженерал электрик", скромных размеров и очень человекообразный на вид, потому что на его крышке красовался большой, урчащий металлический шар, напоминавший мне погруженную в раздумья человеческую голову, и моя сестра любила рисовать на ней "точку, точку, запятую, ротик, рожицу кривую", научившись этому от Рыжей Тети.

Двое грузчиков притащили его после похорон в наш дом, и Авраам, приковылявший к нам на слабых ногах каменотеса проследить, чтобы грузчики подняли холодильник с надлежащей осторожностью и поставили его, не повредив, точно на место, сказал: "В этом шаре сидит мотор".

Щедрый подарок привел в восхищение всех, кроме Рыжей Тети, сказавшей со злорадством, которого она не сумела, а может быть, и не захотела скрыть, что ее брат отплатил скаредной теще утонченной и продуманной местью.

Черная Тетя рассердилась:

— И он тоже? Ну ладно, мой отец. Но за что моему Элиэзеру ей мстить? Ведь она всегда брала его сторону.

Оставалось, однако, фактом, что новый холодильник наполнил скупой мозг нашей Бабушки новыми страхами. Ей казалось, что три металлических зуба его штепсельной вилки воткнуты не в розетку на стене кухни, а прямо в ее кошелек и непрерывно высасывают и опустошают его. Наш электрический счет удвоился, и Бабушка, немедленно все подсчитав, вычислила точную разницу между ценою льда, который она покупала раньше, и стоимостью электричества, которое "этот морозильник" тратит впустую, — не говоря уже о том, что водой от растаявшего льда, как она объясняла всем, кто не догадывался и не успевал улизнуть, едва лишь она начинала свою лекцию, можно было вымыть посуду, помыть пол и еще полить огород, тогда как "электричество, которое выливается в этот морозильник, оно как вылилось, так его нет", и по нему остается только плакать, и еще как.

Так холодильник присоединился к длинному списку всех тех, кто злоумышлял против Бабушки и растрачивал впустую ее деньги, и вскоре поднялся на его вершину и захватил себе первое место. В этом списке числились "шоссоны" автобусной компании "Мекашер", эти соблазнители и искусители, предлагавшие себя людям, которые могли бы в противном случае "чуть постараться", дойти до нужного места собственными ногами и сэкономить "уйму денег" на поездке. Были там и зловредные желтые жестяные тюбики с зубной пастой, которые упорно отказывались расстаться с последней молекулой своего содержимого, и Бабушка вновь и вновь скручивала и выдавливала их, сначала пальцами, а потом прокатывая скалкой от донышка до ротика. И еще там были обертки от

маргарина — вот, я снова слышу их раздражающее шершавое шуршанье, — которые рвались после каких-нибудь пятнадцати отмываний и высушиваний, после чего в них уже нельзя было больше заворачивать мои и твои школьные бутерброды.

Вначале урчание холодильника было слышно в любом месте квартиры и в любое время, потом только в тихие ночные часы, а под конец оно совсем потонуло, растворившись в общем квартирном шуме — в той тонкой паутинке постоянного легкого гула, что сплетена из негромкого дыхания, и шелеста перелистываемых страниц, и медленного, пузырящегося кипения кастрюли с супом, и мягких, как легкое "тинк!", звуков созревания женского яйца, и шаркающих шагов, и тихих всхлипов, и капанья крана, и выблевывания рвоты, и перебирания чечевицы, и шумного шмыганья носом.

С тех пор его слышала одна лишь Бабушка, и похоже, что она наловчилась чувствовать даже работу его термостата. Стоило ей вдруг улыбнуться про себя и свободно вздохнуть, и мы уже знали, что в эту секунду холодильник завершил свой цикл и отключился, а через несколько минут, когда она вся сжималась, как от таинственной внутренней боли, всем становилось понятно, что термостат вновь замкнул электрическую сеть — "тонк!" — и электричество, как жертвенная кровь, вновь плещет и хлещет впустую.

Черная Тетя пришла

Черная Тетя пришла к нам с двумя чемоданами через несколько дней после холодильника и сказала, что будет жить в моей комнате вместе со мной, но Бабушка сказала: "Ты будешь жить с девочкой!"

Дом немедленно изменился. Воздух закручивался вихрем от стремительных движений ее тела, предметы и финиковые косточки взлетали и падали, когда она проходила мимо, стенные часы пристыженно завидовали абсолютной точности ее яичников, ошеломленные стены возвращали ее смех.

Квартал напрягся. Мужчины останавливались посмотреть на нее, бегущую — вечно опаздывая — на работу. Дети начали собираться в ожидании, когда она выйдет поиграть с ними на тротуаре. Уличные кошки терлись о ее ноги, и даже Бризон-Молочник терял спокойствие духа, когда она выходила к нему по утрам в своем запахе и в своей ночной рубашке.

Она злила мою Мать, она беспокоила Бабушку, она обижала и стригла Рыжую Тетю, она ссорилась с соседями и стала мне лучшей подругой. Днем я играл с ней в игры, ночью мне снились о ней сны, намного предварявшие "правильный возраст" моего тела. Дядя Авраам изготовлял мне все новые и новые камни для "пяти камешков", и я пытался научить ее иерусалимскому варианту этой игры, в котором демонстрировал и до сих пор демонстрирую чудеса. Но Черная Тетя предпочитала бороться со мной, состязаться в перегибании рук на столе и в прыжках в длину во дворе, соревноваться, кто дольше задержит дыхание и кто быстрее влезет на тополь возле тротуара и на фикус Дома слепых.

— У наших соседей в "Киннерете", у семьи Шифриных, тоже был во дворе большой и красивый фикус, но как мог такой вырасти в этом иерусалимском холоде, не могу себе представить.

Она вечно подворачивала лодыжку, спотыкалась и падала, но тут же подымалась и снова посылала ноги вперед. Шаги ее были такими широкими, а дыхание таким глубоким, что она всегда догоняла меня, хотя я бегал куда быстрее.

– Я тебя догнала, догнала, догнала! – задыхалась она и падала на спину, широко раскидывая руки и ноги.

Я ложился рядом с ней и клал голову в костистое ущелье между колючками ее грудей, вдыхая ее нежно-горьковатый пот и прислушиваясь к ее большому сердцу, которое даже после быстрого бега билось медленно, с каждым толчком выбрасывая огромные струи крови. Как-то я приставил к ее груди завещанный мне Отцом стетоскоп, но Черная Тетя сказала, что "слушать сердце совсем неинтересно". Она поставила стетоскоп на мое колено и велела мне выпрямлять и сгибать ногу, потом приставила его к моему пупу и велела надавить, а под конец приставила к моему лбу и сказала:

– Подумай мысль.

Мы оба смеялись.

– А теперь давай я послушаю твои тинки и тонки! – попросил я.

– Когда ты вырастешь, Рафаэль, – сказала она. – Когда ты вырастешь, я дам тебе послушать все, что ты захочешь.

Ее тело быстро расслаблялось, кожа на животе успокаивалась. Она была способна заснуть мгновенно, как ребенок, и проснуться внезапно, прыжком.

Ее тело вздрагивало.

– Мне снилось... – бормотала она.

– Что тебе снилось?

– Что я не могу заснуть.

– Так засни сейчас.

Она засмеялась, и глаза ее затянулись поволокой.

– Мне нужен мужчина, чтобы меня усыпить, Рафаэль, так уж я устроена.

– Давай я тебя усыплю.

– Ты еще маленький, Рафаэль. Ты маленький, и ты запретный. Ты кровный.

Дядя Элиэзер был старше ее на пятнадцать лет, и Черная Тетя стала молодой вдовой. Она не раз сообщала нам, что была беременна, когда он погиб.

Рыжая Тетя навострила уши:

– Да? Так где же ребенок?

Черная Тетя ответила:

– Он умер у меня в животе.

Женщины посмотрели на нее с изумлением.

– Что значит "умер у меня в животе"? – спросила Мать. – Даже если он умер, он должен был как-то выйти оттуда.

– Он растворился у меня в животе, и всё, – сказала Черная Тетя серьезно и печально и тут же прыснула своим ликующим смехом.

– Жаль, что сейчас они у тебя не растворяются, – заметила Мать.

– Как это получается, что женщина, которая выглядит как мальчишка, каждый раз ухитряется забеременеть? – удивлялась Рыжая Тетя на одном из секретных совещаний, которые Большая Женщина устраивала сама с собой, чтобы перебрать вопросы и чечевицу, а я бы подслушивал ее из-за дверей и стен.

— И как это, что после такого количества абортов, которые уже обошлись нам в уйму денег, ты все еще плодовита, как финиковое дерево? — дивилась Бабушка.

— И почему ты не предохраняешься, дура? — резко произносила Мать.

— И почему ты ходишь с такими мужчинами? — осмелев, присоединялась к допросу и расследованию Рыжая Тетя.

— Чем я виновата? — возражала Черная Тетя. — Я пробую все, что нужно, — и резинку, и вату, и все такое, и я всегда сверху, и я всегда спрыгиваю потом, и я всегда принимаю потом душ, в точности как вы мне говорили, и я мою с лимоном и содой, но стоит мужчине подышать возле меня — и все, росточек уже в грядке.

— Может, проще всего держаться подальше от мужчин, которые на тебя дышат? — заметила Мать.

— И что? Чтобы в моей памушке тоже завелась ржавчина, как в ваших?

— Уличная кошка, — сказала Мать. — Подставляет задницу и задирает хвост. Такая сестра мне досталась.

Черная Тетя не раз исчезала из дома на несколько часов. Бабушка говорила:

— Интересно, с кем она сейчас?

А Рыжая Тетя говорила:

— Интересно, что она делает сейчас?

А Мать говорила:

— Я не знаю, с кем она сейчас, но я точно знаю, что она сейчас делает.

Но не все эти исчезновения Черной Тети заслуживали тех подозрений, которые они порождали в воображении других женщин, потому что зачастую она вовсе не отправлялась к какому-нибудь мужчине, чтобы тот ее усыпил, а ограничивалась тем, что крадучись пробиралась в заветный парк Дома слепых. Там она ложилась на траву, нюхала цветы и рассматривала жирных золотых рыбок, которые лениво плавали в маленьком бассейне.

По вечерам

По вечерам Большая Женщина заливала в меня, как в форму, рассказы из истории нашей семьи. Они сидели, вспоминали, перебирали чечевицу, говорили, оплетая меня рассказами женщин и деяниями мужчин, делами смерти и занятиями жизни, а главное — то и дело загадывали друг другу свои ужасные загадки: “Кто сказал и кому?”, и “Что было сказано и почему?”, и “Закончи предложение” — и одновременно дотрагивались до меня, прикасались к моему уху ласково шепчущими ртами, проводили по моей спине нежно гуляющими пальцами, щекотно взбирались к моему затылку, едва касаясь, гладили мои волосы.

Кто сказал и когда: “И Отца моего убили, и мне слух прикончили”?

Кто сказал и кому: “Если вы захотите, я готова соврать и в присутствии ваших внуков тоже”?

Кто кричал и кому: “Какая же ты мать после этого?! Ведь ты ему сказала вообще не жениться на мне!”?

И о ком было сказано: “Обезьяна вышла спалить свою шерсть”?

И кто сказал и о чем: “А что, вы разве не чувствуете внутри этот ‘тинк’”?

И все начинали смеяться и передразнивать: “А что, вы разве не чувствуете?”

И кто сказал и кому: “Кто ты?”

И кто ответил ему: “Я Рона”?

И кто сказал и кому: “Что ты хочешь от меня, Рона”?

И кто ответил ему: “Тебя”?

Я помню. Наш запах взошел тогда в комнате, присох к моему телу и сгустил ее кровь.

У *меня есть друзья*

У меня есть друзья. Потаенное озерко с поднимающейся над ним трубою скал, в которую всматривается голубой глаз небосвода, мягкое на закате солнце, цветущие кусты ракитника, личинки муравьиных львов, которых я выращиваю у себя дома, наблюдая их обычаи.

Природа порой даже глупее, чем я. Зимой вода собирается во вмятины, оставленные шинами на дороге, и образует лужи. Весной они исчезают, и автомобильные колеса перемалывают высохшую грязь, превращая ее в тончайшую пыль. Самка муравьиного льва откладывает в эту пыль свои яйца, личинки выкапывают в ней ямки и прячутся в них, и в результате их давят колеса машин, продолжающих идти по той же самой дороге.

Именно так я и обнаружил их в одну из своих первых поездок по пустыне. Десятки маленьких ямочек издырявили рыхлую землю дороги. Я остановил пикап, вышел и бросил в ямку муравья. Разбойничий характер муравьиного льва пленил мое сердце. Я взял в ладони комочек земли вместе с его хозяином, сдул пыль, и крохотный бандит появился во всей своей красе. Маленький, пузатый, с сердитыми клешнями, он метался на ладони, пятился, тряс животом и искал укрытия.

Я принес его домой и положил в коробку с песком. Какое-то мгновение мой маленький гость стоял неподвижно, потом отпрянул, закопался в песок и исчез.

Я немного подождал, затем лег спать, а наутро обнаружил там новую круглую ямку. Я пригляделся и увидел на самом ее дне проступающие из-под песчинок кончики клешней.

Я бросил ему муравья, и муравьиный лев тотчас устремился в атаку. Он стал швырять в муравья песчинками, подкопался под него снизу, обошел с фланга под поверхностью песка. И все это время оставался невидимым — только ползущий по песку бугорок да маленькая жесткая головка и кончики то раскрывающихся, то смыкающихся клешней выдавали его местонахождение. В конце концов он схватил муравья, сильно встряхнул и потянул вниз, в глубины смерти.

Теперь уже у муравья нет ни укрытия, ни надежды. Яд проникает в его тельце, и только головка и усики антенн еще торчат из песка и судорожно дергаются. Я смотрю на него и думаю, что мать была права: слова действительно имеют форму. Слово “вопль” выглядит точно так же, как этот муравей.

Мало-помалу, медленно-медленно, он теряет силы, и его судорожные движения слабеют. Тонкий песок душит его. Яд парализует и растворяет

его органы. В последнем, трогательном усилии он вдруг принимается чистить свои усики. Похоже, что муравьиный лев начинает высасывать из него содержимое еще до его смерти.

Я отправился в торговый центр за покупками: чеснок, петрушка, сыр, помидоры, белый хлеб для еды и холодное пиво, запить. "Всегда одно и то же, – смеялась кассирша. – По вашим покупкам легко угадать, что вы холостяк". Она в очередной раз предложила свести меня со своей старшей сестрой, и я в очередной раз улыбнулся: "Почему бы нет". Кассиршу зовут Елена, ее акцент похож на Бабушкин, и мне нравится ее смех и ее речи.

Когда я вернулся, высосанная муравьиная скорлупка уже валялась снаружи, и муравьиный лев был занят починкой своего окопа, поврежденного в ходе сражения. Он пятился кругами, которые становились все меньше по мере того, как он зарывался в песок. Упираясь и отталкиваясь концом своего гладкого, скользкого тела, он выбрасывал песчинки головой и клешнями, заглаживая и выравнивая свою ямку.

Нет, я не одинокий пес, мерзнущий во дворе, – у меня есть друзья: олени, которые искоса следят за мной, когда я проезжаю мимо, и сигналят мне вслед белизной своих задов, пятнистая птица, похожая на маленькую сову, которая живет в дыре на берегу одного из ущелий и, как только я останавливаю там свой пикап и приветствую ее, отвечает мне смешными и взволнованными поклонами. И у меня есть сокол – или так мне, во всяком случае, кажется, – который живет в устье вади Цин. Не раз, сидя там в тени разросшейся акации, я слышу его тихий клекот, и мне вспоминается редкий смех Рыжей Тети.

И еще у меня есть придорожные очаги для варки пищи – умению складывать их я научился у людей, которых никогда не видел, но они прошли по пустыне до меня и оставили за собой потухшие остатки своих костров. Большинство путников, да и я подчас, пользуются сегодня переносными газовыми горелками, но иногда попадаются еще такие, кому противен шум, производимый этими устройствами, и они предпочитают развести на стоянке костер. По виду копоти на камнях, которые они оставляют на стоянке, по цвету золы и остаткам обгорелых сучьев я могу представить себе, кто побывал здесь до меня. Два прямоугольных, слишком больших камня и черная комковатая зола – это очаг обычного любителя пеших прогулок. Но маленькая кучка тонкого и светлого пепла меж тремя конусообразными камнями, уложенными в круг, остриями внутрь и округлостями наружу, – камень слепоты, камень сумасшествия и камень сиротства, да огонь, пылающий внутри, – это очаг бедуина, или бывалого путешественника, или прилежного ученика, вроде меня.

Нет, я не одинокий пес во дворе. У меня есть друзья. Вакнин Кудесник из технадзора, который разговаривает со мной о Боге и просит благословить его – лицом к лицу, а иногда, одолев стеснительность, также и по рации. Соседские дети, которые то и дело приносят мне порцию какого-нибудь варева – угощенье, посланное их матерями, – подобно тому как я приносил Аврааму куриный суп Рыжей Тети. И сами соседи – по дому, подъезду и улице, – которые с любопытством смотрят на меня, когда я выхожу на балкон и развешиваю выстиранное белье – белье одинокого мужчины: синие и серые цвета рабочей одежды. Белая рубашка на субботу. Не какие-нибудь кружева соблазна, не радостная пестрота детских одежонок, не плавные переливы платья, которое лениво полощется на веревке, освободившись от женского тела.

Не одинокий пес, выгнанный наружу. У меня есть друзья. Короткая дубовая рукоять матраки, подаренной мне Авраамом на бар-мицву, которую достаточно сжать в руке, чтобы тут же всплыли воспоминания. Черные вороны пустыни устраивают в мою честь представления, кружась и кувыркаясь в потоках воздуха над обрывистым краем утеса. Тучи ос сопровождают меня, куда бы я ни двинулся, стелясь по воздуху, точно грозный шлейф глубоко-коричневой меди и кошачье-дерзкой желтизны, — изможденные голодом, громко жужжа, они несутся следом за моим пикапом и, как только я останавливаюсь, бьются и колотятся в окна кабины. Не злобно, без вызова и угрозы, но с отчаянием и настойчивостью выпрашивающих подаяние.

В первые дни моей инспекторской работы я их боялся. Бóльшую часть дня я провожу в одиноких поездках — случайный укус осы, и мужчина из нашей семьи уже обречен на несчастье. Но постепенно я понял, что их жало не так уж опасно. По правде говоря, мое жало опасно намного больше. Зачастую, когда меня очень уж разбирает злость от их зуденья, я поднимаюсь и бью их на лету свернутой в трубку курткой. Ошеломленные, они падают на землю, и покуда барахтаются там и пытаются взлететь, я топчу их своими сандалиями.

Осы, по которым я не попал, на меня не нападают. Они продолжают кружить над землей и слетаются на поживу к трупам своих товарищей. Возможно, голод и нужда доводят их до безумия, а быть может, укус, подобно любви и цветению, подобно оплодотворению и долгой погоне за жертвой, — слишком расточительное удовольствие для тех, кто живет в пустыне. Поэтому осы здесь не жалят, разве что потеряв последнюю надежду, и цветы здесь не цветут, пока не выпадет достаточно дождей. И то же с моим муравьиным львом — поскольку он уже немного подрос, то не тратит впустую силы на ловлю маленьких муравьев. Когда я бросаю ему такого муравья в его песчаный окоп, он осторожно берет его за талию, умело поворачивает в клешнях, словно оценивая на вес, и производит свои пустынные, скопидомные расчеты: стоит ли начинать борьбу, которая повлечет за собой разрушение и восстановление его укрытия, ради такой ничтожной добычи? И, сделав вывод, подбрасывает муравья в воздух тем же решительным движением, каким я отбрасываю от себя нежеланные и нестоящие воспоминания, грозящие и мне разрушением и строительством заново, и снова зарывается в свой песок.

Над *бетонным бассейном*

Над бетонным бассейном качается длинный прямой шест, установленный на поплавке, и по его высоте можно узнать, сколько воды осталось в бассейне. Будь у меня такой шест с поплавком, вы, мои женщины, смогли бы посмотреть на меня и узнать. Будь у вас такие шесты с поплавками, я тоже мог бы понять. Когда я покинул Большую Женщину, ее дом и ее город, и отправился работать в пустыню, это место с бетонным бассейном показалось мне знакомым. Но лишь несколько недель спустя, когда полная луна вздохнула над холмом и, как тогда, высветила покатый склон, я опознал его окончательно. Ну конечно, много лет назад, так много лет назад, именно на этом склоне мы, начинающие армейские разведчики, разбили наш маленький лагерь.

Если не считать единственной летней школьной вылазки, о которой я давно позабыл, то было мое первое знакомство с пустыней. Мы спустились тогда в Негев для упражнений по ориентировке: два тощих сержанта-сверхсрочника, веснушчатые отродья сатаны, на двух подпрыгивающих разбитых машинах, приплясывающая позади платформа со снаряжением и боеприпасами, цистерна с водой, оставляющая за собой пунктирный след капель, и мы — группа измочаленных солдат, закутанных, точно трупы, в саваны спальных мешков.

Всю ночь напролет мы двигались через пустыню прямиком к этому неглубокому вади, которому никто даже название дать не удосужился: одни лишь мягкие изгибы да широкие интервалы линий на рельефной карте свидетельствовали, что кто-то знает о его существовании. К утру, закоченев от холода и проклиная все на свете, мы поставили несколько палаток, выкопали сбоку небольшое углубление для боеприпасов, натянули тент для кухни, вырыли на склоне выгребную яму, и вскоре груда солдатских пайков стала плавиться на восходящем солнце, и облако усталости встало над нами торопливым серым столбом и сказало: это армейский лагерь.

Ящерицы удивленно смотрели на нас. Скорпионы выглядывали из-под камней. Осы жужжали и мухи слетались к нам каждое утро, невесть откуда. И каждый день перед закатом, точно на вечернюю молитву, появлялись два черных ворона, испытующе скользили над нами в низком медленном полете и исчезали вновь. Однажды ночью наши сержанты подстрелили шакала, и всю ту ночь мы слышали удаляющиеся вопли, которые подымались из ущелья, отражаясь от далеких скал, и возвращались к нам эхом тысячи завываний его собратьев.

Бассейн с водой тогда еще не был построен, и человечьих следов здесь не было никаких. Но по ночам мне слышались какие-то отдаленные голоса, словно сами собой рождающиеся в прозрачном воздухе, такие слабые, что нельзя было распознать — колокольчики это коровьих стад или чье-то сонное бормотанье, осторожные шаги женщины, ступающей по камням Хамады, или потрескивание просыпающихся суставов далекого города.

Ночи пронизывали кинжальным холодом. Росы замерзали в трещинах камней, зубы выбивали во рту барабанную дробь, камни лопались с таким внезапным и громовым треском, что и воздух крошился тоже.

Но хуже холода были звезды. Точно далекие ледяные сталактиты, сверкали они в своем черном океане. Никогда в жизни я не видел такого множества звезд. Мириадами мириад теснились они, словно там собрались все светлячки вселенной, изо всех ее сказок и всех ее миров.

Сегодня я тоже гляжу на эти звезды, когда они, одна за другой, зажигаются надо мною по вечерам. Но сегодня я гляжу на них старыми, умудренно-зоркими глазами Кохелета[1], а тогда смотрел закрытыми глазами молодого Яакова, что лежит на спине и мечтает, утешая себя сознанием, что на какой-нибудь из этих звезд тоже есть своя Рахель[2], и там тоже есть солдаты, и их глаза тоже широко открыты и обожжены бессонни-

1. Кохелет — в русской традиции Екклесиаст, автор одной из библейских книг; отождествляется с царем Соломоном, который славился своей мудростью.
2. Яаков и Рахель — в Библии Иаков и Рахиль; согласно библейскому рассказу (Первая книга Моисеева. Бытие), Иаков полюбил Рахиль, дочь Лавана, и служил ее отцу четырнадцать лет, прежде чем получить ее в жены.

цей, и они тоже лежат навзничь на холодном песке, и мой мир — это их звезда.

А однажды ночью, никогда не забуду, прямо над нами выплыл из мрака большой, молчаливый пассажирский самолет, полный людей, которые жевали, прихорашивались, отхлебывали и сверкали улыбками. Низко-низко, над самой землей, проплыл он, помигивая бело-красными искорками бокалов с вином и сигнальных огней под крыльями, а мы смотрели ему вслед, облизывая сухие губы, и молились, чтобы он упал.

"Вы будете ходить на ориентировку днем и ночью, при свете и в темноте, в одиночку и вместе, пешком и на машине", — сказали веснушчатые исчадья дьявола, и мы начали зубрить маршруты, и нанизывать на нити памяти бусинки координат и четки азимутов, и уходить, и приходить, и покидать, и возвращаться, и искать пути, и терять дорогу, и возвращаться вновь.

Память у меня, как я уже говорил, плохая, и поэтому мне никак не удавалось запомнить названия всех высот и ущелий и номера всех ориентиров, а поскольку рядом со мной не было ни сестры, ни матери, ни теток, ни бабушки, чтобы выучить их вместо меня, я строил себе маленькие рельефные карты из песка и скользил по ним рукой, запоминая холмы, ущелья и ориентиры своей ладонью.

Сколько мы там ходили, куда и откуда, я уже сегодня не припомню. Луна над нами дважды дополна наливалась мертвенным светом, но счет отдельным дням мы уже потеряли и бессонно пересыпающихся песков времени уже не замечали совсем. Мы записывали координаты, рассчитывали азимуты и складывали расстояния. Как слепые дети, считали шаги в темноте. От утеса до обрыва, от изгиба до седловины, от главного склона до бокового отрога, от одной вершины до соседней, промерзшие насквозь, выжатые, как тряпки, грязные и голодные, как шакалы.

Только по субботам они оставляли нас в покое. Я просыпался в полдень, запасался лопатой, рулоном туалетной бумаги да двумя-тремя апельсинами из ящика, что под кухонным навесом, и побыстрее уходил из лагеря. В пустыне легко исчезнуть. Достаточно завернуть за одну из извилин сухого русла, перевалить за один из низких гребней — и вот уже совсем иной мир расстилает себя у твоих ног, и чалма другой тишины обматывает твои виски, и одиночество с отчужденностью одаряют тебя новой порцией своего милосердия.

Добрая дюжина высоких кустов ракитника цвела там, даруя воздуху награду своего аромата. Как приятно. Прежде всего я раздеваюсь догола, рою ямку возле одного из кустов и присаживаюсь над нею на корточки. Как приятно опорожняться в одиночестве, под сильным утренним солнцем, под цветущим кустом, под широким куполом неба, времени и тишины. Армия, которая присвоила себе каждую мельчайшую клетку моего естества и отказала ему в удовольствиях еды, и ласки, и сна, и любви, оставила мне только это единственное удовольствие.

По-прежнему голый, лишь в ботинках на босу ногу, я прохаживался вокруг, переворачивал ногою камни, давил подошвами скорпионов, стискивал в ладони один из апельсинов и высасывал его сок — как учила меня Черная Тетя — через дырочку, которую прокусывал в кожуре. "Мальчик должен уметь высосать апельсин, убить змею и опорожниться в поле", — сказала она мне однажды, когда мы с ней ходили собирать среди скал коровьи лепешки для нашего огорода.

Я и сегодня опорожняюсь в пустыне, высасываю апельсины, рисую в песке скудное генеалогическое древо своей семьи и переворачиваю камни, но уже не убиваю тех, кто живет под ними. Ненависть, которую я когда-то питал к ним, мне еще помнится, но уже перестала быть понятной. Я убиваю лишь ядовитых змей, которые встречаются мне на пути, — словно сражаюсь со своей судьбой. Я рассказывал тебе? Иногда они заползают на акацию и свисают с ее веток. Иногда прячутся в дощатых коробах труб, а порой, в поисках тени, влажности и прохлады, забираютея даже в вентиляционные решетки водоводов. А еще, бывает, они хоронятся в песке, и тогда лишь их злобные глаза, точно пара рогов, торчат и следят снаружи.

Солнце размораживает мои кости. Нагота и безделье врачуют мою душу. Весеннее цветенье ракитника, поначалу проникавшее лишь в полости носа, постепенно просачивается в глубины моего тела. Медленно-медленно во мне рождается и проясняется чувство, которое никто не способен описать словами, но язык называет его счастьем.

Не обо всем в своей жизни я могу сказать, когда и где это началось, но моя великая любовь к кустам ракитника началась именно тогда и там, в тех упражнениях по ориентировке в пустыне. В предрассветной прохладе и в холодные вечера мы обычно зажигали небольшие, но очень жаркие костры из их мертвых веток, отломанных и унесенных прошлогодним наводнением и нагроможденных как попало у каменных заторов в руслах ручьев. А в знойные дневные часы добрый, успокоительный запах их цветов овладевал воздухом, наполняя нас радостью и благодарностью. Злые и усталые возвращались мы в лагерь, изломанные до боли, и не раз кто-нибудь из нас поднимался через силу, и подходил к такому кусту, заснеженному шапкой цветенья, и зарывался лицом в переплетение его пахучих веток, и держался за них, и жадно дышал, и возвращался к жизни, весь дрожа.

Несколько лет спустя, впервые встретив Рону, я припомнил милосердие тех цветущих кустов. Она привела меня тогда в комнату, которую снимала на втором этаже "Нотр-Дам де Франс"[1] в Иерусалиме, и в середине ночи, обмотав бедра шершавым полотенцем, с мурашками озноба на коже, я помчался — каким холодным было прикосновение каменных плиток, как замерзли в моей памяти босые ноги — в туалет, что был расположен в конце коридора.

Я вернулся оттуда, преследуемый стрелами холода и весь исколотый взглядами монахини, прыгнул в узкую кровать Роны и прижался к ее телу. Вернуться, согреться и уснуть.

Она простонала еле слышно:

— Ты холодный как лед.

— Я умер.

Я знал, что она улыбнулась, потому что ее щека сдвинулась на моем виске.

— Ты жив, мой любимый. Со мной ты не умрешь никогда.

— Кто ты? — произнес я тогда впервые слова, которым суждено было стать нашим паролем.

— Я Рона.

1. Иерусалимский монастырь женского католического ордена Успения Богородицы и общежитие монахинь при нем.

Я проснулся, обнял ее и зарылся лицом в скрещение ее душистых, теплых, милосердных бедер. Я победил. Большая Женщина ошиблась: я не красавец, я не сокрушаю сердца, и мне вовсе не трудно почувствовать любовь. Я вдыхал ее вкус, ее стон, ее силу и молил, чтобы это длилось вечно.

Как просты начала. Я встретил ее за несколько часов до того, на церемонии в медицинском колледже Иерусалимского университета, когда она получала стипендию имени доктора Давида Майера, "выпускника нашего колледжа, павшего смертью храбрых при защите нашего государства". Поскольку я был его сыном, меня попросили подняться на сцену и передать от имени семьи стипендию лучшей студентке. Так я увидел ее впервые.

Через несколько месяцев мы поженились в саду перед домом ее родителей в Хайфе, где две поднимавшиеся на скалах сосны сплетались верхушками крон, и солнце тонуло в далеком море, и Большая Женщина провожала меня к хупе[1] десятью руками и по меньшей мере пятью сотнями слез.

И как запутаны продолжения. Через несколько лет мы расстались в Иерусалиме и, выйдя из раввинатского суда, уже разведенные по закону, постояли еще несколько минут под большим эвкалиптом, в тени которого встретились за много лет до того мои родители, в точности в том же месте, возле книжного магазина, который тогда назывался "Игарта", а теперь – "Ярден".

Потом мы поцеловались на прощанье и рука об руку пошли домой. Еще несколько недель мы оставались вместе, держась друг за друга сплетенными руками и в последний раз выжигая друг на друге свое тавро, а потом она поднялась, и пошла[2], и покинула меня и Иерусалим. Она вышла замуж за доктора Герона – "мой второй муж, человек честный и добрый", – и я помню те два раза, когда сестра сообщала мне, что у них родились сыновья. Я помню твои глаза, когда ты изучала мое лицо, и помню боль, которая была сильнее боли ее ухода и огромнее известия о ее свадьбе. Два коротких укола, но больнее всякой другой боли, которую я когда-либо в жизни испытал.

Я не женился вторично. Некоторое время спустя я бросил работу в школе, покрутился там и сям и в конце концов поднялся и пошел в эту пустыню, где мне достаточно даже легкого ветерка да робкой тени, чтобы почувствовать себя счастливым. Но моя тоска по Роне, поутру и ввечеру, на животе ли, на спине, не покидала меня ни на минуту. Она была для меня – и все еще остается – моим солнцем и моей луной, моим хлебом и моей водой, моей долей счастья и моей мерой страданий, и я думал, что уже никогда ее не увижу, но в один прекрасный день дети на улице закричали: "Рафи, Рафи, к тебе приехала гостья в красной машине", – и Рона пришла, открыла мою дверь, ответила: "Я Рона", и "потому что я так хочу", и "со мной ты не умрешь никогда", и сделала меня своим возлюбленным.

Будто далекого брата, я снова встречаю куст ракитника. Я вдыхаю дар его цветов, я развожу небольшой костер из его сухих веток, пепел которых тонок, бел и летуч. Не та черная, комковатая зола, что остает-

1. Хупа (*ивр.*) – свадебный балдахин.
2. Поднялась и пошла... поднялся и пошел... – перекличка с библейским наказом Всевышнего евреям: "Поднимайтесь и идите!" – с которого для них начинается иная, новая жизнь.

ся от других сгоревших деревьев, а пепел подлинной любви, до конца поломанной жизни, дерева, выжженного до самого его нутра, со всем его сердцем и всей его мощью. Ты видишь? Иногда и я подчиняюсь семейному закону. Видишь? Иногда и я умираю.

Каждые несколько месяцев

Каждые несколько месяцев женщины измеряли наш рост — мой и сестры. Ее они просто прислоняли к дверному косяку в кухне, отмечали карандашом и писали дату, но меня Большая Женщина ставила у стены коридора, между портретами Наших Мужчин, потом отступала на шаг и становилась против меня, вглядываясь и проверяя, "чтобы глаза всех пятерых были точно на одной высоте". Если я прибавлял в росте хотя бы пару миллиметров, этого было достаточно, чтобы поднять на ту же высоту все четыре портрета и восемь мертвых глаз, что на стене.

Иногда, когда Мать и ее сестра уходят на работу — каждая на свою, — и Рыжая Тетя уединяется в своей комнате, а Бабушка спит — "не тащи винные конфеты из комода, Рафинька, у меня один глаз всегда открыт и все видит", — я пробираюсь в коридор в одиночку, чтобы самому измерить свой рост. Сначала я покачиваюсь перед портретами четырех мужчин, подымаясь и опускаясь на кончиках пальцев, а потом пытаюсь их одурачить, направляя взгляд не на лица, а в пустые промежутки между ними, — это мои убежища, вроде тех белых пустот меж картинками воспоминаний, которые я пытаюсь оставить в этом рассказе. Здесь, в этих маленьких белых долинах, я могу передохнуть и прислушаться — как между грудями Роны и меж ее глазами. Когда я смотрю в промежутки между ними, там как будто появляется еще один, дополнительный глаз — третий, воображаемый и смешной. Но тут, в промежутках между четырьмя Нашими Мужчинами, всегда возникал еще один мужчина — пятый, знакомый и совсем не смешной.

Прямо перед собою смотрели они, но мне представлялось, что их застывшие зрачки поворачиваются и следят за мной, куда бы я ни пошел, и когда я сказал об этом Матери, она ответила: "Это потому что ты еще ребенок, Рафаэль. Когда ты по-настоящему повзрослеешь, этого уже не будет".

Кто сказал и кому?

Кто сказал и кому: "В моем возрасте уже приятно сознавать, что в доме есть кто-то старше тебя"?

Кто сказал и кому: "Если я научусь читать, она перестанет читать мне книги"?

Заполни пропущенное: "Мне достаточно посмотреть на эти мои пальцы, которые гладили его, коснуться своей шеи, которую... его губы" — и они хором восклицают: "Целовали... целовали..."

Дополни предложение: "Мы, мужчины, должны помогать друг другу против женщин, а что, только..." — и они смеются, и десять рук барабанят по десяти коленям, и они хором восклицают: "...только женщины должны помогать друг другу против нас?"

Дополни предложение: “Я жду не потому, что у меня есть терпение, я жду, потому что у меня нет... “ – и все поднимают головы и заходятся от смеха: “Я жду, потому что у меня нет выхода”.

И вдруг, в этой буре хохота, слышится – вдруг – тоненький, дрожащий голосок Рыжей Тети: “А кто сказал кому...”

– Хорошенько подумай сначала, что ты хочешь спросить, – сказала Бабушка.

– Пусть спрашивает, пусть спрашивает! – закричала моя сестра.

– Кто сказал кому, – спросила Рыжая Тетя, – “ты пойдешь к нему и сделаешь все, что ты должна сделать”?

Стало совершенно тихо.

– Как это так, что никто из вас не знает ответа?

И после короткого ожидания добавила:

– Подсказать вам?

И поскольку все продолжали молчать, прошептала:

– Вы все знаете, и ни одна из вас не отвечает.

Черная Тетя сказала:

– Хватит. Она снова испортила нам игру, – и Большая Женщина встала, и разошлась по своим комнатам, и улеглась на пять своих кроватей, натянула пять одеял на пять подбородков и притворилась спящей.

Потом я услышал, как снаружи погудела машина, и Черная Тетя поднялась и вышла, и тогда я прокрался к тебе и прошептал, что знаю секрет про Рыжую Тетю.

– Какой секрет?

– Я видел ее у Авраама.

– Ну и что?

– Она любит его. Она сидела на нем и обнимала его руками и ногами.

Моя умненькая маленькая сестричка сбросила одеяло и уселась на кровати.

– Мне страшно за тебя, Рафауль, – сказала она. – Ты все время что-то такое слышишь и видишь. Что будет, если в один прекрасный день ты еще и понимать начнешь?

– Мне достаточно, что я видел, – сказал я. – То, что я видел, я помню и знаю. Зачем мне еще понимать, а? Если я пойму – я забуду.

Рафи, Рафи, к тебе приехала твоя подруга!

– Рафи, Рафи, к тебе приехала твоя подруга в красной машине! – кричат соседские дети, играющие в уличной пыли.

Когда-то Рона была моей женой, сегодня она моя возлюбленная, а в будущем станет моим несчастьем, моей бедой. Когда я заявляю ей, что не могу понять, “к чему нам весь этот балаган”, как говорила Бабушка, и спрашиваю, почему она не бросает “его” – своего второго мужа, человека “честного и доброго”, – и не возвращается ко мне, своему первому мужу – человеку изломанному и плохому, она смеется:

– Зачем тебе это? Ты знаешь лучший способ любить?

– Нет, – спешу я ответить, весь готовность и послушание. – Нет, моя любимая, нет, мое желание, моя красавица, моя мечта, я не знаю лучшего способа любить.

Через щели жалюзи я вижу, как она паркуется. Единым плавным, красным, уверенным движением, не поворачивая головы, лишь глазами профессионально поглядывая в боковое зеркало, — в точности как водитель трейлера.

Дверца машины открывается. Наружу высовывается сверкающее бедро, рассекая мои внутренности, точно длинное ласточкино крыло. Чистый склоненный затылок. Юбка разглаживается. Второе бедро тянется вдогонку за своим двойником. Она выпрямляется.

Вот они, ее ноги. Какое-то время стоят рядом, распрямившись, и вот уже шагают к дому, распространяя вокруг себя тот запах ракитника, который веет над ними сейчас и над их следами, живущими в моей памяти с той холодной ночи в "Нотр-Дам де Франс", когда эти ноги обхватили меня впервые, и вот уже мои бедра вспоминают гладкую теплоту их кожи, и мои ступни — стылые плитки монастырского пола, и мой затылок — каменную угрюмость коридорных сводов и ледяные взгляды монахини.

Негромкий перестук каблуков. Признательный тротуар. Язычки ее колен в колоколе юбки. Сверху я вижу, как она исчезает в подъезде. Отраженье ее межножья на поверхности восхищенных до обморока ступеней. Эхо ее поднимающихся шагов все громче. Ноготь ее пальца на тающей от восторга двери.

Бизабразина Рафауль задерживает дыхание, открывает, встречает ее кривой улыбкой.

Вот и она.

— Вот и ты.

Мы обмениваемся скромным приветственным поцелуем, приоткрыв губы на самую малую, словно бы точно рассчитанную, малость, с чуть заметным, демонстрирующим власть и узнавание нажимом, словно легкий нажим требующего молчания пальца, словно прикосновение голой пятки к земле. А почему, собственно, искать так далеко? Словно тот прощальный поцелуй, которым мы обменялись годы назад, в день нашего развода, когда вышли из раввинатского суда в Иерусалиме.

Только год или два спустя я сообразил, что мы обменялись тем прощальным поцелуем в тени иерусалимского эвкалипта, у ствола которого впервые встретились мои родители. Я улыбнулся про себя. Тогда встреча, а теперь разлука, тогда книжный магазин "Игарта", а теперь книжный магазин "Ярден", тогда они, а теперь я. "Ну и что это значит? — спросит паршивка. — Что это значит, что тогда — они и встреча, а теперь — ты и разлука?"

Иногда я прохожу там: тогда кафе и пирожные "шнекке", а теперь каменная площадь, вся в поту, грубая и крикливая, с краев которой стелется резкий запах мочи, и глуповатого вида девицы пересмеиваются с полицейскими в зеленых мундирах, и въедливые хасиды пристают к прохожим, приглашая помолиться, и обгоревшие туристы бредут под солнцем, почти теряя сознание от жары, и вечно слышится ругань, и крики, и вой сирен, то рядом, то издалека, и только тот эвкалипт по-прежнему стоит там, окованный цепями, неподвижный и тенистый, изумленный и безмолвный.

А еще несколько лет спустя, несколько лет глухого молчания, и разрыва, и вспоминания, и распарывания, Рона взяла себе честного и доброго доктора Герона и родила ему двух сыновей, имена которых она мне однажды назвала, но я их уже забыл, и еще несколько лет спустя — не-

сколько лет неотвязных снов, которые приходили, и уходили, и возвращались, и кончались тем, как если бы я был в ней, — она примчалась в своей красной машине, постучалась в мою дверь и открыла ее.

— Просто навестить, — сказала она.

У нее есть особенность, которая пленяет мое сердце: ее рот улыбается одной улыбкой, а глаза — другой.

Мои колени стали как вата. Я присел на кровать.

— Чего ты хочешь от меня, Аарон? — Так я называю ее, когда хочу выглядеть серьезным.

— Тебя. — Она присела рядом.

— На, возьми.

— Почему ты злишься?

— Я не злюсь, — сказал я. — Я защищаюсь. Меня прижали к стене, и я сражаюсь за свою жизнь.

— Со мной ты не умрешь никогда, — сказала она.

Наш запах поднялся в комнате, осел на ее коже и сгустил мою кровь.

— Зачем ты пришла? Проверить, что все как прежде?

— Проверить, что все на месте.

— Все на месте, Рона. Ты сможешь найти все с закрытыми глазами.

— Я люблю с открытыми.

— А потом?

— А потом у меня есть муж, и дети, и много работы, и мне еще долго вести машину обратно.

Мы улыбнулись. Гладкость ее кожи. Лучистость ее глаз. Ее любовь. Ее запах. Ее запах. Ее запах.

— И я хочу, и мне нужно, и мне положено и перестань давить на меня, и это не твое дело.

Много воды утекло с тех пор. Месяц назад Роне исполнилось сорок шесть. Я знаю годичные кольца ее тела, карту ее кожи, предательство ее вен, улыбчивую покорность ее грудей. "Это все твой старик, тянет и тянет их вниз". Ее глаза меняются, когда я плыву в ее волнах в поисках золотых-островов-я-уже-не-помню-их-имена, что ждут меня в ее теле: две ямочки муравьиного льва внизу на спине, песчаная гладкость бедер, свет лба, смех живота, милость затылка, крылья бабочек в пучинах плоти — вот они, все на месте... с закрытыми глазами, пальцем — находящим, требующим молчания.

Как много следов мы оставили в теле друг друга! Как много троп проложили! Как много вырыли колодцев! От ямки на твоей шее до впадины меж твоих бедер, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, от облизанных пальцев твоих ног до обцелованных ямочек твоей спины. От твоей переносицы до впадинки твоего пупка. Двадцать два, двадцать три, я пришел, любимая, я пришел! Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, наши пальцы приезжают и паркуются. Наши кости вспоминают и говорят. Наши животы смеются, курлычут наши имена.

Прикосновение ее губ запечатывает мою память, утверждает свою власть, отказывается сказать "конец". Мои чресла растворяются в ней. Ее глаза, расставленные так же широко, как мои глаза, закрываются снова. Вот они, белые подбрюшья ласточек, — переворачиваются со стоном.

Навсегда запомню

Навсегда запомню: язык, вылизывающий царапину, баюкающий бархат губ, волну волос на лбу, мерцанье близких глаз.

И исчерченный пергамент кожи, и иероглифы ласки, и дыхание ртов, это теплое дуновенье. Навсегда запомню: падение и взлет простыни, пути пальцев, приземлявших полет.

Былое блаженство. Даже сейчас, лежа в тени акации и вспоминая о нем, я ощущаю, как мое тело вновь покрывается пупырышками озноба.

Пятидесятидвухлетний, старше всех мужчин в хрониках нашего рода, и многое уже растаяло во мне и исчезло — слова, имена, кровяные шарики, и белые, и красные. Вот он я: нервные клетки на исходе, семенные клетки истаивают, узлы сухожилий развязываются сами собой. Как те ангелы, что гостили в Авраамовом шатре[1]: насытились, возвестили, посмеялись и улетели. Как те прославленные крысы, корабельные беглецы, что в своей неуемной тяге к побегу ищут только ненадежные палубы.

Пятидесятидвухлетний, в доме своем в пустыне, и многое уже меняет во мне свое место и облик. Тоска превращается в морщины на шее, вожделение становится волосами в ноздрях, позднее понимание оседает на стенках кровеносных сосудов. Ногти больших пальцев, точно груди Матери, делаются все меньше, втягиваются в тело, исчезают совсем. Даже сейчас, лежа в тени акации, я еще чувствую эти ногти — что-то твердое внутри, точно осколочки камня, что-то твердое, колющее, сухое.

Как-то раз, в тот самый миг, когда Авраам сказал мне: “Смотри, чтоб тебе в глаз не влетела искра”, одна такая искра действительно влетела мне в глаз. Ужасная колющая резь. Внезапная боль, в которой слились воедино ощущения ожога и предательства. Дикий вопль вырвался из моего рта, и я тут же услышал испуганный крик Авраама:

— Не трогай глаз! Не трогай!

И вот он уже обхватил меня и держит руками мою голову.

— Не три глаз, Рафаэль! Я сейчас ее вытащу. Этого только не хватало, чтобы с тобой что-нибудь случилось, когда ты у меня.

Я думал, он раздвинет мне веки пальцами и вытащит искру кончиком карандаша, как вытаскивал ее у себя из глаза. Но Авраам еще крепче обхватил меня и повернул к себе, так что наши лица оказались вдруг совсем рядом. От его щек пахло чесноком и сигаретами, оливковым маслом и каменной пылью. Одна его рука прокралась за мою макушку. Его дыхание у меня на лбу. И вдруг его приоткрытые губы легли на мой поврежденный глаз, и его язык приоткрыл узкую, трепещущую щель меж моими веками, и на меня снизошло великое блаженство и покой, сладостный и обвевающий, как та летних вечеров простыня — взлети-и-закрой, обвей-и-открой, зажмурь-и-смотри.

Еще мгновение, и язык каменотеса нашел и подцепил то, что искал. Его рот покинул мой глаз, его рука — мой затылок.

— Смотри-смотри, Рафаэль, вот, она вышла!

Слабость разлилась по всему моему телу. На кончике его вытянутого языка сверкал крошечный осколочек камня.

— Не рассказывай им, что случилось. — Он выплюнул искру и вернулся к работе.

1. По библейскому рассказу, три ангела явились в шатер к праотцу Аврааму, чтобы возвестить о том, что престарелая Сарра в следующем году родит ему сына (Первая книга Моисеева. Бытие).

Межевые границы

Межевые границы в пустыне — меж тенью акации, под которой я сижу, и пламенем солнца, поджидающего в засаде снаружи, меж мягкостью песка и жесткостью утеса, меж обжигающей жарой и ледяной стужей и меж смертью и жизнью — проведены острым железом.

Я не единственный гость у этой акации. Рыхлый песок у основания ее ствола испещрен многочисленными следами побывавших здесь животных: тут и оленьи копыта, и верблюжьи катышки, и птичье перо, и полустертые чертежи генеалогических деревьев и сдвоенных квартир. Каменные куропатки собираются здесь, чтобы отдохнуть и обсудить свои новости, муравьиный лев роет свои коварные ямки, маленькие птички с тонкими клювами и серыми перьями охотятся за насекомыми на коре ствола.

На вершине акации я не раз вижу черно-белую птицу, этакую маленькую, элегантную монашку, застрявшую в неподходящем месте. Имени ее я не знаю, но ее сестер я встречал во многих других местах пустыни. Иногда они выстраиваются, как изваяния, на скале, в тени которой я завариваю себе чай. А порой, когда они возбужденно носятся над каким-нибудь водоводным коробом, я уже знаю, что следует остерегаться — где-то там притаилась змея, заползшая туда в попытке спастись от жары.

Если бы Мать или Черная Тетя были рядом, они, конечно, сказали бы мне, как называется эта черно-белая птица, но самому мне знакомы лишь имена пустынной вороны, да ласточки над бассейном, да курицы из субботнего супа Рыжей Тети. И еще я хорошо помню громадную стаю скворцов, которая каждый вечер кружила, точно могучий смерч, в небе над западными окраинами Иерусалима, стремительно проносясь то в одну, то в другую сторону, опускаясь, переворачиваясь и взмывая снова, словно огромная простыня, которую держат и поднимают чьи-то невидимые руки. Вверх-вниз, вниз-вверх, поднимают и опускают над домами квартала — взметни-и-накрой, скользни-и-открой, — а под конец вся стая разом пикирует на кипарисы, что вокруг Дома сумасшедших, и втягивается в их темную зелень, как будто из чрева земли поднялся тот древний старик, и уселся там, меж ветвей, и притянул их всех к себе своими канатами.

И еще две птицы часто навещают акацию. Одна, с кривыми когтями и таким же клювом, охотится за ящерицами и насекомыми и распинает их на колючках дерева, а другая — длиннохвостая, с пронзительным голосом — имеет привычку поддразнивать меня. Она и ее подруги танцуют передо мной на песке, словно бросают мне вызов, то подходя, то удаляясь медленными шагами.

А однажды мне посчастливилось: очнувшись от дремоты под одной из акаций, я увидел большую хищную птицу, которая стояла рядом со мной, наслаждаясь тенью, и смотрела на меня с нескрываемым желтоглазым любопытством. Оба мы застыли, не шевеля ни перышком, ни пальцем, и так смотрели друг на друга до тех пор, пока солнце не опустилось чуть ниже. Воздух остыл, птица взлетела, я продолжил свой путь.

Как в пальцах слепых

Как в пальцах слепых плетельщиков корзин и в запястьях каменотесов — так сохраняется память в сухожилиях, втискивается меж позвон-

ками, собирается в мышцах бедер и рук. Хранилище запахов, врезанных в обонялище носа, музей картин, вытатуированных на сетчатке, мемориал движений и голосов, память прикосновений, и удерживающих объятий, и разбегающихся дорог.

Когда-нибудь, когда я соберусь с силами, не сейчас, я расскажу тебе об этих дорогах и путях — тех, что в моем теле, и тех, что в поле рядом с нашим кварталом, и о тех, что в пустыне, о дорогах, поднимающихся и спускающихся, от колодца к колодцу, от тени к тени, тянущихся вдаль, мудрых, тающих на горизонте.

И о мудрости уставших я расскажу — тех, что бредут, сожженные солнцем и иссохшие телом, — и о благоразумии тех, что тащат с собой бурдюки с водой на вершины гор. И о древних путях кочевий, о светлой пыли пеших переходов, о камнях дорожных знаков и отметок, о заученной осторожности уклонов. Есть свой подобающий уклон для верблюда, и свой подобающий уклон для человека, и свои уклоны для мула, для осла, для всасывания воды и толкания крови, такие, чтобы идущий по ним не споткнулся, чтобы не отчаялся, чтобы не побежал пешеход, чтобы не разорвалось у него сердце от сухости и душа не покинула его из-за зноя.

Но сейчас, по примеру самих дорог, я ограничусь одним лишь намеком: отколовшимся обломком, остывшей золой, сдвинутым крепостным камнем, белым рубцом земли. Ростком плодового семени, извлеченного, выброшенного и проросшего, шепотом стены, запечатлевшей изгиб, и вмятинами — вмятинами от сандалии, колеса и копыта в земле, вмятинами от моих плеч в их кроватях, зуба, вонзившегося в мясо, и гладкого камня.

От колодца к колодцу, от хана[1] к стану, путями пальцев по песчаным дюнам наших грудей, путями кочующих языков, шепчущих в наши шеи. От раны к шраму, от воспоминания к предсказанию — путями, которые каждая женщина пролагает во мне для следующей. Высекают, расчищают, помечают: маленькими кучками камней, погашенным костром, пахучими стойбищами газелей — кто она, что была здесь до меня? что делала? когда?

— Какой у тебя смешной член, — сказала мне Рона когда-то. — С этим симпатичным шарфиком на шее он выглядит таким солидным. Куда солиднее тебя самого.

— Это мой галстук, — объяснил я. — Мне оставили немного лишку, когда обреза́ли крайнюю плоть.

— У вас тоже были такие галстуки? — допытывался я у четырех Наших Мужчин: Деда, что был вынут из петли, Отца, что был раздавлен, Дяди, что был убит камнем, Дяди, что был пробит рогом. Они смотрят на меня тем застывшим взглядом, которым стекло и время наделяют после смерти каждого сфотографированного: когда ты уже вырастешь, Рафаэль? когда ты уже умрешь, Рафаэль? когда ты тоже присоединишься?

1. Хан (*турецк.*) — постоялый двор, караван-сарай.

Яна Симон

Ведь мы – другие. История Феликса С.

Роман

Перевод с немецкого Н. Федоровой

Комната Феликса

Комната почти пустая, теперь. Может быть, он еще раз окинул ее взглядом, когда уходил. А может быть, и нет. В ту августовскую среду он и не догадывался, что никогда больше ее не увидит.

Комната маленькая – восемь квадратных метров, вроде камеры. Глядя в окно, он видел пустынную улицу с молодыми деревцами вдоль тротуаров и пережившие капитальный ремонт розовые дома напротив – постройки тридцатых годов, маленькие окошки, низкие потолки, крохотные комнатушки. Окраинная берлинская улица, где люди живут, прячась за шторами, где тишина словно бы шумит, а мимоезжий автомобиль воспринимается как грохочущая помеха.

Раньше, до падения Стены, сюда, в Шёневайде, никто переезжать не хотел – еще бы, заводской район Восточного Берлина. Полупроводниковый, турбинный, кабельный заводы; в любое время суток здесь стоял такой смрад, будто рядом жгли резину, при каждом вздохе накатывала тошнота, на фасадах и подоконниках густо оседала серая пыль. После падения Стены предприятия стали закрываться, и в конце концов не осталось ни одного. В Шёневайде пришел покой, и теперь по весне тут пахнет цветущими липами. Люди ходят в бежевых и сиреневых матерча-

© 2002 by Rowohlt-Berlin Verlag GmbH, Berlin
© Н. Федорова. Перевод, 2004

тых куртках, в основном это мужчины лет пятидесяти-шестидесяти, у которых на удивление много свободного времени, чтобы выгуливать собак.

Наверно, он чувствовал себя здесь как на краю света. Хотя и знал этот мир — мир своего детства. Его дед с бабушкой живут все в той же квартире: три комнаты, кухня, ванная, шершавые белые обои на стенах, в передней — большое прямоугольное зеркало, за раму которого заткнуты фотографии их внука, Феликса. На большинстве он с улыбкой щурится в объектив. Правда, есть и такие, где он, кажется, готов зареветь, но в последнюю минуту ухитряется себя сдержать. Выглядит он хорошо, у него короткие черные волосы, на ранних снимках — чуть подлиннее. Позже он обрил голову наголо, зато обзавелся бородкой, узким полукругом окаймляющей подбородок. На некоторых фотографиях он в очках, но чаще носит контактные линзы, из-за близорукости. Очень смуглая кожа и чуть косой разрез глаз придают его облику нечто азиатское. Он редко держится прямо, плечи почти всегда оборонительно выдвинуты вперед, как у боксера, готового сию секунду закрыться кулаками. Кажется, будто он таким манером не подпускает к себе окружающий мир.

В шкафу ровные, аккуратные стопки футболок. Феликс всегда складывал их именно так, по-другому не мог. На стеллаже по-прежнему стоят книги, которые он, наверно, собирался прочесть: "Оуэн Мини" Джона Ирвинга, любовная лирика Эриха Фрида и "На пути к выздоровлению", о самоизлечении ракового больного. Похоже, под конец он отождествил себя с тяжелобольным и искал в истории этого человека параллели, новую жизненную концепцию, смысл своего существования, объяснения своим поступкам. Кой-какие места он подчеркивал тонким карандашом, а то и отмечал прямой линией сбоку целый абзац: *Если рассудок копит ложные и вредные выводы из прошлого, можно ли вдруг поверить, что он решится сделать новые, правильные и полезные выводы и осуществит их? Мне это казалось едва ли возможным.*

Последнюю фразу он еще и маркером пометил.

Там же, на стеллаже, лежит и обвинительное заключение, которое он видеть не хотел. И отправил на самый верх. Для этого ему понадобился стул. Очевидно, он старался отодвинуть эти бумаги как можно дальше. Хотел забыть. И все-таки обвинительное заключение поджидало Феликса там, наверху, и на протяжении тех коротких тринадцати дней, какие ему довелось провести в комнате своей юности, по-настоящему ни на миг не шло у него из головы. Прошлое терпеливо ожидало своего часа в толстом сером регистраторе. Феликс знал многие из упомянутых там событий и многих людей, с ними он провел годы, с ними жил. Но порой ему казалось, что все это очень-очень далеко, какая-то другая его часть, совершенно чуждая, словно не имеющая к нему касательства.

Он хорошо знал мир вышибал, охранников, спортсменов-единоборцев, футбольных фанатов. Был своим среди них, насколько можно быть своим, если кожа у тебя не вполне белая. Играл свою роль. И другие уважали его. Уважение он ценил превыше всего на свете. Никогда больше он не станет мальчиком для битья, беспомощным и бессильным. Всякое мгновение жизни — под контролем. Ведь без контроля не останется ничего — ни порядка, ни смысла. Все рухнет, обернется внутри, в душе, неминуемым хаосом. С этим ему приходилось бороться. Всегда.

На стене висят картины: репродукции Дали, Брейгеля — мрачные видения разрушения и гибели. Скелеты на конной повозке, собаки гры-

зут трупы, на бурой земле гниют израненные и полурастерзанные тела. Небо исчерна-багровое, будто охваченное пожаром. Конец, остановить безумие больше некому. Красивая картина, красивая своей кошмарностью. Лежа на кровати, у окна, он мог рассматривать ее во всех подробностях. С филигранной точностью Брейгель выписал каждую из жутких деталей.

О чем Феликс думал, глядя по утрам на эту картину? Называется она "Триумф смерти". Может, иной раз он поворчивался в другую сторону, тогда взгляд его падал на репродукцию Босха – прелестные обнаженные существа танцуют в райском саду. Такое ощущение, будто на противоположных стенах он поместил два полюса своей жизни. А между ними ничего, пустота.

Эти картины по сей день висят в давней комнате Феликса, дед с бабушкой иногда их рассматривают. У них много вопросов, и порой кажется, они нашли подходящие ответы. Но мгновения ясности быстротечны, остается лишь чувство бесполезности. Феликса нет.

Когда она впервые после его исчезновения навестила его деда и бабушку и вошла в эту комнату, у нее прямо дух захватило от ощущения, что он по-прежнему здесь. Феликс смотрел на нее из пропотевшей футболки Боксерского клуба, говорил с нею своими книгами и компакт-дисками, глядел с фотографий. Ей уже стукнуло двадцать восемь, они знали друг друга полжизни, выросли вместе, он был одним из самых старых ее друзей. На время они потеряли друг друга из виду, потом встретились снова. После его ухода она поначалу словно оцепенела, даже плакать не могла. Ей тогда постоянно хотелось спать, забыться, ничего не видеть.

Свою печаль она замкнула в себе, но при мысли о Феликсе чувство утраты было всякий раз так велико, что внутри возникала тупая боль, словно кто-то с размаху бил ее в грудь. В давней его комнате это чувство слабело, он присутствовал здесь и каким-то образом утешал ее.

Она смотрела в окно, представляла себе, как он стоял тут и глядел на улицу, переводила взгляд на обвинительное заключение и спрашивала себя, что́ он чувствовал, читая эти документы. Листала его книги и размышляла о том, что́ они для него значили, а еще разговаривала с его дедом и бабушкой. И хотя многое из того, что она узнала о Феликсе, отталкивало ее, вызывало недоумение, печаль, а то и злость, хотя временами у нее возникало ощущение, что она совсем его не знала, собственная память рассказывала о другом.

В памяти она старалась сберечь Феликса таким, каким видела сама. Часто ей это удавалось, иногда нет. Может, это и не важно, просто его недоставало. И давняя комната стала для нее последней связью с ним.

1

Первый удар пришелся ему точно в живот, чуть ниже солнечного сплетения. Феликс выдохнул, с шумом, будто изнутри у него разом вырвался весь воздух. Новый удар. Йёрн, до пояса обнаженный, стоял прямо напротив и смотрел на него. Выждав секунду-другую, опять прицелился Феликсу в живот.

В подвале было холодно, пахло старыми матрасами, влажной землей, по́том и плохо просушенной одеждой. Она опоздала и, не снимая куртки, села на деревянную лавку у стены, единственная зрительница на этой тренировке каратистов весной 1987 года. С той минуты, как вошла

в помещение, она спрашивала себя, что, собственно, ей тут надо. Зайти сюда — идея хорошая, считал Йёрн, так она легко сможет познакомиться с Феликсом. И теперь, сидя в холодном подвале Йёрнова дома, она смотрела, как два шестнадцатилетних подростка в дзюдоистских брюках молотят друг друга кулаками в живот.

Феликс был маленький, с непокорным ежиком черных волос, оливковой кожей, красивыми темными бровями и длинными, как у девушки, ресницами. Мышцы брюшного пресса у него походили на небольшие, расположенные друг над другом квадраты. Йёрн — повыше ростом, светловолосый, и его мышцы еще не вполне сформировались. Пол в подвале был выстлан матами, когда-то, скорей всего, белыми. Это она помнила точно, потому что почти все время смотрела вниз, а кулак Йёрна меж тем снова и снова тузил Феликса в живот, десять, двадцать раз. Потом они поменялись. Теперь Феликс молотил Йёрна в живот. Порой в момент удара оба чуть отскакивали назад, словно на долю секунды теряли почву под ногами.

С лавки она могла видеть их лица. Феликс зажмуривал глаза, крепко, точно от боли, сжимал губы. Йёрн отчаянно держал маску сурового бойца, только маленький мускул под левым глазом то и дело непроизвольно дергался. Отработав удары в живот, они приступили к упорам лежа, во всевозможных вариантах — на кулаках, на двух пальцах, на костяшках, — а затем прыгали со скакалкой, на время. Феликс с Йёрном тренировались уже два часа и заканчивать пока явно не собирались. Ей тогда было четырнадцать, и свое первое свидание она представляла себе несколько иначе.

Когда Феликс с Йёрном наконец прекратили тренировку, настала неловкая тишина. Потом они поднялись в квартиру Йёрна, который раздобыл несколько выпусков западных комиксов про Утенка Дональда. Все трое, сидя на полу в комнате Йёрна, смущенно листали журнальчики, глядели в потолок, а потом вдруг расхохотались. Первый разговор состоялся у них про Утенка. С этого началась дружба.

Позже они с Феликсом вместе шли домой по улицам Йоханнисталя, что на юге Восточного Берлина, неподалеку от Стены. Им было по пути, жили-то на одной улице, разделенные всего-навсего несколькими домами и церковью. Шагали вдоль трамвайной линии, через бетонированную площадь с квадратами цветочных островков у автобусной остановки. Тут напротив, в старом доме, она и жила, на самом верху. На прощанье Феликс широко улыбнулся и пригласил ее на завтра к себе — хотел показать коллекцию комиксов про Утенка Дональда. И пошел дальше, мимо церкви, к особняку под названием “Белла виста”, то бишь “Прекрасный вид”, — окруженной садом кирпичной постройке с фахверком и островерхой кровлей. Она хорошо знала этот дом: там жил ее одноклассник, ее и его родители дружили, и отец ее был знаком с отчимом Феликса, а брат каждый день играл в этом саду. Феликса она видела много раз и считала очень интересным. Он бросался в глаза, потому что был не белый, “мулат”, как тогда говорили. Экзот на белом, небогатом иностранцами Востоке.

Жил Феликс на втором этаже направо, вместе с матерью и братом. Отчим его обретался выше, в мансарде. Навещая Феликса, она сперва поднималась по каменным ступенькам на крыльцо, а потом по деревянной лестнице, пронзительно скрипевшей под ногами. Кровь громко стучала в висках, когда она добиралась до верхней площадки. И часто еще

несколько минут медлила, прежде чем позвонить. Атмосфера за дверью ничего хорошего не сулила, мать Феликса и отчим не ладили.

Мать у Феликса была миниатюрная, темноглазая. А отчим, стройный рыжеватый блондин, выглядел как герой сказочного фильма, этакий мечтательный принц слегка не от мира сего. Оба они ей нравились, только вот обстановка в этой семье производила странное впечатление: внешне все очень мило и открыто, но в глубине тлело что-то еще, неуловимое, запутанное. Неизъяснимая гнетущая тяжесть.

Феликс намекал ей на сложности в семье короткими, уклончивыми фразами, ему было неприятно говорить об этом. Он предпочитал разыгрывать сильную личность, невозмутимого хладнокровного парня, помогающего другим в их проблемах. Однако она все поняла, потому что была очень на него похожа и в своей семье сталкивалась с похожими сложностями, хотя и менее драматичными. У детей разведенных родителей словно бы чутье друг на друга, они угадывают в другом ту же глубинную неуверенность и отчаянное старание никому ее не показывать.

Они с Феликсом "встречались", как тогда говорили. Иными словами, часто заходили друг к другу, обычно по вечерам, целовались в подъезде, для пробы даже взасос. Часами обсуждали разные программы и стратегии тренировок, она рассказывала о балете, он — о карате. Нередко речь шла о том, какую нагрузку выдерживает сухожилие, прежде чем растянется или порвется. У себя в комнате Феликс ставил два стула в метре друг от друга, и они отрабатывали шпагат с провисанием. Он делал упоры лежа — на двух пальцах либо на костяшках среднего и указательного пальца, пока те не распухали. И выполнял свои упоры на циновке, ведь так больнее. А потом совал костяшки ей под нос и твердил: "У кого нет таких шишек, тот тренируется неправильно".

Еще они боролись, просто так, шутки ради. Феликс старался ее прижать, а она всякий раз вырывалась, и он хвалил ее, как маленькую. У нее на глазах он поглощал огромные яичницы, уверяя, что это полезно для мускулатуры. Феликс посмеивался над ее восторженным отношением к Майклу Джексону и Принсу, *black music*, то бишь музыка черных, ему никогда не нравилась; она в свою очередь поддразнивала его за пристрастие к всему военному и к идиотским фильмам про Рэмбо. Они замечательно философствовали по поводу его "до", или "дао", что в азиатских боевых искусствах означает "путь", иначе говоря жизненные принципы. Все эти принципы вызывали глубокое уважение. Он объяснял, что ни под каким видом не вправе бить тех, кто не обладает его умениями. И хотел достичь совершенной мудрости и ясности — что это означало, она так толком и не поняла. Но разговаривать об этом было интересно. Вдобавок карате в ГДР находилось под запретом, что придавало их беседам слегка заговорщицкий характер.

Виделись они не каждый день, ведь и других дел хватало, и гордость не позволяла. Кто кому и когда позвонит — этот вопрос незримо присутствовал на заднем плане, всегда, они и тут мерялись силами. Часто не звонили друг другу по нескольку дней, ходили вокруг телефона, но ни один не хотел сдаваться первым. Такие мелкие состязания на тему "кто сильнее" порой вносили напряжение в их подростковую дружбу, создавали сложности. Но с Феликсом она впервые не заскучала уже через неделю и не искала способа поскорей его спровадить. К тому же она никогда точно не знала, что он думает и чувствует, от него веяло чем-то мрачным, таинственным, и ей ужасно хотелось в этом разобраться.

Часто Феликс сидел у себя на кровати; большая, высокая, она выглядела вроде как полуэтаж. Внизу играл его братишка, а наверху Феликс устроил собственный мирок: в головах стоял кассетник, здоровенный, по моде восьмидесятых. На одной стене пришпилен постер с красным драконом и черной надписью *Karate* сбоку, на другой — фотография мужчины, который, высоко вскинув ногу, устремлялся на противника. Но главное место здесь занимали постеры его кумира — Брюса Ли. Часть снимков он сделал с экрана телевизора, часть вырвал из западных журналов.

Феликс благоговел перед Брюсом Ли, таким же маленьким и жилистым, как он сам. Ли родился в США, а вырос в Гонконге. В двенадцать лет он уже возглавлял уличную банду и изучал кун-фу. Биографы изображают его как неистового, фанатичного бойца, подверженного внезапным приступам бешеной ярости. Феликс вполне мог сказать то же и о себе. Позднее Брюса Ли открыл Голливуд, где он снимался в боевиках вроде "Возвращение Дракона", "Кулак ярости", "Кулак ярости-2". По фильмам возникало впечатление, будто он избегает любого лишнего движения, мелкими шажками он скользил в кадре, взгляд сосредоточенный, руки перед грудью, а в сценах схваток, не в пример другим кунфуистам, не делал тройного сальто перед тем, как ударить ногой.

Брюс Ли создал нечто вроде собственной жизненной философии с такими, к примеру, афоризмами: *Если хочешь добиться успеха, учись бороться, не жалея сил, в том числе и страдать*, или *Единственный путь к подлинному совершенству – стопроцентное мастерство во всем, что делаешь*, или *Изведав, что такое смерть, ты преодолеешь ее. Завтра мы умрем и станем свободны.* Позднее ей казалось, что Феликс затвердил эти формулы наизусть и принял на вооружение, ему нравилась их радикальность, такая экстремальная логика отвечала его натуре. Уже тогда он признавал только крайности, без переходов.

Брюс Ли умер в тридцать три года при загадочных, до сих пор не вполне выясненных обстоятельствах. Одни говорят, его убили китайские мафиози, другие — что он где-то живет под чужим именем. Феликс всегда любил развивать и обсуждать теории заговоров, трагические истории завораживали его. Он и себя нередко видел как фигуру трагическую.

Когда под кроватью в очередной раз назревала война, он включал кассетник погромче: Энн Кларк, Гари Ньюман, "Хьюман лиг", "Пинк флойд" — меланхолическая музыка восьмидесятых годов. Худшие для него времена были тогда уже позади. Те времена, когда ему приходилось ночевать на лестнице или под раковиной в кухне, потому что он не выполнил какое-то пустяковое поручение — не вынес мусор, не перемыл посуду; когда ему давали кусок хлеба, а вся семья ела шницели. Он не мог понять, почему с ним так обращались.

А у нее это вообще в голове не укладывалось. Его мать почти всегда встречала ее очень радушно, угощала чаем, хихикала с ней как с ровесницей. Но, по-видимому, могла быть и совсем другой.

Отчима Феликс нередко видел беспомощным, слабым. Бывало, тот, ни слова не говоря, проходил мимо, поднимался к себе в мансарду, хоть и замечал, что Феликс спит на полу на лестничной площадке. В такие часы Феликс, наверно, чувствовал себя совершенно заброшенным — не с кем поговорить, не от кого ждать помощи.

В детстве Феликс мечтал стать пожарным, человеком, который всегда наводит порядок, все держит под контролем, в случае чего любой по-

жар потушит. Однажды, когда отчим надумал съехать из дома, Феликс даже помогал ему собрать вещи: лучше пусть разойдутся, чем эти бесконечные ссоры.

Он знал, что такое заброшенность. Однажды кое-кто уже ушел из его жизни — родной отец. Феликсу было тогда два года, он мало что запомнил, осталось только чувство утраты, тревожной неуверенности. Любовь родителей оказалась непрочной, вместе они прожили недолго. Феликс родился, когда его мать была совсем молоденькой девятнадцатилетней девчонкой, но в ГДР такое случалось сплошь да рядом. Дед с бабушкой настояли, чтобы она родила, сказали, что у них хватит средств вырастить внука.

Родной отец Феликса, "родитель", как он его называл, только-только начал работать. На первых порах все трое поселились у родителей матери в Шёневайде, в квартире, где веревка с выстиранными пеленками тянулась из кухни в гостиную. Феликсовы родители были слишком молоды, слишком заняты собой, и окружающие требовали от них слишком много. И когда спустя некоторое время в жизнь матери вошел отчим, их отношения рухнули. Отец решил вообще уйти из жизни Феликса, дать шанс матери и ее новому другу. С тех пор он виделся с сыном лишь раз-другой в году — по дням рождения и на Рождество.

Через много лет, когда он рассказывает ей об этом, она удивляется, как бесстрастно звучит его история, ведь как-никак его оставили тогда жена и сын. Он сидит за столом в своей квартире на Кольвицплац, Феликса уже нет, но на стене висят его фотографии, а перед ними стоят свечи. Отец смотрит в тарелку с макаронами, молчит. Глядя на него, она порой пугается: он очень похож на Феликса, тот же прямой, тонкий нос, те же сутулые плечи и печальный взгляд, будто его обременяют все беды мира. Он немногословен, в основном говорит его жена, один раз он поднимает на нее глаза и роняет в тишину: "Феликс был нелюбимым ребенком". И быстро добавляет, что имеет в виду только его мать, а не себя. Хотя, судя по голосу, у него самого тоже часто мелькала эта мысль, но он сразу ее заглушал. Уже много лет у него другая семья, жена, две дочери, его внимание принадлежит им.

Как-то раз, четырнадцатилетней девчонкой, она побывала в этой квартире. Феликс взял ее с собой, и она заметила, что он очень волновался: был рассеян, крепко сжимал ее руку, все время торопил; да, визит к отцу — дело нешуточное и не каждодневное. А когда они пришли, ее не оставляло ощущение, что их в упор не видят. Они сидели на большой кровати его отца и тихонько хихикали, наблюдая за двумя маленькими девчушками, которые учинили в комнате сущий тарарам. Время от времени отец или его жена заглядывали в комнату, о чем-то спрашивали, приносили им соку и опять исчезали. Симпатичные люди, только вот вели они себя странновато, будто ни Феликс, ни она не вызывали у них особого интереса. В конце концов они с Феликсом ушли, на обратном пути он притих, она тоже молчала. Сказать было совершенно нечего.

После развода мать и отец Феликса по-прежнему не очень ладили, постоянные ссоры и взаимные упреки превратили их отношения в этакую перманентную войну с короткими передышками для накопления сил. От этого отец и сын еще больше отдалялись друг от друга. При отце Феликс всегда старался не говорить ничего плохого о матери, и наоборот. Наверняка лояльность давалась ему нелегко. Этот конфликт — удел почти всех детей разведенных родителей.

Отношения между его матерью и отчимом тоже складывались отнюдь не безоблачно. Когда Феликсу было двенадцать, они расстались, но жили всё в том же доме, с новыми партнерами, что, понятно, только обостряло обстановку.

Феликс часто относил их ссоры на свой счет, в душе винил себя. Лишь много позже он уразумел, что был совершенно ни при чем, просто они мерялись силой, норовили вывести один другого из равновесия. Однажды, когда он пришел из школы, его вещи валялись возле дома и в мусорном баке, потому что мать в ярости вышвырнула их из окна. Может, она и злилась-то вовсе не на него, но сорвала зло на нем. Феликс тогда рассказывал, что боится ночных кошмаров, в которых то солдаты гонялись за ним, желая убить, то одна за другой следовали бесконечные потасовки, то вдруг появлялись рыцари, приходившие ему на помощь. Она только недоверчиво кивала: каждую ночь сплошные кошмары — полный отпад. Его мрачные, печальные истории все больше занимали и ее мысли. Иногда она вообще с трудом отличала его проблемы от своих.

Однажды, летом 1987-го, они вместе с ее родителями и братом на две недели поехали к Балтийскому морю. Феликс присоединился к ним буквально в последнюю минуту. Местечко под названием Царфцов было расположено в получасе езды от моря и состояло из десятка крестьянских домов, с виду словно бы давным-давно нежилых. Без конца лил дождь, отчего деревенская улица превратилась в огромную грязную лужу. Они жили в трехэтажном доме, стены которого насквозь пропитались сыростью. В низеньких помещениях пахло гнилым деревом и влажным бельем, в июле пришлось топить на кухне печку. По-настоящему она только там и поняла, что у Феликса астма. Он непрерывно кашлял, но лекарств с собой не захватил. Ее родители были близки к панике. Дождь не переставал, все мерзли, одеяла отсырели, со скуки они иногда играли в карты или в "Сказочную страну", это такая настольная игра. В общем, полная катастрофа.

Она и Феликс обитали под самой крышей, в мансарде, оклеенной белыми обоями, на которых сырость оставила круглые желтые пятна. Феликс большей частью лежал в кровати, вставал только поесть да в туалет. Лежал на матрасе, скрестив руки под головой, печально смотрел на нее, кашлял, делал на дощатом полу упоры лежа и с утра до вечера слушал кассету с одной и той же песней — "Nineteen" Пола Хардкасла. Речь там шла об американских солдатах на вьетнамской войне, в основном это были девятнадцатилетние парни, в бэкграунде слышались голоса радиодикторов, разрывы бомб, пулеметные очереди. "Apocalypse Now"[1] в Мекленбурге. Феликс был словно одержим этой песней. Как только пятнадцатиминутный макси-сингл кончался, он вставал, перематывал пленку и включал снова. Казалось, он все больше сливается с этой песней воедино, видит себя бойцом в безнадежном сражении. Она опасалась, как бы солдаты, чего доброго, не перекочевали и в ее сны. Дождь, Феликсовы кошмары, его хриплое дыхание в комнате, эта песня — в конце концов она не выдержала, терпение лопнуло. Она тоже порой грустила, но редко совсем уж выходила из равновесия, многонедельными депрессиями не страдала. Внезапно ее охватило настойчивое желание как можно ско-

1. "Апокалипсис сегодня" (*англ.*) — фильм Фрэнсиса Форда Копполы (1979). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

рее убраться из этой комнаты, бежать куда глаза глядят, и вместе с тем она чувствовала угрызения совести.

Когда родители решили на денек съездить к бабушке, она увязалась с ними — лишь бы смыться отсюда. Уже от одной перспективы опять целый день валяться на кровати и слушать эту песню ей становилось тошно, в душе вскипало недовольство, ведь изменить состояние Феликса она никак не могла. И Феликс остался в Царфцове, один. Она уговаривала его поехать с ними, но он был пленником этой комнаты.

Для нее поездка стала короткой вылазкой на волю, в жизнь. На обратном пути она раздобыла Феликсу таблетки от астмы. Они не помогли, и в глубине души она заподозрила, что ему вовсе и не хотелось идти на поправку.

Феликс очень ей нравился. И хотя, с одной стороны, она отчаянно желала улизнуть куда-нибудь подальше от историй его родителей, от его кошмаров, от его крайностей, с другой стороны, его пугающая эмоциональность притягивала ее. На отпускных фотографиях Феликс словно бы цепляется за нее, обнимает за плечи да еще и за руку держит.

Астма у него все обострялась, ее родители места себе не находили, и в конце концов Феликс раньше срока уехал в Берлин. Она и загрустила, и обрадовалась. Но вскоре вместе с отцом поехала на месяц в Венгрию и там кое с кем познакомилась. После она зашла к Феликсу, они потолковали и решили расстаться. В тот день оба прекрасно понимали друг друга, чего не бывало уже давно. Возможно, потому и продолжали видеться и остались друзьями. Что ни говори, для каждого это был первый длительный "роман". Пять месяцев — вечность для четырнадцатилетней девчонки и шестнадцатилетнего парня.

Тогда, после катастрофического балтийского отпуска, у нее возникло ощущение, что какая-то внутренняя необходимость заставляет Феликса оставаться в Берлине, поблизости от родителей. Возможно, он должен был постоянно удостоверяться, что они еще здесь, никуда тайком не исчезли. В глубине души он всегда боялся, что когда-нибудь они его бросят. Все в его жизни казалось ненадежным — и поступки родителей, и их любовь, и собственные его чувства.

Однажды шестнадцатилетний Феликс рассказал ей: "Я ждал того дня, когда смогу остановить занесенную руку матери". При этом он очень серьезно смотрел на нее и говорил очень спокойно, как о деле давным-давно решенном. Она испугалась, главным образом жесткости в его голосе. Видимо, все свое детство Феликс боялся матери, непредсказуемых перепадов ее настроений, взрывов ярости. И любил ее. Всегда. Как любят мечту, которая никогда не сбывается или сбывается, но не так, как хотелось бы.

В семнадцать Феликс уехал от матери и поселился у деда с бабушкой. До сих пор никто — ни друзья, ни дед, ни бабушка — не знает, что тогда произошло. Может, вообще ничего особенного, так, пустяк, который неожиданно стал последней каплей. Впрочем, контактов с матерью он не оборвал, мирился с нею, опять ссорился и опять прощал. Феликс всегда возвращался к матери. До конца.

2

Для Феликса всегда было очень важно, что они знали друг друга с прежних времен. *Прежде* — это слово, быть может единственное, объединяет

поколение рожденных в семидесятые годы. Они еще застали то странное государство, которое позднее исчезло, и ненависть к нему или равнодушие сплачивали их. Впоследствии же их объединили детские и юношеские воспоминания.

В Йоханнистале, районе, где выросли они с Феликсом, из-за опасной близости к Стене проживало множество военных и сотрудников штази. По разным причинам оба они не очень-то вписывались в здешнее окружение.

Ее отчим вздумал заделаться чем-то наподобие панка. Волосы спереди подстригал коротко, а сзади заплетал в косичку. Вылитый самурай. Вдобавок он всегда носил полосатые джинсы в обтяжку и линялые футболки, которые называл "тричко", поскольку родом был из Чехословакии. Однажды кто-то из одноклассников спросил у нее, почему у ее отчима такая чудная прическа; узнав об этом, отчим незамедлительно пригласил его и еще нескольких ребят из класса к ним домой, чтобы изложить им свои взгляды на жизнь. Получилось, ясное дело, до ужаса неловко, ее приятели сидели в гостиной возле круглого белого стола, упорно молчали и с удивлением разглядывали обои, на которых отчим черным фломастером написал: *обои семейства Маско.* Чтобы никто не воображал, будто обои в цветочек — его вкус. Таким манером он отмежевался от прежних жильцов.

Одноклассники еще долго обсуждали, как ее отчим рассказывал тогда, что слушает "Роллинг стоунз" и уважает Боба Дилана. Она старалась найти хоть что-нибудь общее с другими родителями, все равно что, но непременно хорошее. Однако по Йоханнисталю после этого почему-то прошел слух, что мебели у них в квартире вообще нету, одни ящики. Как видно, не оценили ребята полочные конструкции ее отчима. Небось сидят дома за ужином и обсуждают с родителями, что у нее за семья такая — чуждая нашему обществу, достойная восхищения или попросту чудаковатая. Подростком, думая о своих родителях, непохожих на других, она постоянно разрывалась между неясной гордостью, неловкостью и желанием быть как все.

Вероятно, оттого они с Феликсом и понимали друг друга с полуслова. С самого рождения он чувствовал себя чужим, посторонним. Может, из-за этого ему было так важно куда-нибудь вписаться, найти свое место, стать как все. В здешней округе, где чуть не в каждой гостиной стояла темная стенка, а еще кресла и диван с бежевой или цветастой обивкой, слоновьих размеров, — в здешней округе квартира Феликсовых родителей, наверно, тоже бросалась в глаза. Высоченные потолки, никакой стенки, на полу раскиданы игрушки, и никому это не мешало. И у Феликса было много западных вещей — джинсы, постеры, музыка, а в стране дефицита все это делало его очень интересным. Вдобавок удостоверение личности у него было красное, а не гэдээровски синее, стало быть, он и официально не вполне относился к ГДР. Южная Африка — в Йоханнистале про нее знали только из последних известий да по урокам государствоведения. Единственное, что им сразу приходило на ум, это Нельсон Мандела и апартеид, зло на земле. Как раз из Южной Африки были родом мать Феликса и его дед с бабушкой.

Феликс об этом никогда особо не распространялся. Он был другим и замечал свою непохожесть всегда, каждую минуту, и ненавидел ее. Уже потому, что был не вполне белым и для него не существовало обозначения, в котором не звучал бы легкий расистский оттенок. "Помесь", "му-

лат" или "германоафриканец" — во всем этом присутствовало что-то обидное или искусственное. Он знал, что за спиной его называют "негр" или "черный", притом вовсе без намерения обидеть. Таким образом они просто проводили тонкую границу между собою и им. Если кто-нибудь отпускал замечание насчет цвета его кожи, не обязательно критическое, он реагировал очень болезненно. Смотрел в сторону, молчал и в душе заносил говорившего в список своих врагов.

Ребенком, сидя в ванне, Феликс чуть не до крови драил свою кожу мочалкой. Был он маленький, щуплый мальчуган с длинными темными ресницами и черными кудрями. На фотографиях он почти никогда не смеется, только иной раз приподнимает уголки губ. Будто по просьбе фотографа. Что-то с ним не клеилось, но он пока не знал, что именно. Вдобавок он постоянно болел. Кожные воспаления, экземы, бронхиты, астма. Однажды он весь окоченел, не мог пошевелиться, никто не понимал почему. Раннее его детство — это нескончаемая череда болезней.

В детском саду воспитательницы ставили его в первый ряд. "Ведь он такой хорошенький", — говорили они его бабушке. Случалось, они звонили ей вечером, около семи, просили забрать Феликса. За ним никто не пришел. В школе его на первых порах частенько лупили. Худенький, из-за астмы то и дело получавший освобождение от физкультуры — прирожденная жертва. Бабушке он смущенно сообщал: "Опять меня поколотили". Мечтал быть сильным и всеми любимым. На физкультуре он долго стоял в задней шеренге, с малышами. В футбол играть не умел, на уроках предпочитал помалкивать.

В один прекрасный день одноклассники обнаружили, что кожа у Феликса не такая белая, как у них; "Вонючка, грязный негр!" — кричали они ему вдогонку. Феликсу было одиннадцать. Его родные пожаловались учительнице. Та взяла класс под защиту, только сказала, что от Феликса впрямь разит чесноком, ну а в слове "негр" вообще-то ничего плохого нет. Они жили тогда в стране, где расизма официально не существовало. В конце концов учительнице пришлось уйти из школы, поскольку семья Феликса направила письмо в "органы просвещения". Возможно, Феликс обрадовался. Возможно, испытал неловкость. Что-то явно назревало.

Бабушка отвела внука в боксерскую секцию. Тренер посмотрел на него и покачал головой: "Нет, слишком уж красивый. Жалко портить такой носик". Тогда она определила его к дзюдоистам. И немного погодя в школе Феликс отправил своего заклятого врага в мусорный бак. После этого никто к нему больше не цеплялся. Впервые его охватило то жаркое и приятное чувство, какое рождается почтением и страхом окружающих.

Скоро дзюдо оказалось недостаточно. Мать записала его на карате. Тренеру она сказала, что мальчишка вконец отбился от рук, обнаглел, не слушает ее. Поскольку в ГДР карате было под запретом, Феликсова секция называлась "Атлетика II". Правительство опасалось, как бы его подданные не стали чересчур сильными, чего доброго, сильнее полиции и армии. Поэтому секция работала как бы законспирированно, Феликсу не разрешали говорить, на какие тренировки он ходит и куда. Но он, понятно, секретность не соблюдал. Иной раз возле спортзала в Адлерсхофе дежурили сотрудники штази. По дороге домой Феликс видел, как они, сидя в своих "ладах", читают газеты.

Карате вызывало впечатление чего-то необыкновенного, опасного. Когда стало известно, каким спортом занимается Феликс, уже вовсе ни-

кто не решался обидеть его, а если обижал, получал взбучку. Позднее он, как и другие, загорал в солярии. Хотел быть своим, все равно где.

Тогдашний его тренер вспоминает: "Феликс всегда рвался в бой, освоение бесконечных *ката* было не по нем". *Ката* — это долгие, почти танцевальные последовательности движений в карате.

Начиналась тренировка с гимнастики и разминки. Феликс подолгу стоял на одной ноге, подняв другую вертикально вверх. У себя дома он часто демонстрировал ей такие штуки, и в глубине души она всегда немножко ему завидовала. Поднять ногу для нее труда не составляло, только вот удерживать ее в вертикальном положении приходилось рукой. Сил не хватало. А Феликс садился на шпагат и прижимался грудью к полу. Все, в том числе и тренер, восхищались его гибкостью и называли маленьким Брюсом Ли. Тренировался он каждый день, нередко до дурноты, а после тренировок упражнялся дома. Когда бы она к нему ни зашла, он всегда был в тренировочных брюках. Наверно, его пьянило сознание, что кое-что он умеет делать по-настоящему хорошо.

Своего тренера Феликс в разговорах с нею почтительно называл "мой учитель", будто находился в тибетском монастыре, где учат боевым искусствам. Ей этот тренер представлялся стариком, лет пятидесяти, не меньше, очень жилистым, седобородым, с азиатскими чертами лица. Через много лет, когда она навещает его, все сходится, даже седая борода, только черты лица немецкие.

Он хорошо помнит своего давнего ученика. "У Феликса уже тогда живот был как доска". Тренер маленький, с крашеными волосами, свой рассказ он сопровождает жестами, изображая удары, которые замирают у самого ее горла. Карате он освоил самоучкой, по книгам, нелегально привезенным с Запада. На соревнования по мастерству ездил в Польшу и Чехословакию, где запрета на карате не вводили. Как тренер он до сих пор очень суров, требует абсолютного повиновения. "Каратист, он вроде солдата. В этом спорте очень строгая табель о рангах". Однажды, когда Феликс опоздал на тренировку, его тотчас отправили домой. И он принял это как должное — все ясно, никаких недомолвок. Правила установлены с незапамятных времен, значит, так надо. Она воочию видит Феликса: вот он в спортзале отрабатывает прыжки согнув ноги, вот снова и снова молотит по какой-то жесткой деревяшке, обмотанной тонкой клейкой лентой, — молотит, пока кулак в кровь не разобьет.

Иногда он показывал ей свои израненные стопы и кулаки, на которых потихоньку нарастали мозоли, — показывал как трофеи. Оба они были под стать друг другу, ведь и у нее от балетных упражнений на пуантах жутко опухали пальцы на ногах. Они с Феликсом как бы негласно соперничали в жесткости тренировок — кто кого переплюнет. И чуть ли не с гордостью сообщали друг другу про боли и травмы, а заодно, конечно, и про диеты. Из спортивного лагеря Феликс восторженно писал: десять часов танцев в день! Полный улет! По ночам ей снились ноги, то поднимающиеся, то опускающиеся. Словно одурманенная, она уже и себя воспринимала через какую-то пелену. Тело сокрушило дух. Сейчас ей даже вообразить трудно свою тогдашнюю радикальность. В один прекрасный день она "сошла с дистанции". Феликс продолжал до самого конца.

Он тренировался все жестче, улучшая свои показатели, и попал в круг, приближенный к учителю. Посещал *додзё*, личный тренировочный зал учителя. Это был первый *додзё* в ГДР. Тренер соорудил его поблизос-

ти от своей квартиры в Кёпенике; на вид – хлипкий садовый домик, сколоченный из досок и остатков старых шкафов. Слева в глубине – просторное помещение с маленькими окошками, расположенными очень высоко, чтобы никто не заглядывал. Пол из железнодорожных шпал, застеленных циновками. Высоко на стене – ниша с телевизором для просмотра видеозаписей боев. Зеркала на правой части стены тренер позаимствовал из тех же разномастных шкафов. В ГДР зеркала были дефицитом. С потолка свисали тренировочные доски, обернутые поролоном деревянные планки и гимнастические стенки. За ними виднелся постер, где тренер в костюме самурая приставлял меч к горлу противника. Раньше он работал в кино, каскадером, в нескольких фильмах студии ДЕФА скакал бок о бок с Гойко Митичем или Дином Ридом навстречу закатному солнцу прерий. И в ГДР был единственным обладателем черного пояса по карате.

Раньше Феликс почти каждые выходные приходил сюда на тренировки. Соревнования не проводились, и они поневоле импровизировали. Однажды назначили в Людвигсфельде встречу с ангольскими гастарбайтерами, которые тайком занимались тэквондо. Те явились – тридцать человек. Тренер с Феликсом привели всего-навсего десятерых. Судьи не было, насчет условий не уговаривались. Ангольцы поменялись поясами. Обладатели белых и желтых поясов выступали вместо коричневых, и наоборот. И требовали контактных поединков, когда удар не тормозится перед касанием, а наносится в полную силу. Такие бои в ГДР были, разумеется, запрещены, и Феликс раньше никогда в них не участвовал. "Ангольцы, – рассказывает тренер, – распахнули куртки и ринулись в драку". Тогда Феликс потерпел одно из считанных поражений в своей карьере.

Потом она вдруг заметила, что Феликс перестал говорить о своем учителе. А если она спрашивала, молчал или коротко ронял: "Я теперь в другом месте".

Тренер говорит, Феликс от него "отдалился". Когда и почему – он уже не помнит. Иной раз, когда он указывал Феликсу на недостатки в выполнении какого-нибудь приема, лицо у парня становилось жестким, взгляд устремлялся в пространство. "Он ничего не говорил, но в душе неистовствовал", – рассказывает тренер. Феликс рвался к настоящим поединкам, к настоящим состязаниям – полный контакт, без всяких оговорок. А тренер устраивал разнос, если кто-нибудь посылал противника в нокаут. Философия гласила: скромность. Никто не должен видеть твоих умений. Феликс же хотел наконец-то показать их всем. Может, потому и занялся кикбоксом.

Давний его тренер до сих пор сердит на это решение. "Бокс – штука бездушная, – твердит он и добавляет: – Кикбоксер – просто-напросто боксер, который еще и ногами дерется". А вот карате – один из самых многообразных способов владения телом, какие есть на свете. В боксе всего три варианта техники боя, в карате их тысячи. К тому же каратисты честнее, перчатками не прикрываются.

Когда-то она слышала эти фразы из уст Феликса, в том же порядке и с той же воинственной убежденностью. Феликс тогда объявлял: "Бокс годится только для безмозглых драчунов. Слишком они неповоротливые". Он читал ей длинные лекции, которые не забылись по сей день. Спустя много лет, едва лишь споры затрагивали эту тему, она сама повторяла его аргументы. И так и не поняла, с какой стати Феликс вдруг занял-

ся боксом. "У каратистов слишком искусственная обстановка. На улице надо бить в полную силу", — говорил он. Восточный Берлин вообще-то казался ей довольно мирным. А послушать Феликса, так он будто готовился выжить в Южном Бронксе.

Его давний тренер признает, что в ближнем бою кикбоксер, скорей всего, одолеет каратиста: "Кулак всегда быстрее ноги. — А немного помолчав, добавляет: — И все-таки мои приемы способны мгновенно убить".

Звучит очень веско. На стене в соседней комнате развешана коллекция сабель и мечей всевозможного размера. Он по-прежнему тренирует детей, подростков, ну и взрослых тоже. После падения Стены выяснилось, что к нему одному были приставлены сорок четыре неофициальных сотрудника штази, многие из них ходили к нему на занятия. И телефон его прослушивался. ГДР опасалась, не готовит ли он террористов. Ведь он единственный в стране имел право принимать испытания на тот или иной пояс. Обладал некоторой властью. "Нынче-то всяк что хочет, то и делает", — говорит тренер. Теперь он один из многих учителей карате в Берлине.

Связь с Феликсом он давно потерял. За последние десять лет лишь изредка слышал о Феликсовых успехах в кикбоксе. "Он мне нравился. У парня было сердце бойца. И к себе он относился беспощадно. Иногда даже чересчур. Я часто замечал это у темнокожих. Они тренируются ожесточеннее".

Как-то тренер встретил Феликса в Боксерском клубе. Они немного поговорили. Он дал Феликсу свою карточку, но тот так и не позвонил.

3

По выходным, а часто и на неделе Феликс после тренировок бывал в клубах, как все в Восточном Берлине восьмидесятых. Большинство его сверстников, четырнадцати-, пятнадцати-, шестнадцатилетние юнцы, до потери пульса накачивались водка-колой, абрикотин-тоником, "зеленым лужком" — опасно сладкими смесями, которые веселили, а порой наводили тоску. Феликс к спиртному не притрагивался, пил только соки и колу, никогда не курил. Он постоянно тренировался и спуску себе не давал. По средам и воскресеньям ходил в "Плентервальд", который все звали просто "ПВ", — низенький каменный барак возле Трептов-парка. Внутри было темно, по крайней мере ей так казалось, пол покрыт линолеумом, вокруг небольшой танцплощадки — пластиковые столики под дерево. Музыка радиостанции "Новая немецкая волна" — "Хочу быть белым медведем в полярном океане", "Меня сводят с ума твои голубые глаза", "Гей-гей-гей, я всадник золотой".

Феликс тогда ходил в зеленом бумбере и рассказывал ей, что вывернуть эту куртку и надеть оранжевой стороной вверх означает опасность, все равно какую. Обычно он стоял в углу вместе с кучкой ребят, пренебрежительно поглядывая на собравшуюся публику. Временами они смеялись, несколько высокомерно, танцевали редко, только когда диджей ставил "Крафтверк" или Энн Кларк. Танцуя, Феликс мотал головой, руки и ноги резкими движениями рубили воздух, будто он сражался с воображаемым противником. Другие закрывали глаза, подпевали с отрешенным видом. Феликс никогда. Он и в танцах сохранял присутствие духа.

В ту пору все искали благосклонности охранников, стоявших на фейс-контроле; девчонки отчаянно строили им глазки, четырнадцатилетние ребята старались выглядеть как можно взрослее, лишь бы попасть внутрь. Феликс присматривался к этим охранникам-вышибалам, оценивал их физические данные. "Гриммау", кафе "Норд", "Кнаак", "Калинка", "АБЦ", "ПВ", "БСФ", "ФАС" — названия и сокращения из его и ее юности; унылые постройки, всякие там многоцелевые ресторанные комплексы (МЦРК), где мрачная музыка сопровождала еще более мрачные раздумья. Танцы до упаду. Идол тех времен звался Роберт Смит, вокалист группы "Кьюэ" глядел со стен чуть не каждой детской, с наклеек на кассетниках и на школьных тетрадках. Белое от пудры лицо, багровая помада на губах, взбитые черные волосы — он слегка напоминал вампира Носферату в парике, точь-в-точь заблудший дух из преисподней.

В Восточном Берлине конца восьмидесятых победила меланхолия. Но это был их город. Они знали здешние клубы, вышибал, посетителей, знали, какая там будет музыка и что надо надеть. Все подводили глаза черным карандашом, шмотки тоже были темные, пахнущие чуть затхло, ведь нередко их заимствовали у дедов и бабок.

ГДР тогда была страной черных "готов". Молодежь ходила с распятиями в ушах и на шее, за что учителя частенько отправляли их из школы домой; протест против системы, самый что ни на есть серьезный. Разочарованные внуки революционеров уже не пели веселых песен, погрузились в мировую скорбь и смертную тоску или в сарказм. Песню "Вперед, пионеры, шагаем вперед... и путь наш навстречу заре. Гордимся, что мы — пионеры" они переделали: "Вперед, помидоры, шагаем вперед... и путь наш навстречу кастрюле. Гордимся, что мы — помидоры". Они с Феликсом жутко веселились по этому поводу. Ясно, что для революции их поколение оказалось потеряно, от своей страны они уже ничего не ждали, и все-таки она была их частью. Каким-то образом.

Летом в Йоханнистале царила жара и пахло пылью. Лишь несколько венгерских "икарусов" делили улицу с парочкой легковушек, которых никто всерьез не принимал. В этом квартале возле самой Стены было четыре притягательных места. Во-первых, гастроном "Деликат" прямо на главной торговой улице; там на полках поджидали восточногерманские изыски — австрийский шоколад по 12 марок за плитку, "тринкфикс", то бишь западное быстрорастворимое какао по 8 марок за банку (они с Феликсом всегда сыпали как минимум три полные ложки на стакан, чем приводили родителей в отчаяние). На прилавке лежали мясные рулетики с разноцветными пастами снаружи или внутри. Гастроном "Деликат" воплощал в Йоханнистале представление о блеске и роскоши. Сейчас там сберкасса.

Вторым местным магнитом был кинотеатр, серое здание с синей светящейся (теоретически) надписью над входом — "Астра". Здесь йоханнистальская молодежь уносилась мечтами в другой мир. Чтобы добраться до "Астры", Феликс, выйдя из дома, пересекал улицу и минуту-другую шел в сторону станции надземки. Но в кино он ходил только на западные фильмы — например, на боевик про вертолетчиков "Голубой гром" или на "Бит-стрит", фильм про нью-йоркских брейк-танцоров, когда весь зал подпевал экранным песням. После восьмого просмотра они наизусть знали все диалоги — сходное настроение она позднее ощущала на Западе, на "Шоу ужастиков". Почему-то они отождествляли себя с "Бит-стрит", обшарпанные дома нью-йоркского Бронкса немножко

напоминали Восточный Берлин, жизнь выглядела довольно-таки убого, и все же там постоянно кто-нибудь да устраивал вечеринки. В конце один из главных героев умирал, что придавало фильму дополнительную экзистенциальную суровость. Феликс и остальные считали свою жизнь суровой. После падения Стены кинотеатр снесли и выстроили новый — *мультиплекс.*

Рядом с кинотеатром, буквально в двух шагах, находился и третий йоханнистальский магнит — кафе-мороженое. Маленький домишко с деревянной стойкой внутри, где заказывали мороженое, всего трех сортов: шоколадное, ванильное и фруктовое. Они с Феликсом всегда подшучивали над тем, что в мороженом попадались странные мучнистые комочки, вкусом похожие на манку. Вероятно, и тут недоставало нужных ингредиентов. Мороженое им все равно нравилось, другого-то не было. После школы или после кино все собирались здесь, сидели в садике возле кафе, разговаривали, курили или брали с собой мороженое в вафельном рожке. Это кафе существует до сих пор, только теперь оно итальянское, отремонтированное, в стеклянной витрине выставлено по меньшей мере два десятка разных сортов мороженого. Но уже без комков и без вафельных рожков, канувших в прошлое.

Остается четвертый магнит. В конце тупика, совсем недалеко от Стены, отделявшей Западный Берлин, то есть у самой границы их мира, стоял белый барак — Южный клуб. Площадка перед бараком была вымощена бетонными плитами, а посредине красовался щит с надписью *Пограничная зона.* Вообще-то в этот район допускали только местных жителей либо владельцев специального пропуска, но Южный клуб составлял исключение. Несколько раз, когда они еще не были знакомы, она встречала Феликса у входа. Он ходил сюда нечасто, музыка ему не нравилась, чересчур уж простенькая, без заморочек, многовато Майкла Джексона и "Кул энд зе гэнг". Бородатый толстяк, немножко похожий на Бада Спенсера в худшие его дни, управлял клубом, а иногда и на фейс-контроле стоял, поэтому девчонки старательно его "окучивали", хотя в иной ситуации в упор бы не заметили. Некоторое время она бывала здесь каждые выходные, до изнеможения танцевала, до тошноты пила водка-колу, а наутро в школе обсуждала с остальными намечающиеся или, наоборот, увядающие романы и досадные алкогольные срывы. Феликс заглядывал в Южный клуб всего раз или два — слишком уж маленькое заведение, слишком провинциальное. И когда она рассказывала, куда ходила в субботу, смотрел на нее с жалостью. Сейчас в Южном клубе размещается пивная, и в любое время дня там можно встретить субъектов, которые явно не прочь с утра пораньше тяпнуть рюмашку шнапса.

Эти четыре магнита порой отвлекали их с Феликсом от мыслей о том, что в Йоханнистале, Восточный Берлин, ГДР, они мало что узнавали о мире. Изредка какой-нибудь фильм или мороженое ненадолго оттесняли вездесущую меланхолию на задний план. Восьмидесятые годы запомнились ей и Феликсу как бесконечно унылое время застоя, вечное ожидание, что в их жизни наконец хоть что-нибудь случится — если уж не атомная война, то что-нибудь столь же радикальное. Чернобыль, гонка вооружений, уничтожение окружающей среды — казалось, скоро сами основы полетят в тартарары. Они пребывали в каком-то странном радостно-нетерпеливом ожидании конца света, которое наверняка разделяли и их сверстники за Стеной. Но длинные вечера у столов для пинг-понга в районе новостроек тянулись один за другим — и ничего

больше не происходило. Они составляли списки с названиями всех групп, какие только знали, менялись контрабандными постерами "Браво" и время от времени ходили в универсам — стырить чипсы, пачку темного печенья "Отелло", пиво или сигареты. Ведь чаще всего в ту пору задавали вопрос: "Бычка не найдется?"

Феликс редко появлялся на пинг-понге, он почти все время пропадал на тренировках или крушил кулаками кирпичи и доски в саду возле дома. Вдобавок, когда он приходил, обстановка иной раз бывала не из приятных. Он ничего такого не делал, просто стоял, наблюдая за другими мальчишками, и сию же минуту кто-нибудь да чувствовал вызов. Все знали, что Феликс занимается боевыми искусствами, и каждому в глубине души хотелось померяться с ним силами. Для нее Феликсова слава имела и свои плюсы, ведь никто больше не осмеливался заводить с ней разговоры, опасаясь, что ее приятель-каратист сразу полезет в драку. Когда она говорила об этом Феликсу, на лице у него расцветала совершенно необыкновенная улыбка, какой она не видела ни раньше, ни позднее. Эта улыбка заполоняла все лицо, как бы озаряла его изнутри, глаза он слегка прищуривал, и вокруг них разбегались лучики-морщинки. В такие минуты он выглядел самым счастливым человеком на свете. Да, Феликс вполне мог бы сыграть главную роль в "Тиме Талере"[1] — роль мальчика с волшебным смехом, который в конце концов покупает завистливый богач. Хотя Феликс частенько улыбался, когда ему было вовсе не весело, — чтобы защититься, держать других на расстоянии, не отвечать на вопросы.

По дороге в школу они не встречались. Ее путь лежал прямиком по торговой улице до 19-й ПТШ — то бишь политехнической школы — имени Рихарда Зорге, советского шпиона в Японии, который сообщил Сталину о предстоящем нападении Германии на Советский Союз. К сожалению, Сталин ему не поверил, но в такие подробности у них в школе не вдавались. Японцы в конце концов раскрыли д-ра Зорге и казнили. Героическая смерть. На школьном дворе в его честь посадили деревья и поставили мемориальную доску, с виду похожую на надгробие. Под его бдительным взором проводили линейки, объявляли выговоры и благодарности. Раньше она часто стояла там, устремив взгляд на блестящее металлическое лицо д-ра Зорге, и спрашивала себя, какое, собственно, отношение он имеет к ней и к ее классу и какой смысл выкликать перед ним пионерский привет "всегда готов!".

Феликс каждое утро шагал по неасфальтированной пыльной улице за ее домом, мимо садиков с одноквартирными домами, к 26-й ПТШ имени Пауля Вечорека, морского летчика, который во время Ноябрьской революции 1918 года командовал дивизией, а позднее был расстрелян. За право носить это имя, никому теперь не известное, Феликсову классу пришлось бороться с другой школой. Каждое утро ученики тащили из дома вторсырье — пачки старых газет, перетянутые шпагатом, от которого на ладонях у Феликса оставались красные следы, и пустые бутылки, липкие на ощупь и пахнущие былым содержимым. В результате они, как видно, собрали достаточно, и на торжественной линейке школе было присвоено имя Вечорека. Сам Вечорек — в виде фотографии, запечатлевшей его у самолета, — водворился на третьем этаже школьного здания. В 1977-м, когда Феликс пошел в первый класс, школу как раз сдали

1. Имеется в виду фильм, снятый по книге немецкого писателя Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех".

в эксплуатацию — типичная гедеэровская новостройка семидесятых годов, из тех, что возводились тогда по всей республике. Четырех-, пятиэтажные здания, фасады с шахматным узором желтых и серых панелей, широкая лестница, ведущая к стеклянной двери, большой бетонированный двор. Летом на окнах виднелись наклейки — голуби мира, а то и лозунги, которые, в зависимости от международной обстановки, либо решительно осуждали двойное решение НАТО[1], либо провозглашали дружбу с Советским Союзом или просто мир во всем мире.

Каждое утро Феликс встречался у школьных дверей с несколькими приятелями, если не опаздывал, что бывало нередко. Внутри шибало в нос запахом свежей мастики и дезинфицирующих средств, на стенах висели рисунки младшеклассников: двадцать белых космонавтов с красной советской звездой на скафандре или двадцать пять желто-красных кульков со сластями. Стенгазеты сообщали о последнем съезде СЕПГ или о флоре и фауне Тюрингенского леса. В классе все норовили забить местечко подальше, что удавалось не каждый год. Кому и где сидеть — определял классный руководитель, раз в год. Все всегда рвались на "камчатку", ведь там меньше бросаешься в глаза, можешь спокойно писать записки соседям, рисовать или спать.

Столы были из ДСП, с тонкой пластиковой окантовкой, которую на уроке можно в два счета отколупнуть, а потом снова приделать, пока в один прекрасный день она не отваливалась навсегда. Из-за слабого зрения Феликс обычно сидел впереди, во втором ряду у окна. Особо не размечтаешься, зато можно сколько угодно смотреть на улицу. В зависимости от того, на какую сторону выходили окна, Феликс глядел либо на забетонированный двор, либо на ухоженные садовые участки.

И он часто смотрел в окно, ведь происходившее снаружи было, как правило, интереснее происходившего в классе. Он подпирал голову руками, навалясь грудью на стол, а не то рисовал что-нибудь в тетрадках. Успевал Феликс не особенно хорошо, мучился с правописанием, буквы частенько забредали не туда, и слова теряли смысл. С цифрами та же история. Зато он умел рисовать и был музыкален. На уроках старался привлекать как можно меньше внимания. Бывшие одноклассники не припоминают, чтобы Феликс хоть раз сам вызвался отвечать. Домашние задания он обычно списывал у других. Помощников всегда хватало. В годовых табелях у него почти по всем предметам стояли "тройки" и "четверки"[2]. Она тогда удивлялась, почему он так плохо учится. Бестолковостью он никогда не отличался, просто этот мир совершенно его не интересовал. Иногда он ловко кокетничал своей исключительностью. Когда учительница однажды спросила, почему он в конце концов не примет гражданство ГДР, Феликс ответил: "Может, мы еще вернемся в Южную Африку". Дед с бабушкой, может, и верили, что вернутся, но для него Южная Африка была чертовски далеко. Он родился в Восточном Берлине, а оттуда Африка кажется чужой солнечной системой.

Как она сама и почти все остальные, Феликс вступил сначала в пионеры, а потом — в Союз свободной немецкой молодежи (ССНМ). Часа-

1. Имеется в виду постановление НАТО от 8.12.1979 г. разместить в Европе с 1983 г. новые американские ядерные ракеты средней дальности с целью компенсации советского превосходства в этой области, но одновременно начать с СССР переговоры о сокращении таких вооружений.
2. В школах ГДР самой высокой оценкой считалась "единица"; "тройки" и "четверки" — оценки удовлетворительные.

ми сидел на бесконечных собраниях, вяло пытаясь доискаться, о чем, собственно, идет речь. Большей частью речь шла о ГДР, о врагах, ее окружавших, и о том, что необходимо повышать бдительность. Никто не слушал, и Феликс тоже. В сущности, все они были детьми Запада, просто росли на Востоке, до поры до времени. Смотрели по телевизору американские сериалы, слушали хит-парады по радиостанции "РИАС-Два" – "Свободный голос свободного мира" – и считали немыслимым шиком джинсы "уит-бой" и черри-колу, которой никогда не пробовали.

Феликс, как все его ровесники в ГДР, жил двойной жизнью. Пытался включить западные атрибуты в гедеэровскую повседневность, надо сказать не особенно удачно. Временами реальный мир и мир грез вступали в довольно резкий конфликт, и наиболее резкие конфликты происходили в девятом классе на уроках военного дела у майора Менделя. Майор Мендель вел военную подготовку в нескольких школах их района и относился к своей задаче очень серьезно. Перед классом он всегда стоял неестественно прямо, расправив плечи, наверно, до боли в позвоночнике. Носил форму с черными сапогами и бриджами, которые по бокам стояли колом, а волосы причесывал на косой пробор. Майора Менделя в Йоханнистале знали все, никто не разоблачал классового врага так беспощадно, как он. Его мир обладал собственной логикой и состоял из немногочисленных друзей и множества врагов. Постоянно требовалось что-то защищать, отстаивать или бороться за что-то уже тогда настолько абстрактное, что все называли это просто "дело". Майор рисовал на доске черточки и круги, в центре – НАТО, а вокруг – ФРГ и США. Все они каким-то образом были связаны между собой, разумеется против нас. Вопросы своих учеников майор Мендель пропускал мимо ушей. Он слишком любил свои художества на доске, и вопросы только мешали его монологам об агрессивном характере империализма.

На его уроках Феликс смотрел фильмы о новейшем вооружении государств Варшавского договора и, напялив противогаз, участвовал в школьных учениях по гражданской ядерной обороне. Возможно, фильмы Феликсу даже нравились; большинство мальчишек находило эти крупнозернистые кадры с танками и ракетами довольно-таки увлекательными, а Феликса вообще всегда тянуло к военному, армейскому. Они по-пластунски ползали в грязи под дождем, отрабатывали прикрытие, в шершавых, кусачих темно-зеленых комбинезонах бегали вдоль школьного забора, распевая старую песню времен гражданской войны в Испании: "Испанское небо рассыпало звезды над окопами наших бойцов". И мечтали увидеть испанское небо. Но, увы, никто из них там не бывал, Испания находилась в той части мира, куда они доступа не имели.

Один только Феликс – из-за деда с бабушкой, а еще потому, что не принял гедеэровского гражданства, – мог поехать в Западный Берлин и тем резко отличался от остальных. Он-то, по крайней мере, видел реально существующий капитализм, с которым все они более или менее себя отождествляли, и это вызывало у них восхищение и зависть. В 1987-м он на десять дней ездил с бабушкой в Западный Берлин, жили они у знакомых и денег почти не имели. По его просьбе хозяева угощали его на завтрак йогуртом, а потом он главным образом бегал по армейским магазинам, искал камуфляжные брюки для военных игр в лесу. Когда после многодневной одиссеи по магазинам брюки наконец были найдены, оказалось, что стоят они шестьдесят марок, то есть выложить надо почти все их деньги, – но так или иначе Феликс брюки купил.

Оттуда он прислал ей открытку — открытку из того же города. Изображала открытка Церковь памяти[1] ночью, а на обороте он писал: *Все здесь такое яркое, живое.*

В остальном Феликс был типичным гедеэровским ребенком. Как и все дети в ГДР, он еще в младших классах усиленно изучал биографии тогдашних генсеков КПСС и в легком удивлении выстаивал минуты молчания после смерти Леонида Брежнева. Немногим позже скончались и его преемники Андропов и Черненко, им минут молчания уже не посвящали. Советские руководители умирали попросту слишком быстро.

Раз в неделю кто-нибудь из одноклассников обязательно проводил краткую политинформацию, после которой в классе всегда повисало неловкое молчание. Новые директивы очередного партсъезда вызывали у десятилетних весьма незначительный интерес. Еще в первом классе Феликс заявлял о своей солидарности с Анголой. Они вообще постоянно были заняты какими-то странами за тридевять земель отсюда — слали письма в Никарагуа, собирали одежду для Мозамбика. О большинстве этих стран половина класса не знала даже, в каком полушарии они расположены. Феликс, вероятно, знал. Он получал открытки с фотографиями уродливых социалистических построек. Совершенно незнакомые мальчишки и девчонки из Советского Союза писали: *Дорогой немецкий друг! Поздравляю тебя с днем рождения пионерской организации имени Тельмана. Твоя советская подруга...* Примерно такие же фразы писал он сам на уроках русского языка, на открытках с изображением берлинской телебашни, которые посылал в Москву или во Владивосток. Все понимали, что никогда не увидят друг друга, никогда не встретятся. И это их радовало. Мысль, что при встрече придется говорить о пионерской организации имени Тельмана, не вызывала ничего, кроме паники.

Чем старше становились Феликс и его одноклассники, тем больше от них требовали политических оценок и идеологически "правильных" заявлений. Пассажи по истории рабочего движения в учебниках разрастались, пока не заполонили почти всю книгу. В отчаянии он пытался отыскать хоть какой-то смысл в бесконечных цепочках родительных падежей, но, в общем, это ничего не значило, содержание и без того давным-давно улетучилось, выход один — зубри наизусть и при необходимости декламируй как стихи.

С одной стороны, абсурдность и параноидальность гедеэровской системы снова и снова требовала от них верноподданнических деклараций, впрочем, по крайней мере у Феликсова поколения, эти декларации большей частью были неискренни. С другой стороны, они чувствовали себя необычайно важными, когда у них, двенадцатилетних, спрашивали, как они оценивают советскую внешнюю политику. Каждая фраза, произнесенная ими, желторотыми подростками, воспринималась очень серьезно, особенно если в ней присутствовал легкий оттенок критики. Иной раз с критикой вылезали нарочно, для развлечения, ведь шум поднимался будь здоров. Скажет кто-нибудь "русский" вместо положенного "советский гражданин" — и учителя тотчас заводят с десятилетними учениками беседы насчет их образа мыслей. Принимать все это всерьез было совершенно невозможно, хотя происходило зачастую на полном серьезе. Поколение рожденных в начале семидесятых оказа-

1. Церковь памяти кайзера Вильгельма на Курфюрстендам, почти целиком разрушенная во время войны, сохранилась только поврежденная колокольня.

лось как бы промежуточным, еще когда существовала ГДР, — уже не коммунисты, как, возможно, их деды и родители, но пока и не антикоммунисты. Им это было без разницы, многие планировали строить свое будущее отнюдь не в восточной половине мира, мысленно они давным-давно эмигрировали.

В летние каникулы Феликс, подобно тысячам гедеэровцев, однажды ездил с дедом и бабушкой в Болгарию. Поскольку они не имели гражданства, на границе возникли проблемы. И моря они толком не видели, массу времени провели у врача, потому что у Феликса обострилась астма. Казалось, стоило ему уехать из Берлина, как он сразу заболевал. Может, чуял в своей семье беженскую бесприютность и на всякий случай не хотел поворачиваться спиной к дому. Предпочитал привычное, знакомое окружение, Восточный Берлин.

По выходным он натягивал камуфляжные штаны, укладывал в зеленый армейский рюкзак пакетные супы, спиртовку, ножик, нунчаки и вместе с двумя приятелями играл в лесу в войну. Называлось это у них "тренировка на выживание". Видимо, в похожую игру играли и ребята на Западе, обстреливая друг друга краской. Феликс и его приятели рыли окопы, ползком продирались сквозь заросли кустарника, старались обойтись минимальным рационом, ночевали под открытым небом и вели между собой военные действия. Она легко представляла себе, как ночью в лесу Феликс готовит на спиртовке ужин, орудует ножиком, прислушиваясь, не подкрадывается ли какой-нибудь воображаемый противник. Майор Мендель пришел бы в восторг, хотя наверняка бы не одобрил обмундировку и самоуправство — тренировались-то они без социалистического инструктажа.

Однажды, когда они забрались в запретную военную зону на окраине Берлина, гедеэровский армейский патруль обнаружил их и по причине западного камуфляжа принял за вражеских шпионов. Лесной район спешно заблокировали. Позднее Феликс смеялся, а тогда они мчались сломя голову и, к счастью, сумели удрать. Кино наяву, смесь "Рэмбо" и "Робинзона Крузо". Что было бы, попадись они в облаву, — об этом Феликс предпочитал не думать.

Иногда после таких военных игр Феликс заходил к ней, перепачканный землей, исцарапанный, в полном изнеможении. С приятелями он ее не знакомил, они существовали только в его рассказах, отчего ситуация казалась еще более нереальной. Разные компании своих друзей и семью Феликс всегда старался держать отдельно, каждая из этих сфер воплощала особую сторону его натуры, и он не хотел их смешивать.

Ну что тут увлекательного — бродить солдатом по лесам Восточного Берлина? — спрашивала она. Он хочет доказать себе, что способен выжить в суровых условиях, отвечал Феликс. Всю жизнь он постоянно готовился к катастрофе, к войне, будто она могла начаться с минуты на минуту. И хотел быть уверен, что по крайней мере на себя вправе рассчитывать целиком и полностью.

В ту пору, в конце восьмидесятых, им даже в голову не приходило, что вот эта самая — их — юность однажды минует, исчезнет, словно ее и не было. Дома стоят по сей день, и люди живут, только настрой, атмосфера совершенно изменились. Нигде, нигде им не отыскать свое детство. Клубы их юности почти все закрылись, некоторые, к примеру "ПВ", вообще сгорели, улицы носят другие названия, школы тоже. Мебель в квартирах родителей давно поменяли, дома отремонтировали; товары

их детства — хорошенькие космонавты из пенопласта, эскимо на палочке, лак для ногтей "Акцион-неон", пастеризованное молоко в треугольных пакетах, — где они? Все исчезло. Старые их учебники валялись возле мусорных баков, книжки об истории рабочего класса, которые им, бывало, приходилось зубрить наизусть. Школьные музеи славы, мемориальные рощи, где проводились нелепые торжественные линейки, — все кануло в прошлое.

Может, оттого Феликс всегда так и дорожил друзьями тех лет. Они как бы служили подтверждением, что та жизнь на самом деле существовала. Создавали чувство общности, роднящее лишь с очень немногими. Вроде как в тайном союзе. *Близко дружить можно только с людьми, с которыми соединен всяческими историями, огромной частью прошлого и которые очень на тебя похожи*, пишет Давид Вагнер, их западный ровесник.

Собственная страна исчезла у них на глазах. Конечно, в некотором смысле они этого ждали, но произошло все как-то слишком уж быстро, и они, казалось, не имели ни малейшего влияния на сумбурные события. Время перемен и она, и Феликс пережили как во хмелю, оно осталось в памяти как одна-единственная огромная демонстрация. Это было время предельно радикальной ломки во всех отношениях. Исчезла целая система со всеми ее хуже горькой редьки надоевшими представителями и порождениями — западные сверстники такого не испытали, этот опыт принадлежал только им.

На уроках истории многие опять начали с первобытных людей, но к концу школьного курса добрались лишь до Средневековья. Все авторитеты пребывали в состоянии распада, наводившие ужас учителя государствоведения попадали в психушку, некогда могущественные школьные директора уходили раньше срока на пенсию. Тому, кто все это видел, вообще трудно снова поверить в авторитеты или принимать всерьез какие-нибудь партии. Они видели, что ничего надежного и вечного нет — ни систем, ни партий, ни миропорядка, сколь бы мощным он ни казался когда-то.

Быть может, Феликс в глубине души уже тогда решил попросту выйти из этой системы, из этого распорядка, что ни говори весьма хрупкого. Правда, на первых порах он, как и все, пытался найти себе место в новой стране. Но результаты процесса адаптации выглядят у их поколения наверняка очень по-разному. Никаких границ не стало, только бесконечная свобода. И что с этой свободой прикажете делать?

Раньше ты всегда знал, где враг, пусть даже им было собственное правительство; добро и зло распределялись однозначно, жизнь до самой смерти шла по плану, вполне предсказуемо. Лишь когда эта жизнь канула в небытие, они заметили, до какой степени она уже стала их частью, до какой степени этот образ мыслей, деливший все на черное и белое, без оттенков, наложил на них свою печать. Переходов не существовало. *Нейтралитет есть трусость* — лозунг их детства, угнездившийся в долговременной памяти. Они вечно выступали за что-то или против, а вот к миру, где все можно рассматривать с совершенно разных сторон, где на любой общественно-политический вопрос есть не меньше тысячи правильных ответов, — к такому миру они были не подготовлены. Примириться с утратой страны, которую Феликсово поколение не очень-то и любило, оказалось куда легче, нежели с утратой однозначности.

Страна, откуда Феликс был родом, мало что могла дать новому ми́ру — плохонькие автомобили, над которыми все только хихикали, джинсы под названием "боксер", приобретавшие после стирки зеленоватый цвет, шоколад, вкусом похожий на смесь жира и сои. В новой Германии почти никто не знал песен "Испанское небо" и "Вперед, пионеры", а если и знали, то считали до невозможности смехотворными. Школьные линейки и военное дело казались теперь чуть ли не фашистоидными, о дискотеках в многоцелевых ресторанных комплексах, водка-коле, "Кьюэ" в "ПВ", военных играх в лесу, каникулах в Болгарии никто здесь слыхом не слыхал, и тем не менее все это определяло ее и Феликсово детство и юность. Страшно подумать, до какой степени они — семнадцати-, восемнадцати-, девятнадцатилетние, когда рухнула Стена, — были детьми Восточной Германии. Но со всей четкостью это проявится лишь позднее.

Тогда они видели, как их родители и деды старались понять новое общество, как отчаянно пытались придать ценность и смысл своей минувшей жизни. Почти всем им пришлось искать новую работу, и не всем сопутствовала удача. Видели они и западных сверстников, слегка заносчивое поколение, полагавшее свою общественную форму единственно возможной, так как выросло в ней и даже представить себе не могло, что эта безупречная система способна когда-нибудь рухнуть. Они знали, как вести себя на собеседовании при найме на работу, их не спрашивали, какой партии они отдают предпочтение или как оценивают правых радикалов. Это было поколение наследников, рожденных в благосостоянии; многие из них ничуть не сомневались, что скоро им уже не придется работать или, во всяком случае, они будут работать без особого напряга. В жизни этого поколения, похоже, случалось мало бедствий, оно вело размеренное, сытое, скучноватое существование, и по-настоящему его волновали исключительно проблемы вкуса: какая куртка сейчас самый шик, а какая годится только на выброс и какие носить кроссовки — "Пума" или "Адидас".

Дети Востока пытались им подражать, но для этого им недоставало необходимой финансово стабильной и психически уравновешенной опоры в семье. Родители сумели скопить для них совсем немного, вдобавок при валютном объединении их сбережения уменьшились вдвое, они так мечтали о новой Германии, однако хуже своих детей понимали, что́ теперь стало главным и что скрепляет эту страну в ее сердцевине.

В те первые два-три года после падения Стены почти все старые дружбы распались. Вот и ее дружба с Феликсом тоже. Казалось, пропала не только страна, но вместе с нею и все якобы неразрывные узы. Они словно бы впервые заметили, что не похожи друг на друга. Одни подались к левым радикалам, по-прежнему каждый день ходили на демонстрации и швыряли камни в новую систему. Другие поправели, вдруг обнаружили германские добродетели и традиции. Экстремальный жизненный опыт — ведь они пережили крушение страны — вызывает, по-видимому, и экстремальную реакцию.

Через пять лет большинство старых друзей неожиданно опять стали звонить, случайно попадаться на улице. И Феликса она тоже опять встретила. С большинством отношения возобновились так, будто все ненадолго брали тайм-аут, чтоб отдохнуть друг от друга, а теперь вернулись и мечтали поделиться впечатлениями.

Феликс всегда держался за этих старых друзей из исчезнувшей страны. Он ценил лояльность — если и ее не будет, что тогда? Где ему искать опору в жизни? Говорят, люди, отрекающиеся от своей личности или теряющие ее, делаются агрессивными. Даже если понятия не имели, что она у них есть.

4

Сейчас в комнате Феликса нередко сидит его дед Арнольд, пишет на старом компьютере. Сидит наклонясь вперед, сосредоточенно всматриваясь слабыми глазами в экран: он борется за свою пенсию в Южной Африке, читательскими письмами и длинными статьями борется против всего, что в этом мире считает несправедливым, а такого довольно много.

Рядом с компьютером лежат бумаги, здесь же недельная программа Би-би-си, фотографии Феликса и свечи. Лишь через несколько месяцев после ухода Феликса Арнольд смог пользоваться этой комнатой. Теперь он сидит тут целыми днями, рассматривает фотографии внука, корит себя, пишет трогательные стихи.

За эти годы Арнольд поседел и усох, ведь он почти ничего не ест. По-прежнему бегает марафон, несмотря на сердечный ритмоводитель. В 1998-м сломал бедро, но до финиша кое-как дотащился, в восемьдесят-то лет. Феликс был восхищен, такая безжалостность к себе завораживала его: кремень-человек, не сдается даже на пределе сил. Когда он говорил о деде, голос у него всегда звучал тише, мягче, и называл он деда "боец". Авторитета выше Арнольда для него не существовало. Последний марафон они собирались бежать вместе. Но к тому времени Феликса уже не было. И все же Арнольд участвовал в забеге.

Жанетта, бабушка Феликса, качает головой, когда муж строит планы насчет будущих забегов. Глядит на него сердито и бормочет себе под нос: "Чепуха, вздор". Свои тревоги она прячет под резкими словами или иронической улыбкой. И на Арнольдовы забеги смотреть не ходит — сердце разрывается. Жанетта на тринадцать лет моложе Арнольда, у нее густые темные волосы, которые она время от времени красит в рыжеватый цвет или стрижет совсем коротко. В семьдесят лет фигура у нее стройная, как у сорокалетней, а выходя из дому, она подводит губы темно-красной помадой. Феликс всегда звал ее Нетти, по имени, слово "бабушка" к Жанетте никак не подходило. Когда она говорит, голос ее заполняет все помещение, а уж если волнуется, от ее эмоций вообще спасу нет, что порой раздражает Арнольда. В такие минуты руки Жанетты энергично кромсают воздух на треугольники и квадраты, пальцы на миг то сцепляются, то опять расцепляются.

Она давно знакома с дедом и бабушкой Феликса. Ведь и раньше заходила к нему сюда, иногда разговаривала с Жанеттой, совсем коротко, даже пыталась потолковать с Арнольдом по-английски, хотя и стеснялась. Это были родственники друга, и по-настоящему она не обращала на них внимания. В памяти сохранилось с тех пор только множество Арнольдовых медалей на стене и глубокое уважение к истории этих людей, из которой ей были известны лишь небольшие фрагменты. Спустя годы на дне рождения Феликса она вновь встретила Жанетту и Арнольда, но у них на квартире после 1991-го не бывала. Раньше она приходила сюда в гости к Феликсу, а теперь — чтобы увидеть друга глазами его деда и ба-

бушки. Печально-гротескная ситуация, словно мир вращается не в ту сторону. Обстановка в квартире почти не изменилась, если не считать, что с четвертого этажа они переехали на второй, заменили сантехнику в ванной и стены здесь вроде бы посветлее.

Теперь, когда она к ним заходит, Арнольд обычно сидит в гостиной на сиренево-бежевом диване, а Жанетта – в таком же кресле, скрестив ноги. Рассказывают оба охотно, и если один говорит слишком долго, другой поглядывает на него с досадой. Временами они поправляют друг друга, перебивают, заканчивают чужую фразу. В конце концов речь-то идет об их общем прошлом, которое каждый воспринимает очень и очень по-своему, и о Феликсе, которого оба опять-таки видят по-разному. Эта пара почти всегда расходится в мнениях и не прочь померяться силами, хотя в действительно решающих вопросах неизменно держится заодно.

Говорить с ними о чувствах нелегко, любое слово может разбередить очередное болезненное воспоминание. Порой их фразы заводят в никуда, даты и события путаются. Часто можно услышать: "Ах, да это ведь не так важно". Тогда они сидят ссутулив плечи, с таким видом, будто предпочли бы вовсе утонуть, исчезнуть в своих креслах и диванах. Им слегка неловко находиться в центре внимания, но, с другой стороны, и лестно. Они не привыкли говорить о своей личной жизни и чувствах. На переднем плане всегда стояли только их политические убеждения и деятельность, отодвигавшие все остальное в область неважного, безмолвствующего.

Рассказывают оба очень по-разному: Арнольд по-английски, так быстро, что иной раз она вообще ничего не понимает, но он все время взглядом спрашивает, поспевает ли она за ним. А вот Жанетта больше уверена в себе, она говорит по-немецки, спокойно, как женщина, которая знает, что ее слушают.

Многое из того, что она, сидя в этой гостиной, узнаёт от Арнольда и Жанетты, они раньше никому не рассказывали. Она даже начинает огорчаться, что Феликс никогда толком не слушал их печальную и захватывающую историю, а может, и не хотел слушать. Знал только разрозненные ее отрывки и все же был глубоко в нее вовлечен.

Тогда, в 1958-м, в Южной Африке, дед и бабушка Феликса собирались пожениться, а это могло кончиться трагедией. Их любовь была запретной связью белого и небелой, африканским "осквернением расы". Жанетта ведет свое происхождение от переселенцев с Маврикия и острова Святой Елены, кожа у нее светло-коричневая, черты лица скорее азиатские. По законам апартеида она "coloured", цветная – не черная и не белая. Предки Арнольда – немцы, англичане и ирландцы, он белый. По логике южноафриканского режима, Арнольд и Жанетта вообще не могли встретиться, им надлежало расти, жить, работать, любить раздельно, романы между разными "расами" были под запретом.

Познакомились Жанетта с Арнольдом в 1956-м в Йоханнесбурге через одного из общих друзей, который встретил Жанетту на танцах, а потом привез на "mixed party", смешанную вечеринку. Иначе говоря, на вечеринке были и черные, и белые, и цветные. Официально это воспрещалось, но, когда подобные праздники устраивали в частных домах, тайная полиция ничего поделать не могла. Жанетта впервые попала на такую вечеринку, вступила в волнующий, опасный новый мир. Она

выросла в строгой изоляции от людей другого цвета кожи, в районе для "coloured", в тепле и уюте родительского дома. Отец ее, человек состоятельный, владел мебельной фабрикой, мать была учительницей, они имели десятерых детей и держали черную прислугу. Такую же прислугу держали и родители Арнольда, но сходство семей на том и кончалось. Арнольд происходил из пролетарской семьи, мать вела домашнее хозяйство, отец работал на золотых рудниках Йоханнесбурга.

Тогда, на вечеринке, Жанетта стояла у стены, пытаясь напустить на себя самый что ни на есть самоуверенный вид. Черные, белые, цветные танцевали друг с другом, некоторые даже целовались. Жанетта глазам своим не верила — ведь вообще-то они жили строго раздельно. Ей это казалось странным и одновременно волнующим. Когда же она потихоньку начала привыкать к этой немыслимой обстановке, какой-то индиец пригласил ее потанцевать. Жанетта была хорошенькая женщина, очень стройная, с тонкими изящными руками, большими миндалевидными глазами и длинными, до плеч, темными локонами. Индиец чересчур уж лихо кружил ее по комнате, вдобавок от него разило чесноком, и Жанетта сбежала на кухню. Там она долго делала вид, будто обожает мыть посуду, но в конце концов пришло спасение — Арнольд. Чтобы оградить ее от приставаний индийца, он выдал себя за ее мужа, хотя еще вовсе ею не интересовался. Впрочем, сей мимолетный мнимый брак как будто бы убедил его в достоинствах Жанетты, потому что через некоторое время он вдруг прислал ей цветы и шоколад.

"Вот так все и началось", — говорит Жанетта, и по ее губам пробегает легкая улыбка, а секунду спустя она уже смотрит себе на руки. Тогда ей в голову не приходило, каких жертв потребует эта любовь. Хрупкий блондин в очках, на десять с лишним лет старше ее, активист коммунистической партии ЮАС, просто был ей симпатичен.

Пока Жанетта рассказывает, Арнольд молча сидит рядом, эти сентиментальные истории ему не по душе — так, ерунда, пустяки, не о чем говорить. На фотографии, сделанной в самом начале их романа, хорошо видно, что́ тогда чувствовал Арнольд: со счастливой улыбкой он держит Жанетту за руку, взгляд смущенно-отсутствующий, как у всех влюбленных. Снимок пережил бегство и эмиграцию, брат Жанетты сберег его и через много лет подарил им. Теперь он лежит у них в гостиной, в шкафу, в картонной папке среди пожелтевших семейных фотографий из Йоханнесбурга и судебных постановлений по делу Феликса.

Их любовь была секретной, опасной, знали о ней только члены обеих семей и близкие друзья. Стань она достоянием гласности, Жанетта и Арнольд получили бы по семь лет тюрьмы. Семь лет тюрьмы за то, что любили друг друга и не принадлежали к одной "расе". Они жили в постоянном страхе, что их раскроют или выдадут: в Южной Африке пятидесятых годов шпики кишмя кишели, как при всех режимах, которые считали, что окружены внутренними и внешними врагами. Арнольд каждый день навещал Жанетту в доме ее родителей и специально для этого обзавелся велосипедом. На ночь он остаться не мог, слишком рискованно. Вместе они проводили лишь краткие, лихорадочные, отмеченные страхом часы. Теперь Жанетта говорит: "О глубоком чувстве нечего было и думать". И все же эта любовь продолжалась всю их жизнь, они боролись за нее, возможно порой из упрямства или от ощущения несправедливости, но и в силу взаимного уважения.

В ЮАС они пожениться не могли, выход один — поехать в Лесото и расписаться там. Лесото — маленький анклав, в ту пору протекторат Великобритании, окруженный территорией Южной Африки. Все уже было подготовлено, и вот в начале лета 1958 года настал день, когда Жанетте и Арнольду предстояло ровно в полдень сочетаться браком в Лесото. На мотоцикле они выехали из Йоханнесбурга, уже в свадебных нарядах, родня ждала дома их возвращения.

Они даже до загса не добрались, друзья успели предупредить, что их выслеживает южноафриканская госбезопасность. До цели оставалось совсем немного, но пришлось поворачивать и уезжать из Лесото, причем порознь. Жанетту подвезли на машине до автобусной остановки, свадебное платье она сняла, натянула брюки и футболку, маскируясь под парня, и села на автобус, который возил чернокожих рудничных работяг на смену в ЮАС. Сидя на жесткой деревянной скамейке, одна среди четырех десятков мужчин, она изо всех сил сдерживала слезы. Нельзя распускаться, тем более сейчас. Еще и теперь голос у нее падает до шепота, когда она об этом рассказывает.

Что чувствует женщина, когда в самый, по идее, счастливый день своей жизни, так и не выйдя замуж, одна, в мужской одежде, едет домой?

"Печаль", — коротко роняет Жанетта.

У границы южноафриканская полиция остановила автобус — наверно, кто-то ее сдал. Работяги завернули Жанетту в несколько шерстяных одеял и спрятали под скамейкой. Она лежала на полу, едва дыша, потому что одеяла жутко воняли. Ей не было страшно, она вообще ничего не чувствовала, все происходило как бы за стеной, далеко-далеко от нее. Полицейские долго обыскивали автобус, потом крикнули: "Женщину не видали?"

Работяги молча покачали головой, один ответил: "На что нам тут женщины, нам работать надо". Полицейские бросили поиски, но Жанетта так и осталась под скамейкой, и автобус благополучно переправил ее через границу.

Арнольд на мотоцикле выбрал другую дорогу. И уже на территории ЮАС ждал Жанетту на одной из автозаправок. Вместе они поехали в направлении Йоханнесбурга. День выдался непогожий, не переставая лил дождь, а в здешних местах большинство населения поддерживало Националистическую партию. Эта партия правила в ЮАС с 1948 года, политическая ее программа целиком сводилась к апартеиду, и считала она себя представительницей буров, потомков переселенцев XVII века из Нидерландов и Германии в Капскую колонию, которые сотни лет старались создать "этнически чистое" бурское государство.

На своем мотоцикле Арнольд и Жанетта скоро насквозь промокли, но останавливаться опасались. Только когда Арнольд уже толком не различал шоссе впереди, они заехали в маленькую гостиницу чуть поодаль от магистрали. Арнольд вошел первым и спросил насчет комнаты. Жанетту он представил как свою прислугу, ведь никто не должен был знать об их отношениях, а ночевать в гостиницах цветным не разрешалось. Для Арнольда комната у хозяйки нашлась, для Жанетты, разумеется, нет. В конце концов один из официантов предложил ей свою лачугу во дворе, и Жанетта молча кивнула. Она проголодалась, с раннего утра ничего не ела и не пила, а сейчас было уже темно, поздний вечер. Опять проблема: в гостиничный ресторан ей нельзя — беги на кухню и ужинай там, да побыстрее. Повар налил ей жиденького кофе, прозрачного как

вода, и дал несколько кусочков хлеба, которые сперва намазали джемом, а потом все аккуратно счистили. Зачем тратить джем на небелых?

При виде этих ломтиков Жанетта расплакалась. Они были ей хорошо знакомы: ее мать потчевала такими же свою черную прислугу. У нее даже мысли не возникало, что когда-нибудь ей самой доведется есть пищу "низших рас", а тем более что ее причислят к таковым. Повар печально посмотрел на нее: "Ничего другого я тебе дать не могу, не то вылечу с работы". Жанетта сказала, что это, мол, ничего не значит, она плачет просто от усталости. Одного унижения хватало с избытком, а тут еще и свидетель! Даже теперь, рассказывая об этом, она едва сдерживает слезы. Говорит быстро, короткими фразами, словно не хочет делать пауз, не хочет, чтобы воспоминания завладели ею. Они по-прежнему слишком живы.

Тогда, вечером, Жанетта пошла в каморку официанта, находившуюся в дворовой лачуге. На матрас, усеянный бурыми и желтыми пятнами, она ложиться не стала, задремала на стуле. Скоро пришел хозяин каморки, официант, принес еще поесть. Увидев этот "ужин", Жанетта опять заплакала: обкусанный шницель, картошка, измазанная соусом, — объедки с тарелок белых постояльцев. Такое она есть не могла.

Официант недоумевал, но сочувствовал ей. "Этот белый тебе не хозяин, он твой любовник. Но ты не бойся, я никому не скажу", — заверил он и ушел ночевать в другое место, оставив ее одну. А в пять утра, взволнованный, разбудил ее: "Вам надо уезжать!" Боялся, что скоро нагрянет полиция и найдет их. Арнольд и Жанетта снова двинулись в путь. Еще не рассвело, по-прежнему лил дождь. В конце концов они решили, что Жанетте надо попробовать добраться домой автостопом. И действительно, очень скоро ее подобрали какие-то итальянцы. Не разглядели впотьмах, что Жанетта цветная. Но когда развиднелось, присмотрелись повнимательнее, покачали головой и рассудили: "Нет, так не пойдет". Остановив машину, они высадили Жанетту прямо посреди дороги. Она пешком зашагала под дождем в сторону Йоханнесбурга, пока несколько часов спустя ее не нагнал Арнольд на мотоцикле.

В гостиной деда и бабушки тишина, кофе стоит нетронутый. Арнольд молчит, Жанетта сцепляет тонкие пальцы. Те давние двадцать четыре часа изменили прежде всего ее жизнь. Она вдруг осознала цвет своей кожи. "Впервые в жизни я почувствовала, что ничего не стою. Я не белая, а значит, никто", — тихо говорит она. Это ощущение оказалось до того сильным, что вскоре перевернуло, а затем и полностью разрушило ее упорядоченную жизнь.

В Йоханнесбург они вернулись грязные, голодные, неженатые. И начался кошмар.

5

Когда рухнула Стена, Феликсу было девятнадцать. Он только-только закончил курсы портных при большом восточноберлинском комбинате "Херренмоде". Эта профессия никогда его не увлекала, но попасть учеником на комбинат можно было лишь по блату. В ту пору тысячи молодых людей стремились стать портными — по крайней мере сошьешь что-нибудь для себя или на продажу, в магазинах-то шаром покати. Феликс пошел на курсы, потому что после десятого класса понятия не имел, как быть со своей жизнью.

Рабочий день в огромном цехе во Фридрихсхайне начинался ни свет ни заря. Пахло пылью, моющими средствами, сыростью. Целый год Феликс орудовал исключительно утюгом, изредка таскал туда-сюда тяжеленные тюки материи или сдельно метал петли. Мастер обращался с учениками сурово, спуску не давал.

Иногда она звонила Феликсу на комбинат. В трубке громыхало так, словно работал он на турбинном заводе, — шум, гам, брань. Долго говорить Феликс не мог, они назначали встречу, он тихонько ругал мастера.

Приезжая домой к деду и бабушке, он говорил Жанетте: "Ненавижу эту работу". Но никогда не объяснял почему, а Жанетта не допытывалась. Они разрешили внуку жить у них только при условии, что он закончит курсы. В результате он сшил экзаменационный костюм и получил "два". Еще он показал Жанетте, как нужно метать идеально красивые петли, и умел божественно утюжить. Бабушка мечтала отправить его в Париж учиться дальше, а потом сообща открыть модный салон. Феликс же предпочел бы забыть эти два года. "Херренмоде" закрылась сразу после воссоединения, Феликс не особенно огорчился, но впервые в жизни стал безработным. На первых порах пошел паковать мебель, но скоро и это кончилось.

Тогда он ничего ей не рассказывал. В 1988-м она переехала с родителями на север Берлина, в Панков. Феликс довольно часто бывал у нее на новой квартире, они сидели у нее в комнате на светло-сером ковровом полу и разговаривали — о его новых подружках, которых он обычно терпел не долго, о ее венском друге, об общих знакомых и особенно много о тренировках, а когда ее отчим занялся карате, Феликс постоянно над этим подшучивал. Сам он все время рассуждал о том, что хотел бы уйти в монастырь где-нибудь в Китае, заниматься боевыми искусствами и медитировать, это была мечта, в каких охотно ищут спасения в дурные времена, но никогда не осуществляют. К моменту перелома она как раз готовилась к экзаменам на аттестат зрелости в одной из ПСШ[1], и у нее были другие заботы, нежели у Феликса. Думать о заработке ей пока не приходилось, ее донимала садистка-математичка.

Теперь оказалось важно иметь деньги, ночь валютного объединения однозначно это показала. Раньше магазины Восточного Берлина целыми днями выглядели так, будто их опустошил страшный голод. На полках лежали только основные продукты питания: хлеб, масло, молоко. Народные магазины готовились к приходу Запада. Иными словами, восточные продукты должны были исчезнуть, и поскорее, чтобы никто не мог по привычке схватиться за "Сластену" или зубную пасту "Пуцци", хотя охотников до этого наверняка бы не нашлось.

Он, капитализм то есть, наступил в одночасье. Около четырех-пяти утра она шла тогда по Шёнхаузер-аллее в районе Пренцлауэрберг и разглядывала витрины: громадные пачки кукурузных хлопьев и пирамидки из плиток шоколада "Милка" теснились возле средств для ухода за волосами "Велла" и швабр "Виледа". Той ночью она видела еще нескольких прохожих, которые, как и она сама, недоверчиво и со странным восторгом останавливались перед новенькими витринами. Детская мечта о волшебной стране изобилия стала явью. Сущий сюрреализм — лучше принять его как должное, ломать над этим голову бессмысленно.

1. Полная (двенадцатилетняя) средняя школа (ГДР).

К ним пришел Запад, и Феликс первым делом купил себе новый диск Гари Ньюмана. После падения Стены его дед Арнольд целую неделю плакал, сидя в гостиной. Все, о чем он мечтал, за что боролся, потеряло смысл, внезапно кануло в историю. Все эти годы он из принципа никогда не ездил в Западный Берлин, хотя и мог бы. Для него это была другая сторона, где жили противники. Феликс осторожно обходил дедово кресло, говорил с Арнольдом тихо, как с ребенком, от которого можно ожидать чего угодно. Он жалел деда, но к нему самому это уже не имело касательства, дедовых идеалов он не разделял.

Как и все "восточники", Феликс в те дни ходил по Западному Берлину с легкой опаской: главное, не бросаться в глаза, не выглядывать из окна надземки слишком заинтересованно, в магазинах озираться украдкой, лишь бы не выдать, что, в сущности, понятия не имеешь о западных марках. И ей тогда хотелось побыстрее замаскироваться, побыстрее напялить такие же шмотки, с такой же небрежностью вычерпывать из стаканчика йогурт и со скукой говорить о мире, потому что и так все знаешь. Феликс тоже изменил внешность, расстался с черным прикидом и носил теперь просторные джинсы "Дизель" или "Риплей", светлые шерстяные пуловеры, кроссовки, куртку-бумбер. Ему было полегче, нежели другим из его поколения, по причине цвета кожи никому даже в голову не приходило, что он с Востока, да и в Восточном Берлине он обычно носил джинсы "Ливайз". Скоро его определят в новую категорию — категорию иностранцев, на которых и Восток, и Запад могли отныне сообща смотреть свысока.

За три сотни Феликс купил себе большую старую машину, неопределенного цвета, но светлую, марку она забыла. Все в этой машине держалось на честном слове, дверцы едва не выпадали, и каждый раз бабушка выходила на улицу вместе с ним — подтолкнуть. Феликс ужасно гордился своей тачкой и охотно катал на ней других. Сидел на водительском месте, крепко сжимал руками баранку и сосредоточенно смотрел на дорогу — прав-то у него пока не было. Он заделался вышибалой-охранником, после многолетних тренировок в боевых искусствах, в общем, вполне логично, да и деньги отнюдь не помешают.

Вместе со своим лучшим другом Свеном он дежурил у входа в "Йойо", что на Вильгельм-Пик-штрассе в районе Берлин-Митте, теперь это улица Торштрассе. Свен был на голову выше Феликса и обрит наголо. Познакомились они еще в секции карате, когда учитель пригласил Феликса в свой личный тренировочный зал, а Свена — нет. И все-таки они подружились, возможно потому, что Свен всегда смотрел на Феликса чуточку снизу вверх, а вдобавок никто не умел молчать так красноречиво, как он. Иной раз о его присутствии почти забывали.

Клуб "Йойо" располагался на втором этаже дома-новостройки, немного отодвинутого от улицы в глубину квартала. Феликс со Свеном всегда стояли внизу, на широком тротуаре у стеклянного подъезда, или внутри, в светло-желтом холле, у лестницы, взимали плату за вход — пять марок, — а поздно вечером, подбивая бабки, отчаянно жульничали. Им платили примерно десять марок в час. Она тоже ходила в этот клуб, каждую субботу целых полчаса тряслась сюда на трамвае из Панкова. Феликс приезжал из Шёневайде, он так и жил у деда и бабушки. Теперь они каждые выходные виделись в "Йойо" и по-прежнему дружили. Уже издалека она примечала знакомую фигуру в зеленом бумбере: ссутулив плечи, он сидел у двери на железном барьерчике. Обычно она подъезжала

часов в десять — в одиннадцать, к этому времени в "Йойо" уже было полно народу, и Феликс трепался со Свеном. Она и ее подруги, конечно же, проходили бесплатно и по этой причине сильно задавались.

В ту пору, вскоре после объединения, "Йойо" считался вполне приличным заведением, по слухам, владел им кто-то из бывших ССНМовских начальников. Холл внизу был выложен каменными плитами, слева находился маленький бар, открытый и днем. Поднимаясь по лестнице, она видела себя в зеркале: для юношеских прыщей неоновые лампы, увы, не лучшее освещение. Справа наверху был танцпол. Стеклянную стену, отделявшую его от лестницы, изнутри завесили темными шторами — танцующих не увидишь. Здесь она часами танцевала под Филлипа Боу, Принса и "Эй-си/Ди-си", а под звуки "Thunderstruck" так резко мотала головой, что после у нее несколько дней кряду болела шея. Феликс наверх заходил редко. Только услышав "Unbelievable" группы "ИМТ" он мчался на танцпол, а потом сразу же возвращался вниз; эту вещицу он и в машине все время слушал, на максимальной громкости. Иногда она делала перерывчик, в баре наверху, где за длинной черной стойкой работала ее подружка.

Здесь вообще почти все знали друг друга, это был клуб восточноберлинских абитуриентов, которые пробились в одну из ПСШ. Вокруг бара стояли столики, где можно было поболтать, там они курили и подолгу рассуждали о смысле жизни. Слева от бара находился еще и кинозал. Удивительное дело, она не припоминает, чтобы смотрела там хоть один фильм.

Настроение в то время и в том клубе царило странное, все пребывало словно бы на переходе, но куда — никто знать не знал, Восточный Берлин пока что шиком не блистал, и восточноберлинцы оставались в своем кругу, носили первые новенькие западные джинсы и еще не растоптанные, жесткие башмаки "Док Мартенс". Феликс и Свен, охранники, ничуть не отличались от школьников и студентов, были вполне им под стать. Правда, они уже тогда ходили в бумберах и с короткой стрижкой, но это никому не мешало. Другие носили длинные волосы и потертые кожаные куртки с блошиного рынка. Возможно, первый знак, что скоро все разделится. До тех пор они всегда были вместе, десять лет в школе, да и после тоже. Различия, если таковые и существовали, прятались в глубине. В начале девяностых казалось, будто в новой стране у них у всех равные возможности, хотя уже тогда было совсем не так.

К работе в "Йойо" Феликс относился очень серьезно и обычно стоял внизу, у входа. Она часто спускалась к нему, приносила колу — спиртного он по-прежнему в рот не брал, — садилась рядом на ступеньку. Он рассказывал о недавних травмах, полученных на тренировках, теперь уже в Западном Берлине. Сообща они намечали оборонительную тактику на случай, если в клуб нагрянут скинхеды, ведь постоянно ходили слухи о якобы планируемых налетах. Феликс показал ей бейсбольную биту, припрятанную специально для опасных ситуаций, и с серьезным видом сказал: "Я с ними разделаюсь, мало не покажется". Его друг Свен промолчал. А она поверила. Решительность Феликса производила очень убедительное впечатление.

Однако воображаемые скинхеды не появлялись. Видно, неохота им было громить абитуриентский клуб, и через некоторое время работа Феликса и Свена оказалась под вопросом. Чтобы оправдать их деятельность, двое Феликсовых приятелей-боксеров разыграли фиктивный на-

лет. Оба — бритоголовые, у одного ближе к виску татуированная свастика, ради такого дела они раздобыли себе бумберы и армейские башмаки — крутой прикид, чтобы запугать абитуриентов.

Ее не было в "Йойо" в тот вечер, когда эти двое явились туда и Феликс с ухмылкой их пропустил. Мнимые громилы сразу уселись в баре на втором этаже и начали задирать бармена: твердили, что пиво у него затхлое, обзывали беспредельщиком и сквалыгой. Как ни странно, бармен будто и не слышал, знай протирал стаканы да наливал пиво. Парни заказали три порции виски и одну выплеснули бармену в физиономию со словами: "А это тебе!" Тот аккуратно утер лицо полотенцем, только пробурчал: "Мне скандалы без надобности".

Феликсовы кореша недоумевали. В их мире сейчас бы уже разгорелась большая потасовка, а этому хмырю хоть бы что. Весь план висел на волоске. Раз-другой они украдкой посовещались с Феликсом, спросили, что делать, ведь на провокации никто не поддается. Он упросил их потерпеть и попробовать еще. Парни завалились в кинозал, где немногочисленная публика смотрела какой-то фильм, стали возле экрана и принялись выкрикивать нацистские лозунги. Опять без толку. В полном отчаянии они вернулись к Феликсу, но и он ничего больше придумать не мог.

Парни продолжали шнырять по "Йойо", цепляясь ко всем встречным. В конце концов кто-то все же позвал на помощь охрану — Феликса и Свена. Состоялась небольшая потасовка, четко отрепетированная накануне. Правда, с хореографией не очень-то заладилось: один после ходил с заплывшим глазом, а вдобавок обоим пришлось драпать от полиции и отсиживаться в туалете соседнего ресторана. Работу Феликс сохранил.

Между делом он приторговывал краденными велосипедами, снабдил тогда великом и ее. Как-то раз велел ей прийти в незнакомый дом в Шёневайде. Встретил ее на улице, у подъезда, а внутри ждал новенький черно-фиолетовый "маунтинбайк". Заплатила она всего полсотни марок, а где Феликс его взял, помнится, не спросила. Только бегло отметила про себя, что он, вероятно, связан с людьми, которые могут организовать такие вещи, а может, и кое-что еще. Феликс с двумя приятелями погрузили велик на трейлер и доставили прямиком к ее дому. Она особо об этом не задумывалась. Собственно говоря, велик был ей не нужен, так и ржавел потом без дела на заднем дворе.

Первые два года после падения Стены она часто виделась с Феликсом: он возил ее на своей машине, помог кое-что купить для первой ее собственной квартиры в районе Пренцлауэрберг, доставлял в аэропорт ее подружек. Впоследствии ей даже казалось, будто она его использовала. Со всеми, с кем она его знакомила, он держался предупредительно-вежливо, улыбался, ее друзьям он нравился, у него был дар завоевывать расположение окружающих. Мягко, чуть застенчиво он смотрел на них снизу вверх, внимательно слушал, и у них возникало ощущение, что он здесь только ради них. Из друзей Феликса она знала лишь одного-двух йоханнистальских одноклассников да Свена из "Йойо". Разные круги своих знакомых он по-прежнему не смешивал. Наверное, догадывался, что они несовместимы.

Обычно он сам заходил к ней, она куда реже бывала у него дома, в квартире Арнольда и Жанетты, — далеко, целый час езды через весь город. Однажды вечером, в день своего рождения, он опять начал обни-

мать ее за плечи и вспоминать, как хорошо им было когда-то вдвоем. А у нее тогда еще продолжался роман с мальчиком, с которым она познакомилась после Феликса, и эта напряженная и сложная связь с далекой Веной занимала все ее помыслы. Целую ночь они просидели у Феликса в комнате на кровати под окном и говорили, говорили; из щекотливого положения она вывернулась, сказала ему, что влюблена в другого, но обижать его совсем не хочет.

Наутро он проводил ее до станции надземки "Шёневайде", печально смотрел на нее, а потом поезд тронулся. Для большинства дружб это был бы конец. Но они после короткого перерыва опять стали видеться довольно часто — в "Йойо" или вместе с ее друзьями ходили в "Толстого ангела", в ту пору излюбленный их погребок. Находился этот погребок в Моабите; в зале парил под потолком громадный картонный ангел, ее лучшая подруга работала тут официанткой, и они наблюдали, как она препирается с шефом и хихикает с голубым барменом. Феликс изредка заказывал себе стаканчик пива, и только. Она знала, что он каждый день ходит на тренировки, постоянно борется со всевозможными травмами и от карате перешел сперва к боксу, а затем к кикбоксу, хотя годами твердил, что боксеры медлительны и неповоротливы. "Боксеры — это полный финиш", — объявил он как-то раз с непоколебимой решительностью, которая не терпит возражений.

После объединения Феликс изредка выступал и в сомнительных шоу с участием единоборцев. В конце восьмидесятых в кинотеатрах шел фильм "Кровавый спорт" с Жан-Клодом ван Даммом, герой там ездил в Гонконг на легендарные соревнования по боевым искусствам, где противники иной раз забивали друг друга до смерти. На Западе этот фильм вызвал повальное увлечение карате и кикбоксом. Феликс и его друг Алекс пытались срубить деньжат на этом увлечении, вот и придумали карате-шоу.

С Алексом Феликса связывала долгая история. Алекс — один из тех бритоголовых, что инсценировали налет на "Йойо". Он по сей день бреет голову, ему уже сорок, на десять лет больше, чем Феликсу, в ГДР он был каскадером. Сейчас у него семья, квартира с антикварной мебелью, он служит агентом в фирме, выпускающей супы-концентраты, и ежедневно тренирует кикбоксеров. Алекс невысокий, круглолицый, широкоплечий, иногда может брякнуть что-нибудь не к месту и потому в мире спортсменов-единоборцев и вышибал старается не выделяться из общей массы. Он охотно дает обещания, но часто про них забывает, Феликс тоже не раз тщетно ждал его звонка.

Она познакомилась с Алексом, когда Феликс уже сидел в тюрьме; встреча, состоявшаяся в кафе, оставила странное впечатление. Кроме ее самой, присутствовали мать Феликса и дед. Алекс тогда каждые пять минут выскакивал из-за стола и, отойдя к двери, звонил по разным мобильникам. А потом вдруг куда-то заспешил и исчез.

Только позднее она поняла, что это был спектакль, который, по сути, мало что значил. При всей своей ненадежности Алекс всегда помогал Феликсу, за несколько лет одолжил ему не одну тысячу марок для оплаты счетов больничной кассы и судебных издержек. Порой у Алекса закрадывалось подозрение, что Феликс приходит к нему, только если в чем-то нуждается. До сих пор он помнит, как Феликс посмотрел на него, когда он высказал это подозрение, — чуть беспомощно, печально и очень серьезно. В конечном счете Алекс никогда ему не отказывал. Вза-

мен Феликс брал его под защиту в их общих кругах. Алекс говорит, что в жизни не встречал человека, способного, как Феликс, в один миг расколоться на два существа. Однажды они вместе поехали в Потсдам, и на шоссе какой-то автомобилист подрезал машину Феликса. Феликс выскочил на дорогу, кулаком разбил обидчику ветровое стекло, спокойно вернулся за руль, включил погромче музыку Баха и поехал дальше. Алекс не стал ничего говорить, только удивился про себя, впрочем, он уже знал Феликсовы вспышки.

Познакомились они еще во времена ГДР на тренировках каратистов и на первых порах не терпели друг друга. "Если ты раза два на неделе не заверял Феликса, что он классный парень, он в упор тебя не замечал", — говорит Алекс. Потом они решили устроить поединок в каком-то гимнастическом зале. Алекс, уверенный в победе, привел с собой подружку, пришли и еще кой-какие знакомцы по тренировкам. "Три раунда мы лупцевали один другого, — смеется Алекс. — Феликс прямо осатанел". Под конец у Алекса все тело было в отпечатках Феликсовых ног, он только оборонялся, чтобы не совсем уж потерять лицо. "Малорослый необузданный парень" здорово ошарашил Алекса. Вот так и началась дружба.

После падения Стены они колесили по Германии со своим карате-шоу. Феликс показывал различные *ката*, делал шпагат, давал разрезать яблоко на своем голом животе и боковым ударом ноги разрубал стопку кирпичей, что неизменно приводило публику в полный восторг. В заключение они кланялись, и зрители шли в буфет. Довольно долго их шоу пользовалось популярностью, потом экзотика приелась, и зрителей не стало.

В гедеэровские времена Феликс с Алексом тоже выступали в шоу, только в другом, организатором которого был известный и состоятельный восточноберлинский галерейщик. Шоу представляло собой нечто вроде демонстрации причесок и мод вперемежку с каскадерскими трюками Алекса и толикой боевых искусств Феликса, заявленного в афишах как "чемпион мира по карате".

"Феликс, — мечтательно вспоминает галерейщик, — был уникальный талант". С этим господином она встречается в бежевом парикмахерском салоне неподалеку от Главного вокзала, он сидит в кресле, и две девушки старательно бреют ему голову. Потом они идут в ресторан, где у столика все время торчит страховой агент: он принес какие-то исписанные от руки бумажки и рассчитывает убедить галерейщика в своих предложениях. Галерейщик особого интереса не выказывает, ест картофельный суп и превозносит Феликсовы спортивные и бойцовские таланты.

Вокруг Феликса всегда крутилось много народа. От него исходило какое-то непередаваемое излучение, смесь подавленной агрессивности, предельной напористости и абсолютной любезности. В своих вояжах галерейщик использовал его и как телохранителя. Если в дороге случались неприятности, Феликс мог встать и отлупить противников. Галерейщик с восторгом рассказывает, как Феликс разобрался с целым отрядом ССНМовцев и как врезал какому-то мужику, одним ударом разбив ветровое стекло машины и физиономию владельца.

"Он всегда побеждал", — с задумчивой улыбкой говорит галерейщик. По слухам, однажды Феликсу пришлось вздуть даже галерейщицкого сынка. После он рассказывал друзьям, как это омерзительно, но парня, похоже, все-таки отлупил.

В 1992-м Феликс съехал от деда и бабушки и некоторое время обретался в районе Пренцлауэрберг в обветшалом доме, вроде бы принадлежав-

шем галерейщику. Жил в маленькой однокомнатной квартирке на самом верху, вход со двора. За квартиру хозяин с него не брал, но взамен Феликс якобы мыл лестницы и выбивал из соседей задержанную квартплату.

Она никогда не бывала на той квартире. Как раз тогда их дороги до поры до времени разошлись. Она закончила школу, ее венский друг переехал в Берлин, так что по выходным она очень редко заглядывала в "Йойо". О том, что Феликса это обидело и разочаровало, она узнала от подруг. А когда однажды вечером зашла в "Йойо", он едва на нее взглянул, молча кивнул головой и отвернулся. Об этом он никогда с ней не говорил. Людей, которые, как он считал, "предали" его, он внешне наказывал демонстративным пренебрежением, молчанием и разрывом отношений. А в душе горевал о потерях, но это она поняла много позже.

Вскоре она ненадолго уехала в Италию, написала ему оттуда письмо, попросила прощения. Он не ответил. По возвращении она встретилась с ним у своей подруги, они сидели в эркере за круглым столом, и сказать друг другу им было нечего. Она говорила чересчур много, восхищалась Италией, хотела учиться дальше. У Феликса жизнь шла совсем по-другому: настоящей работы он не имел, денег тоже, собирался открыть "массажный салон". Он почти все время молчал, только изредка бросал на нее враждебные косые взгляды. Судя по всему, дружбе пришел конец, и после этого они очень долго не встречались.

6

Примерно тогда, в 1992-м, Феликс, пожалуй, и познакомился с Марко. Марко был одним из его учеников в "Фитпойнте", фитнес-студии в Панкове, где Феликс работал тренером по кикбоксу. Они симпатизировали друг другу, Марко восхищался Феликсовыми боевыми искусствами, Феликс же — умением Марко, который был старше его, завязывать полезные связи, какие тот имел, кажется, буквально повсюду. В 1989-м, незадолго до падения Стены, Марко перебрался из ГДР в Западный Берлин.

В истории Марко зачастую непросто отделить правду от вымысла. Он большой мастер придумывать о себе мифы и легенды и ловко их распространять, а вдобавок не прочь укрыться под маской тайны. Родился он, похоже, действительно в начале шестидесятых в Карл-Маркс-штадте (нынешнем Кемнице), вырос там же, в семье, где, кроме него, было еще трое детей. Жили они в вечном страхе перед побоями и издевательствами. Так продолжалось изо дня в день, пока однажды отец не забил до смерти младшего братишку Марко и не загремел в гедеэровскую тюрьму, на три с половиной года.

Марко, наверно, пытался защитить остальных детей, но сам об этом никогда не говорил. На суде он впоследствии показал, что не знал своего отца. Поначалу никаких особых событий в жизни Марко не происходило; закончив неполную среднюю школу[1], он выучился на каменщика, потом на продавца мебели, женился первый раз в 1982 году и второй раз в 1986-м. Еще он всегда болел за "Динамо" и уже в ГДР дрался с болельщиками других клубов.

С Марко ей встретиться не довелось. Только после исчезновения Феликса она написала ему письмо. Потом он звонил ей из тюрьмы, все-

1. В ГДР это была десятилетка.

гда по субботам, спозаранку, несколько месяцев кряду. Для нее Марко был и остался голосом, с которым она связывала всевозможные истории и слухи. Она понятия не имела, где он сидит, место держали в секрете. На первых порах ей иной раз бывало страшновато, она боялась себя, боялась, что вообще не сможет с ним разговаривать. И в глубине души отчасти винила Марко в аресте Феликса. Он предал друга. Ей хотелось спросить, как с этим можно жить. Хотя она и понимала, что все не так просто, что ситуация не столь однозначна. Возможно, она всего-навсего стремилась найти виноватого, свалить на него ответственность за случившееся с Феликсом. А виноватого, конечно же, не было. Нигде.

По телефону Марко много смеялся. Этот смех сбивал с толку, тут было не до веселья, а ведь она тоже смеялась. Странное чувство — она будто задним числом предавала Феликса, становилась сообщницей Марко. Вот сию минуту Марко с его иронией вызывал симпатию, а уже секунду спустя казался отвратительным хитрованом. Испытывал на ней всякие провокационные замечания, в расчете на вполне определенный отклик. Один из полицейских в разговоре с ней нашел для Марко меткую характеристику: "Манипулятор".

Иногда она пробовала представить себе, как где-то в одной из немецких тюрем он стоит в голом коридоре с телефонной трубкой в руке. И наверняка упорно защищает аппарат, телефон там один на всех, в трубке постоянно слышны требовательные голоса других заключенных. Иногда их заглушает пронзительный вой сирены, и связь автоматически прерывается. Марко словно бы жил в какой-то далекой вселенной, которую соединял с Землей чувствительный телефонный кабель, один-единственный. Спустя несколько месяцев он вдруг запрещает использовать в этой книге его высказывания. Хотя вначале согласился на интервью.

Один раз она видела Марко — в зале суда, в Моабите. Он сидел справа, в самом конце длинного стола, за спиной своего адвоката. Не очень высокий, плотный, крепкий, на шее узкий кожаный галстук, модный в ГДР, длинные волосы собраны сзади в косицу. Все его так и звали — Косица.

Марко записывал все, что там говорили. Рядом стоял полицейский — на всякий случай, вдруг кто из других обвиняемых или из публики вздумает броситься на главного свидетеля. Феликс сидел напротив него, на другом конце стола, ближе к публике, и временами очень серьезно поглядывал на Марко. Возможно, думал о том, как впервые встретился с ним в фитнес-студии и что из этого вышло.

Когда Феликс познакомился с Марко, тот уже работал вышибалой, старые связи в футбольном клубе помогли. До того он некоторое время шоферил на автобусе. Марко высоко ценил спортивные таланты Феликса и свел его с группировкой охранников-вышибал, которая как раз в ту пору складывалась в Восточном Берлине из футбольных фанатов.

По сравнению с этим Феликсова работа в клубе "Йойо" — чепуха, все равно что дежурство у входа в детский сад. В 1993-м "Йойо" приказал долго жить. Устроить Феликса вышибалой было непросто — из-за цвета кожи. Тем более в то время, ведь именно тогда в Росток-Лихтенхагене и в Хойерсверде гедеэровские граждане бутылками с зажигательной смесью и камнями громили кварталы, населенные иностранцами. Вдобавок Феликс был маленького роста и выглядел едва ли не тщедушным — посетители воспримут его скорее как вызов, а не как устрашение. Марко су-

мел добыть ему место в гардеробе "Венеры", одного из клубов в районе Хоэншёнхаузен. Это была дискотека из тех, что пришли на смену давним многоцелевым ресторанным комплексам и строились главным образом в районах больших городских новостроек — как бетонные островки развлечений.

Феликсу нужно было непременно сделать себе имя, иначе группировка никогда бы его не приняла, это ясно. Никто не знал ни его, ни его боевых искусств; в здешнем мире уважение зарабатывали только дракой, избивая других. Она пыталась представить себе, как Феликс, молча наблюдая за окружающими, сидел возле гардероба. Это он-то, в семье которого так почитали писательницу Надин Гордимер, он, часами слушавший Баха. Вероятно, он и сам толком не понимал, почему выбрал мир "Венеры".

Марко между делом открыл еще один ресторан неподалеку от Фридрихштрассе; Феликс, в строгом костюме, дежурил там у входа. Но скоро вся Фридрихштрассе превратилась в огромную стройплощадку, посетителей не стало, и Марко прикрыл лавочку. Долгов у него было выше крыши. И такое происходило тогда с тысячами восточных немцев.

Вероятно, после этой истории Марко изменился: злой, разочарованный, обманутый в своих ожиданиях, он явно пришел к выводу, что на легальной жизни пора ставить крест.

Работая на фейс-контроле, Марко и Феликс знакомились с разного рода правонарушителями, мелкими и крупными. Любой желающий что-то продать сперва должен был пройти мимо них. Они наперечет знали и укрывателей краденого, и сутенеров, и наркодилеров. Оставалось только вступить с ними в деловые отношения. Все казалось возможным. Много чего покупали исключительно затем, чтобы продавцы про это рассказывали. К примеру, однажды Марко приобрел винтовку. А мог бы заказать и танк. Все коллеги тогда мигом узнают: у него есть боевое оружие, наверняка малый опасен.

К середине девяностых мир охранников, вышибал, бойцовского спорта и футбольных фанатов мало-помалу криминализировался. Большие деньги, да за короткий срок, приобретались только нелегально — через торговлю наркотиками и оружием, рэкет и проституцию. На первых порах дети ГДР еще побаивались: учителя годами клеймили наркотики и проституцию как самые страшные пороки капитализма. Но и эти последние тормоза довольно скоро были забыты. Каждый знал устрашающие фотографии девчонок, на вид едва-едва шестнадцатилетних, в коротеньких юбках, и наркоманов, колющих себе дозу в грязной вокзальной уборной. Только вот к ним самим такие картинки вроде как не имели касательства. Кажется, протяни руку — и все будет твое. Капитализм уже здесь, думать некогда.

Феликс восхищался Марко, старшим другом, который вскоре обзавелся "мерседесом", разъезжал по свету и как будто без труда заставлял людей делать то, что ему нужно. Баловень удачи. Вдобавок Феликсу не слишком улыбалось каждый день по восемь часов торчать на работе, причем за смешные, на его взгляд, деньги.

1992-й и 1993-й — в жизни Феликса тогда словно бы происходило все сразу, бесконечная лавина событий. Он распрощался с жизнью вышибалы-любителя, вступил в круг восточноберлинских профессионалов, завел новых друзей. Наконец, Марко познакомил его с БФК "Динамо", по-

сле чего он стал участвовать и в побоищах. Марко знал, что Феликс умеет драться, а вдобавок может привести и других хороших бойцов.

В ГДР во время и после футбольных матчей тоже случались драки. И уже тогда динамовских болельщиков здорово недолюбливали: этот берлинский клуб считался штазивским, потому что президентом "Динамо" был шеф штази Эрих Мильке. Мильке восторженно болел за берлинское "Динамо" и часто заезжал на их матчи. Некоторые решения тогдашних судей по сей день вызывают сомнения. Но так или иначе берлинское "Динамо" десять раз кряду выигрывало чемпионат ГДР, с помощью Мильке, нет ли — болельщики поныне спорят, словно это вопрос жизни и смерти.

Болельщикам БФК, как ни странно, даже нравилось, что все их ненавидят и обзывают "штази". Они чувствовали себя этакими избранными отщепенцами, которые увлекаются тем, что большинство отвергает. Выделиться из массы, не походить на других, любой ценой — вот к чему они стремились. И до сих пор кокетничают неприязнью, которую вызывают у окружающих. В машинах у них по-прежнему висят лозунги вроде "Ваша ненависть укрепляет наш дух" или "БФК — ненавистный и внушающий страх". Они словно бы гордятся тем, что никто их не любит. После перелома начался резкий спуск — до четвертой лиги. Лучших игроков сманили другие клубы, а слава хулиганов и протеже штази отнюдь не помогала найти спонсоров. Клуб приходил в упадок, меж тем как его фанаты, наоборот, все выше котировались в общегерманской иерархии хулиганья.

Однажды она тоже пошла на матч, хотела разок посмотреть, что это такое. Берлинское "Динамо" играло тогда на чужом поле, против эберсвальдского "Мотора". Стадион был расположен на главной улице Эберсвальде и, по сути, представлял собой просто большую лужайку, окруженную несколькими рядами скамеек. По соседству, в спортивном центре, проходила ярмарка "Живая эротика", у входа на стадион какой-то динамовский фанат требовал: "Циклон-Б для всех унионистов!" Но унионистов тут в помине не было. Они играли в третьей лиге — высоко, не достанешь.

Игра еще не началась, болельщики хором распевали: "Ди-ди-ди-динамо! Удар и гол, Динамо!" Очередь к пивной стойке на стадионе все росла, кое-кто уже с трудом держался на ногах, потом один прямо в очереди облевал соседу всю куртку. Она совершенно не могла представить себе Феликса в такой обстановке, хотя на матчах он появлялся лишь изредка. Зрители почти сплошь коротко стриженные юнцы в бумберах. Атмосфера уже была напряженная, все будто ждали: вот сейчас что-то произойдет, кто-нибудь выскажется не по делу, и можно будет скопом кинуться на него. Она старалась держать выход в поле зрения, чтобы поскорей удрать, если вспыхнет драка.

Берлинцы уже в первом тайме вырвались вперед, тогда как хозяева поля выглядели совершенно растерянными. Настроение слегка поднялось, но тут один из эберсвальдских грубо нарушил правила, да еще и ударил динамовца ногой. Фанаты динамовцев взревели. Нарушитель заработал красную карточку и покинул поле. В двух шагах от раздевалки группа динамовских фанатов обступила его и принялась осыпать бранью. Игрок остановился, и с минуту казалось, что драки не миновать. Но потом он все-таки исчез в своей кабинке.

Президентом клуба "Динамо" была тогда некая блондинка, и во время игры эта дама решила прогуляться туда, где кучковались фанаты.

"Блондиночка, семнадцать лет... — грянуло ей навстречу. — И: — Скинь одежки, дорогуша!" Президентша засмеялась, то ли от стыда, то ли от отчаяния, то ли вправду забавляясь — не поймешь. К счастью, игра закончилась хорошо. 4:0 в пользу берлинцев. После матча фанаты окружили раздевалку и, размахивая руками, грянули песню: "От Москвы до Сталинграда БФК всегда с наградой!"

По дороге к своей машине она успела увидеть, как динамовские фанаты захватили рейсовый автобус: цепью перекрыли улицу, вынудив шофера остановиться, ввалились в салон и все разом начали подпрыгивать, так что автобус заходил ходуном. Остальные пассажиры сидели с перепуганным видом, в конце концов автобус окружили полицейские автомобили, и под их конвоем он поехал дальше. Она облегченно вздохнула: обошлось, ничего в клочья не разнесли. До полной анархии в тот день не докатились.

Она заметила, что им очень нравится шокировать окружающих. Поначалу они с явным удовольствием пугали Запад — ну как же, злобные, никому не известные громилы с Востока. На стадионных побоищах они начали орать "зиг-хайль!", хотя даже полиция не причисляла их к правым экстремистам — слишком аполитичны, разве что немецким национализмом попахивают, да и тот у них мутный, неопределенный. Ей не верилось, чтобы Феликс когда-нибудь орал "зиг-хайль". Для темнокожего парня, деду и бабушке которого пришлось бежать из Южной Африки, это просто немыслимо. Но полной уверенности у нее все-таки не было.

Участие в футбольных драках означало для Феликса, что он окончательно принят в круг вышибал-охранников, ведь эти группировки были тесно связаны. Они знали друг друга с гедеэровских времен и поклялись держаться заодно в новых, изменившихся обстоятельствах. Вот и создали себе этакий параллельный мир, который должен был противостоять всеобщему распаду, а попутно маскировать, что они, по сути, давно утратили ориентацию. Многие из них, хотя и не все, после падения Стены так или иначе оказались за бортом, потеряли работу или ученические места, у них на глазах рушилась жизнь родителей. Свою группировку они выстроили на основе строгой субординации, пытаясь тем самым вернуть собственному бытию прежнюю однозначность. Изобрели особый приветственный ритуал: не целовались, как всякие там иностранцы, а припадали друг к другу левым виском. Если же прикасались один к другому дважды: сперва левым виском, потом правым, — считалось, что их связывают более тесные дружеские отношения. Были у них и свои законы, согласно которым превыше всего ценились "честь, благородство, доверие". Хотя долго такая идиллия продолжаться не могла, они в нее верили. Пускай их замкнутая, обособленная группировка продемонстрирует обществу: "Мы — другие". В то самое время, когда большинство экс-гедеэровцев старалось завуалировать свое происхождение либо вовсе забыть, они делали себе на животе наколки — *Eastside*[1]. Большинство хотело поскорей приспособиться, перебежать в западники — что ж, в таком случае они останутся восточниками.

Мало-помалу они прибрали к рукам большие дискотеки Восточного Берлина и поделили между собой, в начале девяностых, когда еще не успели перессориться. Они были едины в ненависти к иностранцам, кото-

1. Восточная сторона (*англ.*).

рые контролировали охранный бизнес в Западном Берлине. Тогда в группировке распоряжались три *дона*, как в сицилийской мафии. Их штаб-квартира находилась в дискотеке "Венера", где Феликс подрабатывал в гардеробе. Каждый вечер *доны* сидели там, дожидаясь, когда охранники принесут их долю. Странная ситуация: трое мужчин торчат в районе новостроек в многоцелевом ресторанном комплексе, где по-прежнему стоит гедеэровская мебель, и ждут своих людей, которые отстегнут им деньжат. Абсурдный мир. Позднее, говорят одни, эта троица сгноила себе мозги кокаином, другие же твердят, будто они закорешились с иностранцами, с "канаками", и потому их компания распалась на несколько враждебных группировок. Возможно, на первых порах это была игра, вроде гангстерского фильма, и каждый испытывал, как далеко может зайти в новой свободе. Но скоро дело примет серьезный оборот.

Приблизительно в ту пору галерейщик, знакомый Феликса, решил открыть с ним сообща частный тренировочный центр. Феликсу предстояло в "культурной обстановке" обучать бизнесменов приемам самообороны. "Потом ему пришла в голову грандиозная мысль: нанять двух-трех женщин", – говорит галерейщик. По словам других, Феликс выставил галерейщика из этого дела, и его место занял Марко.

Скоро она поняла, что вряд ли когда-нибудь узнает всю правду. Каждый из коллег по группировке рассказывает историю, где сам предстает в выгодном свете, и всегда существует по нескольку версий одного и того же события. Извлечь истину из противоречивых сведений, как правило, невозможно. Короче говоря, факт тот, что галерейщика выперли.

Тренировочный центр в конце концов превратился в массажный салон. Об этом ей сообщил сам Феликс, еще до того, как они разругались. "Все путем, чистая физиотерапия", – сказал он. Она порадовалась за него и поверила. Ничего другого она тогда и представить себе не могла. Располагался этот массажный салон на Зоймештрассе, унылой, малолюдной улице во Фридрихсхайне, в сером доме, первый этаж, налево. Феликсов приятель Алекс однажды пошел туда делать массаж, ведь он тоже принимал эту версию за чистую монету, пока девица не предложила ему снять трусы. После чего он спешно ретировался.

Женщины были одеты как медсестры. Работали они вчетвером, в две смены, и ежедневно выплачивали определенную сумму Феликсу, официальному хозяину. Дело процветало, скоро они открыли по соседству второе заведение. Раз-другой на дню Феликс забегал туда, проверял, все ли в порядке, а вечером подсчитывал бабки. Задумывался ли он о том, чем занимается? Кто знает. Это позволяло ему очень неплохо жить.

Возможно, она была тогда немножко наивна, но у нее никак не укладывалось в голове, что ее старый друг стал вроде как сутенером. Или все дело просто-напросто в мещанских замашках? Дошло до нее слишком поздно, Феликс исчез, и она так и жила с кучей вопросов, которые постоянно роились в мозгу. Подчас у нее закрадывалось подозрение, что она совершенно не знала Феликса. А в следующую секунду перед глазами возникала другая картина: улыбаясь, он стоит на пороге ее квартиры и говорит: "Ежели что – звони".

Его бабушка один раз слышала, как он говорил об "этих телках" по телефону.

"Чем ты занимаешься?" – спросила она.

Он только посмотрел на нее и ответил: “А что тут особенного? Все так делают”.

7

В Магдебург они тогда поехали все вместе.

Было это в конце девяностых. Феликс знал, как будут развиваться события. Где-нибудь на автостоянке они встретятся с остальными и еще раз созвонятся с противниками: приедут ли те, в каком количестве, когда именно и в каком месте состоится встреча и есть ли поблизости полиция. Из восьми условленных драк удавалось осуществить не больше двух. Магдебуржцы были им знакомы по прежним совместным баталиям против Шальке и Кёльна. Тогда они дрались плечом к плечу. Сегодня на один день стали противниками.

В машине они рассуждали о том, как расправятся с магдебуржцами, какими приемами и какой тактикой. Феликс, если не шоферил, большей частью спокойно сидел на заднем сиденье, думал о своем, устремив взгляд на дорогу. Молния на черном бумбере была застегнута доверху: он постоянно боялся простуды. Мысленно прокручивал предстоящую схватку, но без толку, наперед ничего не угадаешь.

Порой в машине повисала напряженная, слегка эйфорическая тишина, как перед событием, которое неизвестно чем кончится — больницей или победой и благополучным возвращением восвояси. Раньше Феликс охотно ездил на условленные драки после футбольных матчей: делал себе имя. Теперь охоты изрядно поубавилось, он придумывал отговорки, спрашивал себя, зачем все это нужно, но не мог не участвовать — ради репутации.

Всем им хотелось хорошо показать себя в драке. И Себастьяну, который сидел с ним рядом и вообще-то учился на экономиста, и Марко, одному из их главарей, который уже распрощался с легальной жизнью. Речь для них шла о том, чтобы найти свое место в иерархии, укрепить его или повысить. Почти все они годами тренировались ради этой минуты, проводили много долгих часов в фитнес-студиях, осваивали разнообразные боевые искусства, чтобы когда-нибудь испробовать их в схватке без правил и без судей. Именно это и завораживало Феликса — уличная драка один на один, крайняя ожесточенность, беспредел. Служило доказательством, что он способен выстоять и в реальности, а не только в тренировочном зале.

В Магдебург приехали уже за полдень. Берлинцев набралось человек тридцать. Дискотека противников была расположена в конце улицы с односторонним движением, обычная бетонная постройка, приземистая, с волнистой кровлей, похожая на крытый бассейн. Бывший многоцелевой ресторанный комплекс из тех, где она провела столько вечеров и ночей своей юности. На автостоянке перед дискотекой ждали магдебуржцы, без малого человек восемьдесят.

Началась церемония взаимного разглядывания, прощупывания, провоцирования. Феликс и остальные берлинцы скинули футболки, магдебургские раздеваться не стали, чтобы в драке отличать своих от чужих. Феликс обмотал кулаки толстым слоем скотча, и они походили на бесформенные комья. Это называлось “обклеиться”. Другие надели боксерские перчатки, набитые кварцевым песком и действовавшие не хуже кастета — вообще-то такие штуки запрещались, но кого это интересова-

ло. Некоторые позаботились о назубниках и защите промежности: не новички уже, не первый раз дерутся. Скользящими, танцующими шагами они двигались вперед-назад, резко выбрасывали в воздух ногу, прицеливались кулаками в соседей, будто разминались перед спортивным состязанием. Временами слышался не в меру громкий смешок или возглас, в остальном стояла тишина, прямо-таки жутковатая, словно в этот последний миг перед схваткой каждый был сам по себе.

Феликс чувствовал, как мысли уходят, остается одно только тело. Смесь радостного предвкушения, страха и возбуждения вытесняла все прочие чувства, приводила в экстаз. О возможных травмах он больше не думал, и никто из них не думал, все пришли сюда добровольно, а в больницу обращались в их мире только слабаки или те, у кого уже не было другого выхода.

Берлинские парни, все стриженные почти под ноль, до пояса обнаженные, мускулистые, потихоньку приближались к дискотеке. От загнанных вглубь страха и агрессивности лица у них как бы окаменели, застыли, тела тоже выглядели напряженными, скованными. Казалось, только дотронься — и мгновенно последует взрыв. Во рту у Феликса так пересохло, будто он целый день жевал клетчатку, глотать было трудно; у других по спине, по груди бежали струйки пота. Главное, не выказать страха. Мозг Феликса сигналил: беги! — ноги двигались быстрее, но в сторону противника. Магдебуржцы шли навстречу, обе группы внимательно изучали друг друга, молчали, глаза в глаза, стараясь произвести максимально грозное впечатление. Метров за десять до сшибки кто-то — не важно, кто именно, — гаркнул: "Давай!". Феликс ринулся вперед.

Она пыталась представить себе, как он лупит противника кулаками и ногами, какое у него при этом лицо, что он чувствует. В конечном счете у нее в голове всегда возникала лишь этакая переводная картинка. Феликс однажды говорил ей, что лихорадочное возбуждение заставляет забыть обо всем прежде важном. Мир суживается до тесного туннеля, существуют только двое — ты сам и противник. Рассудок отключается, агрессия вырывается на свободу. В мозгу, говорил он, есть такой красный рубильник, который он переводит в позицию "бой".

Магдебург был не первым побоищем, в каком участвовал Феликс, он часто бился в первом ряду, бок о бок с ветеранами, старыми испытанными бойцами. Другие рассказывали ей, что Феликс ловко наносил высокие удары ногой, иной раз даже прыгал в толпу с криком "убью!". Невозможно поверить. А потом перед ней возникало Феликсово лицо, каким она видела его в минуты ярости: губы крепко сжаты, глаза широко раскрыты, и весь он собран, напряжен, готов отразить натиск.

По причине маленького роста и внешней субтильности Феликсу всегда приходилось вдвойне доказывать свою сноровку — себе и другим. В подобных драках его искусные боевые приемы мало что значили: побоище продолжалось считанные минуты, в любой момент могла нагрянуть полиция, тут к цели вели только быстрота и грубость. "Выжить, уцелеть, — сказал он однажды, — вот все, о чем ты способен думать". Выстоять. Феликс защищал не что-нибудь, но свою славу, ведь недаром же все говорили: этот кого хошь вырубит.

Тело его находилось в состоянии войны, вырабатывало избыток адреналина, который пьянил его, гнал кровь к голове, так что лицо багровело. Все помыслы словно сосредоточивались только на уничтожении. Боли он уже не чувствовал, а если и чувствовал, то как бы сквозь толстую

стену. Страх, упоение, жажда насилия, горячка смешивались, создавая ощущение невесомости, отрешенности от всех земных проблем. Ничто не имело значения. Кто бьет первым, тот и побеждает, гласило правило. Если первый удар достигал цели, все менялось, Феликс уже мог проследить за противником — рухнул ли тот от его удара или устоял, скривился ли, вскинул ли руки для защиты, говорит ли его взгляд о покорности или об агрессии. Немного спустя он и этого больше не воспринимал, оставалась только ненависть, яростная злость на все — на собственную жизнь, на вечные поиски денег и смысла, на друзей, семью и женщин, которые бросили его и предали. Каждому здесь приходилось что-нибудь подавлять — этот штамп, как и любой другой, содержит долю правды, но не способен объяснить всё.

Многие из тех, кто часто ездит на организованные драки, после толком не могут вспомнить, что, собственно, произошло, что они делали, о чем думали. Конечно, они там были, но лишь телом, а не душой. Один из Феликсовых друзей рассказывал, что как-то раз очнулся возле лужи крови, в которой лежал его противник. Каким образом это произошло, он объяснить не мог. И испугался — себя самого. Наверно, все дело в этой магии, в смешанном чувстве отвращения и восторга, какое охватывает тебя, когда ты видишь, на что можешь оказаться способен. Горячка насилия, полная потеря тормозов.

Она всегда искала повод, причину. Но скоро поняла, что ничего такого не было, не в пример уличным дракам дедов, где, возможно, присутствовали идеологические мотивы, да и футбольные клубы служили всего-навсего предлогом. Они дрались ради драки как таковой. Вот почему, если противника поблизости не случалось, группа разделялась, и драка шла между своими.

Тогда в Магдебурге Феликс и все остальные оказались зажаты в узкой улочке, ни вперед, ни назад двинуться невозможно. Бойцы сбились в кучу, не переставая молотить друг друга. Упавших не трогали — во всяком случае, в ту пору у них действовал такой закон. Теперь и его соблюдают уже далеко не все. Один из вожаков, приятель Феликса, упал на мостовую, но тотчас встал. Это и было самое главное: никогда не сдаваться, снова и снова вставать. Вот чего должен бояться противник, вот что создавало славу по всей стране. Феликсу тоже доводилось драться и с загипсованной ногой, и со сломанным запястьем. Иной раз зубы противника оставались у него в мякоти ладони, такие раны потом воспалялись и нарывали. На этой почве возникали всевозможные байки, которые они рассказывали в своем кругу по многу лет, со странно восхищенной ухмылкой.

Иногда Феликсу чудилось, будто он видит себя со стороны, будто дерется тут вовсе не он. Все выглядело совершенно нереальным, как в фильме, где ему выпало играть главную роль. Боль приходила позднее, после схватки. Она заглушала все прочее и для многих была, наверно, вообще единственной возможностью ощутить себя. Помимо насилия есть еще одно чувство, способное опьянить, — власть.

"Полный улет — чувствовать, что кто-то другой в твоей власти", — говорит ей Феликсов друг Себастьян, тоже ездивший тогда в Магдебург. Он смотрит на нее чуть вызывающе, будто ждет возражений. Она молчит. А когда спрашивает его и других, зачем они дрались, зачем ломали друг другу ребра и выбивали зубы, откуда шел этот слепой раж, эта жажда насилия, на них нападает странная немота, будто пережитое невоз-

можно облечь в слова. Большинство сравнивает это с адреналиновым выбросом перед прыжком с тарзанкой или с парашютом. Только там насилие направлено исключительно против тебя же самого.

Феликс тоже пробовал объяснить ей это, когда они снова встретились после многолетнего перерыва. Странный у них тогда вышел разговор, в Пренцлауэрберге, в кафе "1900", где за соседними столиками сидят женщины с длинными прямыми волосами, с темными очками, сдвинутыми на макушку, с шелковыми косынками в мелкий горошек на шее. Феликс часто здесь завтракал, приходил всегда в дорогих кроссовках, фирменных джинсах, просторных свитерах, в бейсболке, с золотым колечком в мочке левого уха. Садился в плетеное кресло так, чтобы видеть Кольвицплац и наблюдать за прохожими. Очень он любил наблюдать за людьми, а потом говорить про них гадости. Сидел широко расставив колени, скрестив руки на животе — обычно она заставала его именно в такой позе. Они часто встречались в "1900", оба жили неподалеку.

Тогда, летом 1999-го, день выдался очень жаркий, и разговор у них случайно зашел о футболе и о драках. Феликс заказал вишнево-банановый сок и сообщил, что его увлекало суровое единоборство, безвыходность ситуации. Это, мол, безусловно высочайшая и чистейшая форма борьбы — никаких вспомогательных средств, никакого оружия, честный рукопашный бой.

"Не понимаю, в чем тут кайф", — сказала она.

Он говорил все быстрее и уже не смотрел на нее, устремив взгляд в какую-то точку возле ее головы. Временами поглядывал на свой стакан, передвигал его с места на место. У нее сложилось впечатление, что такие разговоры он вел нечасто, но в глубине души был не прочь потолковать. Ее возражения побуждали его все энергичнее защищаться и все больше ее провоцировать. Казалось, он ее прощупывает. Раз она, несмотря на все его выпады, не уходит, но по-прежнему возражает, — значит, ей можно доверять.

Феликс говорил уже не о драках, а о немецких летчиках-истребителях и солдатах, воевавших в годы Второй мировой войны на Восточном фронте, превозносил их самопожертвование, отвагу и рыцарское благородство. И испытующе смотрел на нее, будто ожидая, что она сию минуту обзовет его нацистом. Феликс явно забавлялся, даже позу изменил, подался корпусом вперед, и голос звучал тише, настойчивее. И смотрел он на нее очень серьезно, будто каждое ее слово чуть ли не откровение. А когда она умолкала, тотчас утверждал прямо противоположное.

Они разговаривали уже три часа, только перебрались в другое кафе, заказали по мороженому и продолжили спор. Она ставила под сомнение все: и его веру в честь и рыцарское благородство, и требование безусловной лояльности, — говорила, что ни один человек не способен постоянно удовлетворять этим идеалам, в том числе и он. Вступалась за человеческие слабости и заблуждения, чувствуя себя слегка смешной. Кто не желает себе абсолютной дружбы, стопроцентной любви? Может, она-то и потеряла ориентацию. Подозрительно многие ее фразы начинались с "да, но...". По сути она спрашивала себя, откуда у него взялся интерес к Второй мировой войне, когда он начал читать военную литературу и как это стыкуется с его семьей, цветом кожи и происхождением. Многовато для одного раза. Они съели мороженое, она выслушала Феликса, а он принял к сведению ее контраргументы и непонима-

ние, но не согласился. Хотя к тому времени и сам уже сомневался — в безоговорочной солидарности, в безусловной круговой поруке. Но внешне сохранял лицо.

В те выходные, когда бывали драки, он теперь занимался другими делами. Кое-кто из берлинских фанатов ездил во Францию на чемпионат мира по футболу, где был до полусмерти избит полицейский Даниэль Нивель. После этого организация "встреч" еще усложнилась. Феликс, как она заметила, колебался, защищать ли это деяние или осуждать, но в конце концов все же выбрал защиту. Ее тогда испугало, как мало он сочувствовал тяжело пострадавшему человеку. Для Феликса полицейский был противником, которому полагалось учитывать возможность такого исхода. Правда, реагировал он слишком бурно. Казалось, старался убедить в правильности своих аргументов прежде всего себя.

Марко тогда и Феликсу предлагал съездить во Францию. Но Феликс отказался — очень уж далеко. А может, просто перестал понимать, зачем ему, собственно, эти драки. Однако он давно знал Марко, а с одним из осужденных соучастников преступления несколько лет работал в бранденбургской дискотеке на фейс-контроле. Во время того разговора в кафе он возмущался, что какая-то бульварная берлинская газетенка назвала его кореша "самым жестоким человеком в Берлине". Феликс был один из них. И отречься от них значило поставить под вопрос себя самого, свою жизнь.

Тогда в Магдебурге берлинцы, несмотря на численное меньшинство, одержали верх и даже вернулись еще раз, чтобы "добить". Завидев полицию, они быстро рванули к своим машинам. На обратном пути возбуждение еще не улеглось, все были на взводе и громко, наперебой рассказывали друг другу, как ловко разделали противников, какими гениальными кулачными и ножными приемами. Час героических историй. Во время драки каждый целиком сосредоточивался на себе и толком не замечал остальных. Теперь же все удовлетворенно расслабились, кое-кто сразу по возвращении двинул в дискотеку — выпить, отпраздновать, а глядишь, и подраться, если найдется охотник. Феликс обычно шел домой. О чем он думал в одиночестве, в пустой квартире? Наверно, ложился на кровать, слушал Баха и чувствовал себя прекрасно, как после победы в кикбоксерском поединке.

Почти все, кто ездил на драки, давно знали друг друга, но зачастую именно драки их и сближали, создавали ощущение, что они принадлежат к одной компании, объединившейся против полиции и против мира нормальных людей, которые каждое утро вставали в один и тот же час, шли на работу и изредка щекотали себе нервы, гоняя по автобану на скорости 180 километров в час. Что ни говори, полиция, как правило, приезжала слишком поздно, и в Магдебурге тоже, а магдебуржцы никогда никого не сдавали, в том числе и противников. Предательство не сулило ничего хорошего. Может, уже в следующий раз они поедут на драку вместе с берлинцами. Ведь, в сущности, кто противник, значения не имело, бойцовские союзы постоянно перезаключались заново. Заклятых врагов было немного, например ФК "Унион" или "Шальке", но и эти распри отступали в тень, как только намечались бои с иностранцами или Восток против Запада.

Феликс никогда не интересовался футболом, ему было все равно, кто выиграл, кто проиграл. Не его это спорт. И что у него общего с

БФК? Сразу после падения Стены Марко стал брать его с собой на матчи, познакомил с парнями. Без знакомства, если после матча назначали драку, "третий тайм", можно было спокойно ехать домой. И до сих пор обстоит так же. Надо знать друг друга, лучше не один год, и быть уроженцем страны, которая давно исчезла.

На первых порах, в начале девяностых, государственной власти практически не существовало. Распад государственного порядка и всплеск давно копившейся агрессии совершенно дезориентировал полицию, и она либо вообще не приезжала на место происшествия, либо появлялась слишком поздно. Снаряжение у полицейских было скверное, подготовки никакой. Тогда Феликс и остальные дрались со своими противниками прямо на стадионах. Чем больше крепло новое государство, тем увереннее становилась полиция. Стадионы оснастили камерами видеонаблюдения, против фанатов состоялось несколько судебных процессов, многим запретили показываться на стадионах. Поэтому "третий тайм" перебазировался на лужайки, в поля и деревни. Феликс по-прежнему ездил туда, он не был ни вожаком, ни организатором, но принадлежал к внутреннему кругу. Вскоре полицейские уже обращались к нему по имени, а через некоторое время закрыли ему доступ на все стадионы Германии.

Берлинцы, особенно фанаты БФК "Динамо", и сейчас наряду с шальковскими считаются в Германии самой жестокой и опасной хулиганской группировкой. За последние десять лет они почти не терпели поражений в драках, кое-кто даже говорит, что вообще всегда побеждали. Противники боятся их, как и полиция, которая зачисляет фанатов в особую категорию, обозначенную у них буквой "С", — это те, кто ищет конфликтов, больше не появляется ни на стадионе, ни на матчах, а ездит только на драки, до игры или после. В Берлине полиция относит к этой категории более трехсот человек. Феликс был одним из таких.

8

Возможно, в ту пору сплоченность, порука в их кругах на самом деле имела силу. Феликс в это верил. Все они много лет знали друг друга, еще по Востоку, по занятиям боевыми искусствами, по футбольным дракам, а позднее по работе на фейс-контроле. Сначала они доверяли друг другу. И в конце концов спорт, дружба, работа и гешефты роковым образом переплелись. Чем серьезнее и преступнее становились гешефты, тем больше слабело доверие и усиливалась обоюдная зависимость.

Берлинские охранники-вышибалы в начале девяностых стали прибирать к рукам и бранденбургские заведения. Устраивали побоища с деревенскими бритоголовыми и всеми "чужаками". Бывало, разгромят вечером бейсбольными битами какую-нибудь дискотеку, а наутро предлагают запуганному хозяину: "Мы можем обеспечить вам безопасность". И дело в шляпе.

Марко контролировал в Бранденбурге несколько дискотек. В одном из клубов, в Кренцлине, Феликс имел долю.

Кренцлин — деревня неподалеку от Нойруппина. По выходным Феликс с Карстеном дежурили там на фейс-контроле. Через несколько лет Карстен сел за решетку, так как суд счел доказанным, что на футбольном чемпионате мира во Франции он был среди тех, кто зверски избил и искалечил полицейского Даниэля Нивеля. Феликс Карстена недолюбли-

вал. *Странные у него взгляды. Я не хочу думать так, как он. Но притворяюсь, чтобы не скомпрометировать себя*, писал он в своем дневнике.

В Кренцлине Феликс ночь напролет сидел в углу на стуле, наблюдал за танцующими и ждал, когда один из его людей затеет свару с деревенскими. Тогда он не спеша вставал, подходил к ним и говорил: "Сейчас схлопочете". Обычно скандалисты не унимались, Феликс вышвыривал их за дверь, или дело кончалось крупной потасовкой. Осветителем в Кренцлине работал ее давний приятель-одноклассник. Он тоже знал Феликса с детства, по Йоханнисталю, и как-то раз подошел поздороваться. Феликс равнодушно взглянул на него и тотчас отвернулся. Даже бровью не повел. "По-настоящему он вроде как отсутствовал, был где-то в другом месте", — рассказывает этот одноклассник.

Феликс жил теперь в мире, который все больше отдалялся от нормальных будней остального населения. Эта жизнь была волнующей, отвратительной, жестокой и совсем другой. В Шведте, например, они целый день разъезжали по городу и "метелили" местных бритоголовых. Хотя и сами ходили с бритыми головами. Большей частью речь шла об акциях возмездия, но не всегда. "Бритоголовая деревенщина" (так они их называли) как-то раз в середине девяностых, вооружившись стальными прутьями, устроила налет на одну из дискотек берлинцев. Месть не заставила себя ждать: берлинцы солидной компанией наведались на автозаправку, где обычно тусовались деревенские. Швыряли на их машины бетонные чушки, высадили все стекла, а потом учинили погоню, во время которой несколько автомобилей перевернулось. Вероятно, не обошлось без пострадавших. Правда, сейчас об этом никто в точности не помнит. И подобных историй очень много. Дикий Восток.

Жутковатое время. Все вокруг Феликса словно бы разладилось. В его жизни не осталось почти никакой опоры, все и вся захлестнула анархия. И он проникся ощущением силы — силы группы, которая умела держать новое государство в напряжении. Спустя годы в обвинительном заключении, которое лежит на шкафу в давней комнате Феликса, будет записано: *С 1990 г. в бывшем Восточном Берлине из фанатов ФК "Берлин" и выпивал сложился обособленный "круг", каковой, по оценкам полиции, не только совершал акты насилия, но и участвовал в деятельности организованных преступных группировок.*

Тогда полиция еще ни о чем не догадывалась.

Феликс в те годы вел ночную, а не дневную жизнь. Он переехал из района Пренцлауэрберг в ближние окрестности вокзала Осткройц. Унылая округа — несколько угловых погребков, дома, со стен которых облетала штукатурка, оставляя маленькие светлые ямки. Улицы не заасфальтированы, машины тряслись по булыжнику. Все здесь напоминало Восточный Берлин восьмидесятых. Феликс жил в старом флигеле, четвертый этаж, во дворе. Летом ему были слышны голоса соседских ребятишек. Они сидели в бетонном дворе возле мусорных баков, на шерстяных одеялах, играли в классики, прыгали через резинку.

Вставал Феликс поздно, иногда часа в три дня, потом ехал в массажный салон, проверял, все ли в порядке. Потом тренировался: бицепс, трицепс, брюшной пресс, лупил по мешкам с песком и спарринг-партнерам. Ночи проводил в дискотеках — работал, танцевал, дрался. Клуб "Йойо" давно закрылся, абитуриенты учились в вузах. Мирные ночи ушли в прошлое. Теперь Феликс каждую ночь выходил на арену, где должен был снова и снова доказывать, что вправе там находиться. В дневнике

все это записывалось под рубрикой "Драки". В "Засосе", погребке поблизости от Александерплац, он с *двумя корешами* (так записано в дневнике) *отметелил одного лоха.* Бил, пока рука не заболела, а после врубил слева по голове. Дальше только два слова: *пепельница* и *табурет.* Вероятно, он швырнул ими в того мужика. *Кровь хлестала струей,* стоит чуть ниже, и еще: *Должно быть, он лишился всех передних зубов.* В скобках он приписал: *Дерьмо* – и подчеркнул. В конце страницы другая запись: *Хорошо хоть, видели это многие.* И так далее. Только места разные: "Трезор", "Электростанция", "Жетон", кафе "Москва", "Кнаак", "Контраст", деревенские дискотеки. Большинства этих заведений сейчас уже нет.

Феликс скрупулезно отмечал, какими приемами свалил противников. *Круговые удары ногой с разворотом по голове, прямой удар ногой, серия ударов кулаком.* Короткие отрывистые записи, будто сделанные второпях. Драки всегда начинались с ходу — короткая перепалка, вызывающий взгляд, а иногда всего лишь вопрос: "Нарываешься?". Феликс знал, что́ за этим последует: он выйдет с противником за дверь, а может, драка начнется прямо в зале. Иногда другие не очень-то и хотели драться, но такое случалось редко. Все происходило мгновенно, времени на раздумья не было. В итоге противник, как правило, скоро лежал на земле. Раз Феликс описал пятничный вечер в каком-то из бранденбургских клубов. Очередная неприятность. Во время драки Феликсов противник свалился с лестницы. *Я колошматил его, пока он не запросил пощады. Мне вовсе даже не хотелось так его калечить. Но он не унимался, пер на меня снова и снова. Потом, наверно, приехала "скорая помощь".* Такое впечатление, будто он смотрит на себя как на чужака, с легким удивлением, зачастую испуганно, иногда даже пишет о себе в третьем лице. *Он боится показать себя таким, каков он есть,* записано в другом месте дневника.

После этих ночей он в одиночестве ехал домой и плакал. Думал о своей подружке, которая была с ним два года, а теперь ушла. Потерянная любовь не давала заснуть, он лежал на кровати, слушал "Пинк флойд", глядел в потолок и размышлял о том, почему она не звонит и что он сделал не так. А потом приходила другая мысль, которая иногда, в совсем уж скверные минуты, помогала ему. Мечтами он переносился в другой мир: *Я индеец. Воин. Молодой, бесстрашный, сильный.*

В земном мире он часто болел, простужался, принимал таблетки. Раз в неделю ездил обедать к деду с бабушкой, к матери или к отчиму. С ним он развлечения ради музицировал на синтезаторе и вел длинные, странные философские дискуссии о "факторе времени" и о том, что на все можно смотреть с разных точек зрения. И уже на обратном пути Феликса так и подмывало сцепиться с каким-нибудь задиристым автомобилистом.

Ему сравнялось двадцать четыре, профессиональный охранник-вышибала, хозяин массажного салона, любитель Баха, поклонник индейцев и ипохондрик. Вечером он мог гульнуть с коллегами, подраться и закончить в борделе. При необходимости иной раз выпивал немножко спиртного. На другой день лежал в постели, один, в депрессии, думал о смерти. Роли его жизни, похоже, путались. И он видел, как все глубже в них увязает. *Роли, которые часто играл ради других, я принимал слишком всерьез. Вживался в них. И забыл, что такой, каков я на самом деле, я по-прежнему силен, что притворяться мне незачем.*

Вокруг Феликса всегда было много людей, до самого конца. Со своим старым другом Свеном он каждую неделю ходил в кино или обедал у

него дома. Встречался с разными корешами, влюблялся то в одну, то в другую женщину. Большинству он вспоминается как весельчак, с которым всегда можно было от души посмеяться. С фасадом полный порядок. А в дневнике читаешь: *Приходится писать, потому что поговорить не с кем.* Может, он пробовал, а может, и нет. Слабость Феликс позволял себе только в одиночестве, иногда. Даже к психологу обращался, и тот сказал, что проблемы его коренятся в детских переживаниях. После нескольких визитов Феликс бросил эту затею. Внутреннее его "я" и внешнее, показное принадлежали как бы двум абсолютно разным личностям. Временами они совпадали, но ненадолго. Как правило, жили параллельно.

Ни Феликсовы друзья, ни родственники понятия не имели, что творится у него в душе. Алекс пытался определять настроение друга по музыке, какую тот слушал: "Классика означала, что все в ажуре. Дэт-метал — что-то опять назревает". Казалось, чем больше времени проходило после разрыва с подругой, тем больше Феликс ожесточался. Драки набирали свирепости, самокопания шли на убыль. Все делалось безразлично.

В ту пору она раза два-три случайно сталкивалась с ним на улице в Пренцлауэрберге. Стрижка у Феликса была еще короче прежнего, в левом ухе поблескивало золотое колечко, он шел, обняв за плечи подружку. Подружка — крашеная платиновая блондиночка — всегда молчала. Они с Феликсом здоровались, ненадолго останавливались поболтать: "Что поделываешь?" — "Как жизнь?" Она спрашивала о его семье, он — о ее. Уже через несколько минут в разговоре возникали затяжные паузы. Оба держались натянуто-дружелюбно, как бывает, когда встречаешь знакомого, которого давно не видел, и обнаруживаешь, что говорить, в общем-то, не о чем. На прощание они обменивались телефонами, и каждый раз Феликс называл новый номер. Но ни он, ни она так и не позвонили друг другу.

В их жизни больше не осталось точек соприкосновения. Он владел массажным салоном, а по ночам работал охранником-вышибалой. Она училась, думала съездить на годик в Англию. Прошло совсем немного лет, но их жизни отдалились друг от друга. А их настоящее было слишком разным — чересчур много возможностей, чересчур большой выбор, великое множество различных жизненных планов. Долгие годы они провели в своеобразном коконе, искусственно отрезанные от остального мира. И там сложился совершенно особый биотоп. Им внушали, что все они одинаковы. В конце концов они, пожалуй, отчасти в это поверили. И вдруг, откуда ни возьмись, масса тонких различий, которые разобщили их поколение, — разные социальные слои. Теперь важное значение придавалось тому, учишься ты или работаешь, можешь поехать за границу или нет, чем занимаются родители. Вероятно, это всегда играло определенную роль, но не настолько большую.

Многие из Феликсовых и ее друзей пропали тогда из их жизни. Зачастую без всяких ссор, вполне достаточно было одного слова или взгляда. Безобидный упрек в "мещанстве" мог разрушить долголетнюю близкую дружбу. Очень многие перестали друг с другом разговаривать, после первоначальной эйфории позиции мало-помалу незаметно ужесточались. Это поколение боролось не за прошлое, не за жизнь, не за контакты в штази, как их родители. Это поколение боролось за настоящее. Они заводили новых друзей, шли работать или учиться. И приобретали очень

разный опыт — во всяком случае, так они думали тогда, — а это отдаляло их друг от друга.

Она заметила, что ее западные друзья почти всегда оставались в своей компании: гимназисты дружили с гимназистами, студенты — со студентами, рабочие — с рабочими. Дружбы, пересекающие эти социальные границы, были редкостью и вызывали легкую насмешку. Тамошнее поколение сверстников варилось в собственном соку. Все находящееся за пределами секционных родительских домов и сдобных булочек воспринималось лишь с оговорками и тотчас же забывалось. Социальные слои, отличные от того, в каком они выросли, для них как бы не существовали, а если и существовали, то считались менее обеспеченными.

Она и Феликс родились и выросли в стране, где функционеры от народного образования отправили их всех в одни и те же школы и классы. Там они провели сообща десять лет — безразлично, на общеобразовательной или на гимназической ступени, безразлично, из каких были семей. Равенства они тем не достигли, но сблизились. Если бы она выросла на Западе, где после шестого класса дети зачастую переходят в разные школы, то со многими из своих друзей вообще бы не познакомилась. Не сидела бы с ними годами за соседними партами, не ходила бы в те же дискотеки, не смеялась бы на уроках военной подготовки над масками из чулок для защиты от атомной смерти и не пела бы хором "Испанское небо". Они бы просто никогда не встретились. Их жизни не пересеклись бы.

Пройдет еще некоторое время, и они с Феликсом снова сблизятся и обнаружат, что при всей новой непохожести могут говорить друг с другом. В первые годы после падения Стены они онемели. Все до такой степени потеряли уверенность, что каждый упорно цеплялся за кое-как найденный образ жизни, который обеспечивал маломальскую стабильность. Друзья иногда рассказывали ей, что мельком видели и встречали Феликса. Тогда ее на миг пронзала боль — как о чем-то, кажется, утраченном навсегда, как о потере, о которой все еще сожалеешь, но в данный момент ничего не можешь изменить.

Феликс никогда не имел близких друзей среди западников, он их отвергал. Слишком они другие. Он по-прежнему жил в кругу давних друзей по бойцовскому спорту и новых приятелей, тоже сплошь восточников. Все они составляли последний островок хорошо знакомого детства, поблекших воспоминаний. Сначала общность была крепкая, существовали, конечно, мелкие подгруппки, но по-настоящему серьезных раздоров у них не случалось. Насчет большого раскола середины девяностых есть несколько версий. Одни винят во всем наркотики. Другие считают, что дело шло о влиянии иностранцев в охранном бизнесе Востока.

Их общность расколола борьба за главенство в бернауской дискотеке "No Limit". Один пайщик хотел поставить охранниками арабов, другой предпочитал восточноберлинцев. В итоге состоялась стрелка на парковке перед "No Limit". Арабы подкатили на шести шикарных машинах, лениво, вразвалку вышли, все в бронежилетах, полагая, что гешефт у них в кармане. Однако Марко и другие загодя расставили вокруг парковки несколько сотен своих молодцов. Пайщик, делавший ставку на арабов, очень быстро смекнул, что шансы у него нулевые. Люди Марко вместе со вторым пайщиком взяли под контроль еще две дискотеки. Зато "Венеру" в Хоэншёнхаузене потеряли, уступили арабам.

Затем началась борьба за власть в собственном кругу. За ночь они зарабатывали полторы-две сотни марок, вчерную еще больше, ведь неофициально им выплачивали долю всех поступлений от продажи наркотиков. Они громили друг другу дискотеки, поджигали их, штурмом брали двери. Стали конкурентами. В полицию, правда, никто не обращался. Совершить такое предательство означало бы подписать себе смертный приговор. С этим государством они панибратствовать не будут. Никогда.

Феликс всегда находился среди массы, хорошо ладил со многими. Тренировался в Боксерском клубе, сперва в Пренцлауэрберге, потом на севере Берлина. Официально принадлежа к группировке Боксерского клуба, он (по путевке "все включено") ездил с ними на Гран-Канарию, где все они, до пояса обнаженные, сфотографировались возле гостиницы. Феликс сохранил эти фотографии в картонной коробке, в комнате у деда с бабушкой. Гордо носил футболки и бейсбольные кепки с белой надписью *Боксерский клуб*. Позднее и в клубе возникли распри по поводу гешефтов, денег и всяких оговоров. Но он продолжал там тренироваться.

В середине девяностых Феликс работал охранником в клубе "Место встречи Буххольц", занимавшем старую виллу на окраине Берлина. Его приятели говорят, что он там "всех разогнал". В один прекрасный день никто не пришел. В 1995-м один из посетителей заявил на него в полицию в связи с полученным телесным повреждением, но хозяин и другие охранники дали показания в его пользу. Феликса оправдали. Немногим позже он вместе со своим старым другом Свеном из "Йойо" занял место Марко в клубе "Кнаак". Марко к тому времени уже обратился к более прибыльному бизнесу — торговле наркотиками.

"Кнаак" воплощал для них одно из важнейших воспоминаний о Восточном Берлине. Располагался он в районе Пренцлауэрберг, на одной из тамошних главных улиц, на задворках старого дома, в квартире. Из Йоханнисталя она добиралась туда почти час. Долгое, бесконечное ожидание на лестнице, в компании подружек. Очередь стояла впритирку, ни вперед, ни назад двинуться невозможно, носовой платок из кармана куртки и то не достанешь. Изнутри долетала музыка, постпанк, — как обычно, "Кьюэ" и "Смитс", кое-кто на лестнице подпевал. Наконец очутившись у входа, они рисковали угодить под проверку документов, что могло поставить на вечере крест. Детей "до шестнадцати" в "Кнаак" не пускали.

Одна картина навсегда врезалась ей в память: она смотрела в лестничное окно на мокрый задний двор. В бледно-желтом свете фонаря стояли девчонки, с ног до головы в черном, в остроносых туфлях, со взбитыми волосами, и юнцы в костюмах и шляпах, с набеленными лицами. На всем этом словно бы лежал отпечаток нереальности — точь-в-точь двадцатые годы. Их даже снимали французские киношники. Она и сейчас помнит, какое глубокое душевное удовлетворение охватило ее в те минуты. В этой серой, унылой стране они были особенными — даже Запад решил, что они заслуживают репортажа.

В начале девяностых клуб "Кнаак" расширился. Теперь он занял весь задний двор, расползся на несколько этажей. Она еще несколько раз бывала там, однажды с Феликсом. Они сидели во дворе, на белых пластмассовых стульях, и разглядывали публику. Обстановка изменилась, все не так, как раньше. Позднее она тоже мельком видела здесь Феликса. Он стоял в подворотне возле кассы, как всегда с улыбкой, как всегда в бум-

бере. Со всеми группировками берлинских охранников-вышибал он поддерживал хорошие отношения, они его уважали. Феликс знал охранников психушки, потсдамцев, рансдорфцев, которые группировались вокруг дискотеки "Контраст", что на мюггельзейском пляже. Ходили слухи, будто они связаны с "Ангелами ада", потом пошли разговоры, что они с "Ангелами" порвали. Полиция считает их самой опасной на данный момент берлинской группировкой.

С 1996-го начались ночи в Гольцене, Бранденбург. Там Феликс дежурил на фейс-контроле вместе с Оливером. Оливера он тоже знал с восточноберлинских времен, по тренировкам. После падения Стены оба ненадолго потеряли друг друга из виду. А теперь сидели в деревенской дискотеке и по очереди читали вслух книжки о Второй мировой войне, общем их увлечении. "Храбрые солдаты — это высший класс, так Феликс считал", — говорит Оливер. И Железный крест он очень ценил. Парни охраняли дискотеку в глубинке и погружались в прошлое. Искали что-нибудь такое, в чем могли бы увидеть сходство с самими собой. Еще в ГДР Оливер выучился на управляющего складом и служил в армии. Обучал солдат рукопашному бою. После объединения он демобилизовался. "Я не мог понять, почему наша армия тогда не устроила путч", — твердит он до сих пор. ННА[1] как образец для подражания не котировалась. Ее победили без боя.

Как-то раз перед работой Феликс с Оливером поехали в один из бранденбургских замков на концерт классической музыки. Это было нечто исключительное. Публика в парадных костюмах и вечерних платьях, с бокалами шампанского в руках, беседовала о Бахе и Моцарте. Феликс с Оливером расположились на стульях в саду и, закрыв глаза, наслаждались музыкой. Ненадолго они почувствовали себя частью нормального населения, которое днем работало, а вечером развлекалось. На короткое время оба оказались среди этого населения, а не наблюдали за ним со стороны. Под конец был еще и фейерверк.

Оливер до сих пор рассказывает об этом вечере как о чем-то совершенно необычайном — видно, в его жизни подобные события случались редко. "С Феликсом такое было нормально. Он в этом разбирался. С ним и в оперу можно было сходить", — говорит он. После концерта оба вернулись прямиком в свой мир, в Гольцен на фейс-контроль.

Об Оливере она слышала еще до Феликсова исчезновения. Феликс рассказывал, что Оливер здорово ему помог. "Никогда бы не подумал", — медленно добавил он.

Она вдруг сообразила, что почти со всеми друзьями Феликса познакомилась уже после его ухода. Одни вызывали у нее бóльшую симпатию, другие — меньшую. Порой она думала, что теперь, благодаря им, узнает его гораздо лучше. Будто контакт с ним пока не прерван. Но иные рассказы приводили ее в замешательство, речь в них словно бы шла о ком-то другом. Не о Феликсе.

Впервые она увидела Оливера летом 2000-го, в день прощания с Феликсом, в одном из йоханнистальских ресторанов. Родные, большинство друзей и знакомых собрались там, чтобы помянуть Феликса. Оливер был в очках, в черном костюме, невысокий, плотный, с короткими темными волосами. Движения неторопливые, скупые. Когда он вставал или садился, друзья и знакомые провожали его взглядом. Многие явно хоте-

1. Национальная народная армия (ГДР).

ли очутиться поближе к нему и были донельзя рады, если он коротко им кивал. Кое-кто, напротив, демонстративно его игнорировал. Но безразличным не оставался ни один. Она обратила внимание, что к некоторым он прикасается левым виском, другим адресует короткий кивок, а третьих вообще обходит стороной. Похоже, среди них существовала неведомая ей субординация, и Оливер, видимо, играл роль вожака. Любопытно, какое место занимал Феликс? – думала она.

В конце девяностых Оливер учредил собственную охранную фирму и собрал вокруг себя группу вышибал и спортсменов-силовиков; все они знали друг друга много лет, еще с гедеэровских времен. Выход на арену был ознаменован грандиозной вечеринкой в "Исте". Надо же показать, какие они крутые. Кончилось все, как водится, скандалом: народ сперва крепко выпил, а затем принялся колошматить друг друга по голове стаканами и кружками, так что в итоге пол сплошь был залит кровью и водкой. Феликс тоже участвовал в этой вечеринке, и она пыталась представить себе, как он, отвергавший спиртное, смотрел, как остальные напивались до потери пульса. В результате клуб понес большой материальный ущерб, и им пришлось заплатить за погром пять тысяч марок. Вечеринку повторили еще раз, почти без женщин. Оливер сохранил фото с этой вечеринки: двое бритоголовых ухмыляются в объектив, взгляд у обоих слегка отсутствующий, как у всех пьяных, физиономии в крови, им весело. С той поры группа Оливера получила известность в своем мире. Сейчас они иногда обеспечивают безопасность на ежегодном берлинском шоу "Лав-парад" и хоккейных матчах, охраняют по поручению строительных компаний жилые кварталы.

Постепенно Феликс отошел от Боксерского клуба, больше работал на Оливера. В фирме он числился "середняком", то бишь поручали ему не худшую, но и не лучшую работу. Впрочем, начинать с самого низу Феликсу не пришлось, ведь они с Оливером давно знали друг друга. Однако Феликс продолжал тренировки в Боксерском клубе, что вызывало конфликты. Оливер имел зуб на тамошних людей, из-за каких-то давних историй. Вдобавок они были конкурентами: группа Оливера охраняла некое бранденбургское заведение, а кое-кому в Боксерском клубе это не очень нравилось. Как говорят, в Клубе трижды устраивали поджог. За отместкой наверняка тоже дело не стало, хотя подробностей ей не рассказывали. В конце концов Оливеру закрыли доступ в Боксерский клуб. Типичное развитие – внутренние распри. Внешне по-прежнему видимость единства.

После исчезновения Феликса она раз-другой встречается с Оливером, обычно в его конторах. Он ей симпатичен. И помогал Феликсу. Говорит Оливер негромко, быстро, лаконично. И неизменно вежлив, заранее предупреждает по телефону, если не может с ней встретиться, что у друзей Феликса большая редкость. Почему-то у всех тут вечно масса важных дел. Твердо договориться с ними о встрече совершенно невозможно, почти всегда они в последнюю минуту отказываются: дескать, нет времени, дела. Интересно, как Феликс выдерживал такую необязательность. Часто он сидел возле телефона, дожидаясь звонка или прихода Алекса. Бесплодное ожидание приводило его в ярость, но в итоге он, махнув рукой, смирялся.

Оливер не такой. Выглядит сдержанным и спокойным, но не любит, когда дела выходят из-под контроля, идут не по его плану. Тогда он сердито сводит брови – кажется, вот-вот крик поднимет. Но берет себя в ру-

ки, хотя и с трудом. Во время их разговоров мобильник у него поминутно трезвонит, и он отдает в трубку немногословные распоряжения. А иногда затем, коротко качнув головой, говорит: "Идиот". С виду он мягкий, открытый, только вот пальцы все время в движении. Он сцепляет их в какие-то заковыристые фигуры или просто нервно барабанит по столу. И это единственный знак, что в нем таится и кое-что другое — сила, напряжение, суровость.

В Оливеровой группе, или фирме, существует особая система социальной защиты: каждый, кто на него работает, обязан отчислять долю своего дохода в общий котел. Из этих денег платят адвокатам, помогают тем, кто в тюрьме или в иной сложной ситуации. Оплатили они и одного из Феликсовых адвокатов, купили Феликсу в камеру телевизор, кассетник, кипятильник, навещали его. Хотя за решетку Феликс угодил по причинам, относящимся к периоду, когда он еще не работал у Оливера.

Феликс восхищался этой системой. Она давала членам группы ощущение, что все они — часть единого большого целого, которое о них заботится, прямо как при социализме, забота о каждом. "Мы живем несколько вопреки духу времени. Все ускоряется, становится поверхностнее. Нам необходимо крепкое братство, дающее людям опору", — говорит Оливер.

Так они пытаются противостоять западному обществу, хотя давно уже стали его частью. Постоянно чувствуют, что все нестабильно и не навсегда — система, работа, дружба, любовь. Это способно внушить страх — страх, что ты вполне заменим и тебя могут бросить. Всяк живет для себя, нет больше ничего объединяющего. Мир глобализации, где все и вся, кажется, взаимозависимо — только никто не знает как — и где уже никто ни за что не отвечает. Такая свобода приводит их в замешательство и выставляет всё зыбким и недолговечным. "Все переезжают, никто почти на месте-то не сидит. Все ценности меняются", — говорит Оливер.

Феликс никогда не испытывал потребности увидеть мир. Дед с бабушкой каждый год покупали ему билет в Южную Африку. А он так ни разу туда и не слетал. "Феликс предпочитал сидеть в тюряге, чем в одиночку торчать на краю света", — говорит Оливер. В другом месте он ни для кого ничего не значил. Когда Феликс с корешами ездил на Канары, они и там оставались в своей компании. Ему хотелось чего-то неизменного, прочного, что не развалится в один миг, как его страна и все некогда казавшееся незыблемым. Так группа стала для него параллельной реальностью, параллельным обществом и параллельной семьей. Это она могла понять. Хотя его мир был ей чужим, она вполне понимала такие мечты. Не забыла, как сама горевала, когда ее друзья словно бы равнодушно исчезали за кордоном. И обнаружила у себя склонность уговаривать близких друзей, чтобы они оставались рядом с ней. Что-то произошло. Ей не хотелось, чтобы друзья продолжали уезжать, незаметно скрываться, ведь тогда от давней жизни скоро не уцелеет ничего, да и от новой тоже. Порой она цеплялась за них слишком долго, под конец от дружбы уже и следа не было. Каждая следующая утрата, пусть даже крохотная, словно бы ставила ее жизнь под вопрос.

Вероятно, с Феликсом обстояло примерно так же, хотя он реагировал иначе, находил другие ответы, для нее неприемлемые. Феликс стал частью группы, которая отмежевалась от внешнего мира, следовала собственным строгим законам и наивысшими добродетелями считала такие ценности, как "честь, верность, рыцарское благородство", — ценно-

сти столь неумолимо категоричные, что едва ли кто способен руководствоваться ими всегда и во всем. А он полагал, что нарушивший эти законы должен нести наказание.

Один из друзей Феликса и Оливера на время уезжал за границу. Вот и попросил знакомого охранника присмотреть за своей подружкой. В итоге произошло то, что частенько происходит в подобных ситуациях: они влюбились друг в друга. Роман получил огласку. И кончился плохо. Оливер и еще несколько человек вызвали влюбленного в клуб, предъявили обвинение. Потом один — тот самый, с кем он много лет дежурил на фейс-контроле, — избил его, сломал несколько ребер и два пальца, вышиб два-три зуба. Остальные только наблюдали. А после все вместе поехали к нему домой и забрали из квартиры вещи, принадлежавшие им или фирме. Отныне работа на фирме навсегда была ему заказана, да и другие охранные предприятия в Берлине, вероятно, его не возьмут. В этих краях для него все кончено. Какое-то время они еще терроризировали парня, резали шины на его автомобиле. Нигде в городе он не чувствовал себя в безопасности. "Напоследок мы собирались повесить ему на дверь свинячью голову", — говорит Оливер. Всерьез. Ни дать ни взять этакая восточногерманская "Коза ностра". Парень был одним из них и обманул своего и их друга. "Если это ничего не стоит, что же тогда вообще имеет значение?" — вопрошает Оливер. Он бы и сейчас вредил изменнику, если б мог.

Они живут по шаблону. Ездят в огромных автомобилях, появляются на людях с хорошенькими женщинами, иногда носят костюмы и не прочь пококетничать с мафией. Тот охранник предпочел уехать из Берлина, вернулся домой в родной восточногерманский город. Для него больше не было места в Берлине. Братство отвергло его. Берлин оказался под запретом.

У нее в голове не укладывается, что можно вот так просто избить человека, с которым не один год дружили, работали, отдыхали.

Оливер смотрит на нее с легким удивлением. "Когда все время сталкиваешься с насилием, сам тоже меняешься", — говорит он. Решительно и немного печально. Наклоняется вперед, крепко сжимает руки. Иногда Оливер размышляет о том, во что они превратились, но не подолгу. Насилие — его реальность, его будни. Оно, точно вирус, прокрадывается в жизнь и заражает все мысли. В конце концов ты уже не в состоянии от него избавиться, оно следует за тобой везде и всюду.

"В той карательной операции Феликс наверняка бы стал первым номером", — говорит Оливер. Хотя Феликс тоже иной раз влюблялся в чужих женщин и кое у кого из бывших друзей руки чесались поколотить его. Женщины в их кругу играют важную роль, они — символ статуса, ими похваляются и привлекают к себе внимание. Если кто из их компании увивается за подружкой другого, он рискует поставить себя "вне закона". Тогда каждый, увидев его в обнимку с этой женщиной, может встать и врезать ему по морде. Даже если кто-нибудь только заикнется, что ему нравится некая женщина, остальные практически уже не вправе на нее смотреть. Таковы их законы. Они требуют однозначности во всем, вплоть до частных и интимных отношений. Безоговорочная лояльность.

Потому они и любят музыку группы "Бёзе онкельз". Ведь эта группа владеет искусством вкладывать в простые фразы всю сложность жизни. И все вечно были против нее — пресса, публика, общество. Некоторые

диски до сих пор под запретом. В их песнях столько силы, оттого что там нет никаких полутонов. Феликс любил "Бёзе онкельз", особенно старые виниловые пластинки восьмидесятых. Он слушал их еще в гедеэровском Восточном Берлине, контрабандные западные записи. Иные песни, казалось, были написаны только для него, к примеру "Законы улицы":

Лишь никогда не теряй лицо,
не выдавай ни слабости, ни страха,
ведь с малодушными никто не считается.
Схватки на стадионах, схватки на улицах,
насилие без конца —
вот выражение недовольства и безработицы.

"Бёзе онкельз" тоже выносят обо всем безоговорочные суждения, постоянно провозглашают экстремальные истины в последней инстанции. Каждая строчка заканчивается тремя незримыми восклицательными знаками. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" — эту фразу из одной их песни Феликс, Оливер и другие сделали девизом своей жизни. И Феликс воспринимал ее до ужаса серьезно. Жестокая логика не оставляет места слабости.

С тех пор "Бёзе онкельз" успели измениться, давнишние правые тексты им теперь ни к чему. "Западники они и есть западники, деньги хотят зарабатывать", — говорит одна женщина из группы Оливера. С презрением. Измена собственному делу — в этом для них весь "Запад". Такое они не приемлют.

Когда-то давно эта группа пела: "Ведь мы — другие, гордые, неугодные". Феликс всю жизнь чувствовал себя другим. Многие в их кругу прямо-таки культивируют свою "непохожесть". На праздниках при случае распевают пионерские и армейские гедеэровские песни вроде "Мы защищаем родину на суше и на море". И радуются, когда наивные слушатели принимают их за нацистские.

В конечном итоге Феликс потерпел крах из-за принципов, которые считал жизненно важными, но не всегда мог соблюсти, так ведь этого, вероятно, не может никто. Другие из группы Оливера говорят о Феликсе: "Он был крутой". Что это значит, они и сами толком не понимают.

Феликс в себе ничего крутого не находил, он вообще не мог в себе разобраться, нити его жизни все больше спутывались: с одной стороны, африканское происхождение и дед с бабушкой, святые люди, нравственные примеры, борцы; с другой — реальность с мелкими ежедневными стычками из-за денег и статуса в своем кругу. Внешне он изображал жесткого, несгибаемого бойца, внутри был неуверен, раним, полон сомнений.

Феликс нуждался в группе. Большинство говорит, что ему требовалось руководство. Группа давала ему все недостающее: дружбу, защищенность, ясность. Он с детства так жаждал ясных ответов, оттого что получал их редко.

Но вместе с близостью возникает и теснота. Можно ли вообще выйти из группировки?

"Вообще-то нет", — говорит Оливер. По сути, это было бы предательство. Группировка властвует через взаимную симпатию и страх.

Что, если один возьмет и даст показания против другого? Дружба здесь тоже имеет четкие границы.

Удивительно, что лишь считанные Феликсовы друзья и знакомые знали, где он живет. А уж дома у него и вовсе почти никто не бывал. Родители, детство, семья — в их среде темы запретные, иначе можно поставить себя под удар, да и ничего веселого, интересного в их историях наверняка бы не нашлось. Мало кто вырос при отце. Кстати, многие даже фамилии Феликса не знали. Обычно они зовут друг друга по именам либо по кличкам. Это создает ощущение общности, но вопросов, прежде всего личных, они уже не задают.

Свои частные проблемы Феликс обсуждал преимущественно с женщинами, потому что перед ними едва ли мог быстро потерять лицо. В семье он тоже все больше молчал. И в конце концов родители, наверно, перестали задавать вопросы. А может, и вправду не хотели знать, как он жил. Даже его лучший друг Свен — днем Феликс часто сидел у него на квартире, а ночами они вместе стояли на фейс-контроле, — даже Свен узнал о нем очень мало. В итоге Феликс остался одинок, и в своей группировке тоже.

Некоторое время, очень недолго, Феликс думал, что отыскал свои великие добродетели: сплоченность, честь, мужество — в футбольных драках, однако и там вскоре заметил, что никто друг другу не помогает, что все сплетничают за спиной друг у друга. И он перестал ездить на условленные драки. Больше всего он мечтал по-настоящему найти свое место, добиться признания. Часто ему казалось, что он вечно где-то на перепутье — между черными и белыми, между Германией и Африкой, между своей семьей и друзьями из группировки.

“Феликс не умел расставаться”, — говорит Оливер. Поэтому он почти не выезжал из страны, да и людей покидал не по-настоящему. А она решила, что за те годы, когда они не виделись, Феликс забыл ее, навсегда в ней разочаровался. Остальные ее друзья через три-четыре года снова начали звонить, только Феликс будто сгинул.

Задним числом она не раз спрашивала себя, почему раньше не попыталась его разыскать. Знала же, где живут его дед с бабушкой, хотела им позвонить, но так и не собралась. Успокаивала себя тем, что номер телефона наверняка изменился, а может, он и не захочет с ней разговаривать. В конце концов она узнала его телефон через справочную. И даже несколько раз позвонила, но трубку никто не снял. Уже который год Феликс и на улице ей не попадался. Человек из другой жизни, безвозвратно исчезнувший, как бы вовсе не существующий. Однажды она встретила общего знакомого, и тот дал ей номер Феликсова мобильника. Однако и этот телефон не отвечал. На ее расспросы о Феликсе знакомый только загадочно усмехался и повторял, что слышал весьма странные вещи. Между прочим, Феликс разъезжает теперь на большом “БМВ” и, похоже, замешан в очень любопытных делишках. В подробности знакомый вдаваться не пожелал. Только сыпал намеками и оставил ее в уверенности, что ее старый друг заделался наемным киллером.

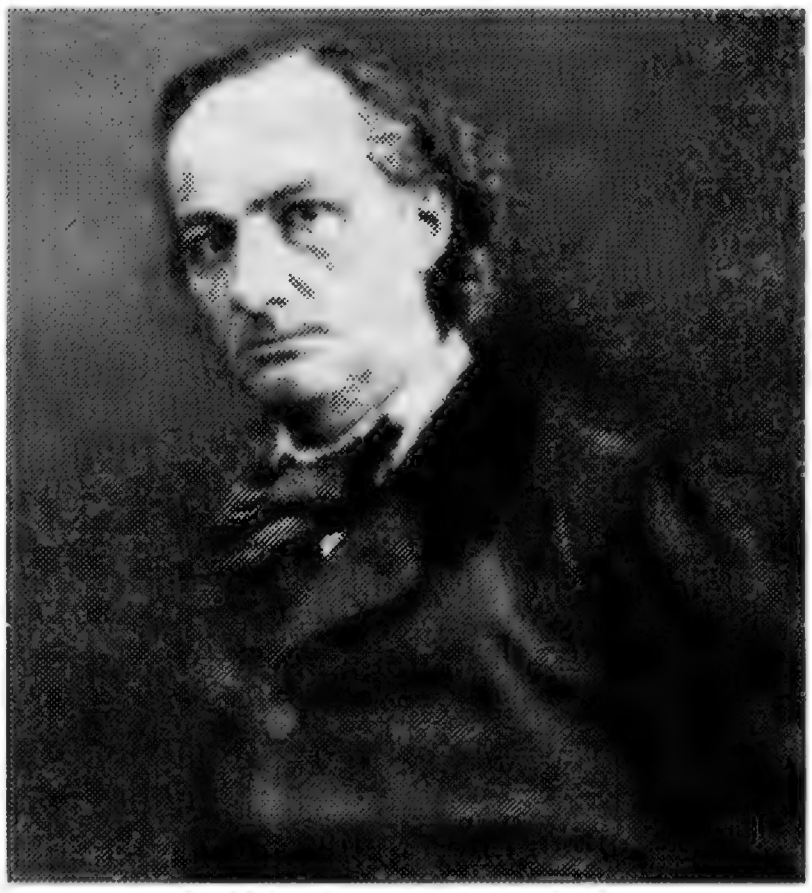
Сейчас она стоит в его комнате и понимает, что ошибалась. Под полкой справа у стены большая картонка, раньше в ней были кастрюли. Теперь там лежат давние ежедневники, адресные книги, письма, фотографии, все вперемешку, кое-что совсем старое. Среди этих вещей она нашла свое извинительное письмо Феликсу, еще какие-то письма, про которые давно забыла, и фотографии. На конвертах сохранились гедеэровские марки, и почерк у нее совершенно детский, с кружочком над “i”.

Она держит в руках письма, и у нее не укладывается в голове, что он хранил их все эти годы. Переезжая, всякий раз вез их с собой. Она-то думала, Феликс выбросил из своей жизни всех, кому уже не было там места. Он умел быть жестким, когда в ком-нибудь разочаровывался. Решительно и быстро порывал с этим человеком. Никаких объяснений не принимал – доверия нет. Феликсу хотелось, чтобы друзья принадлежали ему целиком, на сто процентов, но с их точки зрения он требовал слишком многого. Иногда вечером он звонил бабушке и спрашивал: "Можно прийти на ужин?" Если она за день устала, то говорила в ответ: "Знаешь, лучше не сегодня". Голос у него сразу менялся: "Ладно, тогда я вообще больше не приду". И в конце концов бабушка всегда сдавалась. Феликс хотел, чтобы все его любили, безоговорочно, каждую секунду его жизни. Ведь в глубине души он и сам любил безоговорочно.

В его комнате она осознает, до какой степени он был привязан ко всем, кого некогда любил, до какой степени горевал о каждом. Ведь даже спустя годы не мог расстаться с их письмами, открытками, приглашениями на вечеринки. В эти мгновения ей вдруг опять все становится ясно – и почему он ей нравится, и что в нем особенного. Она тронута Феликсовой эпистолярной коллекцией давних друзей. Узнает в этом себя и собственную неспособность внутренне расстаться с когда-то любимыми людьми. У нее тоже хранятся старые письма, от тех, кто некогда был ей важен, но давным-давно ушел из ее жизни.

Окончание в следующем номере

Шарль Бодлер



Стихи

Перевод с французского и вступление Анатолия Гелескула

Жгучий взгляд

Бодлера трудно любить. Но будь иначе, он, наверно бы, оскорбился. Однажды пылкий почитатель, признаваясь Бетховену в бесконечной любви, уверял, что над каждым его опусом плачет. Бетховен осадил его по-бетховенски: "Музыка, от которой плачут, — плохая музыка".

Трудная любовь — долгая. Марина Цветаева (по смутным, правда, свидетельствам) не любила Бодлера, но однажды, едва ли не за ночь, создала его лучший русский перевод — "Плавание". Уловила ли свое — "пора, давно пора Творцу вернуть билет"? И только ли свое? Вернуть билет — это бунт Ивана Карамазова. И те подземные корни, что пронизали русскую литературу задолго до Достоевского и даже Пушкина. И странно, мизантроп, эгоцентрик и на чей-то взгляд почти некрофил Бодлер, такой, казалось бы, чужой, вплелся в эту корневую сеть. И, видимо, не только русскую. В романе Грэма Грина "Комедианты" персонаж убеждает молодого гаитянского поэта, талантливого, умного идеалиста — росточек культуры в шабаше мракобесия — не идти в партизаны. Аргумент: "Вы ведь можете написать об этом". Об этом уже написано, отвечает чернокожий интеллигент и смертник — бодлеровское "Плавание на Киферу".

Ладно, все это в конце концов литература, словесность. Но когда гестаповцы расстреливали героя Сопротивления Жана Прево, пули пробили спрятанный на

© А. Гелескул. Перевод, вступление, 2004

груди листок с переписанным "Лебедем" Бодлера. Это уже не словесность. И не словесность первые русские переводы Бодлера — переводы народовольца Петра Якубовича, приговоренного к виселице и помилованного вечной каторгой. Столетие спустя Бодлера переводил очередной каторжанин — по-новоязовски "зэк" — Иван Лихачев. И это еще одна загадка Бодлера: почему угрюмейший из поэтов протягивал руку обреченным и уводил "от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови".

Имя Бодлера давно и привычно рифмуется с fin de siècle. Конец века — склеротическое время старческих болезней и причуд. Сегодняшняя, случайно попавшая на глаза аттестация поэта даже забавна — "грустный мистик Бодлер". Грустить Бодлер — поэт Бодлер — явно не умел; смертельно тосковать — да. И с мистикой явно не ладил. "Острый галльский смысл", с которым он боролся как художник и визионер, был у него в крови. Но помимо всего, какой, простите, конец века? Бодлер — ровесник Некрасова. Да, век выглядел по-разному. Когда в Петербурге отменяли крепостное рабство, в Лондоне приступали к строительству метро, что, впрочем, не сделало британскую столицу приглядней, и недаром Лондон ошеломил Достоевского, с ужасом ощутившего, что буржуазный Париж и чиновничий Петербург — это цветочки, а ягодки вызрели там, за Ла-Маншем.

Кажется, в Талмуде есть притча о реке, где рыба самая разная, но дохлая всплывает, мозолит глаза, и, глядя на нее, думают, что знают реку. Осмеянный Достоевским Париж, самодовольный, скаредный и полусонный, для Бодлера — при его недолгой жизни — был иным. Тот Париж, который он любил и оплакивал, не раз ощетинивался баррикадами, и поэт не порхал над схваткой, а метался в гуще событий, все более безутешных — и если бы только для него.

В некрологе на смерть Некрасова Достоевский назвал его "страдающим поэтом" и, словно споткнувшись о банальность — кто в жизни не страдал, а уж сам он как мало кто другой, — тут же поправился четко и безошибочно: "Чуткий к страданию поэт". Наверно, такая же чуткость и сделала эгоцентрическую поэзию Бодлера долговечной. И обрекла ее на угрюмство, в котором упрекали и Некрасова, в котором каялся Блок ("...Простим угрюмство — разве это сокрытый двигатель его?").

Незадолго до смерти Михаил Михайлович Бахтин сказал ученику, посетившему его в богадельне: "Веселой поэзии не бывает. И музыки тоже". Странная фраза, тем более в устах апологета *карнавальности*, еще при его жизни ставшей притчей во языцех, модой, а ныне — стилем жизни. И не только странная, но, как все глубокие мысли, спорная. Все бывает — и было, и будет. Но Бахтин говорил не о стихах или мелодиях, а о музыке. И, может быть, веселость, не только в искусстве, возникает из сознательного или бессознательного порыва развеселить, то есть ободрить, утешить и заверить, что не так страшен черт, а лучше смерти бывает только жизнь. Короче, возникает из сочувствия и сострадания. Великий гуманист Бах действительно полифоничен: погружая нас в бездну человеческой скорби, где уже нет ни контрапункта, ни инструментов, а лишь человеческие судьбы, те замирающие голоса, что жалуются, утешают, отчаиваются или стыдят павших духом, из этой стихии человеческого горя он возвращает нас к радости. Таким был музыкальный канон, но Бах умел радовать, как никто до и после него. Это редкий, быть может, единственный и, наверно, высший дар.

Такого дара Бодлер был лишен полностью, но в отличие от многих не симулировал то, чего нет, и был честен к себе и к нам. И за эту честность расплатился сполна.

Двух великих ровесников судьба не баловала, но по-разному. У Некрасова, помимо Петербурга и литературы, была неоглядная Россия с ее нищетой и богатством, лесами, людьми и песнями. У анахорета Бодлера был только любимый и непривет-

ливый город, где вершились европейские судьбы, рождались моды, но трудно дышалось и было тесно. Он тосковал о южных морях, но жил городом. Бодлеровский "Лебедь", на русский слух перегруженный античными реминисценциями, французу знакомыми со школьной скамьи, — это мир в убогой перспективе парижской окраины. Странное совпадение: знаковое стихотворение Некрасова, стихотворение-символ об извозчичьей кляче ("О погоде") тоже рождено удушливой теснотой имперской столицы (сон Раскольникова мне кажется лишь театрализованным пересказом этого короткого и неотразимого стихотворения).

Судьба и расправилась по-разному. Некрасовское "тяжело умирать, хорошо умереть" Бодлер, наверно, повторял бы как молитву — если бы мог говорить. Некрасов умирал тяжко, но и в муках был жив, и его "Последние стихотворения" незабываемы. Парализованный Гейне в его долгой "матрасной могиле" создал "Романсеро" и другие стихи, полагаю, бессмертные. Бодлер почти два года был живым трупом, без движения, без сознания, без жизни. И жизнь еще вспыхивала тающими искрами, когда приходила знакомая пианистка и трогала клавиши. Бодлер самоотверженно верил в слово; "Цветы зла", помимо всего, это книга-подвиг, усилие создать стихами "Человеческую комедию": замысел бальзаковский, а по признанию великого романиста — наполеоновский. И слово покинуло поэта; осталась лишь музыка — самое сокровенное и непереводимое в его стихах. А чуткий к страданию поэт выстрадал и отстрадал эту чуткость.

М*аяки*

Рубенс, лень и дремота бездумного тела,
И ни тени души, и любви ни следа,
Но не ведает жизнь ни преград, ни предела,
Словно воздух в лазури и в море вода.

Леонардо, туманное зеркало тайны,
Где врасплох улыбается нам иногда
Тихий ангел, сюда залетевший случайно
Из родной синевы своих сосен и льда.

Рембрандт, этот безвыходный мир божедомки,
Нищета богадельни и крест на стене,
И в загоне, где судьбы и стоны негромки,
Зимний луч, неожиданный в тусклом окне.

Микеланджело, тяжки библейские камни
В основании мрамора, стен и холста,
Правит вера, но призраки водят руками,
Воскрешая Геракла в обличье Христа.

Зачарованный схваткой и вечной борьбою,
Изнуренный и все же сберегший в душе
Благородное право кулачного боя
Корифей каторжан, меланхолик Пюже.

В мотыльковом азарте блудниц и жуиров,
Безалаберен и одинок, как никто,
Меж турнюров пастушек и буклей сатиров
В маскарадной сумятице грустный Ватто.

Гойя, шабаш вокруг и повсюду на свете,
Где то выкидыш варят, то чистят штыки,
И карга молодится, а голые дети
На соблазн упырям надевают чулки.

У кровавого озера в небе багровом,
Где лишь ели и тролли мрачат берега,
Краскам Делакруа и твоим звероловам
Вторят, Вебер, охотничьи ваши рога.

Это пламя и плач, богохульство и credo,
Становились отравой, как наш алкоголь,
И борцов никогда не венчала победа,
Но в несметных сердцах унимали вы боль.

Вы пароль наш, надежно затверженный стражей,
И для всех заблудившихся в дебрях и снах,
Как зажженный на выступах башен и кряжей
Негасимый огонь, вы спасительный знак,

Что не созданы мы из одной только глины,
Что не зря рождены — и для жизни иной,
И, быть может, Господь искупит наши вины —
Этот огненный плач перед вечной стеной.

Цыгане в пути

Бредут они, провидческое племя,
То большаком, то кое-где тайком,
Несут детей и кормят молоком
Голодное отверженное семя.

Мужчины за кибитками и теми,
Кто прикорнул там, тянутся пешком,
Поблескивает нож за кушаком,
И взгляд тяжел, как жизненное бремя.

Скупой привал и нищенский уклад,
Но вторят песням голоса цикад,
И даже пустошь кажется зеленой,

Когда дивятся чахлые холмы
На табор, этот вечно устремленный
И жгучий взгляд в родное царство тьмы.

Музыка

Она, как море, с каждою волною
Несет туда,
Где теплится за тусклой пеленою
Моя звезда;

С отвагою, нежданно молодою,
Как никогда,
Взлетает парус мой, а за грядою
Растет гряда;

И весь я — дрожь оснастки корабельной,
И в корчах бури слаще колыбельной
Для моряка
Пространство, раздираемое стоном!..

И мертвый штиль, а в зеркале бездонном
Моя тоска.

Щербный колокол

Полуночь зимняя отрадна и горька,
Когда огонь уже подернулся золою,
А где-то благовест гудит издалека,
И возвращается воскресшее былое.

Безвестный колокол как вечный часовой,
И на посту своем, разбуженный так рано,
Внушает веру он юнцам передовой
Луженой глоткою седого ветерана.

Я не сродни ему и, как бы ни мечтал,
Души расколотой надтреснутый металл
Не откликается победным его звонам,

Как раненый солдат под грудой мертвых тел,
Когда он жив еще и выжить бы хотел,
Но силясь выбраться, умрет непогребенным.

Туманы и дожди

Снег, осеннюю грязь и весеннюю талость
Я любил, и любовь эта в сердце осталась,
В непогоду душа погружается в сон,
Как в туманное завтра моих похорон.

На безлюдьи, в размытой дождем панораме,
Где беснуются ветры, скрипя флюгерами,
Неприкаянный дух мой не ищет тепла,
На лету раскрывая вороньи крыла.

Что желанней душе, если стала пустыней,
Той душе, на которой смерзается иней,
Чем туман, нашей хляби бескровный король

И предвестие стужи, проникшее в щели?
Лишь неведомо, с кем на случайной постели
Под одной простыней убаюкивать боль.

Сплин

Когда гнетет зенит и воздух как удушье
И сердце тяжесть их бессильно превозмочь,
А горизонт петлей сжимается все туже
И превращает день в безрадостную ночь,

Когда по западне, в которой непогода
К застенку затхлому свела земную ширь,
Надежда мечется во тьме гнилого свода
И в корчах падает, как бедный нетопырь,

Когда в конце концов упорное ненастье
Дождем зарешетит огромную тюрьму,
Заполоняют мозг, опутав ловчей снастью,
Немые пауки, подползшие к нему,

И лишь колокола, когда земля свинцова,
Терзают небеса в надежде на приют
И, словно беженцы без родины и крова,
Неутешимые, в пустыне вопиют.

И тянутся в душе беззвучной вереницей
Безвестные гроба неведомых бедняг,
А смертная тоска безжалостной десницей
В поникший череп мой вонзает черный стяг.

Вояж на Киферу[1]

Легка была душа, как чайка над водой,
Когда на корабле поскрипывали тали

1. Кифера – остров в Эгейском море, издревле прославленный культом и храмом Афродиты. Образы стихотворения и само название трагически перекликаются с известной буколической картиной Антуана Ватто "Отплытие на Киферу". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

И парусник летел в безоблачные дали,
Пьянея от лучей, как ангел молодой.

А что за остров там, в расщелинах и скалах?
Кифера, господа, хоть он и знаменит,
О нем и старый хлыщ наслышан, и пиит,
Но в общем островок из самых захудалых.

Кифера! Колыбель сердечных тайн и смут!
Пеннорожденная, бессмертная, ты рядом,
И родина любви доныне дышит садом,
И даже камни там по-прежнему цветут?

О заповедный край страстей, стихов и арий,
Твоим роскошествам, и миртам, и цветам
На всех наречиях курили фимиам,
Кропя надеждами мифический розарий,

Где вечен голубков воркующий галдеж.
Увы, былой цветник заброшен и печален,
Но в вихре карканья над пустошью развалин
Я вдруг увидел то, что видеть невтерпеж.

О нет, не жгучих тайн воскресшие обряды
И не затерянный в укромной роще храм,
Где жрицы юные аттическим ветрам
Распахивали грудь, искавшую прохлады.

О нет. Где паруса вдыхали свежий бриз,
Распугивая птиц на отмелях и плитах,
Три шатких горбыля, над висельником сбитых,
Вонзились в небеса, как черный кипарис.

Он рос, облепленный голодной стаей птичьей,
Клещами щелкала их жадная орда,
Заглатывая плоть загнившего плода,
И в радостной борьбе трудилась над добычей.

Зиял пустых глазниц расколотый орех,
К ногам текло нутро, чтоб высохнуть от пыли,
И дружно грешника вороны оскопили
В отместку за разгул неправедных утех.

А бедра раздирал в соперничестве зверьем
Четвероногий сброд, учуявший жратву,
И опытный вожак учил их мастерству,
Заслуженный палач, завидный подмастерьям.

На острове любви родился ты и жил,
Невольный мученик забытого завета,
Ты искупил его, стал жертвой, и за это
Отказано в земле, где рос ты и грешил.

При взгляде на тебя, на куклу в балагане,
Меня от жалости и нежности к тебе
Стошнило памятью о собственной судьбе
И горлом хлынуло мое воспоминанье.

Я вспомнил воронье, мой бедный побратим,
И хищные клевки в усердьи неизменном,
А недоклеванное в пищу шло гиенам,
Чтоб голод утолить, но он неутолим.

Дремотных парусов качались опахала,
И радовался мир безоблачному дню,
И знал один лишь я, что душу хороню,
А в сердце ночь росла и кровью набухала.

На острове любви не скрасили цветы
Удавку двойника, лишенного могилы.
Вот дух и плоть мои. Пошли мне, Боже, силы
На наготу свою глядеть без тошноты.

Лебедь

I

Андромаха, я помню твой плач по герою,
Но забыть ли, как жалкую нить ручейка
Нарекла Симоэнтом, оплакавшим Трою[1],
И слезами насытила вдовья тоска!

Он отмыл мою память от суетной пены,
И, пройдя Каррусель[2], я пойму наконец,
Что Париж не вернется (меняются стены,
Как ни грустно, быстрей наших бренных сердец).

Вспоминая бараков линялые краски,
Снова вижу тряпье за оконным стеклом
И зеленые лужи в расплесканной ряске,
И куски капителей, пошедших на слом.

Здесь когда-то зверинец ютился проездом.
Поутру, когда Труд покидает постель
И в безветрии дворники к темным подъездам
По булыжнику гонят сухую метель,

1. Вдова Гектора Андромаха в плену у Пирра облюбовала ручеек и назвала его именем реки Симоэнт у стен погибшей Трои (Вергилий. Энеида. III).
2. Каррусель — старая парижская площадь, при Наполеоне III полностью перестроенная.

Там из клетки вдруг вырвался лебедь однажды.
Посреди мостовой, не щадя своих сил,
В пересохшей пыли обезумев от жажды,
Перепонками лапок он камни скоблил.

Благородные крылья купая в отбросах
И злорадное синее небо кляня,
“Затопи все на свете!” — молил он о грозах.
Странный горестный образ, вошедший в меня,

Искривленною шеей, как нищий калека,
Тот, кого пресмыкаться Всевышний обрек,
Он напомнил Овидия[1], взгляд человека,
Посылающий Богу бессильный упрек.

II

Новостройки, леса и лебедки по зданьям.
Изменился Париж! Неизменна тоска.
Все родное становится иносказаньем,
И заглохшая память бесплодней песка.

Даже в Лувре иные преследуют лики:
Нестерпимою жаждой нещадно палим,
Как изгнанники наши, смешной и великий
Возникает мой лебедь, а следом за ним

Андромаха — запродана хищному Пирру,
Ты над урной пустой не вставала с колен
И лохмотья рабыни несла как порфиру,
Но, увы, ложе Гектора занял Гелен[2].

Или ты, негритянка, нетвердой походкой
Волочась по грязи, сквозь промозглый туман
Устремившая взгляд, изнуренный чахоткой,
В бесконечную даль африканских саванн,

Те, кто все потерял и наплакался вволю,
Кто в потемках не ждет и не помнит зари,
Вы, как щедрой волчицей, взращенные болью
И сиротски зачахшие, как пустыри!

Бередит моя память в лесах этой боли
Свой охотничий рог — и, пока не затих,
В нем тоскует моряк на безвестном атолле
И кандальник, и пленник... и столько других!

1. Строки в “Метаморфозах” Овидия о человеке, кто, единственный, в отличие от животных, смотрит в небо.
2. Согласно “Энеиде” Вергилия, Андромаха стала женой Гелена, заурядного брата великого Гектора.

К *исходу дня*

Темнеет, но, не смолкая,
Ликуя или скуля,
Пытается жизнь людская
Выписывать вензеля.

Темнеет, а мир расколот,
И ночь, растлив города,
Все глушит, и даже голод
Все будит, кроме стыда.

Всегда в балагане этом
Несладко жилось поэтам,
Устал наконец и я.

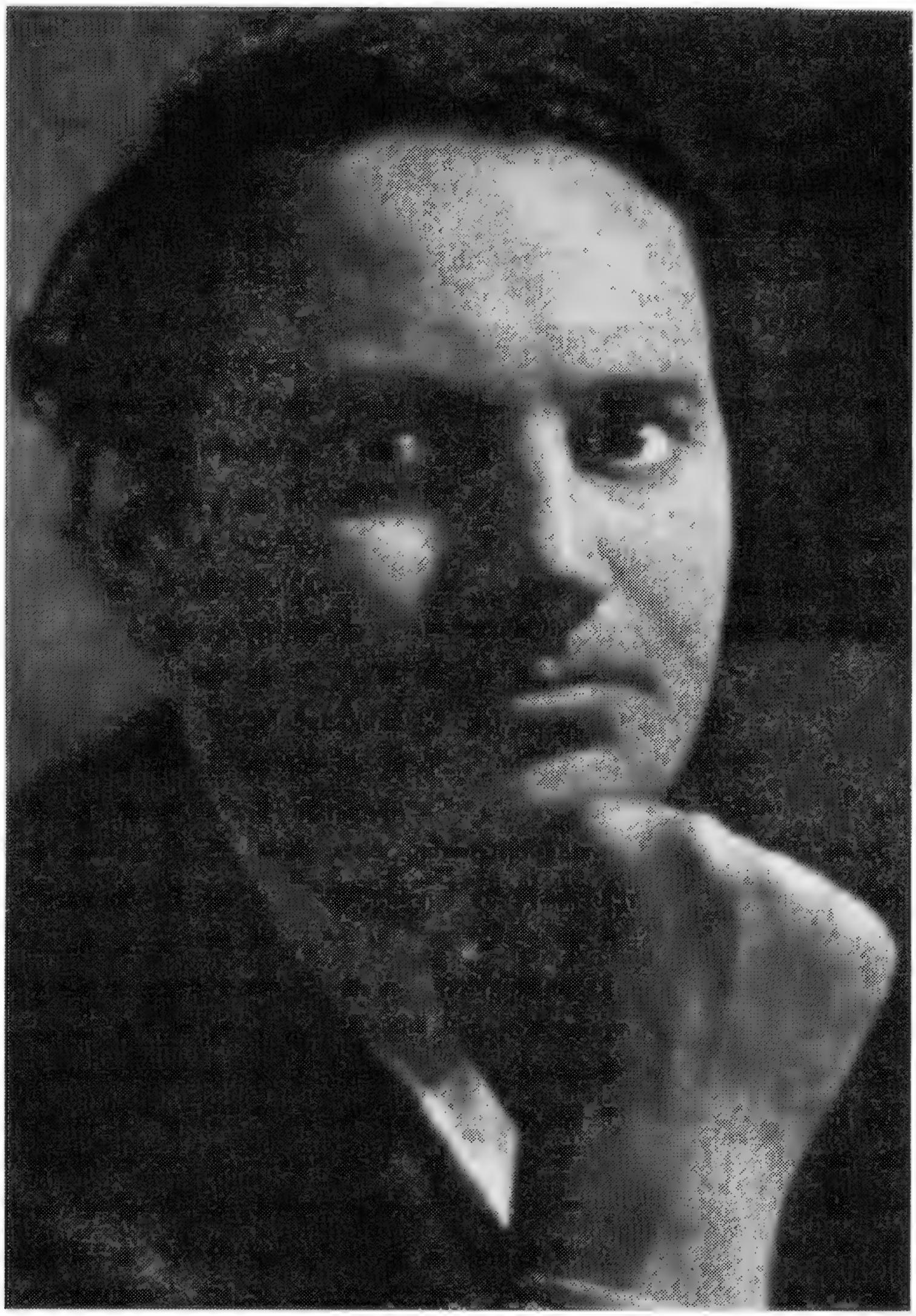
Лицом бы уткнуться в стену
И кануть, покинув сцену,
В прохладу небытия.

Томас Вулф

О *времени и о реке*

Главы из романа

Перевод с английского В. Бабкова



© В. Бабков. Перевод, вступление, 2004

От переводчика

"...С удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах". Все творчество Томаса Вулфа можно назвать попыткой запечатлеть в слове то, о чем говорит Бунин в этом отрывке, причем американец берется за дело, так сказать, напрямую: риторика Вулфа — его сабля в лобовой атаке на невыразимое. Кое-кому эта атака показалась неудачной — да и странно было бы, если б писатель, поставивший перед собой такую цель, сумел добиться стопроцентного успеха. Но все же интереснейшие художественные открытия им, безусловно, были сделаны, а его яркость и своеобразие таковы, что Вулф заметно выделяется даже в блестящей плеяде американских прозаиков начала прошлого века. Сам Фолкнер объявил его первым писателем поколения.

Всю жизнь Вулф писал, по сути, одну бесконечную книгу, которую так и называл — the Book. Формально же это гигантское произведение оказалось разделенным на четыре романа, несколько десятков рассказов, письма, пьесы и т. д. Из четырех романов на русском языке изданы уже три (кстати, два из них были опубликованы на языке оригинала после смерти Вулфа и представляют собой, в сущности, редакторские компиляции из его литературного наследия). Первые же два, вышедшие еще при жизни автора — "Взгляни на дом свой, Ангел" и "О времени и о реке", — объединены общим героем, биография которого совпадает — естественно, mutatis mutandis[1] — с биографией самого Вулфа. Объем второго романа, центрального в творчестве писателя, самого крупного из четырех и до сих пор не опубликованного на русском, составляет около тысячи страниц. При попытке втиснуть в журнал хотя бы половину этого огромного произведения он просто лопнул бы по швам, так что пришлось ограничиться фрагментами; однако они образуют нечто вроде законченной повести и полностью включают в себя одну из главных сюжетных линий романа.

Начало действия этой повести (и всего романа в целом) относится к 1920 году, когда герой книги Юджин Гант приезжает учиться в Гарвард. Основные же ее события разворачиваются зимой 1924—1925 года в Европе, куда сам Вулф, а вслед за ним и его alter ego Гант, отправился с целью непосредственного приобщения к культуре Старого Света (точно так же в свое время поступили и его собратья по перу Хемингуэй, Фицджеральд и Дос-Пассос). Этим путешествием по Европе и завершается роман. Для полноты картины приведем краткое содержание всех его частей, в том числе и оставшихся "за кадром": герой — будущий писатель — приезжает в Бостон из своего родного южного городка (часть I); учится в Гарварде (часть II); ненадолго возвращается домой, в Северную Каролину (часть III); преподает в Нью-Йоркском университете (часть IV); совершает турне по Европе (части V—VIII). Летом 1925 года Юджин Гант возвращается обратно на родину, чтобы создать и выпустить в свет свою первую книгу — но это уже другая история, отчасти нашедшая свое отражение на страницах двух последних по хронологии романов Вулфа.

1. С соответствующими изменениями *(лат.)*.

Часть вторая
Юный Фауст

VII

ПОЕЗД несся по бурой осенней земле, вдруг открывалось и пропадало море и скалистые берега, мелькали белые городки, вокруг раскинулась полная буйных красок и одинокой, печальной и непреходящей прелести Новая Англия. Это была страна его сокровенной мечты, таинственная Елена, что полыхала пламенем в его крови, — и он летел по этой земле, охваченной октябрем, и дым паровоза стлался позади в колючем пасмурном воздухе!

Приближение к великой земле, к новым краям, к волшебному граду, полет — в дыму, ослеплении и удушье — к древней паутине, к старым, прокопченным, внушающим трепет бастионам Бостона. Улицы и дома, которые в тот день проносились мимо, такие чужие и удивительно знакомые, могучий локомотив, пыхтя замедляющий ход, и гигантский навес, под которым было полно едкого, пахучего дыма — там мерно дышали с десяток локомотивов, лениво отдыхающих, как огромные коты, — величественный вокзал, где непрестанно кипит бесконечно разнообразная жизнь, наполняя его несмолкаемым, монотонным, далеким и могучим гулом времени, и резкий гнусавый голос, прозвучавший совсем рядом: "Ладно, беги, только смотри не опоздай".

А потом он увидел узкие, кривые, потемневшие от времени улочки Бостона, где был разлит знойный аромат свежеподжаренного кофе, увидел толпу, миллионы людей, снующих во всех направлениях, и его встретил неумолчный гомон гигантского волшебного города, разноголосый шум гавани и корабли на сверкающей глади залива, и во всем этом было предвестие славы и тысяч прекрасных, загадочных незнакомок, которые ждали его где-то в неразберихе городских улиц.

Он видел бурлящие улицы жизни, по которым вечно течет многоликий поток, гигантскую библиотеку, где хранились миллионы книг; или, возможно, был лишь один момент в вечном кипении города, пять часов пополудни, голос, лицо, крепкая ладная фигура улыбнувшейся девушки, которая прошла мимо него на Парк-стрит-стейшн, на миг вырисовалась на сильном октябрьском ветру — грудь, живот, рука, бедро и вся она, такая крепкая и соблазнительная, — и вдруг исчезла в толпе, затерявшись и пропав навеки?

Может быть, в тот миг — дым паровоза, вокзал, улица, ропот времени, лицо, увиденное и исчезнувшее, но не забытое, — *тогда* ли, *тогда* или *тогда*, в тот момент запутанного человеческого прошлого, он вдохнул напоенный яростью воздух и пришла она, ярость?

Он не знал; но теперь ярость владела его жизнью и он был одержим грезой времени. Ему предстояло прожить десять лет, ни на мгновение не расставаясь с яростью, — десять лет ярости, голода и всех мыслимых скитаний, которыми полна жизнь юноши. И ради чего? Ради чего?

Что значит ярость, с которой суждено жить этому юноше, которая вечно будет влечь его по бескрайней земле? Это мозг, обезумевший от избытка мыслей, душа, что терзает и мучит самое себя. Это голод, что становится злее от любой пищи, жажда, способная поглотить реки и все равно неутолимая. Это значит повидать миллионы людей, миллионы лиц и навеки остаться для них чужаком, незнакомцем. Это значит про-

бираться ночью меж стеллажей гигантской библиотеки, выхватывать книги с тысячи полок и впиваться взором в страницы с безумным голодом юности человеческой.

Это значит жить в неизбывном смятении, обладать жадным сердцем, беспокойным духом; это значит до последней капли терять надежду, веру и радость, а затем вновь обретать прежнее, вспыхивающее с небывалой силой чувство, будто вот-вот найдешь то, к чему так слепо, отчаянно рвался всю жизнь, то, что ищут все люди на этой земле: одно лицо среди миллиона лиц, стену, дверь, обитель, где нет места мукам, где завершатся скитания. Ибо что мы, американцы, вечно ищем на этой земле? Почему мы так много раз пересекали в одиночестве бушующие моря, лежали ночью в тысячах непривычных комнат, вслушиваясь в шорохи времени, непостижимого времени, и мучась одной думой, изводя ею сердце, разум и душу: "Куда я теперь пойду? Что стану делать?"

Он не знал, когда именно это пришло, но оно пришло неожиданно, мгновенно. И с этого мига безумная ярость овладела им, с этого мига почти всю жизнь — больше, чем кому бы то ни было, — ему предстояло провести в одиночестве и скитаниях. Отчего это случилось, как это произошло, он так и не узнал, — но это случилось. С тех пор — за исключением двух периодов — ему предстояло вести столь одинокую жизнь, какая только доступна современному человеку. А это значит, что число часов, дней, месяцев и лет, то время, что ему предстояло провести в одиночестве, должно было оказаться необычайно большим.

И это было еще удивительнее оттого, что он, в общем-то, никогда не искал уединения, не бежал от жизни и не пытался отгородиться стеной от бурь и суеты, которыми полнится земля. Наоборот, он так страстно любил жизнь, так жаждал ее, что чуть не сходил с ума. Словами нельзя передать и тысячной доли той ярости, которая подхлестывала и гнала его вперед в течение пятнадцати лет, а в то, что можно об этом рассказать, верится с трудом — однако это чистая правда. Его буквально физически снедал такой жестокий голод, что ему хотелось поглотить землю, включая все и вся, что на ней обретается, и неосуществимость этого повергала его в пучину ужаса и отчаяния, дух его оказывался погребенным под гигантской массой событий, которые рождала великая земля, и под тупым гнетом людей и вещей, наполняющих землю; в вечном круговороте многоликой толпы он терял надежду, терял силы и волю к жизни.

Ночью, в библиотеке, он пробирался меж стеллажей, выхватывая книги с тысяч полок и рыща глазами по строчкам, словно безумец. Одна мысль об этих необозримых стеллажах, забитых книгами, сводила его с ума: казалось, чем больше он читал, тем меньше узнавал — росла гора прочитанных им книг, но еще быстрее росло немыслимое, огромное количество книг, до которых ему не суждено было добраться. За десять лет он прочел по меньшей мере двадцать тысяч томов — это число намеренно занижено — и успел просмотреть и пролистать во много раз больше. Это может показаться невероятным, но это так. Драйден сказал о Бене Джонсоне: "Прочие люди читают книги, а он — библиотеки", — то же можно сказать и об этом мальчике. Однако жуткие книжные оргии не приносили ему духовного успокоения, мира и мудрости. Наоборот, его ярость и отчаяние лишь возрастали, голод рос по мере того, как он старался его утолить.

Он читал книги с сумасшедшей жадностью, сотнями, тысячами, десятками тысяч, но его нельзя было назвать завзятым книгочеем, никто не счел бы этот яростный штурм печатного слова подходом ученого: его

просто снедала безумная жажда прочесть все, в чем запечатлелся человеческий опыт. Читая, он не получал удовольствия: его постоянно мучила мысль о других книгах, еще ожидающих своей очереди. Он набрасывался на книги, точно дикий зверь на добычу. Первое время, забравшись в дебри стеллажей или в пору ночного бдения у заваленных книгами библиотечных полок, он читал, зажав в руке часы, бормоча после каждой страницы с удовлетворением или досадой: "На эту пятьдесят секунд. Мы еще поглядим, кто кого! Ну что, съели?" — и проглатывал следующую страницу за двадцать секунд.

Ярость, которая заставляла его поглощать столько книг, не имела ничего общего с тягой к научной работе, ничего общего с амбициями ученого, ничего общего с обычной жаждой образования. Он ни в коей мере не был ученым и не хотел им быть. Он просто хотел все знать; он хотел объять всю землю, и неосуществимость этого замысла сводила его с ума. И так было всегда, за что бы он ни брался. В разгар безумного штурма книжных полок в необозримой библиотеке его, словно стрела, пронзала мысль о жизни, которая бурлит снаружи, о гигантском городе, окружающем его со всех сторон. Ему вдруг начинало казаться, что каждый миг, убитый на чтение, пропадает впустую — что в эту же самую секунду на улицах города происходит нечто чудесное и неповторимое и, если успеть туда вовремя, неведомым образом постигнешь наконец самого себя, откроешь тот кладезь, тот драгоценный ключ, откуда родятся все люди, слова и поступки, который питает все сущее на этой земле.

И он сломя голову бежал вон, на поиски, мчался на поезде в Бостон и часами рыскал по бесконечным улицам, вглядываясь в лица миллионов прохожих, пытаясь мгновенно составить окончательное представление о том, кто и что суть эти люди, о миллионах их судеб, обо всем гигантском городе и бескрайней земле, раскинувшейся под необъятным и одиноким небесным куполом. И он метался по переулкам, пока носили ноги, пока тело и душа не отказывались служить — пока не иссякали жизненные силы, и не сдавал последний трепещущий измученный нерв, и дух его не повергался в пучину ужаса и безысходности.

Однако безумная надежда, глубокая вера в чудо никогда не угасала в нем до конца. Он составлял колоссальные проекты, списки и планы того, что ему предстояло совершить в жизни, — жизненную и рабочую программу, выполнить которую было бы не под силу и десятку тысяч человек. Посреди ночи он вскакивал и строчил как сумасшедший, перечисляя все сделанное и увиденное, записывая, сколько он прочел книг, сколько преодолел миль, со сколькими людьми познакомился, со сколькими женщинами спал, сколько блюд перепробовал, сколько повидал городов, в каких побывал странах.

И какое-то время он, жадно ликуя и посмеиваясь, озирал эти бессмысленные списки, словно скупец, радующийся своим сокровищам, — только для того, чтобы спустя минуту взвыть от отчаяния и биться головой о стену, вспомнив, сколь многого еще не видел и не совершил. И тогда он снова начинал строчить, перечисляя до бесконечности книги, которых не читал, лакомства, которых не пробовал, женщин, с которыми не бывал, страны, которых не повидал, города, которых не посетил. Потом составлял планы и рассчитывал, как совершить все это, и сколько это займет времени, и сколько ему исполнится лет, когда он закончит. И на него буйной волной накатывали ликование и надежда, все казалось ему легко, и не было никаких сомнений в том, что все это ему по силам.

Он никогда не задавался практическими вопросами: на что он станет жить, откуда возьмет денег на свои фантастические путешествия, что ему придется сделать, чтобы воплотить в жизнь свои намерения. Если это и приходило ему в голову, то казалось совсем не важным, ерундой — он нетерпеливо отмахивался от подобных мыслей, убежденный, что какой-нибудь старик умрет и оставит ему наследство, или, прогуливаясь по Фенуэю, он подберет кошелек с сотнями тысяч долларов и обещанное за находку вознаграждение его обеспечит, или какая-нибудь прекрасная и богатая молодая вдова, нежная, преданная, страстная и любящая, с шевелюрой морковного цвета, веснушками, вздернутым носиком и сияющими, чуть шальными, но верными и преданными серо-зелеными глазами и одной золотой коронкой в ряду маленьких крепких зубов влюбится в него, выйдет за него замуж и сохранит ему верность, покуда он будет поглощать книги, еду, напитки, развратничать и колесить по всему свету; или уж, на худой конец, каждый год придется писать новую книгу или пьесу, которые ждет шумный успех и которые будут приносить ему зараз тысяч по пятнадцать-двадцать. Так он и путешествовал по всей земле, иногда едва не сходя с ума от упадка сил, отчаяния и безысходности, иногда полный буйного, ликующего восторга, уверенный, что все желания его сбудутся. И, вслушиваясь по ночам в далекие голоса и тишину земли и огромного города, он начинал думать о загадочной спящей земле и о ночном материке, пока целый материк не разворачивался перед его мысленным взором, словно карта: реки, равнины, горы и тысячи уснувших городков, — ему казалось, что он может окинуть их одним взглядом.

VIII

Как-то утром, через несколько дней после приезда в Кембридж, он получил письмо на простой, но дорогой бумаге, написанное мелким почерком, очень похожим на женский. Письмо гласило:

Уважаемый сэр! Я был бы весьма польщен, если бы Вы согласились отужинать со мной в среду вечером, в восемь тридцать, на Брэттл-стрит, в "Кок-хаус-таверн". Если Вы примете предложение, то не соблаговолите ли зайти за мной в Холиок-хаус, что напротив библиотеки Уайденера, к семи пятнадцати?

Искренне Ваш,
Фрэнсис Старвик.

Он еще и еще раз перечел это краткое и загадочное послание, одновременно удивившее и взволновавшее его. Кто такой Фрэнсис Старвик? Почему этому Фрэнсису Старвику, которого он знать не знает, вдруг вздумалось поужинать с ним? И почему его лаконичное письмо не содержит ни слова объяснения?

Скорее всего, он отправился бы на эту встречу в любом случае, из чистого любопытства и благодаря той готовности, с которой одинокий юноша, впервые попавший в неизвестное окружение, встречает всякую надежду с кем-нибудь подружиться. Но в тот же день он выяснил у другого слушателя курсов драматургии знаменитого профессора Хатчера — теперь он и сам посещал эти курсы, — что Фрэнсисом Старвиком зовут

ассистента профессора, и, логически заключив, что полученное им приглашение каким-то образом связано с этим обстоятельством, решил откликнуться на него обязательно.

Так началось знакомство Юджина с необычайной личностью, наделенной трагическим даром, с одним из самых удивительных представителей его поколения, который, обладая чуть ли не всеми необходимыми художнику талантами, был лишен той крохотной крупицы обыкновенной земли, что могла бы спасти его и вдохнуть жизнь в его творения.

В этой неожиданной встрече не было ничего рокового. Он не мог предвидеть, какой странный и печальный оборот примут их судьбы, как тесно они переплетутся, и ни одно обстоятельство этой первой встречи не могло навести его на мысль, что новый знакомый окажется для него тем человеком, единым в трех лицах, которого встречаешь в жизни только однажды, в юные годы, и знакомство с которым по-иному освещает всю жизнь, ибо человек этот — орудие неизбежного: он твой друг, твой брат — и твой же смертельный враг. И ничто в этом юноше в тот вечер не предвещало трагической обреченности его сияющего пути, ужасного конца, к которому, быть может, он направлялся уже тогда.

Оба они были молоды, оба полны тщеславия, муки и жаркой гордыни юности, ее самозабвенного пыла и застенчивости, оба сильны гордыми надеждами, и верой, и наивной тягой к откровениям; оба были одарены от природы и мечтали покорить мир; они были прекрасны, и отчаянны, и слабы, и сильны, и неопытны; в груди у них трепетало драгоценное сокровище — безумный неудержимый восторг, и дикий ликующий вопль в любую минуту готов был сорваться с их юных неистовых уст. Они знали, что на их долю, пожелай они только, выпадет все счастье и удача, все радости, какие могут достаться человеку на этом свете; они знали, что это близится с каждым мгновением — слава, успех, любовь, которых жаждут их души; ни один из них не открыл еще черной страницы, им было двадцать, и они знали, что никогда не умрут.

Фрэнсис Старвик оказался невысоким юношей, не слишком худым — пожалуй, стройнее большинства людей, — с симпатичным румяным лицом, карими глазами, курчавой золотисто-рыжей шевелюрой и раздвоенным подбородком. Это обаятельное, здоровое лицо, светившееся ясным спокойным умом, удивительно напоминало лица молодых англичан с картин Хоппнера и сэра Генри Ребёрна, написанных на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков. Это было привлекательное, симпатичное, выдающее необычайную восприимчивость и ум лицо, но стоило Старвику заговорить, как впечатление теплоты и дружелюбия, созданное его обликом, мгновенно разрушалось.

У него был странный, какой-то навязчивый голос — было почти невозможно определить, в чем состоит его своеобразие, но и забыть этот голос, услышав его хотя бы однажды, тоже было нельзя. Не слишком высокий, но и не низкий, это был мужской голос, хотя возникало ощущение, что он мог бы принадлежать женщине; впрочем, в нем не было никакого намека на изнеженность его обладателя. Просто по сравнению с большинством американских голосов, резких, гнусавых, откровенно грубых и металлических, этот голос звучал непривычно. В голосе Старвика слышались какие-то смутные волнующие обертоны, у него был экзотический, чувственный, почти сладострастный оттенок. Более того, его изысканная речь была так странно аффектирована, что это граничило с нелепостью. Только благодаря изяществу и уму Старвика, незауряд-

ности всей его натуры эта манерная речь не казалась смешной. Тем не менее в первый момент она вызвала у другого юноши враждебное негодование — такова обычная реакция американца, которому кажется, что его собеседник жеманничает.

Когда Старвик поздоровался с гостем, лицо его залилось кирпично-красным румянцем отчаянного смущения, которое робкие и впечатлительные люди испытывают при каждой новой встрече — это для них всегда тяжкое испытание. Он приветствовал Юджина холодно и вежливо, почти неприязненно, но и это, так же как нарочитая манерность речи, было лишь защитным панцирем, прикрывающим робость.

— Здравствуйте, — сказал он, протягивая руку и выцеживая приветствие сквозь едва разомкнутые губы. — Очень мило, что вы пришли.

— Очень мило, что вы меня пригласили, — неуклюже выдавил другой юноша, помялся в замешательстве, а затем выпалил: — Я сначала не понял, кто вы... ну, когда получил вашу записку... а потом мне сказали: вы ассистент профессора Хатчера, так ведь?

— О да, — сказал Старвик, по-прежнему едва шевеля губами; как выяснилось потом, это была обычная для него форма утвердительного ответа. Кирпично-красный румянец на его щеках стал еще гуще, и в разговоре наступила неловкая пауза. — Послушайте! — вдруг воскликнул он неожиданно просто, что было очень отрадно после такой неестественной вежливости. — Хотите выпить? У меня есть виски.

— Ну да... ясное дело... конечно... — пробормотал Юджин, горячо благодарный хозяину за такую перемену темы. — С удовольствием.

Старвик распахнул дверцы маленького бара, вынул бутылку, сифон и поднос с несколькими стаканами и поставил на стол.

— Наливайте себе, — сказал он. — Вы любите с содовой, или просто с водой, или как?

— Ну... все равно, — пробормотал второй. — А вы будете пить? Если нет, я тоже не буду.

— О да, — снова ответил Старвик. — Я выпью с вами. Я люблю с содовой, — добавил он, плеснул в свой стакан виски и долил воды из сифона. — Ну вот. Наливайте себе... Послушайте! — опять быстро сказал он, когда Юджин стал неуклюже возиться с непривычным сифоном. — Вы не против, если я буду пить и бриться? Я только что вошел. Хочу побриться и сменить рубашку, а потом пойдем. Вы не против?

— Нет, нет, конечно, — сказал гость, благодарный за предложенную передышку. — Давайте. Не спешите, пожалуйста. А я пока выпью и полистаю ваши книги, если вы не возражаете.

— Сделайте милость, — ответил Старвик, — если только найдете что-нибудь по вкусу. Я думаю, здесь будет удобнее всего. — Он подвинул к торшеру большое кресло и включил свет. — Сигареты на столе, — добавил он своим странным манерным тоном и направился в ванную, где после краткого обзора своей румяной физиономии сразу же принялся намыливать щеки и готовиться к бритью.

— Очень уютная квартирка, — промолвил гость после очередной неловкой паузы, в течение которой слышался только легкий шорох бритвы.

— Пожалуй, — откликнулся Старвик, выговорив это слово по-своему необычно и к тому же невнятно, как всегда выходит у людей, занятых бритьем и одновременно пытающихся вести беседу. Некоторое время бритва продолжала скрести. — Я рад, что вам нравится, — сказал Стар-

вик затем, отложив бритву и изучая в зеркале плоды своих трудов. — А вы как устроились? Хорошо?

— Да, в общем, ничего, — неуверенно произнес Юджин. — Конечно, там не то, что здесь: у меня не квартира, я снял только комнату.

— О, — сказал Старвик из ванной. — И где же?

— На улице, которая называется Бэкингем-роуд. Знаете, где это?

— О, — холодно произнес Старвик, старательно вытянув шею, и ненадолго притих, аккуратно обрабатывая бритвой адамово яблоко. — О да, — наконец сказал он, опять отложив бритву, — кажется, знаю... А с чего это вы туда отправились? — холодно спросил он, вытираясь полотенцем. — Кто-нибудь посоветовал?

— Ну да. Мне еще до приезда говорили. Это комната в доме, который арендуют мои знакомые.

— О, — вновь холодно, учтиво произнес Старвик, надевая свежую сорочку. — Так вы знакомы с кем-то здесь, в Кембридже?

— Да нет, это просто мои земляки.

— Земляки?

— Да, из моего родного штата, оттуда, где я родился, где учился до того, как попал сюда.

— О, — сказал Старвик, застегивая сорочку, — понятно. А где это? Из какого вы штата?

— Из Катобы[1].

— О... и учились там же, на Юге?

— Да. В университете штата.

— Понятно... А ваши хозяева — чем они здесь занимаются?

— Ну, хозяин — он профессор университета штата у нас на Юге — приехал сюда вроде как повышать квалификацию.

— Что-что?

— Квалификацию.

— О. Понятно... А что делает жена — он ведь женат?

— Да, и трое детей... Ну, — неуверенно произнес Юджин и вдруг усмехнулся, — я не видел, чтоб она что-нибудь делала, только сидит сиднем да болтает.

— Вот как, — отозвался Старвик, очень тщательно завязывая галстук. — И о чем же она болтает?

— В основном о наших тамошних — об университетских преподавателях, об их женах и семьях.

— О, — серьезно сказал Старвик, но в голосе его проскользнула едва уловимая насмешка. — Она, наверное, премило о них отзывается? — Он выглянул из ванной, лицо его было серьезно, но голос стал каким-то грудным от сдерживаемого веселья, прорвавшегося ядовитым заразительным смешком. — Или она... — на мгновение он замолчал, борясь с подспудно вскипающим весельем, и симпатичное лицо его покраснело от натуги. — Или, — сказал он с легкой издевкой, — она их не жалует?

Его собеседник, покоренный этим язвительным, но беззлобным грубоватым подшучиваньем, громко расхохотался и ответил:

— Точно! Ей-богу, не жалует! Лучше не скажешь.

— Никто не ушел? — ехидно спросил Старвик.

1. Зд.: Катоба — индейское название Северной Каролины. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Ни один, черт побери! — закатился Юджин. — Она их всех обработала по очереди, начиная с ректора и его семьи и кончая простыми преподавателями. А теперь занялась обычными горожанами. Не пропустила ни одной пары грязных подштанников, ни одного аборта в наших краях. Мы с приятелем, земляком — он тоже там живет, а учится на юридическом, — поспорили, скажет ли она о ком-нибудь за весь этот год хоть что-то хорошее.

— И на чем вы стоите? — спросил Старвик.

— Я говорю, что нет, а Билли Ингрэм — что скажет. Он говорит, последний раз она отзывалась о ком-то хорошо, когда этот кто-то помер во время эпидемии гриппа в семнадцатом году, и уверяет, что скоро ей опять представится случай.

— А как зовут эту почтенную даму? — сказал Старвик. Он уже вышел из ванной и надевал пиджак.

— Троттер, — ответил гость, чувствуя, как все внутри странно содрогается от подкатившего к горлу смеха. — Миссис Троттер.

— Как? — наливаясь румянцем, спросил Старвик грудным голосом, в котором вновь послышались издевательские нотки. — Миссис кто?

— Миссис Троттер! — подавился Юджин, и комната вдруг огласилась их диким хохотом. Когда хохот утих, Старвик энергично высморкался и, все еще красный от смеха, спросил более спокойно:

— А что же говорит насчет всего этого профессор Троттер?

— Ничего не говорит, — рассмеялся Юджин. — Разве она даст! Сиди и помалкивай... Дядька-то он хороший. Нам с Билли его жалко. Наградил его Бог этой старой перечницей, которая трещит как сорока, да вдобавок тремя самыми мерзкими, грязными, визгливыми поросятами на всем белом свете, которые то и дело шлепаются на пол и нещадно орут, а в служанках у них грязнуха-негритянка, они ее приволокли с собой на Север. В общем, весь дом ходит ходуном с утра до вечера, а бедняга сидит наверху и пытается работать, ему же на степень сдавать, — но подика попробуй! Он славный малый, и он этого не заслужил.

— Боже, — с искренней серьезностью промолвил Старвик, — да это ведь ужас! Зачем вы-то там поселились?

— Ну, понимаете, знакомых в Кембридже у меня не было, а они мои земляки.

— Я думаю, это только лишний повод их избегать, — ответил Старвик. — И потом, очень важно подыскать хорошее место для работы. Да-да, очень, — убежденно сказал он, и в его аффектированной речи послышалась укоризненная нотка. — Вам следовало бы серьезно поразмыслить об этом, — сказал он.

— Да, наверное. А вы здесь все-таки здорово устроились.

— О да, — сказал Старвик. — Здесь хорошо. Я рад, что вам нравится.

Он вошел в комнату со стаканом в руке, поставил его на стол, сел рядом, закинув ногу на ногу, и достал из маленькой, изящной деревянной шкатулки сигарету с золотым ободком. На другого юношу все это производило впечатление роскоши и великолепия. Эта двухкомнатная квартира, казалось, подходила своему элегантному сибариту-хозяину как перчатка: ему было только двадцать два года, но его незаурядная, исключительная натура наложила свой отпечаток на всю обстановку этих двух комнат.

Неискушенному взору более юного гостя эта скромная квартира представлялась великолепнейшими апартаментами. Ему подумалось,

что Старвик, должно быть, невероятно богат, раз ведет такую жизнь. То, что совсем еще молодой человек может позволить себе такое чудо, такую роскошь – независимость, что он может быть сам себе хозяином, жить в собственной квартире, а не снимать комнатушку, вкушать по ночам волнующую сладость одиночества, свободно уходить и приходить, когда захочется, делать что пожелает, приглашать к себе кого понравится, "привести девочку", когда ему вздумается, не таясь, без опаски, – все эти вещи, которые на самом деле являются всего-навсего достоянием великой, полной надежд и восторгов юности, еще не ведомые мальчугану, но желанные, как желанны они всякому юноше, и расцвеченные бурной игрой воображения, в его глазах делали жизнь Старвика необычайно привлекательной, полной счастья и удач.

Однако юноша принимал Старвика за богача не только по неопытности. Хотя Старвик и не имел постоянных доходов, за исключением тысячи долларов в год, которые получал как ассистент профессора Хатчера, да время от времени небольших поступлений от семьи – трудно в это поверить, но он был младшим из девяти детей в семье фермера и мелкого коммерсанта со Среднего Запада, жившей довольно скромно, – он казался богатым человеком, потому что и вправду был богачом, богачом по натуре – богатство досталось ему от природы. Во всем, что Старвик делал и говорил, во всем, к чему он прикасался, и во всем, что составляло неповторимое своеобразие этой незаурядной и тонкой личности, чувствовался избыток богатства и роскоши, какого не сыскать и у сотни миллионеров. Он обладал удивительным, бесценным даром, который вообще редко встречается у людей, а тем паче у американцев: придавать любому простому жесту или поступку чудесный аромат роскошества, волнующего наслаждения. Курил ли он сигарету, пил ли коктейль, или приглашал кого-нибудь в театр, или заказывал блюдо в захудалом итальянском ресторанчике, или готовил кофе у себя дома, или рассказывал о прочитанной книге, или завязывал галстук – все эти действия приобретали удивительный, чудесный, волнующий оттенок, не доступный первейшему богатею в мире ни за какие деньги. И потому Старвик мгновенно покорял людей бесконечной грацией и полнотой своей натуры, он обладал властью, которую имели на земле лишь немногие, – властью мгновенно подчинять себе других и повелевать ими, ибо рядом с ним весь мир казался таким свежим, прекрасным, счастливым и изобильным, каким его никогда не видели прежде, и поэтому люди хотели быть около него, чувствовать то волнующее очарование, которое он придавал всему вокруг.

Вот и сейчас, сидя за коктейлем и беседуя с гостем, он совершил простой, самый обычный для него поступок, который, тем не менее, показался другому юноше захватывающе прекрасным.

– Взгляните-ка, – вдруг сказал Старвик, вставая, подходя к одной из книжных полок и включая свет. – Взгляните, – снова произнес он своим странным голосом, – вы читали это?

С этими словами он взял в руки одну из книг и надел очки. Было что-то необычное и завораживающее в этих очках и в том, как он надел их – тщательно, аккуратно, спокойно, – очки были в толстой старомодной серебряной оправе и с серебряными дужками. Их простая, честная, старомодная основательность была отчего-то очень заметна, а когда он спокойным, неторопливым движением надел их и обратился к книге, на лице его ясно отразилась глубокая, серьезная, неторопливая и одинокая работа мысли.

— Вы читали это? — спокойно сказал он, повернувшись к гостю и протягивая ему книгу. Это была "Исповедь молодого человека" Джорджа Мура; Юджин ответил, что не читал.

— Тогда почему бы вам не захватить ее с собой? — сказал Старвик. — Она весьма любопытна. — Он потушил лампу над книжными полками, спокойно и устало снял очки, сложил их, убрал в нагрудный карман, вернулся к столу и сел.

— Я думаю, вам будет интересно ее прочесть, — сказал он. И хотя его гость всегда питал инстинктивное отвращение к книгам, которые ему навязывали другие, что-то в этом простом поступке Старвика вдруг сообщило книге необычайную ценность; при мысли об этой книге он ощутил неизъяснимое приятное волнение, им овладело любопытство, и ему тотчас же захотелось прочесть ее. Мало того — когда Старвик повернулся к нему, какое-то смутное впечатление подсказало Юджину, что он не просто предлагает взять книгу на время, а дарит ее насовсем, и в этом ему сразу почудилась царственная, благородная щедрость. И так бывало всегда: стоило Старвику до чего-нибудь дотронуться, как все тут же оживало, преисполнялось изящества и радости; в нем таилась несравненная, властная сила — дар Мидаса, способность наделять любую вещь жизнью и красотой с легкостью, почти невероятной для человека, каким бы счастливцем он ни был, — сила, которая, подобно всем прочим его талантам, поначалу несущим отраду и жизнь, с течением времени оказалась прислужницей не жизни, а смерти, из целительной стала тлетворной, обернулась против своего обладателя и в конце концов погубила его.

И потом, когда они покинули квартиру и вышли на улицу, способность Старвика таинственным образом придавать всему, что он делал, всем своим встречам и знакомствам окраску чувственной полноты, животворного, волнующего предвидения, — эта способность проявлялась постоянно. Был чудесный, ясный вечер начала октября, в прохладном воздухе витал едва ощутимый запах дыма, по улице в одиночку, парами и тройками курсировали студенты, уютно светились окна книжных магазинов, аптек и табачных лавочек близ Гарвард-сквер, и мягкий, богатый переливами, насыщенный золотой свет, оттененный старой красной кирпичной кладкой, лился из гигантской библиотеки и старых зданий Гарвард-ярда.

Все вокруг, живое, волнующее, странным и чудесным образом одухотворенное, казалось еще более наполненным в присутствии Старвика, и это породило в душе второго юноши не только острое, какое-то неуловимое возбуждение, но и ощущение собственной власти и могущества, словно он был триумфатором, перед которым раскинулись все неизведанные сияющие просторы мира — исследуй, владей, повелевай, — словно он был баловнем судьбы, которого ожидает великое счастье, не выпадавшее еще на долю никому.

Старвик завернул в табачную лавку обменять чек, и эта лавочка, где пряно пахло хорошим табаком, без дела толклись студенты, где царила ленивая и праздная атмосфера, вдруг показалась немыслимо роскошной, богатой и удивительной.

И позже, когда двое молодых людей добрались до "Кок-хаус-таверн" на Брэттл-стрит, этот старинный дом с чопорными чистыми зальцами, чистенькими накрахмаленными официантками и белоснежными скатертями, где хорошо готовили, а среди посетителей было несколько пы-

шущих здоровьем привлекательных девиц, какие часто встречаются в Новой Англии, тоже показался Юджину необыкновенным. Он трепетал в предвосхищении чего-то чудесного, ощущая себя безгранично богатым только оттого, что Старвик был здесь, что он заказывал блюда и по одному его мановению, благодаря его волшебному дару, мгновенно преображающему любой предмет, все вокруг сразу делалось роскошным, становилось источником легкости и безымянного восторга.

Однако взаимная враждебная настороженность молодых людей во время ужина не проходила, а, наоборот, росла. Холодно-любезная манера Старвика — на самом деле всего только панцирь, за которым скрывалась его отчаянная застенчивость, — его жеманная речь, этот странный, раздражающий выговор, хирургическая скрупулезность, с которой он подверг Юджина допросу, выясняя его происхождение, биографию и образование, обострили растущую неприязнь юноши и держали его настороже. Более того, явное нежелание Старвика говорить о себе — и прежде всего полная скрытность в отношении работы у профессора Хатчера и причин, побудивших его самого прислать столь краткое и категорическое приглашение на ужин, — начинали все больше угнетать его собеседника. В этой холодной сдержанности ему мерещилось подчеркнутое высокомерие. Он мрачнел и внутренне негодовал на эту непонятную замкнутость. И когда они прощались поздним вечером, оба держали себя холодно и отчужденно. Они скованно раскланялись, холодно пожали друг другу руки и расстались. Прежде чем Юджин снова заговорил со Старвиком, прошло несколько месяцев, и все это время он думал о нем с раздражением, почти с неприязнью.

<...>

XXXV

Старвик сделался его лучшим, ближайшим другом. Как-то вдруг, со странным и горьким чувством опустошенности и утраты, он понял, что Старвик — единственный из его друзей-сверстников, кому он пламенно и без утайки поверял все свои думы, единственный, общаться и дружить с которым ему никогда не надоедало. У него и прежде бывали друзья-приятели — в том смысле, в каком это обычно понимается, — но никогда до встречи со Старвиком дружба не затрагивала самых сокровенных глубин его души.

Почему так сложилось? Отчего ему суждены были эта горькая опустошенность и утрата — если он и вправду чего-то лишился, что-то утратил? Отчего, несмотря на мучительную, неуемную жажду жизни, на неутолимое стремление к теплоте, радости, любви и дружбе, несмотря на непреходящую мечту, что с детства поселилась у него в сердце, — мечту о волшебном граде, полном верных товарищей и чарующих незнакомок, — люди начинали утомлять его почти сразу же после знакомства с ними? Отчего он словно выжимал из них всю теплоту, все интересовавшее его, как выжимают досуха апельсин, — а затем на него тут же нападали скука, гадливость, тягостное уныние и такая бесконечная усталость, такое непреодолимое желание бежать без оглядки, что он начинал едва ли не ненавидеть их?

Почему вышло так, что душа его наполнилась яростным негодованием, злобой на людей, ибо ни один из них не был таким, каким ему следовало быть? Откуда она взялась — ни на чем не основанная, но твердая и

становящаяся все нерушимее с каждой новой неудачей и разочарованием вера в то, что чудесный мир здесь, рядом с нами, стоит только протянуть руку, а удивительная, волшебная жизнь, которая грезилась ему и которой он жаждал, недосягаема отнюдь не потому, что иллюзорна, но потому, что люди слишком низки, слабы и не способны ее добиться?

Старвик же был единственным, с кем он постоянно чувствовал это волшебство — обаяние жизни вечно прекрасной, вечно счастливой и удивительной, вечно полной пламенных страстей, поэзии и восторга, жизни, где вечно горит светоч буйной, ликующей юношеской веры, юношеских мечтаний о неоткрытых землях, о зорях и сияющем граде, и жажды путешествий, и твердой надежды на скорый успех, везение и удачу, — жизни, где царят нетленная радость и счастье: ему казалось, что она уже совсем близко и вот-вот вступит в свои права.

Он мельком взглядывал на необычное, с изящными чертами лицо юноши, своего товарища, дивясь и задумываясь об этом странном союзе с чужой жизнью, с человеком, чей характер и темперамент были столь отличны от его собственных. В чем таился секрет? Быть может, их дружбу питал острый ум — это уникальное, не знающее преград орудие, — который по-новому поворачивал старые, избитые проблемы, легко заставляя их сверкать и переливаться еще не виданными гранями? С каким неистовым восторгом отправлялся он сопровождать друга в долгих ночных прогулках по тихим улочкам Кембриджа или по берегу волшебной реки, которая таинственно вилась в лунном сиянии, убегая узкой лентой за город, во мрак плодородных земель! Что могло быть замечательней и прекраснее, что могло быть милее уму и сердцу, чем эти разговоры, когда, забыв о целом свете, они яростно спорили обо всем, что творится под небесами; его собственная речь, страстная, несущаяся бурным потоком в готовности сразиться с кем угодно и призывающая на подмогу всех покровителей волшебства и поэзии, в то время как ум рассыпал яркие фейерверки над гигантскими просторами перечитанного и пережитого!

И как жадно ожидал он, что́ ответит ему другой голос, спокойный, усталый, неторопливый, — как яростно бросался он критиковать возражения своего оппонента, как ненасытно и благодарно впивал доводы, созвучные его собственным! Кто еще обладал даром так глубоко ранить его самолюбие, так чувствительно задевать его за живое, — как жестоко страдал он от высказанного другом презрения, каким сладким и гордым ликованием наполняли сердце его похвалы! По ночам, после прогулок со Старвиком вдоль реки и обычных неистовых и все же проникнутых взаимной симпатией дебатов, он вновь часами переживал недавнюю беседу, снова и снова возражал ему, вспоминая каждый жест, каждую интонацию, каждый отблеск жизни и страсти на этом лице. Поздней ночью он мерил шагами комнату или стоял задумчиво у окна, не в силах прекратить мысленный спор, изобретая с сожалением новые убедительные аргументы, которых он не привел, вспоминая с восторгом те, что успел высказать, и каждое слово одобрения, каждый взрыв смеха, с какими они были встречены! И думая: да, это у меня действительно вышло здорово! Я видел, как он восхищен мною, как высоко он меня ценит. Ведь если уж он говорит, значит, и вправду так считает: он сказал, что я поэт, сказал это спокойно и убежденно; он сказал, что подобных мне никогда не бывало и я обязательно стану великим.

Быть может, в этом и таился ответ?

В прежние годы он пил очень мало: несмотря на отчаянный страх его матери, что все ее дети унаследуют от отца пристрастие к виски — она называла это "клеймом алкоголика", — он не чувствовал особенной тяги к спиртному. Он никогда не любил пить один, никогда не покупал бутылки только для себя; при том замкнутом образе жизни, который он избрал, мысль о пьянстве в одиночку, о прихлебывании из фляжки украдкой, по подворотням наполняла его холодным ужасом.

Теперь же, за компанию со Старвиком, он пил чаще, чем когда бы то ни было. До двадцати лет алкоголь оставался в его жизни лишь случайным, нечастым гостем. Как-то раз, на семнадцатом году, вернувшись из колледжа домой на рождественские каникулы, он крепко напился: его брат Люк привез отцу в подарок несколько бутылок, а он налил из всех понемногу в один стакан и разом выпил. И были еще два-три случайных кутежа во время учебы в колледже — однако до сих пор он не знал, что такое пить регулярно.

Но теперь почти каждую неделю он вместе с Фрэнком Старвиком посещал маленький ресторанчик, расположенный в итальянском квартале, — чтобы попасть туда, нужно было отправиться в восточную часть города, за Сколлей-сквер, и пересечь Вашингтон-стрит. Старвик сам отыскал это местечко и ревностно хранил свою тайну, открывая ее лишь немногим друзьям — тем немногим понимающим людям, чье присутствие не могло грубо оскорбить атмосферу Старого Света, царившую в этом бесценном месте, ибо, как он иногда говаривал:

— Жаль было бы, если б о нем пронюхали. Право, жаль... ведь если эта публика повадится туда ходить, все будет испорчено... право... И знаешь ли, *чрезвычайно* удивительно, что такое местечко нашлось здесь, в Бостоне.

Тогда только начиналась мрачная пора, отмеченная кровью, преступлениями и страхом, — годы сухого закона, которые страшно исковеркали не только дух и совесть всего народа, но и миллионы судеб, особенно в среде молодых. Однако не настал еще черед безобразного, наглого, открытого издевательства, противного душка привилегий и коррупции, самодовольной усмешки покровителя и злобной ухмылки гангстера — все это вышло на поверхность немного позже. А тогда "раздобыть глоточек" было отнюдь не просто: "спик-изи", или "тихие бары", уже начали свою историческую карьеру, но еще более или менее соответствовали данному им прозванию — это были места, куда приходили без шума, украдкой, места, где говорили тихо и обменивались подозрительными взглядами, где разработали сложную систему предосторожностей.

Местечко, "открытое" Старвиком и тщательно ото всех скрываемое, было маленьким итальянским ресторанчиком под названием, по имени владельца, "У Посилиппо", — это заведение занимало второй этаж старого кирпичного дома на глухой улочке итальянского квартала. Старвик выговаривал это имя любовно, с ударением — "Поцилиппо", — придавая ему необычное звучание, как и всем прочим экзотическим иностранным именам, особенно тем, от которых веяло ароматом латыни.

Когда Фрэнк, как раз усвоивший в ту пору щедрую, барственную манеру — сюда входила и склонность оделять чаевыми по любому поводу, — появлялся у "Поцилиппо", его подобострастно встречали хозяин и официанты, и он с видом истинного знатока и гурмана заказывал обед своему любимому официанту, вежливому, угодливому служителю по имени

Нино. Здесь были и другие официанты, не хуже Нино, но Старвик неизменно отдавал предпочтение ему – поскольку, говорил он, у Нино лицо одного из святых кисти Джотто, а еще потому, что вся его фигура, по словам Фрэнка, была совершеннейшим воплощением древнего, благородного и изысканного духа старого тосканского дворянства.

– Ты следил за его руками, когда он говорит? – с глубокой, искренней серьезностью спрашивал Фрэнк. – Заметил последний жест? Это тот самый жест, что у апостола Фомы на фреске Леонардо "Тайная вечеря". Право, тот самый... Боже! – восклицал он своим странным, высоким голосом, так похожим на женский. – Искусство, жизнь, культура целых веков – гигантские знания, которыми обладали все эти люди, то, чего ты никогда не обнаружишь у наших соотечественников, чего не дадут тебе никакие колледжи, никакие книги, – все это заключено в одном-единственном движении руки простого итальянского официанта... Чрезвычайно удивительно – право, чрезвычайно.

Но настоящая причина, по которой Фрэнк предпочитал Нино другим официантам заведения "У Посилиппо", была иной: ему просто нравилось, как звучит это имя, а в его устах оно звучало прекрасно.

– Нино! – кричал Фрэнк странным, высоким голосом, так похожим на женский. – Нино!

– Si, signor[1], – сладчайшим шепотом отвечал Нино и замирал в позе безграничного, покорного обожания, готовый выслушать очередной приказ.

– Нино, – продолжал Фрэнк тоном утомленного сластолюбца Старого Света, – quel vin avez-vous? Quel vin – rouge – du – très – bon. Vous – comprenez?[2] – говорил Фрэнк, разом используя почти весь свой запас французских слов, но при этом мастерски создавая иллюзию свободного владения двумя языками.

– Mais si, signor![3] – с готовностью отвечал Нино, умудряясь вдвойне польстить самолюбию Фрэнка тремя умело подобранными на двух языках словами. – Le Chianti est *très, très* bon!... C'est parfait, monsieur, – шептал он, восторженно шевеля пальцами. – Admirable![4]

– Bon, – спокойно и решительно говорил Фрэнк. – Alors, Nino, – продолжал он, повышая голос на этих словах, которые очень любил повторять, – alors, une bouteille du Chianti – n'est-ce pas[5]?..

– Mais si, signor! – убежденно кивая, отвечал Нино. – Si – et pour manger?[6] – вкрадчиво продолжал он.

– Pour manger? – вторил Фрэнк. – Ecoute, Nino – vous pouvez recommander quelque chose – quelque chose *d'extraordinaire*! – восклицал он страстно. – Quelque chose de la *maison*![7] – торжествующе заключал он.

– Mais si! – с готовностью откликался Нино. – Si, signor... Permettez-moi!.. Le spaghetti, – чувственно шептал он, закатывая в экстазе черные глаза и едва шевеля большим и указательным пальцами – жеманный жест, полный немого восторга. – Le spaghetti... de la... maison... ah, sign-

1. Да, синьор! (*итал.*).
2. Какое у вас вино? Вина – красного – очень хорошего. Понимаете? (*франц.*).
3. О да, синьор! (*смеш. франц. и итал.*).
4. Кьянти *очень, очень* хорошее!.. Оно превосходно, мсье, восхитительно!
5. Хорошо... Итак, Нино, итак, бутылочку кьянти – правильно?..
6. О да, синьор!.. Да, – а какие блюда?
7. Блюда? Послушайте, Нино, – посоветуйте нам что-нибудь... что-нибудь *экстраординарное*!.. Что-нибудь *фирменное*!

or, – вздыхал Нино, – le spaghetti avec la sauce de la maison est mérveilleux... merveilleux![1] – шептал он.

– Bon, – кивнув, говорил Старвик. – Alors, Nino – le spaghetti pour deux – vous comprenez?

– Mais si, signor! Si, – шептал Нино. – Parfaitement, – и записывал этот волшебный заказ к себе в блокнот. – Et puis, monsieur, – вкрадчиво и необычайно смиренно говорил Нино, – permettez-moi de recommander – le poulet, – страстно шептал он, – le poulet rôti, – с придыханием произносил он, словно приоткрывая завесу над величайшим со времен Эпикура кулинарным секретом, – le poulet rôti... de la maison, – он снова безмолвно шевелил большим и указательным пальцами и восторженно вращал глазами, – ah, signor, – говорил Нино, – vous n'aurez pas de regrets si vous commandez le poulet.

– Bon... Bon, – спокойно и уверенно изрекал Старвик. – Alors, Nino – deux poulets rôtis, pour moi et pour monsieur, – заказывал он.

– Bon, bon, – энергично кивал Нино, строча в блокноте, – et pour la salade, messieurs[2], – и замирал, испытующе и одновременно с надеждой глядя на своих благосклонных молодых повелителей.

Разговор на ломаном французском и односложном итальянском продолжался в том же духе, покуда собеседники не исчерпывали весь список яств. По окончании этой торжественной церемонии обнаруживалось, что Фрэнк Старвик заказал не более и не менее как стандартный обед ценою в один доллар, который синьор "Поцилипио" предлагал всем посетителям своего заведения и меню которого – а именно суп, рыба, спагетти, жареный цыпленок, салат, мороженое, сыр, орехи и горький кофе – было словно начертано на скрижалях судьбы и неподвластно прихотям человеческим.

И все же в устах Фрэнка названия этих обыкновенных, весьма непритязательных блюд звучали так таинственно и необычно, что сами блюда казались редчайшими деликатесами и изысканнейшими лакомствами, а при их перечислении вы невольно начинали облизываться, предвкушая удивительную трапезу, словно готовились насладиться верхом искусства какого-нибудь чудодея-повара.

И эта особенность Фрэнка Старвика была одной из самых прекрасных, самых привлекательных его черт. Именно благодаря ей – хотя, быть может, и не только ей – к нему тянулись разные люди: им нравилось его общество, они питали к нему безграничную симпатию, были преданы ему и готовы на все ради него, и тут с Фрэнком не мог бы сравниться никто на свете.

Ибо, несмотря на неестественное поведение Фрэнка, на его аффектированные жесты и манерный тон, несмотря на тщательно разработанный и насквозь искусственный стиль всей его жизни – нет! именно *благодаря* ему (поскольку как раз эти неестественные манеры неоспоримо доказывали, что Фрэнк постоянно пытается придать аромат необыч-

1. О да!.. Да, синьор... Позвольте мне... Спагетти. Спагетти... фирменное... ах, синьор, спагетти с нашим фирменным соусом просто чудесно... чудесно!
2. Хорошо... Итак, Нино, – спагетти на двоих, понимаете?
– О да, синьор! Да... Замечательно. И еще, мсье, – позвольте мне порекомендовать... цыпленка – жареного цыпленка... цыпленка, зажаренного нашим фирменным способом. Ах, синьор, вы не пожалеете, если закажете цыпленка.
– Хорошо... Хорошо. Итак, Нино, – два жареных цыпленка, для меня и для мсье.
– Хорошо, хорошо... Теперь салат, мсье...

ности, тайны, неординарности, чуда и экзотичности обычным, абсолютно ничем не примечательным вещам) — становилось понятно, что Фрэнк страстно и горячо желает найти вечно счастливый, прекрасный и полный трепетного восторга мир.

И Фрэнк Старвик действительно обладал чудесным даром преображать все происходящее вокруг: каким бы обыкновенным и привычным оно ни было, в его присутствии все казалось романтическим и удивительным.

Если он был рядом, любая вещь, будь то "фирменное кьянти", очередная сигарета, стихотворение или роман, любое событие, будь то посещение театра, прогулка по Гарвард-ярду или вечерняя беседа на берегу реки Чарльз, становились необычными, исключительными и памятными, и поэтому, несмотря на гнилую червоточину в душе Фрэнка, на заразу, которая потом окончательно погубила его, он был одним из самых чудесных и замечательных людей на свете, и тот, кто знался и дружил с ним, никогда уже не смог бы его позабыть.

Ибо, как это ни парадоксально, неестественность речи Фрэнка, его манера одеваться и держать себя, весь целиком искусственный уклад его жизни, который заставлял многих презирать его, считать жалким неискренним позером, родились из чего-то внутренне невинного, доброго и наивного — столь же наивного и милого, как то, что побуждало Тома Сойера сочинять небылицы, изобретать немыслимые, запутанные и романтические планы, хотя в этом не было никакой необходимости, и щеголять умными словечками, удивляя своих друзей, негра Джима и Гекльберри Финна.

Итак, двое юношей оставались у "Поцилиппо" до поздней ночи, то есть до самого закрытия ресторана: они сидели, попивая чудесное "фирменное кьянти", столь вдохновенно и любовно разрекламированное, хотя на самом деле это было не что иное, как "даго ред"[1], крепкое свежеизготовленное пойло мгновенного действия — наутро оно обещало головную боль и подавленность, зато вначале дарило их мягким, головокружительным хмельным восторгом, который доступен только молодым.

А около часу ночи, прежде чем покинуть этот уголок, полный средиземноморской неги и таинственного очарования, Фрэнк кричал высоким неверным голосом:

— Нино! Нино! Il faut quelque chose à boire avant de partir[2]... Нино!.. Нино!.. Encora! Encora![3] — победно восклицал он по-итальянски.

— Mais si, signor, — улыбаясь с легким беспокойством, отвечал Нино. — Du vin?

— Mais non, mais non, Нино, — бурно протестовал Фрэнк. — Pas de vin — du wis-kee[4], Нино! Du wis-kee!

Затем, проглотив по порции крепкого, грубого напитка, который в то время носил это название, они оставляли позади расплывчатый круг световых пятен, где неясно маячили несколько смуглых, обеспокоенно улыбавшихся лиц, и, одолев шаткие ступеньки с риском переломать но-

1. Дешевое красное итальянское вино.
2. Нужно выпить напоследок (*франц.*).
3. Еще! Еще! (*итал.*).
4. Вина? — Нет, нет! Не вина — виски! (*Здесь и далее – перевод с французского.*)

ги, оказывались среди узких кривых закоулков, погруженных в ночную тишину, в старом прокопченном лабиринте древних, запутанных, смутно белеющих во тьме бостонских улиц.

Над ними, в прохладном ласковом ночном небе, какое бывает только весною в Новой Англии, стояла во всем своем блеске волшебная, прекрасная и величественная луна. А вокруг, в сиянии этой луны, объятый древним покоем, спал величественный город, тысячи запутанных улочек, — и перекликались в гавани корабли, тянуло оттуда, с широких просторов, свежим, чуть отдающим гнилью ветерком, навевая мысли о море и гордых кораблях, об упоительном счастье далеких путешествий. И от булыжника мостовых, и от старых закопченных зданий, и от самой луны — от великолепной весенней луны, ярко сияющей в прекрасном сиреневом небе! — исходил сладкий и вольный дух Новой Англии в месяце мае, запах земли, молодой зелени и чудесных цветущих деревьев, вольный, сладкий, простой, необыкновенный и ошеломляюще родной, — и чувствовалась эта невозможная прелесть, это невыразимое волшебство, эта несказанная надежда на чудо, неподвластное пониманию, но такое близкое и доступное и готовое вот-вот свершиться, навеки утолить голод и — одному Богу ведомо как — унять непреодолимое желание навсегда овладеть этим волшебным зеленым краем с его чудными белыми домиками, краем, где светлеет заманчивая плоть, и отливают лунным блеском темные волосы, и молчаливо чернеют в вечной тиши бездонные глаза загадочных, полных таинственного соблазна, удивительных женщин.

Где ты, неведомая Елена, повелительница наших сердец?

Потом двое друзей выбирались из пьяной путаницы залитых луной улиц, чувствуя, как тихо дышит огромный молчаливый город, и пьяно глядели на луну, и видели в небесах ее, нагую и пьяную, а кругом — весь свет и древний град, опьяненные сном, весельем и наступившей весной, и очарованную тишь площадей, пьяных от лунного света. И наконец они попадали в Кембридж, в темное, лунное, сонное безмолвие университетского городка, на Гарвард-сквер, а восторг и радость бурлили в их душах не утихая; из глоток их, будоража спящие улицы Кембриджа, мешаясь со сладкими ночными ароматами, рвались дикие ликующие возгласы, песни и смех — ибо они были пьяны и молоды, им было двадцать, в них полыхала бессмертная вера и непобедимая мощь и они знали, что никогда не умрут.

Бессмертный хмель! Чем можем мы отплатить тебе, как нам воспеть тебя, какую торжественную хвалу вознести в твою честь, чтобы суметь выразить ту вдохновенную благодарность и любовь, какую мы, американцы, познавшие неутолимый голод юности, питаем к спиртному?

Мы, американцы, несчастны, покинуты и одиноки: враждебное небо нависает над нами гигантским куполом, и нет для нас двери.

Но ты, бессмертный хмель, пришел к нам, юным, когда сердца наши устали надеяться, когда нас сводили с ума неведомые страхи и головы наши поникли под бременем безымянного стыда. Ты пришел к нам как победитель, и овладел нами, и наполнил нашу жизнь своею безумной музыкой, и исторг из наших глоток ликующий звериный клич, и мы узнали, что здесь, среди дебрей, в диком краю, здесь, под гигантским и недобрым куполом времени, на бесплодных просторах городов, в непрекращающемся водовороте миллионов человеческих жизней, юности нашей суждена удача, слава, любовь, дух наш взметнется на могучем

гребне поэзии, труд наш получит триумфальное завершение и мы победим!

И пусть с тех пор, как ты, волшебный хмель, пришел к нам впервые, головы наши успели облысеть, наши гибкие члены отяжелели, а тела покрылись кровоподтеками в житейской толчее — что с того?

Ты принес нам, двадцатилетним, музыку, поэзию и неистовый восторг — принес, когда мы, спотыкаясь, брели домой по старым, облитым лунным светом бостонским улицам и слышали, как разносится по тихой пустынной площади громкий голос нашего товарища, нашего союзника, нашего ушедшего друга: "Ты поэт, и весь мир будет у твоих ног".

И победа, радость, безумная надежда, и нерушимая уверенность, и нежность вскипали у нас в груди вместе с этим хмельным возгласом, этот голос бальзамом лился в душу, рождая предвкушение славы, триумфа и торжества, и мы обращали взор к хмельным небесам Бостона, зная лишь одно: что мы молоды и хмельны, что нам двадцать, и в нас кипит могучая стихия поэзии, и вся бескрайняя земля принадлежит нам — ибо мы юны и хмельны, и нам двадцать лет, и нас никогда не настигнет смерть!

<...>

XXXVIII

Однажды воскресным утром, в начале мая, Старвик и Юджин перешли через мост по дороге к большому стадиону и свернули направо, на тропинку, которая вилась по берегу реки Чарльз. Весна наступила внезапно, как обычно бывает в Новой Англии, и все вокруг сразу же чудесно преобразилось: у реки стояли стройные, белые, удивительно красивые березки, которые уже успели покрыться молодой, нежной майской листвой.

Этой весной — для Юджина она была третьей и последней из тех, что он проводил в Кембридже, — Старвик стал одеваться и вести себя еще более неестественно, чем прежде. Зимой, к вящему беспокойству профессора Хатчера — он проявлял это беспокойство все чаще и уже не в силах был его скрывать, — его любимец, на которого профессор столь щедро изливал свою благосклонность и симпатию, лелея в душе надежду, что тот когда-нибудь займет его место на славном поприще преподавания и ему, старику, можно будет спокойно уйти, передав "дело" в надежные руки, стал носить гетры и вдобавок обзавелся тростью и собачонкой.

Теперь, с наступлением весны, гетры были упразднены, но, прогуливаясь по берегу реки, Фрэнк по-прежнему томно, небрежно помахивал легкой изящной тросточкой и иногда прерывал разговор с Юджином, чтобы резко окликнуть маленькую собачонку, которая весело носилась вокруг, словно ошалев от весенних запахов, — время от времени Фрэнк резко, повелительно кричал ей своим похожим на женский голосом:

— Рядом, Танг! А ну, рядом!

И песик, маленький лохматый терьер, подарок какого-то преданного друга из богачей с Бикон-хилла, останавливался точно вкопанный, глядя на Фрэнка озадаченно, пристально, задумчиво и вопросительно, как смотрят собаки и маленькие дети, будто желая сказать: "В чем дело, хозяин? Доволен ты мной или я чем-нибудь провинился?"

И тут же, повинуясь еще более резкому и повелительному окрику Фрэнка, песик оставлял свои веселые забавы и беготню по зеленым лужайкам, которые тянулись вдоль речного берега, и с унылым, виноватым видом кротко трусил по тропинке рядом с юношами, пока вновь не брали верх обуревавшие его весенние восторги.

Время от времени навстречу им попадались другие студенты, которые гуляли здесь парами или целыми компаниями, наслаждаясь чудесной погодой; и глядя, как Старвик помахивает тросточкой и покрикивает на собачонку, молодые люди широко ухмылялись и провожали его любопытными взглядами.

Один раз Старвик резко крикнул "рядом!" в тот самый момент, когда песик задрал ногу под деревом, и бедняга, не успев опустить ногу, оглянулся на Старвика с таким озадаченным видом, что несколько проходивших мимо студентов весело расхохотались. Румянец на щеках Старвика стал немного отчетливее, но он обратил на этих бездельников не больше внимания, чем на какую-нибудь кучку мусора у обочины. Он только щелкнул пальцами и снова резко окликнул песика, после чего тот покинул свое место под деревом и кротко затрусил рядом, как полагалось.

Когда разыгрывалась одна из подобных сценок, Юджин вдруг услыхал знакомый голос, веселый и добродушный, и, быстро обернувшись, увидел прямо перед собой круглые жизнерадостные лица Эффи Хортон и ее мужа Эда.

— Ба-а! — протянула Эффи густым, звучным голосом уроженки Айовы. — Кого мы видим! То-то я гляжу, эти длинные ноги вроде как мне знакомы! — продолжала она шутливо, насмешливо и вместе с тем весьма добродушно. — Их ведь издалека видать! Я и говорю Пули, — таково было ласковое прозвище, которым по неизвестной причине наградили Хортона жена и его друзья из Айовы, — я и говорю Пули: в Кембридже, мол, есть только одна пара таких длинных ног. Это наверняка Юджин, говорю. Да, сэр! — звучно воскликнула она, шутливо покачав головой; ее широкое, пышущее здоровьем лицо так и сияло добродушием. -- Это наверняка Юджин... Ох, батюшки! батюшки-светы! поглядите-ка на него! — воскликнула она с дружелюбной насмешкой, но теперь в ее звучном веселом голосе послышались какие-то злобные, издевательские и завистливые нотки. — Как разоделся-то, прямо чудо, да решил пройтись с утречка, покрасоваться перед девчонками! Да, сэр! — снова воскликнула она, восхищенно и недоверчиво качнув головой, так и сияя, довольная. — Ей-богу же, именно за этим он и наладился!

Юджин залился румянцем, не сумев придумать подходящий ответ на эту невинную, якобы дружескую шутку, за которой, он чувствовал, скрывалось что-то фальшивое, злобное, издевательское и в то же время, как ни странно, говорящее о тайных страданиях; он неуклюже, с запинкой поздоровался, а Хортон, лениво посмеиваясь над смущением юноши, хлопнул его по спине и сказал:

— Как делишки, малыш?.. Где ты все пропадаешь-то, а?

Казалось, он намеренно говорит хрипло и грубовато, этак по-мужски добродушно, — однако в его напускном добродушии, как и в словах жены, явно сквозило что-то фальшивое.

— А вот и *мистер* Старвик! — жизнерадостно воскликнула Эффи. — Нет, вы поглядите-ка на него! — словно восторгаясь этим зрелищем, продолжала она. — Как одет, да с тросточкой, да с собачкой! Ну и дела! —

восхищенно вскричала она, в изумлении оглядев изысканный наряд Фрэнка, — а какой на нем при-и-вас-хходнейший твидовый костюм — ну точно прямиком из Лондона!.. Батюшки! батюшки-светы!.. Ну, Пули, я молчу, — восторженно продолжала она, — видели бы сейчас нас с тобой наши земляки...

Хортон добродушно, с хриплотцой захохотал, но в смехе этом послышалась злобная, издевательская нотка.

— Видели бы они нас! — сказала Эффи. — Ну кто ж поверит, что мы знаемся с двумя лондонскими щеголями, — а ведь вот они, пожалте-ка! мистер Старвик с тросточкой да с собачкой и Юджин в новеньком костюмчике — да, сэр! И разговаривают с нами прямо как с ровней.

Юджин покраснел и произнес с неуклюжим сарказмом:

— Я постараюсь ничем от тебя не отличаться, Эффи.

Хортон снова добродушно, хрипловато рассмеялся — добродушие было явно фальшивое — и, дружески хлопнув юношу по спине, сказал:

— Не давай ей воли, сынок! Пошли-ка ее подальше, чтоб не слишком фамильярничала!

— А как поживает наш мистер Старвик? — шутливо воскликнула Эффи, избрав эту презренную личность объектом дальнейших насмешек. — Где же та великая пьеса, которой мы ждем с таким нетерпением — ждем, увы, все эти годы? Вот что я скажу! — звучно, уверенно объявила она. — Когда на Бродвее будет премьера, я постараюсь занять место в первом ряду! Я не хочу упустить *ни слова* — ведь пьеса, отнявшая у автора так много лет, должна быть настоящим шедевром: каждое слово — чистое золото!

— Именно! — холодно отозвался Старвик своим обычным аффектированным тоном. Румянец на его щеках стал малиновым; он обернулся, и резко, повелительно прозвенел его высокий голос:

— Рядом, Танг! Рядом!

Он щелкнул пальцами, и песик покорно затрусил к нему. Ни один мускул не дрогнул на широком, пышущем здоровьем лице Эффи при виде холодного, презрительного равнодушия Старвика: открытое жизнерадостное лицо женщины по-прежнему излучало дружескую доброжелательность, но глаза ее, это зеркало ревнивой, завистливой, эгоистичной и мучимой жадным любопытством души, вдруг потускнели, взгляд стал тяжелым, а в шутливых словах еще отчетливее, чем раньше, зазвучали раздражение и злоба.

— Пули, — усмехнулась она, нежно взяла Хортона под руку и тесно прижалась к нему, изобличая этим бесконечно ревнивую натуру собственницы, которую сама ее природа принуждает настойчиво уверять себя в том, что лучше "ее парня" на свете нет, а все остальные женщины напрасно мечтают завладеть им и рвут на себе волосы от зависти. — Пули, — беспечно сказала она и еще теснее прижалась к нему, — может, этого-то нам и не хватает?.. Может, это-то тебе и нужно, чтобы написать великую пьесу?.. Да, сэр, — шутливо сказала она, — теперь мне ясно, в чем тут секрет!.. Я, пожалуй, перестану бросать деньги на ветер — буду копить, пока не наберется тебе на костюм, на при-и-вас-хходный костюм, как у мистера Старвика. Да, сэр! — она решительно кивнула. — Непременно этим займусь!.. Я попрошу у мистера Старвика адресок его портного — и пусть он сошьет тебе при-и-вас-хходный костюм из английской ткани — и тогда ты, наверно, станешь наконец гениальным, как мистер Старвик и Юджин!

— Черта с два! — хрипло, добродушно воскликнул Хортон. — А чем плох тот, что на мне? Я и ношу-то его не больше трех лет — а он, между прочим, все как новенький. — И Хортон добродушно, с хрипотцой рассмеялся.

— Пу-у-ли! — укоризненно протянула она. — Да он у тебя весь вытерся! А я так хочу, чтобы ты оделся по-настоящему и стал *гением*, как мистер Старвик!

— Нет уж! — словно ставя точку, сказал он. — Я буду носить эти портки, покуда они с меня не свалятся. А после пойду к Файлину, на распродажу, и куплю другие. Нет уж! Эстета из меня не выйдет. Я из-за дырки на заднице хуже писать не стану. — Он сочно, добродушно, с хрипотцой рассмеялся и снова хлопнул Юджина по спине, отрывисто добавив: — Так, что ли, парень?

— Ох, Пу-ули! — с укором воскликнула Эффи. — А мне до того хочется, чтобы ты стал гением — как мистер Старвик!

— Нет, обожди-ка! Обожди! — хрипло прервал он ее, предупреждающе подняв руку, подыгрывая ей в этой безобразной сцене. — Это другое дело! Старвик-то у нас художник — а я всего-навсего писателишка. Нам художников понять не дано — верно, Старвик? А для художника все эти вещи очень важны, — насмешливо объяснил он жене. — Ему нужно создать для работы подходящую атмосферу. Каждая мелочь имеет значение для художника — верно, Старвик?

— Именно! — холодно отозвался Старвик.

— Ну, а я по-другому устроен, — веско заявил Хортон. — Я из тех неотесанных парней, которые пишут где ни попадя. Утром я встаю и принимаюсь писать, охота мне или нет. Но у вас, художников, все наоборот, верно, Старвик? Конечно, у этакого настоящего, заправского художника, как Старвик, вся жизнь пойдет наперекосяк, если портки будут плохо сидеть или галстук окажется не того оттенка. Верно, Старвик?

И он сочно, по-приятельски добродушно и весело рассмеялся, но в глазах у него светилась безобразная злоба, издевка.

— Именно! — вновь повторил Старвик; лицо его залилось ярким румянцем, он резко окликнул собаку и спокойно сказал, вопросительно обернувшись к Юджину: — Нам пора?

— О, ну *конечно, конечно же!* — словно бы опомнившись, шутливо воскликнула Эффи. — Вот зачем все эти наряды!.. Собрались на прогулку, да? поглядеть на птичек, на пчелок да на цветочки? Батюшки! Батюшки мои! Ах, как мне хочется с вами! Пу-ули! — умоляюще протянула она. — Почему бы тебе как-нибудь не вывести и меня на прогулку? Я обожаю слушать, как поют птички-синички! Ну пойдем, милый. Пойдем, а? — умоляюще сказала она.

— Нет уж! — решительно отрубил он. — Прогуляемся с тобой по мосту, а потом до угла, купим газету. И хватит с меня прогулок на сегодня! А коли хочешь слушать птичек, так я тебе куплю канарейку. — Он повернулся к Юджину, снова хлопнул его по плечу и, посмеиваясь, сказал с грубоватой доверительностью: — Ты меня знаешь, парень... Ты ведь знаешь мою любовь к физическим упражнениям.

— Ну что ж, если нам нельзя послушать, как птички-синички поют мистеру Старвику и Юджину, остается только распрощаться, — с сожалением сказала Эффи. — Мы не имеем никакого права не пускать их в гости к птичкам — правда, милый? Ведь бедные пташки совсем уже заждались... Вот что, Юджин! — с веселым укором воскликнула она: теперь в

ее голосе послышались искренняя теплота и расположение. — Ты у нас сто лет не был! Что с тобой стряслось?.. Приходи обязательно, а не то я обижусь по-настоящему!

— Верно, — врастяжку, как истый уроженец Айовы, подтвердил Хортон, ласково кладя руку на плечо юноше. — Заходи к нам, парень. Сгоношим чего-нибудь пожрать и языки почешем. Ты же знаешь, я на следующий год не вернусь... — На миг серые глаза Хортона прояснились, заблестели, в них появилась неподдельная боль, нежность и гордая надежда. — Мы с Джимом Мадденом отправляемся в Нью-Гемпшир. Так что ты уж заходи поскорей: надо хоть разок поболтать, прежде чем я уеду.

И Юджин, внезапно глубоко тронутый, услышал в его голосе настоящую теплоту, подлинную симпатию — искреннее расположение, животную теплоту и дружелюбие, которые были самыми лучшими и привлекательными чертами Хортона.

И, вновь ощутив прилив симпатии к ним обоим, он кивнул головой и ответил:

— Ладно, Эд. Я скоро зайду. До свиданья, Эффи. Пока. Пока, Эд.

— Пока, парень. До свиданья, Старвик, — дружелюбно сказал Хортон. — Ждем тебя, Джин, — до свиданья!

После этого дружеского прощания они ушли, а Старвик и Юджин двинулись дальше по берегу реки. Старвик шел спокойно, молча; лишь иногда он резко окликал собачонку, веля ей бежать рядом.

В течение двух месяцев молодые люди виделись только на занятиях у профессора Хатчера и при этом оба держались холодно и натянуто. Теперь же Старвик со свойственной ему великодушной решимостью сломил гордое, упрямое сопротивление товарища: он сделал первый шаг к миру и, как это удавалось ему всегда и везде, сразу же победил гнев друга и вернул его расположение своей бесконечной грацией, привлекательностью и обаянием.

Однако вначале, несмотря на отсутствие враждебности, беседа у них еще не клеилась и оставалась почти нарочито обрывочной и бессодержательной, как у людей, которым мешают смущение и робость и которые терпеливо ждут повода разговориться о том, что их глубоко, по-настоящему волнует.

Вскоре они подошли к излучине реки, где частенько сиживали раньше на зеленом склоне, курили и толковали о том о сем, поглядывая на бегущую у их ног одинокую узенькую речушку. Они снова уселись здесь, достали по сигарете и затихли, ожидая, когда другой нарушит молчание.

Через некоторое время Юджин посмотрел на товарища — тот сидел, пристально глядя на реку, — и заметил, как на его симпатичном румяном лице с раздвоенным подбородком вдруг промелькнула животная гримаса, которую ему часто доводилось видеть и раньше: в ней было что-то немое, звериное, какая-то невыразимая животная мука, не находящая выхода.

И тут же, опустив голову и глядя на зеленую траву, Старвик спокойно промолвил:

— Почему ты ни разу не зашел ко мне за последние два месяца?

Его приятель залился краской, сбиваясь, в смущении попытался было ответить и, разозленный собственным замешательством, горячо выпалил:

— Послушай, Фрэнк, какого черта ты напускаешь повсюду туману и делаешь тайны из всего подряд?

– Разве? – спокойно сказал Старвик.

– Да! Ты всегда такой, с первой нашей встречи.

– Какой? – спросил Старвик.

– Помнишь, как мы познакомились? – последовал встречный вопрос.

– Отлично помню, – сказал Старвик. – Это было, когда ты только появился в Кембридже, – через несколько дней после твоего приезда. Мы пошли ужинать в "Кок-хаус-таверн".

– Да, – горячо подтвердил Юджин. – Совершенно верно. Ты тогда прислал мне приглашение, предложил поужинать вместе. Помнишь это приглашение?

– Нет. А что?

– Я напомню: "Уважаемый сэр, я был бы польщен, если бы вы согласились отужинать со мной в семь тридцать, в среду вечером, на Брэттл-стрит, в 'Кок-хаус-таверн'". И подпись: Фрэнсис Старвик.

– Ну? – спокойно осведомился Старвик. – И что тут особенного?

– Да ничего! – воскликнул другой: возбуждение его росло, и лицо покраснело еще больше. – Ничего особенного, Фрэнк! Только если ты приглашаешь на ужин абсолютно незнакомого тебе человека – почему бы, черт возьми, не сказать ему, кто ты такой и зачем его зовешь?

– Я полагаю, что и так ясно зачем, – невозмутимо ответил Фрэнк. – Затем, чтобы поужинать вместе. Неужели это надо специально растолковывать? Нет, – холодно сказал он, – вынужден признать, что я не нахожу тут ничего необычайного.

– Да конечно же! – с неистовой горячностью воскликнул второй юноша. – Конечно же тут нет ничего необычайного! Так почему тогда ты, Фрэнк, пытаешься сделать из этого что-то необычайное?

– А по-моему, это ты пытаешься! – ответил Старвик.

– Тьфу, черт! – сердито вскричал Юджин. – Ты что, не понимаешь, о чем речь? Да ты все время так! Норовишь из каждой мелочи сделать невесть какую страшную тайну, – горько сказал он. – Пригласить меня к ужину – это было хорошо. Это было здорово! – воскликнул он. – Я был совсем зеленый, никого здесь не знал и всего боялся. Это было чудо, когда мне принесли приглашение на ужин. Но когда ты его посылал, что тебе стоило черкнуть словечко-другое в объяснение? Почему ты не мог упомянуть один-два простых факта, которые все объяснили бы?

– Например? – спросил Старвик.

– Ну, Фрэнк... хотя бы, что ты ассистент профессора Хатчера и что вы с профессором имеете обыкновение знакомиться с новыми людьми, приглашая их на ужин, – сердито сказал юноша. – В конце концов, если получаешь от незнакомого человека приглашение к ужину, нельзя не задуматься, что бы это значило.

– Но ты же пошел, – сказал Старвик.

– Конечно, пошел! Да я бы пошел, даже если бы вообще ничего про тебя не слыхал, – ведь эта новая жизнь совсем выбила меня из колеи, я же в первый раз очутился в большом городе и был настолько не в своей тарелке, что пошел бы куда угодно, чтобы хоть с кем-то поговорить! Правда, когда пришло приглашение, я уже знал, кто ты такой. Я слышал про человека по фамилии Старвик, ассистента профессора Хатчера. И сообразил, что все это каким-то образом связано с профессором и его курсами: наверное, ты приглашаешь меня, чтобы мне не было так неуютно тут, на Севере, чтобы помочь мне обзавестись друзьями, рассказать,

как и что, — короче говоря, поддержать по мере сил. И что же из этого вышло? — негодующе вопросил он. — Ни слова о курсах, о профессоре Хатчере, о своей работе с ним, — ты засыпал меня вопросами, словно я преступник, а ты прокурор. Ничегошеньки не рассказал о себе, а мне задал миллион вопросов — а потом этак вежливо пожал ручку и распрощался!.. Из всего-то ты делаешь тайны и загадки, Фрэнк, — сердито продолжал Юджин. — Все время у тебя так, за что ни возьмись! А потом еще удивляешься, отчего на тебя косятся! Вот мы видимся с тобой неделями, каждый день. Сидим у тебя дома, беседуем, спорим обо всем на свете. Или ты поднимаешь меня бог знает когда, и мы бродим глухой ночью по всему Кембриджу. Идем в Бостон, к Посилиппо, едим там, пьем, надираемся, а если ты перепьешь, я волоку тебя домой и укладываю в постель. А что происходит на следующий день? — с горечью воскликнул он. — Звоню. Слышу загробный голос: "Кто?" — "Да я же, — отвечаю, — твой приятель и собутыльник Юджин Гант, который вчера приволок тебя домой!" — "Весьма сожалею, — отвечаешь ты таким тоном, что пробирает холодом до самых костей, — но я не могу тебя принять. Я занят", — и вешаешь трубку, а я чувствую себя так, будто мне плюнули в физиономию. Наступила пора, покрытая мраком, — насмешливо продолжал он. — Великий человек уединился в своем укромном обиталище и начал творить, — съехидничал он. — Заметь: не сочинять, а *творить*, золотым пером из крыла бразильского кондора, — так что прочь, проклятое пятно[1], — не досаждай мне, Гант, — прочь, ты, быдло, знай свое место! Чудо-мастер, благородный Фрэнсис Старвик вознесся днесь вверх во облаки, дабы запечатлеть свои бессмертные прозрения на пару с любимой музой Амариллидой...

— Джин! Джин! — смеясь, прервал друга Старвик, в голосе его вновь послышались прежние характерные интонации. — Это уж слишком! Ей-богу, ты передергиваешь!

— Да нет, Фрэнк, не передергиваю, — ответил тот. — Ты можешь неделями быть с человеком не разлей вода, а потом хлопнешь дверью у него перед носом. Вытягиваешь у друзей всю их подноготную, а о себе — ни слова. Стараешься окутать каждое свое действие этакой романтической аурой, мистическим ореолом — внушить, что здесь кроется черт-те какое чудо из чудес. Боже мой, Фрэнк, да что ты, в самом деле, о себе мнишь, напуская этого многозначительного туману? Ты что, не такой, как все? — язвительно продолжал он. — Может, ты, как Цезарь, был до времени вырван из лона[2]? А может, ты сделан не из того теста, не из той низменной плоти и крови, что мы, все остальные?

— Когда я давал повод? — покраснев, сказал Старвик. — Когда я давал тебе повод так думать?

— Пойми, Фрэнк, иногда ты ведешь себя так, словно весь мир создан тебе на забаву. Ты иногда ведешь себя так, точно дружба, привязанность твоих друзей — все это для потехи, ради твоего удобства, точно дружбу можно включать и выключать, как горячую воду, — будто ты можешь пользоваться их жизнью, их временем, их чувствами, когда тебе нравится, когда придет охота, а если наскучит, ты устал, впал в апатию или просто нашел занятие поинтереснее — гнать их взашей, как последнюю собаку.

1. У. Шекспир. Макбет. Акт V, сц. 1.
2. Юджин путает Цезаря с Макдуфом.

— Я не знал, что у меня так получается, — тихо сказал Фрэнк. — Прости, если это действительно так выглядит.

— Ну сам посуди, Фрэнк, — ну что друзья могут о тебе подумать? Я выложил тебе все о своей жизни, о семье, о родных краях, о земляках, — а ты не рассказал мне ничего. Здесь, в Кембридже, ты у меня лучший друг... наверное, — покраснев, с трудом выговорил юноша, — один из самых лучших друзей, какие у меня вообще были. У меня их и было-то немного... не было никого, похожего на тебя, — ни с одним своим сверстником я не мог говорить так, как с тобой. Наверное, мне ни с кем не было так хорошо говорить и общаться. Эта дружба с тобой — она вошла в мою жизнь, она проникла повсюду. И все равно, иногда я точно упираюсь лбом в стену. Я уже не могу отделить дружбу с тобой от других событий и встреч в моей жизни, как не мог бы раздвоиться, отделив в себе отцовские черты от материнских. А у тебя все иначе. Ты словно разбил всех своих друзей на группы, разложил их по нескольким полочкам. Я же знаю, что ты вхож в три-четыре круга, и люди из разных кругов никогда не встречаются между собой. И ты вращаешься в этих разных кругах со своим обычным таинственным и непроницаемым видом. Здесь, в Кембридже, у тебя есть всякие тетки и прочие родственники, с которыми ты видишься каждую неделю и которые, как и все остальные, готовы в лепешку расшибиться, лишь бы тебе угодить. Потом, эта богема с Бикон-хилла в Бостоне, и ты ведешь там какую-то загадочную, роскошную, волшебную жизнь. Дальше, еще одна компания, университетская: Иган, Хью Додд, я и другие ребята. И все-таки, Фрэнк, — с горечью в голосе проговорил Юджин, — к чему эта непонятная таинственность, деление друзей на группы? В этом есть что-то отталкивающее, что-то высокомерное, холодное, расчетливое — словно ты, извини, один из тех гнусных, жалких, самовлюбленных дураков, у которых на все отведено местечко в жизни: часок на развлечения и часок на полезные книги, еще часок на занятия спортом, а потом четыре часа на деловые встречи, часок на концерт и часок на стадион, часок на "деловые соглашения" и часок на дружбу, — ей-богу же, Фрэнк, ведь у тебя нет ничего общего с этими гнусными, самодовольными, пустоголовыми, тщеславными эгоистами, для которых мир — дойная корова и существует только для того, чтобы к нему присосаться, ведь они, в конце-то концов, хоть и получают свою вшивую, мелкую, подленькую выгоду, остаются всего-навсего проклятым, самодовольным, бесплодным, ублюдочным отродьем, скопищем дохляков и ненавидящих все живое подонков, — ей-богу же, Фрэнк, ни за что на свете не назовешь тебя одним из них, — выпалил он наконец, тяжело дыша, утомленный этой тирадой, и вперил в друга взволнованный, негодующий взгляд.

— Юджин, — воскликнул Старвик, и веснушки его скрылись под сердитым румянцем. — Ты ужасно несправедлив! Это неправда — то, что ты говоришь! — Он помолчал немного, сердитый и красный, отвернувшись к реке. — Если бы я знал, что ты все так воспринимаешь, — спокойно заговорил он немного погодя, — я познакомил бы тебя со своими друзьями — со всеми этими, по твоим словам, разными компаниями, — давным-давно бы познакомил. Да пожалуйста, когда угодно, — добавил он. — Мне просто в голову не приходило, что они тебя интересуют.

— Да нет же, Фрэнк! — нетерпеливо вскричал Юджин, отмахиваясь. — Не хочу я с ними знакомиться — чихать мне на них, будь они хоть какие распрекрасные и одухотворенные. За что я тебя упрекаю — так

это за твой многозначительный вид, за то, что ты из всего делаешь тайну: мне казалось, в том, как ты отгораживаешь часть своей жизни от самых близких и лучше всего знающих тебя людей, есть какая-то умышленная, расчетливая скрытность.

Старвик некоторое время не отвечал; он сидел, глядя на реку. И вдруг знакомая животная гримаса неведомой боли исказила на миг его румяное лицо, и он сказал тихо, устало:

— Может быть, ты прав. Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Да, теперь я вижу, что ты рассказал мне гораздо больше о себе — о своей семье, о прежней своей жизни, — чем я о себе. Но мне никогда не казалось, что я темню и недоговариваю. Просто, по-моему, тебе легче, чем мне, говорить о таких вещах. Энергия бьет из тебя ключом, пенится и переливается через край. Ты не можешь сдержать ее, даже если захочешь. Я — другое дело. Во мне нет этого мощного источника жизненных сил, и попытайся я говорить как ты, ничего бы не вышло. Но правда, Джин, я охотно расскажу тебе все, что ты хотел бы услышать о моей прежней жизни, о моих земляках.

— Я хочу знать о тебе больше, Фрэнк, — ответил его товарищ. — О твоей жизни до Гарварда мне известно одно: что ты приехал откуда-то со Среднего Запада, хотя ты совершенно не похож ни на одного из тамошних уроженцев, которых я знаю.

— Ага, — спокойно согласился Старвик. — На Хортона, к примеру. — Он по-прежнему говорил ровно, но в его голосе послышалась легкая ирония.

— Ну что же, — покраснев, но не сдаваясь, продолжал Юджин. — Хоть бы и на Хортона. Он из Айовы — и это сразу видишь, слышишь, чувствуешь по всему.

— Сла-авно пишет, скла-адно врет, — с улыбкой протянул Старвик, подражая густому, звучному, добродушному, жизнерадостному голосу Хортона: это была его любимая присказка.

— Ну да, — посмеиваясь, подтвердил Юджин. — Оно самое: "сла-авно пишет, скла-адно врет". А вот с тобой у Хортона столько же общего, сколько с марсианином, — и тем не менее вырос ты тоже на Среднем Западе, и вряд ли жизнь в ваших краях так уж отличается от той, какую вел Эд Хортон.

— Да нет, — спокойно промолвил Старвик. — Между прочим, я знаю местечко, откуда он родом, — оно не дальше пятидесяти миль от моего городка в Иллинойсе, и житье что тут, что там одинаково.

Он еще помолчал, глядя на реку, и вновь тихо заговорил ровным, усталым, словно безразличным голосом: так, почти полностью оставляя жеманность, он всегда вел серьезные беседы со своим другом.

— Насчет нашей родни, — продолжал он, — не знаю, насколько это разные люди, но мне сдается, что разница между родней Хортона и моей невелика...

— Его отец — методистский священник, — быстро вставил Юджин. — Он мне говорил.

— Да, — сказал Старвик своим тихим, безразличным тоном. — А Хортон у них в семье — белая ворона. — Голос его, казалось, не изменился ни на йоту, но в нем отчетливо прозвучала спокойная, горькая ирония.

— А ты откуда знаешь? — удивился Юджин. — Точно! Мне жена его рассказывала, что Эд с папашей почти не разговаривают: тот по три раза на дню молится о спасении души сына, потому что Эд пишет пьесы и связал-

ся с театром. Эффи Хортон сказала, что папаша до сих пор шлет Эду письма, призывает его покаяться и изменить свою жизнь, пока его душу еще можно спасти; она говорит, что старик зовет театр "кузней дьявола".

– Да, – сказал Старвик тихим, почти безжизненным голосом, в котором каким-то чудом угадывался усталый, отрешенный сарказм, – и Хортон бросил обывателям вызов в их собственном логове и пожертвовал всем ради искусства?

– Тебе не кажется, что ты не совсем справедлив? Я знаю, что ты не бог весть какого мнения о способностях Эда Хортона, но ведь он и вправду хочет что-то создать – он по-настоящему любит театр, иначе не порвал бы с семьей и не приехал сюда.

– Да, верно. Это бывает со многими, – устало ответил Старвик. – Ты считаешь, этого достаточно?

– Нет, не считаю. Но я думаю, что если у человека есть хотя бы это, ему лучше уж так, чем никак.

– Да? – глухо ответил Старвик. – Хотел бы я с тобой согласиться.

– А разве нет, Фрэнк? Конечно, лучше иметь хоть какой-нибудь маленький талантишко, чем вовсе никакого.

– Стало быть, – ответил Старвик, – лучше иметь хоть какого-нибудь ребенка – пускай урода, хилого, безобразного, больного, – "недоделанного", как говорил о себе король Ричард, – чем вовсе не иметь детей?

– Нет, этого я не сказал бы. Нет.

– Юджин... ты никогда не думал о том, что самый страшный враг жизни – не смерть, а именно жизнь? – продолжал Старвик. – Ты никогда не замечал, что настоящие носители зла – люди, полные страха, зависти, мстительной злобы, ненависти к жизни, люди, жаждущие погубить художника и его труд, – это отнюдь не порождения сатанинской тьмы, которым с детства ненавистно все живое, а люди, в которых были зародыши жизни, как раз и сгубившие их? Это люди, одаренные ровно настолько, чтобы увидеть землю обетованную – пусть в искаженном свете, пусть лишь на миг.

– Но им никогда не достичь ее? Ты это хочешь сказать?

– Да, – ответил Старвик. – Они обречены оставаться в пустыне, их сводит с ума один вид воды, недоступной для них, и все их жизненные соки обращаются в желчь, становятся горькими – и они завидуют и ненавидят. Это старухи в маленьких городках и деревнях – старухи со злобным взором и отравленной плотью, которые заражают самый воздух вокруг своим тлетворным дыханием, так что все юное, веселое и прекрасное рядом с ними увядает, становится полуживым, злобным и гадким. Это старые, потерявшие мужскую силу развратники, мерзкие паралитики со слезящимися глазками, которые ненавидят влюбленных лютой ненавистью импотентов, – они стремятся погубить любовь своей ненавистью, источают яд, распускают подлые сплетни. И еще – это скопцы от искусства, люди, которые жаждут творить, но лишены творческих сил, и ненависть к живому художнику, живому человеку разъедает их низкие души.

– И ты думаешь, Хортон станет таким?

Старвик вновь ненадолго умолк, глядя на реку. Потом он заговорил опять, не отвечая прямо на поставленный вопрос, но в его спокойном тусклом голосе звучала едкая ирония.

– Господи боже мой! Юджин, – в его упавшем чуть ли не до шепота голосе послышалась преисполненная отвращения усталость, – если бы

ты только знал, как знаю я, сколько фальши в добродушном смехе, сколько зависти и злобы в невинной шутке, сколько откровенной ненависти в насмешливом взгляде... сколько мерзости, грязи и подлых расчетов в сердце, какой жуткий страх, какая трусливая жестокость, сколько жгучей обиды, лицемерия и амбиций скрывается под радушными речами, под чистосердечной жизнерадостностью хортонов этого мира... — Он помолчал немного и стал рассказывать тихо, неторопливо: — Я был младшим в семье с девятью детьми — в самой обыкновенной семье, каких много повсюду. Я один был нежным цветком, — с холодной, бесстрастной иронией продолжал он. — Мы были небогаты... семья-то большая, едва-едва хватало на жизнь. Люди все хорошие, — тихо продолжал он. — Отец был управляющим на небольшой фабрике по производству сельскохозяйственной техники, а вышел из простых фермеров, но меня отдали в школу, а потом и в колледж. В городе считали, что у меня светлая голова, — в его голосе опять зазвучала усталая ирония, — я был чудо-ребенком, любимчиком учителей... Наверное, мне на роду написано иметь сердце художника, его душу, его глаз, его способность чувствовать — и не иметь его силы, его твердой руки, его языка, чтобы выразить... о боже! Юджин! неужели всему, что я знаю, чувствую, хочу создать, суждено всегда лежать в душе мертвым грузом и потихоньку разлагаться, неужели вечно мне быть волной вдали от берегов, не найти стены, которую я мог бы сдвинуть плечом... Боже мой! Боже мой! явиться в этот мир "недоделанным", с душой художника — и таким мягкотелым, чувствовать всю нестерпимую, несказанную красоту, все тайны, прелесть и ужасы этого бессмертного края — нашей великой Америки — и быть слишком слабым, слишком чувствительным и нежным... — голос его поднялся и зазвенел со страстной горечью, — хотеть поведать о ее жестокостях, ее преступлениях, фальши и жажде, о ее измученном, мятежном и страдающем духе — и не иметь твердости и силы, родиться тонкокожим, улиткой без панциря, быть безоружным и беззащитным против ее хортонов...

— Так значит, поэтому... — начал было другой, но покраснел и оборвал себя на полуслове.

— Что — поэтому? — обернулся и посмотрел на него Старвик. Тот молчал, красный от смущения, и Старвик сказал, усмехнувшись: — Поэтому я такой пижон... позер — как говорит Хортон, "жалкий эстетишка", — поэтому я так себя веду, так говорю и одеваюсь?

Не зная, куда деваться от стыда, Юджин пробормотал:

— Нет, Фрэнк, я этого не говорил!

Старвик вдруг рассмеялся, весело, заразительно, — и ответил:

— А почему бы и нет, собственно? Почему бы тебе не сказать? Ведь так оно и есть. Именно так, пра-аво, — издевательски протянул он со своей жеманной, неестественной интонацией. Потом продолжал тихо: — У каждого своя манера — и у каждого на то свои причины: у Хортона добродушный тон рубахи-парня маскирует ненависть во взоре, страх в сердце, фальшь и амбициозность его гнусной мелочной душонки. У него свой стиль, у меня свой; у него маскировка, у меня — защита, потому что я родился слишком мягкотелым, слишком чувствительным, чтобы противостоять хортонам этого мира, — и где-то там, за этими напускными манерами, кроется истинная сущность. — Он опять помолчал, потом продолжал неторопливо: — Мой отец был прекрасный человек, но мы так толком и не узнали друг друга. Накануне моего отъезда в колледж он

"призвал меня к себе" и говорил со мной — он сказал, как они надеются на меня, и сказал, чтобы я постарался стать хорошим, нужным человеком... хорошим американцем.

— И что ты ответил, Фрэнк?

— Ничего. А что я мог ответить... Наш дом стоял на небольшом холме над рекой, — помолчав, неторопливо продолжал он, — и когда он кончил, я вышел и стоял там, глядя на реку.

— На какую реку, Фрэнк?

— Есть только одна река, — ответил он. — Великая и спокойная... Темная и загадочная, течет она в ночи... течет непрестанно... вечная река Миссисипи. Я никогда не смогу выразить, как я сроднился с этой рекой. Может быть, ты когда-нибудь... может быть, у тебя найдутся силы... и если так... — он замолчал.

— И если?..

— Замолви слово за того, кому не дано было побороть хортонов этого мира, но кто однажды стоял над рекой — и кто знал Америку так, как знает ее любой американский мальчишка. — Он повернулся, улыбаясь: — Когда меня в своем хранил ты сердце, то отстранись на время от блаженства — дыши в суровом мире, чтоб мою поведать повесть[1].

И тут он вскочил и рассмеялся своим заразительным смехом:

— Ну ладно, пошли!

И они отправились дальше.

<...>

Часть пятая
Путешествие Ясона

LXXVI

В канун нового, 1924 года, подойдя к Лувру около четырех часов пополудни, Юджин увидел Старвика. Как всегда, Старвик был одет с элегантной небрежностью, коричневые твидовые брюки прекрасно сидели на нем. Осталась и тросточка: он лениво помахивал ею, спускаясь по ступеням. У него был обычный скучающий, томный, женственно изящный вид, только прежнюю рубашку заменила свободная блуза из мягкой голубой шерстяной ткани — ее воротник облегал шею Старвика великолепными складками, а перед был отделан узором из малиновых ромбов.

На миг он приостановился посреди людского потока на серых каменных ступенях — эти древние европейские ступени были выщерблены и истерты ногами постоянно снующих по ним с незапамятных пор людей — и рассеянно поднял свое симпатичное румяное лицо с раздвоенным подбородком к нежно окрашенному, уже начавшему быстро угасать зимнему небу.

Как всегда, Фрэнк был прекрасен — в свободной блузе русского покроя, с выражением неизбывной грусти на лице, он выглядел еще более таинственно и романтично, чем прежде. Даже в чужой стране он казался властелином всего окружающего. Совершенно не похожий на чужа-

1. У. Шекспир. Гамлет (перев. М. Лозинского).

ка, иностранца, простого туриста, он вписывался в этот вечерний пейзаж без малейшего несоответствия. Словно кто-то хрупкий, изящный, утонченный и уставший от мира сего — Альфред де Мюссе, или Джордж Мур, или молодой Оскар[1], или Верлен — вдруг вышел из Лувра, и все вокруг принадлежало ему.

Огромный центральный двор Лувра, два гигантских распахнутых крыла удивительной красоты дворца, правильные очертания сада Тюильри, которые вырисовывались впереди в мягкой полумгле опустившихся сумерек, — вся эта гигантская сцена, полная простора, мощи и неуловимого изящества, — величавая, под стать могучим древним замкам, и одновременно манящая и утонченная, как звучание старинного спинета, — широкая, гармоничная, величественная и волшебно-прелестная, развернулась здесь точно для того только, чтобы оттенить пленительную фигуру Фрэнсиса Старвика.

Именно на этом фоне ярко, как никогда, проступила его незаурядность, его одинокая отрешенность. Людской поток выливался из музея и тек по лестнице мимо него — уже подошло время закрытия, — и все эти люди по сравнению с ним казались обыкновенными, жалкими и страшно банальными. Быстро спускалась по ступеням семья, по-видимому, среднего достатка: немолодой француз, круглолицый, краснощекий, одетый, как одеваются представители этого класса, в грубую, безобразную, плохо скроенную черную пару, и с ним жена, дочь и сын. В нем явно кипела постоянная, приторная живость, характерная для этой нации, порождающая всякую минуту и по каждому пустяковому поводу обильные словоизвержения, божбу, клятвы, уверения и протесты и обладающая свойством приедаться хуже любого обычного занудства. Рядом со Старвиком он выглядел толстым, неуклюжим, каким-то пошло-бесформенным; такой же пошлой и неуклюжей казалась и его смуглолицая жена. Шел мимо аккуратный американец с супругой; на нем был уродливый светло-серый костюм, излюбленное одеяние американцев, и платье его жены тоже выглядело по-американски аккуратным, скучным и безжизненным. Чувствовалось, что им неуютно и не по себе, что они не в своей тарелке, как большинство туристов; они были чужими здесь, и даже легкий ветерок, даже напоенное мягким светом небо были чужими для них. Спустившись вниз, они замедлили шаг с нерешительным, озабоченным видом, мужчина вытащил часы, поднес их к своему худому лицу с выдающимися челюстями и прогнусавил:

— Ну вот, мы договорились с ними на половину пятого. Уже почти время.

Все эти люди — молодые и старые, французы, американцы, приезжие из других стран — выглядели до чрезвычайности заурядными, пошлыми и банальными и казались попавшими сюда по нелепой случайности, стоило лишь сравнить их со Старвиком.

После шока от внезапного изумления, тут же сменившегося хмельным приливом ошеломительного восторга, Юджин кинулся к нему с возгласом: “Фрэнк!”

Старвик удивленно обернулся, и через мгновение молодые люди уже неистово трясли друг другу руки и чуть не обнимались от радости, тараторя одновременно и не разбирая, что говорит другой. Наконец, немного успокоившись, Юджин услышал свои собственные слова:

1. Уайльд.

– Но где же тебя носило, Фрэнк? Я писал тебе два раза – ты что, не получал моих писем?.. что с тобой стряслось?.. где ты был?.. ты ведь хотел поехать на юг Франции и остаться там с Иганом?

– О да, – сказал Старвик; речь его была по-прежнему аффектированной, манерной, только теперь его голос звучал еще более отстраненно и таинственно, чем раньше. – О да, я был там.

– Так почему?.. – начал Юджин. – А теперь... – он запнулся, удивленно глядя на Старвика, – что случилось, Фрэнк?

Ибо в эти несколько тихих, уклончивых слов Фрэнк умудрился вложить столько безысходной печали, такую бесконечную грусть, что и не выразить, такое глубокое страдание, что и не описать. Он весь вдруг как-то неуловимо проникся этой тихой, молчаливой и невыразимой скорбью, он смотрел на приятеля глазами воскресшего Лазаря, и взгляд этот красноречивее всяких слов говорил: он познал и изведал такое, что не дано познать и изведать ни одному простому смертному.

– Я бы оставил эту тему, – очень спокойно произнес он, и по этим словам Юджин понял, что Старвика с Иганом безвозвратно разъединило некое трагическое, не поддающееся описанию событие – хотя что это за событие, ему, очевидно, не суждено было узнать.

Однако тут же Старвик с подкупающей непосредственностью, которая так ему шла, сказал небрежно, едва разжимая губы:

– Слушай! Ты что сейчас делаешь? Тебе нужно куда-нибудь?

– Нет. Я в музей собирался. Но все равно, по-моему, опоздал.

Тут они и вправду услышали доносящийся из музея звон колокольчика и нетерпеливые возгласы служителей:

– On ferme! On ferme, messieurs![1] – и люди толпой повалили наружу.

– Да, – сказал Старвик. – Закрывают. Впрочем, – устало добавил он, – я не думаю, что ты много потерял... Боже! – вдруг звонко, почти по-женски, со страстной убежденностью воскликнул он. – Сколько там хлама! Горы, океаны хлама! Такая дрянь! – горячо воскликнул он своим странным, неземным голосом. – Невероятная, немыслимая дрянь. Во всем дворце есть только три вещи, на которые стоит посмотреть, – но какие! – его голос опять пылко, возбужденно зазвенел. – Они невыразимо прекрасны, Юджин! Боже! – звонко, пылко вновь воскликнул он. – Как они прекрасны! Это настоящее, законченное совершенство! – Потом, снова перейдя на спокойный, бесстрастный тон, продолжал: – Мы с тобой обязательно сходим туда вместе. Я покажу тебе их... Слушай! – опять небрежно воскликнул он. – Поедем со мной в "Режанс", выпьем чего-нибудь?

Все вокруг словно внезапно ожило. С появлением Старвика этот чужой мир, чужая жизнь, где Юджин барахтался подобно утопающему, вмиг стали чудесными и понятными. В одно мгновенье исчезли немой, безымянный ужас, чувство неприкаянности, невыносимая, мучительная тоска по дому, привычному окружению и родным местам, которая преследовала его со дня приезда в Париж, хотя сознаться в этом ему, наверное, было бы стыдно и неловко. Даже чужие смуглые лица прохожих французов уже не казались чужими, а стали родными и близкими, да и влажный, полный истомы воздух, мягко набухшее серое небо, которое прежде придавливало Юджина к земле, словно пропитывая его смятенную душу липкими всепроникающими миазмами немого ужаса и отчая-

1. Музей закрывается, господа!

ния, теперь словно заискрились жизнью и бодростью, обещая впереди неведомые, восхитительные, бесконечно разнообразные удовольствия. Когда они шли через огромный двор Лувра к гигантской арке, ведущей на полные веселой суеты улицы, могучий гул волшебного города становился все ближе и будил в нем трепетное предчувствие каких-то неизведанных, чудесных, упоительных приключений. Даже маленькие такси, которые, зудя как осы, проносились по огромной площади Лувра и под отдающими эхом арками, усиливали это счастливое, сладостное волнение. Влажный воздух то и дело прорезали высокие, пронзительные гудки машин, напоминая ему, что нынче канун праздника: весь город оживился и забурлил радостным карнавалом, приветствуя наступающий Новый год.

Придя в "Режанс", они уселись за столик на веранде этого старого кафе, где когда-то играл в домино Наполеон, и под веселый гам предвечерней толпы пили бренди, вели, охмелев от счастья, пылкие разговоры, — и опять пили бренди и глядели, как на улице и за соседними столиками — пустых почти не было — бурлит пестрая, многоликая жизнь.

Потоки машин, заполнившие всю Авеню-дель-Опера и Плас-де-ла-Комеди-Франсез, прекрасное в своей изящной простоте здание Театра комедии на противоположной стороне площади, памятник де Мюссе — хрупкая фигурка, которая томно откинулась назад, на руки поддерживающей ее Музе, — все это в присутствии Старвика не только казалось частью его самого, но словно бы получало от него гигантский заряд, наполнялось новым очарованием, от всего вокруг веяло ароматом необычайно прекрасной, удивительной, богатой соблазнами жизни, — сама эта жизнь во всех ее многообразных проявлениях сияла лишь благодаря ему, она точно была растворена в его крови подобно драгоценному эликсиру. Так они пили, и говорили, и снова пили, пока совсем не стемнело, и в глазах у них стояли слезы, и стопки блюдечек на столе перед ними росли и росли — перед каждым было уже по восемь штук.

Затем, гордые, грустные, счастливые и ликующие, полные безымянного восторга и порочного трепета, они остановили одно из проносящихся мимо крикливых маленьких такси и мчались по этой чудесной запруженной улице, пока на них не надвинулась громада Оперы, неподалеку от которой сверкало огнями "Кафе-де-ла-Пэ".

И они были молоды, всемогущи и счастливы, и вся волшебная жизнь загадочного миллионноликого Парижа принадлежала им, и его порочная чужеземная атмосфера будоражила их юную кровь, и они знали, что они молоды и никогда не умрут, и что в Париже — канун Нового года, и что этот волшебный город создан для них. Они подсчитали деньги — вместе у них набралось примерно четыреста франков.

Потом вечер замелькал в калейдоскопе отдельных картин: в час ночи они выбрались из кафе, поймали такси и громогласно потребовали от краснолицего шофера — восторг и выпивка сделали их французский свободным и уверенным, — чтобы он отвез их туда, где чаще всего бывают "nos frères — vous comprenez? — les honnêtes hommes — les ouvriers"[1].

Тот с улыбкой кивнул, и с этой минуты их закружило в сумасшедшем водовороте крошечных кафе самого низкого пошиба, рассеянных по всему городу — столь многочисленных, столь безнадежно затерянных в

1. Наш брат, — понимаете? — честные люди, трудяги.

гигантской паутине улиц, в дебрях ночного Парижа, что потом им так и не удалось вспомнить, как пролегал их путь в этом лабиринте кривых аллеек, хмеля и смятения. Таксист привез их в трущобы, расположенные, как они потом догадались, где-то в старом, грязном, бестолково застроенном районе между бульваром Себастополь и "Ле-Заль". И всю ночь, с часу и до самого рассвета, они пробирались по каким-то мерзким закоулкам мимо старых, гнусных, словно подслеповатые старухи, домишек и, едва завидя кричаще-зазывный свет фонаря, сворачивали к нему и спускались в грязные питейные заведения — а там очередной бармен с отвратительной злобной физиономией окидывал их мрачным испытующим взглядом и пододвигал к ним по липкой стойке дешевый, противный на вкус коньяк в захватанных маленьких стопках. И везде звучал жирный, залихватский, порочный и соблазнительный наигрыш аккордеона и раздавались хриплые поощрительные возгласы слушателей. Здесь продавали металлические жетоны — пять франков дюжина, — за которые можно было купить право на танец у потасканной сирены с выбитыми передними зубами, и еще здесь было множество солдат — выше всего котировались черные как смоль негры из колоний, — и злобно, неотрывно, исподтишка следили за юношами какие-то личности в кепках, с обмотанными шарфом шеями.

Так продолжался этот безумный дебош — от подворотни к подворотне, от притона к притону, в бесконечном лабиринте зловещих ночных улиц. И вскоре они заметили, что их неотступно сопровождают двое жандармов — они спокойно ждали у стойки, любезно и добродушно принимали спиртное, которым всякий раз угощали их юноши, а в следующем баре вновь оказывались рядом. И краснолицый жизнерадостный таксист тоже постоянно находился поблизости, и он тоже пил с ними, неизменно восклицая с добродушным удовлетворением: "Mais oui! Parbleu! À votre santé, messieurs!"[1]

Серый рассвет забрезжил над холодными водами Сены — древней, узкой, зажатой меж крутых каменных стен, — над высокими скупыми фасадами старинных домов Латинского квартала с закрытыми ставнями, над узкими, тихими кособокими улочками. На Монпарнасе, доехав до бульвара Эдгара Кине, они вышли из такси и спросили расчета. У них не осталось и пятидесяти франков. Они собрали все свои деньги — мятые, заляпанные пятифранковые бумажки, медные монеты достоинством в один и два франка, мелочь по десять, двадцать пять и пятьдесят сантимов, — высыпали их таксисту в руки и стояли перед ним тихие, виноватые и пристыженные, а он глядел с удивлением и упреком: ведь он добросовестно сопровождал их во время бурной ночной гулянки в канун Нового года, и они были пьяны и веселы, — видимо, таксист принял их за богатых американцев, — и он заработал, заслужил и рассчитывал на большее.

— Это все, что у нас есть, — сказали они. И тогда шофер, этот краснолицый крепыш, совершил поступок, которого трудно было ожидать от французского таксиста и который они запомнили навсегда.

С полминуты он недоуменно смотрел на маленькую кучку монет и бумажек на своей широкой ладони, потом вдруг громко, жизнерадостно расхохотался, подбросил вверх смятый комок денег, поймал его на лету,

1. О да! Черт возьми! Ваше здоровье, мсье!

вытащил оттуда пятифранковую бумажку, остальное положил в карман, а пять франков отдал Старвику с добродушными словами:

— Ладно, порядок! Держите, ребята, и подите позавтракайте где-нибудь, чтобы малость протрезвиться. С Новым годом! — и укатил, приветливо помахав им рукой на прощание.

Они чудесно позавтракали свежими, хрустящими рогаликами и вкусным густым шоколадом в маленькой булочной на бульваре Эдгара Кине, недалеко от места, где остановился Старвик. Он жил в студии, которую сняли для него, как он пояснил, "двое друзей" — Фрэнк не назвал их, добавив только, что они "уехали отдохнуть за город".

Студия находилась в одном из нескольких почти одинаковых домов, выстроившихся вдоль маленького тупичка. С улицы в этот тупичок вела калитка: жилец звонил, вскоре консьержка нажимала на кнопку, и калитка отворялась. Внутри было очень покойно и тихо, лучи новогоднего утра окрасили все кругом в серый цвет. И весь город хранил молчание. Потом они вошли в студию Старвика: это была просторная комната, залитая серым светом, наверху серела покатая застекленная крыша; на стенах висели картины, тут же стояли фрагменты незавершенных скульптур, несколько столов и стульев и кушетка. Напротив дверей имелся балкон, куда вели ступеньки; там тоже стоял топчан, и Старвик предложил Юджину устроиться спать на балконе.

После ночных приключений оба едва держались на ногах от усталости; жизнь в холодном сером свете казалась мрачной и безрадостной; оба были измотаны и пристыжены. Старвик лег на кушетку и уснул; Юджин поднялся на балкон, стянул с себя одежду, свалил ее в одну кучу и заснул глубоким, тяжелым сном пьяного и до предела уставшего человека.

Он спал до полудня; разбудили его шаги внизу, открылась и вновь захлопнулась дверь, и вдруг громко, весело, властно и насмешливо прозвучал женский голос:

— Вот и мы, дорогуша! — воскликнул кто-то весело и беспечно. — Добро пожаловать в наш город! С Новым годом! — продолжала пришедшая уже тише, с задушевной ноткой. — Как делишки?

Он услышал, как Старвик что-то спокойно проговорил в ответ, а затем послышался низкий, отрывистый, почти угрюмый голос другой женщины. Старвик сонно окликнул Юджина, предлагая ему одеться и поскорее спуститься вниз; когда он сошел к ним, обе женщины и Старвик уже поджидали его.

Обладательница веселого, беспечного, насмешливого голоса тепло и радушно приветствовала его, и он сразу почувствовал себя как дома. По-видимому, она была старше другой, хоть и ненамного. Со второй женщиной он обменялся кратким рукопожатием и несколькими словами приветствия. Это оказалась крупная брюнетка, родом явно из Новой Англии; на ней было темное, неприметное, выцветшее платье, а на лице, под стать одежде, застыло мрачное, почти сердитое выражение. Пока Старвик весело болтал с первой женщиной, по имени Элинор, брюнетка мрачно, неловко сидела на стуле и молчала. Раз или два обратились к ней; она отвечала несколькими отрывистыми угрюмыми фразами и коротким сердитым смешком, который обрывался, едва успев зазвучать, и вновь мрачно замыкалась в себе. Но Юджин заметил, что стоило ей улыбнуться, как за ее красивыми красными губами показывались зубы удивительной белизны, и на миг ее мрачное лицо становилось ласковым, чудесным и нежным. Он услышал, что Фрэнк зовет ее

Энн; в разговоре Старвик словно бы подшучивал над ней, голос его начинал дрожать от недоброго сдерживаемого смеха. Он обернулся к Юджину – его симпатичное лицо порозовело, а в горле дрожал недобрый смех, – и сказал:

– Она у нас красавица. С виду не скажешь, но она *действительно* красавица, можешь мне поверить.

Энн что-то сердито и отрывисто пробормотала, залилась румянцем, и у нее снова вырвался короткий смешок, полный гнева и раздражения. Но лицо ее вдруг ожило и засветилось, сделавшись на мгновение по-настоящему прекрасным, и он понял, что Старвик говорит чистую правду.

LXXVII

В его жизни наступила чудесная пора. Он жил в маленькой гостинице на улице Бо-Ар. Вполне приличная комната стоила ему двенадцать франков в день. Это была хорошая гостиница, здесь умер Оскар Уайльд. Тому, кто хотел посмотреть знаменитый номер, достаточно было спросить, где находится la chambre de Monsieur Veeld[1], и хозяин, мсье Жели, или одна из его миловидных дочек охотно провожали туда желающего.

В девять утра горничная приносила шоколад или кофе, булочки, масло и джем – это включалось в стоимость комнаты. Она ставила поднос рядом с кроватью, на тумбочку, в которой держали ночную вазу. Когда служанка уходила, он вставал, перебирался с подносом за стол, пил шоколад и ел булочки с джемом. Потом снова ложился в постель и спал до полудня, а то и дольше; примерно в час за ним заходили Старвик и женщины, и все вместе отправлялись на ленч. Иногда они просто присылали pneumatique[2], сообщая, где их искать. Где бы они ни завтракали, завтрак им всегда подавали отменный. Бывало, они назначали по почте встречу у Собора или в "Ротонде". Он заставал их уже за столиком на веранде, в прекрасном расположении духа. Перед Старвиком возвышалась стопка блюдечек. На каждом блюдечке цена – 3.50, или 5.00, или 6.00, или 7.50 франков, в зависимости от того, что он пил.

Обыкновенно он пил коньяк, но иногда, после приветствия, спрашивал Юджина – голос его звучал чувственно и сладострастно, а в горле дрожал смех:

– Ты когда-нибудь пробовал "амер-пикон"?

– Нет, – отвечал тот.

– Ну, тогда надо попробовать, – заявлял Старвик. – Право... – и в горле у него опять мягко клокотал смех, а Элинор нежно говорила, с улыбкой глядя на него:

– Фрэнсис! Дурашка! Оставь ребенка в покое!

Потом отправлялись завтракать. Иногда они шли в одно кафе поблизости под названием "Анриет" – оно было знакомо Элинор со времен войны, когда она работала водителем санитарной машины. Иногда снова пересекали реку и завтракали у Прюнье, у Вебера, в "Режансе", у Фуке или в кафе на Монмартре, на полпути к вершине, – это место называлось площадью Мучеников, а само кафе – L'Écrevisse[3] – верно, потому, что там подавали мелких крабов, фирменное блюдо. Это было замеча-

1. Комната мсье Уильда.
2. Письмо по пневматической почте.
3. Краб.

тельное местечко; они всегда садились снаружи, на веранде, и их взору открывалась вся площадь, а Элинор, бывавшая в этом районе города уже не первый год, рассказывала, как прелестно здесь весной.

Частенько они посещали маленькие кафе, не слишком дорогие, — туда их тоже приводила Элинор. Она знала всё — в Париже не существовало уголка, который не был бы ей знаком. Она говорила, вернее, трещала по-французски, как натуральная француженка — или, во всяком случае, как уроженка Бостона, прекрасно знающая язык, — и абсолютно свободно спорила с парижанами, используя те же обороты и жесты, что и они сами:

— Mais non — mais non mais non mais non mais non mais non! — тараторя так скоро, что он едва успевал уследить за ней, и потом: — Oui. C'est ça! — Mais parfaitement! — Entendu!.. Formidable![1] — и т. д., точно так, как говорят французы.

И в каждом ее поступке, в каждом слове сквозила веселая жизнерадостность. Она всегда держалась очень непринужденно и отлично умела ладить с французами. Она относилась к ним, как взрослый, умудренный опытом человек относится к непоседливой ребятне. Ей никогда не надоедало наблюдать за ними, отмечая их странности и курьезность поведения; когда любезный владелец ресторанчика подходил к их столу и с гордостью обращался к ним на ломаном английском, она едва заметно покачивала головой и с полуулыбкой, покусывая нижнюю губу, весело и добродушно говорила:

— Ах, как чудненько!.. Ему хочется поболтать по-английски!.. Ну не милашка ли!.. Нет-нет, — быстро обрывала она одного из друзей, собравшегося было ответить на французском, — пусть продолжает, милашечка! Он так этим гордится!

И она вновь покачивала головой, закусив нижнюю губу с ласковой, рассеянной полуулыбкой, а Фрэнсис пылко отвечал:

— О да! — и с чрезвычайно серьезным, искренним, почти печальным видом продолжал: — А как он изящен! как он прост и изящен!.. Вы заметили этот характерный жест?.. Прямо персонаж с картины Чимабуэ — право же, — серьезно говорил он. — Жизнь и традиции целых веков воплотились в одном-единственном его жесте — и он даже не сознает этого! Но какое изящество, — прямо персонаж с картины Чимабуэ, честное слово! — повторял он грустно и серьезно, тоном, полным глубокой убежденности. — Это просто невероятно.

— Именно, — соглашалась Элинор, с капризной полуулыбкой наблюдая за тем, как усатый официант, почтительно склонясь над столиком, аккуратно перемешивает салат. — Ох, Фрэнсис, милый, глянь, — шепнула она, кивая на официанта. — Правда, чудно?.. С ума можно сойти, как они это делают!.. *Честное слово*! Ну где? Где, — воскликнула она с жестом, выражающим безоговорочную капитуляцию, — где можно найти что-нибудь подобное у нас в Америке?.. Честное слово, нигде, — нигде, и все тут.

— Именно, — твердо ответил Старвик. И продолжал серьезно и убедительно, с глубочайшей печалью, обернувшись к Юджину: — Ведь это и впрямь очень важно. Право же. Удивительно, сколько они умудряются вложить в один-единственный жест. Вот в чем Вся Суть. Право!

1. О нет — нет, нет, нет, нет, нет!.. — Да. Верно! — Замечательно!.. Ясно!.. Великолепно!

— Фрэнсис! — говорила Элинор, улыбаясь весело и нежно, покусывая нижнюю губу. — Мальчишка! Ей-богу...

Вдруг она быстро поднесла ладонь к глазам, наклонилась и замерла, охваченная каким-то загадочным, мощно нахлынувшим чувством. Но через мгновение уже оправилась, влажно блестя глазами, легким, изящным движением положила ладонь на руку Юджина и произнесла спокойно:

— О, прости, детка!.. В конце концов, непонятно, зачем тебя-то в это впутывать... Понимаешь, милый, — мягко объяснила она, — у меня дома остался чудесный мальчоночка всего четырех лет от роду... и мне иногда что-нибудь вдруг напоминает о нем — понимаешь, да?

— Да, — ответил он.

— Ладно, — кратко, решительно заключила она и, быстро, ласково улыбнувшись, похлопала его по руке. — Я знала, что ты поймешь!

В Бостоне у нее остались муж и ребенок, она уехала сюда со Старвиком, в воздухе витало роковое предчувствие, но она держалась смело, бестрепетно. Фрэнсис как-то говорил Юджину, когда они сидели в кафе вдвоем:

— Бостон — это безумие! Чистое безумие — Бостон!.. Они там на все способны — например, въехать на коне в Капитолий... Знаешь, это просто *поразительно*, — воскликнул он пылко. — Они ни перед чем не остановятся. С ума можно сойти, право.

Все были смелы, и бестрепетны, и ни перед чем не останавливались, и французы были очаровательны, поистине очаровательны, и Париж был для их четверки именно той средой, в которой они нуждались. Это была чудесная пора.

Всем заправляла Элинор. Она ведала деньгами, она строила планы на будущее, она не давала сметливым и жадным французам облапошить всю компанию, она заказывала блюда в ресторанах.

— Это просто удивительно, честное слово, — говорил Старвик. — До чего же ловко она с ними управляется... Право, Джин, стоило поглядеть, как она сегодня брала напрокат машину на Елисейских Полях... Мне жалко было смотреть на этого малого... А он все время бросал на меня многозначительные взгляды, полные горького упрека, — сказал Старвик, и голос его задрожал от сдерживаемого смеха, — точно обвинял в том, что я не прихожу ему на помощь... В этом было что-то по-настоящему жестокое... словно огромная кошка играла с мышкой... право же, — серьезно сказал Старвик. — Она иногда забывает всякую жалость, — добавил он. — Честное слово — и это тем более удивительно... я имею в виду, если знаешь, что она такое на самом деле, — помнишь, как я спал у нее на плече, когда мы ночью возвращались из Реймса, и я так жутко напился, и меня так отчаянно мутило, — сказал он просто, с трогательной откровенностью. — Я имею в виду *сострадание* – мне всегда вспоминается китайская богиня Бесконечного Сострадания, статуэтка которой есть у них в Бостоне, — право же, тут что-то похожее. И это очень странно, — серьезно сказал он. — Особенно если подумать о ее биографии, о среде, из которой она вышла, — право же... она прекрасный человек, удивительный... а Бостон — чистые безумцы, право.

И впрямь, повиноваться такому командиру было истинным удовольствием. Элинор улаживала любые дела с чудесной безмятежностью, рядом с ней все казалось проще простого. Она назубок знала каждый здеш-

ний обычай, каждую тонкость языка, для нее не составляла неразрешимой загадки ни одна особенность французского уличного движения, купли-продажи, манеры вести разговор, в то время как американцев, не способных постичь эти хитрости, — а таких большинство, — они просто бесят. Иногда она только качала головой и, улыбаясь, покусывала губу. Иногда посмеивалась с добродушным удивлением и приговаривала: "Конечно, они ненормальные, — но что ж тут поделаешь, такие уж они есть, эти милашки, не нам их перевоспитывать. Да знаю я!.. Знаю!.. Странный народец, но они всегда были такими, и с этим надо смириться — нам же лучше будет".

Она была крупной женщиной лет тридцати, но выглядела старше. Одевалась очень просто, носила старомодную шляпку с розаном, напоминающую головные уборы благородных дам восемнадцатого века. Общее впечатление зрелости усугублялось ее крупной, недевичьей фигурой и властными чертами лица — несмотря на неизменную жизнерадостность, частую улыбку, шутливую манеру уроженки Бостона, ее властное лицо выдавало умение владеть собой, характер твердый и решительный, исполненный аристократической утонченности и благородства.

Отсутствие девичьей грациозности и грубоватая, нездорового цвета кожа не мешали Элинор быть незаурядной женщиной, наделенной многими чисто женскими чертами: это проявлялось в улыбке, и в голосе, и в манере шутить, и в мгновенных язвительных выпадах, которые поражали жертву так стремительно и внезапно, что не оставляли ей шанса защититься и парировать их. И все-таки Элинор была совершенно лишена обыкновенной женской соблазнительности: хотя она бросила мужа и ребенка, уехав во Францию со Старвиком, и считалась на родине его любовницей, вообразить ее в этой роли было попросту невозможно. Наверное, поэтому в их связи крылось что-то темное, загадочное и зловещее — Юджин прекрасно ощущал это, хотя и не мог уловить, в чем оно заключается. Он видел, что Элинор не хватает соблазнительности, женской чувственности в той же мере, в какой Старвику не хватает мужского вожделения, и потому связь их, казалось, была порождена какими-то мрачными, глубинными сполохами желания, чем-то растленным, порочным и извращенным, проникнутым духом смерти.

И тем не менее чудесно было сопровождать Элинор, такую веселую, ладную, обаятельную, такую безмятежную и самоуверенную, и повиноваться ей. В ту пору вся жизнь казалась простой, легкой, свободной; исчезли неразрешимые проблемы, мир словно превратился в гигантскую устрицу, которую ничего не стоило открыть, а Париж — в огромный неистощимый кладезь развлечений и удовольствий. Как приятно было отправиться с Элинор в ресторан и предоставить ей делать заказ!

— Итак, детки, — бодро, весело и вместе с тем властно говорила она, чуть нахмурясь, с шутливой серьезностью изучая меню. — Поступайте как знаете, но мамочка думает начать с рыбки и бутылочки вувре[1], — помнится, оно здесь отменное. — Le Vouvray est bon ici, n'est-ce pas?[2] — говорила она, обращаясь к официанту.

— Mais oui, madame! — восклицал тот с профессионально-сдержанным пылом. — C'est une specialité[3].

1. Белое игристое вино.
2. У вас ведь неплохое вувре, правда?
3. О да, мадам!.. Это наша гордость.

– Bon, – бодро говорила она. – Alors, une bouteille du Vouvray pour commencer[1], – вы не против, mes enfants[2]? – спрашивала она, обводя их взглядом. Они кивали в знак согласия.

– Bon – bon, madame, – откликался официант, энергично кивая и строча в блокноте. – Vous serez bien content avec le Vouvray – et puis? – вежливо, почтительно осведомлялся он. – Pour manger?[3]

– Pour moi, – говорила Элинор, – le poisson – le filet de sole – n'est-ce pas – Marguery?[4]

– Bon, bon, – отвечал он одобрительно и пылко, строча в блокноте, – un filet de sole – Marguery – pour madame – et pour monsieur?[5] – вежливо обернулся он к Юджину.

– La même chose[6], – решительно выпалил начинающий полиглот, и официант тут же энергично закивал, приговаривая:

– Bon. Bon – parfaitement! La même chose pour monsieur[7], – и записал это в блокнот под смех остальных: у Старвика мягко заклокотало в горле, весело, насмешливо улыбнулась Элинор, и даже сумрачное и прекрасное лицо Энн вдруг чудесно озарилось; у нее вырвался короткий, почти сердитый смешок, и она сказала:

– Он ведь еще одно слово знает, – почему ты ему не сказал, что хочешь "мандья-а-ан"? – передразнила она его произношение.

– А что тут плохого, если я хочу mendiants[8]? – нахмурился он. – Что в этом смешного?

– Ничего смешного, – в горле у Старвика дрожал смех, – замечательное блюдо. Право же, – серьезно подтвердил он. – Только мы все никак не дождемся, когда ты выучишь очередное слово и закажешь что-нибудь новенькое.

– Я много слов знаю, – буркнул тот. – Да вы же мне не даете рта раскрыть, сразу начинаете гоготать. Не вижу повода для такого бурного веселья, – негодующе сказал он. – Французы, между прочим, меня понимают. Ecoute, garçon, – в поисках поддержки обратился он к ожидающему с улыбкой официанту. – Vous pouvez comprendre[9]...

– Кампра-андр, – передразнила Энн.

– Vous pouvez comprendre – ce-que-je-vous-dire[10], – мучительно выпалил он.

– Mais oui, monsieur! – вскричал официант, подкрепляя свои слова чудесной доброжелательной улыбкой. – Parfaitement. Vous parlez très bien. Vous êtes ici à Paris depuis longtemps?[11]

– Depuis six semaines[12], – гордо ответил тот.

Официант воздел руки и поднял брови в красноречивом жесте, выражающем недоверчивость и изумление.

– Mais c'est merveilleux![13] – воскликнул он, а остальные ухмыльнулись; Юджин ответил им с горьким сарказмом:

1. Хорошо. Итак, для начала бутылочку вувре.
2. Детки.
3. Хорошо... хорошо, мадам. Вы останетесь довольны вувре, – а еще?.. Из блюд?
4. Мне рыбу, филе из морского языка, – "маргери", верно?
5. Хорошо, хорошо – филе из морского языка, "маргери", для мадам, – а для мсье?
6. То же самое.
7. Хорошо. Хорошо – превосходно! Для мсье – то же самое.
8. Десерт из орехов, винных ягод, изюма и миндаля.
9. Послушайте – Вы понимаете...
10. Вы понимаете – что-я-вам-говорю.
11. О да, мсье!.. Прекрасно понимаю. Вы очень хорошо говорите. Давно вы в Париже?
12. Полтора месяца.
13. Да это просто чудо!

– Не всем же быть такими великими знатоками французского, как вы, – я ведь не разъезжал столько по свету, у меня и возможности-то такой не было. И даже за полтора месяца не успел выучить все французские слова до единого... Но уж те, что выучил, я намерен употреблять, – вызывающе сказал он, – и никто мне в этом не помешает.

– Ну разумеется, дорогуша, – тотчас откликнулась Элинор, легонько потрепав его по руке. – Не обращай на них внимания!.. Как вам не стыдно, – с укором сказала она. – Пусть бедняжечка говорит по-французски, если ему невтерпеж, – это у него так чудесно выходит!

Красный, он сердито уставился на нее – в горле у Старвика клокотал смех, – но, как всегда, не нашел, что ответить: Элинор была слишком стремительна, она сделала выпад мгновенно, и лезвие шпаги блеснуло и исчезло, пока он соображал, как достойно парировать удар.

– Ну, детки, – она уже снова изучала меню, – что у нас идет за рыбой?.. кто хочет мясного?..

– Мне рыбы не надо, – сказала Энн, мрачно взглянув в меню. – Мне... – ее хмурое, угрюмое, но благородное и красивое лицо вновь на миг преобразилось; раздался короткий сердитый смешок: – Мне, пожалуй, а-амлет, – насмешливо сказала она, поглядев на Юджина.

– Ну и бери свой а-амлет, – пробормотал он. – Только я так не говорю.

– Pas de poisson[1], – спокойно обратилась она к официанту. – Мне омлет.

– Bon, bon, – энергично кивнул тот, записывая. – Une omelette pour madame. Et puis après?..[2] – выжидательно посмотрел он.

– Rien[3], – отвечала она.

Он, казалось, удивился и был даже несколько уязвлен, однако тут же заговорил с Юджином:

– Et pour monsieur? – Après le poisson?[4]

– Donnez-moi un Chateaubriand garni[5], – сказал тот.

И снова Энн, хмуро изучающая меню, вдруг подняла глаза, и у нее вырвался прежний отрывистый, словно бы сердитый смешок, который так чудесно на один мимолетный миг озарял ее лицо, исполненное благородной, сумрачной красоты.

– Боже! – сказала она. – Так я и знала!.. Если не mendiants, значит, Chateaubriand garni.

– Ты забыла, что есть еще Nuits St Georges[6], – с булькающим смехом проговорил Старвик. – Сейчас мы и это услышим.

– Когда он закончит, – сказала она, – во всей Франции не останется ни кусочка мяса, ни изюминки.

И она мельком взглянула на Юджина, и ее благородное, прекрасное лицо озарила чудесная улыбка. Но тут же голова ее поникла, а на лицо вновь вернулось обычное выражение: оно стало замкнутым, почти угрюмым, точно в ней таилась какая-то молчаливая, бессловесная, отчаянная мука, не находящая себе выхода.

Хмурясь, с негодованием он взглянул на нее и застыл: все его тело, сердце, мозг, душу, все существо его вдруг захлестнула любовь к ней.

1. Не надо рыбы.
2. Хорошо... Омлет для мадам. А еще?
3. Это все.
4. А мсье? После рыбы?
5. Принесите мне "шатобриан" с гарниром ("шатобриан" – жареное мясо).
6. "Ночи Святого Георга" – вид десерта.

– Итак, детки, – весело говорила Элинор, читая меню, – а какой салат... – она подняла глаза, встретилась взглядом со Старвиком, и они тут же посмотрели на вторую пару. Женщина сидела с потупленным взором, угрюмая, мрачная, молчаливая, а юноша пожирал ее глазами: весь мир вокруг исчез для него, он ничего больше не видел и не помнил.

Таинственная Елена, вечное пламя в сердце моем.

– L'écrevisse, – произнес Юджин, глядя в меню. – Что это такое, Элинор?

– Сейчас объясню, дорогуша, – сказала она с напускной серьезностью, чуть игриво. – Écrevisse – это что-то вроде краба, такой восхитительный крабик, – но гораздо, гораздо вкуснее тех, что водятся у нас.

– Стало быть, кафе называется попросту "Краб"? – спросил он.

– Уймите его! – слабо вскрикнула она. – Ох, варвар! – продолжала она с мягким упреком. – Это абсолютно разные вещи.

– Конечно, разные, право же, – серьезно подтвердил Старвик. – Здесь нет ничего общего. Право... Разве не удивительно, – продолжал он спокойно и проникновенно, – что они придумывают такие чудесные названия? Даже в самые простые слова умудряются вложить весь дух нации. Взять хотя бы эту площадь, – кивнул он, – La Place des Martyrs[1]. Вот в чем вся суть. Просто невероятно... подумать только, – туманно добавил он. – Право же.

– Именно! – сказала Элинор. – Ах, детки, если бы сейчас была весна и я могла отправиться с вами вниз по Сене, в прелестное местечко под названием La Pêche Miraculeuse.

– Что это значит, Элинор? – снова спросил Юджин.

– Дорогуша, – покорно и терпеливо ответила она, – если уж ты никак не можешь обойтись без перевода, пожалуй, это можно перевести как "чудесный улов" – речь идет о рыбе, понимаешь ли. Да только это совсем не то. Такой перевод – просто кощунство. Местечко называется La Pêche Miraculeuse и никак иначе – это *абсолютно* непереводимо, право.

– Да-да! – с жаром подхватил Старвик, – и даже самые простые названия, названия улиц, городов, площадей – L'Étoile, к примеру, – как это великолепно и как просто! – спокойно сказал он. – И как совершенно – в этом вся площадь, вся ее уникальность и великолепие, – серьезно заключил он. – Право.

– Так оно и есть! – согласилась Элинор. – Нельзя назвать ее площадью Звезды, понимаешь. Это бессмысленно. А вот L'Étoile – прекрасно. Лучше просто не придумаешь.

– Именно! – кратко подтвердил Старвик и, повернувшись к Юджину, продолжал грустным, серьезным, наставительным тоном: – А певица в "Жокей-клубе" вчера вечером – помнишь? – вкрадчиво спросил он – голос его дрогнул, а лицо порозовело. – Помнишь, ты все допытывался, о чем это она – о чем, мол, поет? – Его разбирал тихий смех, румянец на щеках стал ярче.

–·Жуть, чистая жуть! – вскричала Элинор с шутливым ужасом. – Все время наседал, бедняжечка, скажи да скажи ему, что это значит... Я уж готова была запустить в тебя чем-нибудь, чтобы ты прекратил: если бы мне пришлось переводить *это*, я бы просто хлопнулась в обморок на месте...

1. Площадь Мучеников.

– Видели, видели, – сказал Старвик, булькая смехом, – я обратил внимание: ты глядела настоящим зверем! Было страшно забавно! – добавил он. И продолжал серьезно, обращаясь к другу: – Но право же, Джин, глупо все время допытываться, что, мол, это значит. Честное слово. Прямо не верится, – протестующе воскликнул он, – что ты, с твоим-то умом, не понимаешь такой простой вещи! Право же.

– Почему? – мрачно огрызнулся его товарищ. – Что тут плохого, если хочешь понять, о чем идет речь на незнакомом языке? Если я не буду спрашивать, как же я пойму?

– Да нет же! – нетерпеливо возразил Старвик. – Дело совсем не в этом: ничего ты так не поймешь. Ни за что не поймешь, – сказал он с упреком. – Смысл этой вчерашней песенки вовсе не в словах, не в содержании. Если попробуешь перевести ее на английский, потеряешь самое главное. Пойми ты, – проникновенно продолжал он. – Дело вовсе не в содержании – эту песенку *невозможно* перевести, право же, – если рискнешь ее перевести, выйдет гадость, сплошная дрянь...

– А раз она по-французски, так она прелесть? – насмешливо спросил Юджин.

– Вот именно! – нетерпеливо сказал Старвик. – Очень глупо с твоей стороны этого не понимать, Джин. Право же. Вся песенка насквозь пропитана французским духом и обаянием – она такая французская! – воскликнул он по-женски высоким голосом. – Возьмись только переводить ее, и все исчезнет... В песне на французском нет ничего противного – слова ничего не значат, на них не обращаешь внимания; удивительно, но они тут же забываются... Главное – самый дух песенки, то, как она поется, ее обаяние... По сути дела, – убежденно добавил он, – эта штучка *абсолютно* невинна – право же, так... Очень печально, что ты этого не понимаешь. Право, Джин, твои бесконечные расспросы о том, что значат слова и названия, начинают утомлять. Право же... Книги эти, которые ты без конца покупаешь и пытаешься перевести со словарем... будто это что-нибудь может дать, – будто таким образом ты *действительно* сможешь понять что-нибудь, – убежденно сказал он.

– Таким образом можно понять язык, – отвечал его друг.

– Да вовсе нет! – воскликнул Старвик. – В этом вся соль – у тебя ведь ничего не выходит: ты теряешь самый дух вещи, так же как не уловил духа той песенки, так же как не понял, в чем суть, когда попросил Элинор перевести название La Pêche Miraculeuse... Удивительно, что ты этого не чувствуешь... Теперь тебе осталось, – заключил он с сарказмом, и в горле его забулькал издевательский смех, – тебе осталось только записаться на курсы... – он поперхнулся смехом и весь покраснел, – на курсы французского в языковую школу.

– А он и на это способен! – шутливо-уверенно вскричала Элинор. – Ни секунды не сомневаюсь... Дорогуша, – насмешливо сказала она, обернувшись к нему, – я никогда не видела такой жажды знаний. С ума сойти... Малютка хочет познать все на свете! – удивленно воскликнула она. – И как трогательно он верит в мою компетентность... право же, я этого недостойна! – сказала она с легкой издевательской ноткой. – Я ничем этого не заслужила.

– Прости, что я донимаю тебя вопросами, Элинор, – ответил он.

– Нет, нет! – возразила она. – Что ты, дорогуша! Я *обожаю* твои расспросы! Просто я чувствую себя такой... такой некомпетентной... Послушай-ка, Джин, – вкрадчиво продолжала она, – а почему бы тебе не по-

пробовать на секундочку позабыть об этом — взять да и позабыть всю эту чепуху насчет слов и их значений и попытаться уловить суть дела?.. Почему, дорогуша? — ласково произнесла она и, пока он глядел на нее, красный, собираясь с мыслями и готовясь ответить на ее язвительную речь, быстро похлопала его по руке и, удовлетворенно кивнув, заключила: — Ну вот! Теперь он попробует!.. Он же просто умничка, когда захочет, верно?

При виде красного, негодующего лица Юджина Старвика вновь разобрал смех; потом он опять заговорил серьезно:

— Но как гениально они подбирают названия!.. Ведь по одним только названиям городов уже все понимаешь... Ну что может походить на Париж больше, чем имя Париса?.. — спокойно спросил он. — Название полностью соответствует месту. Или, к примеру, Дижон. Или Реймс. Или Каркассон. Весь дух Прованса заключен в самом этом слове; а что может выразить самое существо Арля полнее, нежели его название: так и представляешь себе этот город, его жизнь, его обитателей, его особую прелесть... И как мы в этом отношении не похожи на них... Честное слово, — в голосе его зазвенела страстная убежденность, — можно сказать, что главное различие между нами — то, чего нет у нас, и то, что есть у них, — чего нам так не хватает, — лучше всего видно из наших названий. Право же, — серьезно сказал он, вновь оборачиваясь к другу, — ведь это очень важно. Как грубы и бессмысленны почти все американские названия, Юджин, — продолжал он спокойно. — Словно адреса, разом отштампованные на тысяче конвертов, — метки, по которым можно определить место, и ничего более... Скажи-ка, — спокойно произнес он, немного помолчав, — как называлась та деревушка, родина твоего отца? Ты говорил однажды, и мне помнится, что это название как раз хороший пример, — по нему видно, чего мы лишены. Так что это была за деревня?

— Брантс-Милл, — ответил Юджин.

— Вот-вот! — с усталым удовлетворением промолвил Старвик. — У человека по имени Брант была лесопилка, и поэтому место назвали Брантс-Милл.

— И что тут такого?

— Да ничего особенного, — спокойно сказал Старвик. — Все в полном порядке. *Брантс*-Милл! — в голосе его послышалась горечь, и само название он произнес нарочито гнусавым тоном. — Отличное названьице — то, что надо... отправь туда письмо — дойдет... а для чего еще нужны названия? Геттисберг... был, наверное, фермер или домовладелец по фамилии Геттис, вот и назвали город в его честь... А твоя мать? Откуда она родом?

— Из округа Янси.

— Вот-вот, — снова откликнулся Старвик, — а город как назывался?

— А города не было, Фрэнк. Был поселок у перекрестка, назывался Форкс-ов-Айви[1].

— Да ну? — жизнерадостно, с характерной бостонской интонацией прозвенел удивленный возглас Элинор. — Неужели? Не может быть!

— Да нет! — серьезно, мягко возразил Старвик. — Форкс-ов-Айви — это не так уж плохо. По сравнению с большинством других названий это

1. "Плющиха-на-Развилке" *(англ.)*.

прямо-таки удивительно хорошо. Здесь даже, — сказал он, чуть поразмыслив, — здесь даже есть что-то неординарное... Но вот Янси... — он опять замолчал, и в горле у него вдруг забулькал смех, симпатичное круглое лицо зарозовело, — округ *Я-а-анси*, — нарочито по-деревенски прогнусавил он. — Боже! — горячо воскликнул Старвик, оборачиваясь к приятелю. — Это ведь ужас!.. До чего грубо! До чего тупо! До чего банально!.. А какие еще названия в твоих родных краях, Джин? — продолжал он, немного помолчав. — Наверняка мы до сих пор не слыхали самого худшего. Может быть, найдутся и почище, чем Я-а-анси.

— Да уж, — ухмыльнулся тот, — имеются ничего себе: у нас есть Сэнди-Маш, и Хуперс-Болд, и Литтл-Хомини. А еще у нас есть Бивердем и Бэлсем, и Чимни-Рок, и Крэги, и Писга, и Рэт. Есть у нас и Олд-Форт, и Гикори, и Брайсон-сити; есть Клингманс-Доум и Литтл-Суитцерланд, есть Пейнт-Рок, и Салюда-Маунтин, и Фраинг-Пан-Гэп[1]...

— Стой! — взвизгнула Элинор, в испуге зажимая уши. — Фраинг-Пан-Гэп! Какой ужас!

— Чудесно! — безмятежно откликнулся Старвик. — В этом вся суть. А в тех знаменитых и славных краях, где родился я, — в голосе его яснее зазвучала усталая горечь, — там, где раскинулись кукурузные поля, — лежат Киокак, и Кейро, и Пеория. — Он замолк, глядя серьезно и отрешенно, над чем-то задумавшись; вдруг его симпатичное румяное лицо исказила знакомая гримаса животной муки и смятения. Когда он заговорил снова, в его усталом голосе слышалось спокойное, горькое презрение. — Я родился, — сказал он, — в знаменитом и славном городе Блумингтоне, однако, — продолжал он со свирепой иронией, — в очень нежном возрасте меня увезли в Молайн. А теперь, слава богу, я в Париже, — он вновь помолчал и закончил упавшим, почти безжизненным голосом: — Париж, Дижон, Прованс, Арль... Янси, Брантс-Милл, Блумингтон... — Он перевел на приятеля спокойный взгляд. — Понимаешь, что я имею в виду? В этом вся суть.

— Да, — ответил Юджин, — наверное, ты прав.

LXXVIII

Они сидели за столиком в одном из ночных кафе Монмартра. Везде сверкала позолота, в комнате было душно и жарко, витали хмельные, нездоровые ночные ароматы, пары духов, вина и коньяка, создающие эротическую атмосферу ночного увеселительного заведения. Кабачок был залит ярким золотистым светом, который придавал всему вокруг — украшениям, мишуре, белым скатертям, одежде посетителей, лицам мужчин и обнаженным плечам женщин — какой-то порочный, смутно-тревожащий оттенок.

Оркестр только что исполнил песенку "Ça, c'est Paris"[2], которую в те дни распевали по всему городу. Она получила широкую известность благодаря Мистенгет, и веселый, бойкий мотив этой песенки тогда звучал повсюду. Ее насвистывали одинокие прохожие, поздно ночью возвращавшиеся домой по тихим узким улочкам Латинского квартала, ее мурлыкали себе под нос таксисты и официанты, напевали женщины в кафе. В переложении для флейт и скрипок ее играли танцевальные оркестры

1. "Ущелье-сковородка" *(англ.)*.
2. "Это Париж".

в ночных кабачках Монмартра и Монпарнаса. Ее пели под разудалый наигрыш аккордеона в больших танцзалах, таких, как Баль-Бюлье, и в маленьких ресторанчиках, закусочных и притонах с дансингом и девочками в шумных переулках поблизости от рынков и бульвара Себастополь.

Несмотря на ее веселый, жизнерадостный мотив, в песенке этой чувствовалась и некая тоскливая обреченность. Это была одна из тех песен, которые словно вбирают в себя все самые характерные черты окружающего и, как ничто другое, способны вызывать в памяти определенное место и время. Для Юджина песенка навсегда связалась с Парижем, с той порой его жизни, со Старвиком, Элинор и Энн.

В этой песне ему слышалась обреченность, напоминание о чем-то бесценном и навеки утраченном, она была полна той щемящей радости и муки, какую мы испытываем в двадцать четыре года, когда нас впервые посещает мысль о быстротечности человеческих дней, когда мы впервые познаем горечь поражения, когда мы впервые понимаем то, что прежде было нам неведомо: что и в нашей жизни, как в жизни любого смертного, все проходит, все теряется, все убегает сквозь пальцы, словно дым; когда мы узнаём, что прекрасное мгновение несет в себе зародыш собственной скоропостижной смерти, что любовь уходит едва ли не раньше, чем мы обретем ее, что молодость уходит раньше, чем мы поймем это, и что нам суждено, подобно любому другому, состариться и умереть.

Мелодия смолкла, и люди стали покидать натертый до блеска квадрат танцплощадки, пробираясь к своим столикам; Старвик тут же подозвал к себе дирижера и попросил исполнить его любимую песенку. Она называлась "My Chile Bon Bon"; это была не новая песня, впервые Старвик услышал ее несколько лет назад в Бостоне, и ее мотив, подобно мотиву "Ça, c'est Paris", тоже был полон затаенной грусти и словно вобрал в себя всю квинтэссенцию места и времени; в нем, как и в нелепых словах, положенных на эту музыку, сквозило ощущение невозвратимости прошлого, глубокого покорства и осознанной утраты, бесповоротного подчинения судьбе. Эти две песни воспроизводили всю атмосферу той поры, всю суть тогдашней жизни четверки; а по отношению к Старвику "Chile Bon Bon" удивительным образом выражала ту роковую обреченность, которой теперь была проникнута его жизнь, его чувственную пассивность.

В ответ на просьбу Старвика дирижер с улыбкой кивнул, вернулся на место, переговорил с музыкантами, сам взял скрипку и начал играть. Когда оркестр подхватил мотив, скрипач направился к их столику и, кланяясь и раскачиваясь с той непередаваемой утиной грацией, которая отличает всех играющих на этом инструменте, стал лицом к женщинам, словно принося свою плачущую, тоскливую и тревожную музыку в дар их красоте.

Элинор, постукивая по столу пальцами в такт песне, еле слышно, отрешенно, легонько подпевала; Энн сидела тихо, мрачная, молчаливая, внимательная; Старвик сидел отвернувшись, лениво положив ногу на ногу, лицо его порозовело от наплыва чувств, глаза невидяще смотрели в одну точку и были слегка влажны.

Один раз во время исполнения песенки на симпатичном румяном лице Старвика вновь появилась прежняя животная гримаса безымянной и безысходной муки, которую Юджин так часто видел раньше и которая так ясно говорила о трагическом поражении, духовном упадке и предчувствии надвигающегося краха.

Когда музыкант кончил играть, Старвик устало повернулся, лениво протянул руку в сторону Энн, томно, чуть нетерпеливо пошевелил пальцами и спокойно произнес:

– Дай мне деньги.

На ее лице проступил легкий румянец, она раскрыла кошелек и угрюмо сказала:

– Сколько тебе?

Усталое нетерпение Старвика сделалось еще явственнее, его томные пальцы повторили жест более настойчиво и, посмеиваясь при виде ее угрюмого лица, он пробормотал с шутливой жадностью:

– Дай, дай, дай... деньги, деньги, деньги, – тихо, алчно проговорил он и снова добродушно забулькал смехом, глядя на нее.

Вся покраснев, она зло швырнула на стол пачку банкнот; он лениво взял их, отслоил триста франков и томным движением протянул бумажки музыканту – тот ответил красноречивым, восхищенным поклоном; затем, не дав себе труда сосчитать остаток, Старвик небрежно сунул пачку в карман.

– Энн! – с упреком произнес он. – Я *чрезвычайно* уязвлен! – Он помедлил, мягкий смешок вновь забулькал у него в горле, вызвав легкий румянец, и Старвик продолжал упрекать ее с прежней шутливой серьезностью: – Я надеялся, – плечи его чуть задрожали, – что на сей раз твое *лучшее* начало... – он вновь задрожал от сдерживаемого веселья, – твое *лучшее* начало наконец-то себя проявит.

– К черту мое лучшее начало! – сердито прервала его Энн. – Нравится это тебе или нет, но я считаю, что стыдно так швыряться деньгами! Триста франков музыкантишке за одну дурацкую песню! И ты делаешь это чуть ли не в десятый раз! Меня уже с души воротит от твоей "Chile Bon Bon", – горько сказала она. – Хоть бы ее вообще на свете не было.

– Энн! – снова мягкий, насмешливый укор. – Так-то ты платишь нам за все, что мы для тебя сделали! Нет-нет, я не обвиняю, но я *чрезвычайно* уязвлен, – кротко сказал он. – Право!

– Ах-х! – не сдержавшись, она сделала резкое движение, словно хотела оттолкнуть от себя столик и вскочить, а потом произнесла с угрюмым предостережением: – Знаешь что, Фрэнк, давай-ка не будем опять насчет того, сколько вы для меня сделали. Сделали для меня! – гневно воскликнула она. – Благодетели! – У нее вырвался короткий мрачный смешок, и она умолкла, не в силах продолжать.

Старвик отвечал ей, мягко посмеиваясь:

– Знаю, знаю, – сказал он, слегка порозовев, – но послушай, Энн, ты ведь и вправду *чересчур* бережлива! – плечи его слабо задрожали, и подспудное веселье ярче окрасило щеки. – Я думаю, – кротко промолвил он и вновь помолчал, содрогаясь от тихого смеха, – я думаю, это и есть пресловутое влияние Бикон-хилла. И право же, – серьезно продолжал он, глядя на нее в упор, – право же, тебе стоит попытаться изжить в себе этот недостаток.

– Вот что, Фрэнк, – сердито воскликнула Энн, привстав с места, – если ты опять начнешь о моей жадности... – Она резко опустилась обратно и вскричала громко, негодующе: – Я не жадная, и ты это прекрасно знаешь!.. Как будто мне жалко тратить деньги, давать тебе их, когда они у меня есть... Просто я думаю, что каждый должен вносить свою долю... Если ты считаешь это новоанглийской жадностью – на здоровье... Но я всегда

так думала и всегда буду!.. Жадная!.. — пробормотала она. — Я не жадная... Просто мне надоело быть дойной коровой... Мне кажется, что и остальным было бы не вредно иногда принимать участие в расходах!

— Да нет же! — удивленно и протестующе вскричал Старвик. — По-

моему, это не имеет *ни малейшего* значения!.. Ну в конце-то концов, Энн, мы же не какие-нибудь старые девы из Бостона, которые отправились в большое путешествие и скрупулезно заносят в общую книгу расходов каждый истраченный цент, — насмешливо сказал он. — У нас все иначе. Когда люди так хорошо знают друг друга, как мы, говорить о деньгах — самое последнее дело. Что принадлежит одному, принадлежит всем... Право же, — сказал он с легким нетерпением, — я думал, тебе это понятно. *Чрезвычайно* удивительно, что у тебя, с твоим-то характером, такое приземленное... такое расчетливое отношение к деньгам. А я-то думал, что для тебя это не имеет *ни малейшего* значения. Право же, Энн, тебе нужно от этого избавиться, — спокойно сказал он. — Право, нужно. Тем более что ты такая замечательная личность... честное слово.

Она покраснела, затем проворчала угрюмо:

— Ах! Как же, замечательная личность! Слышали уж! Нечего зубы заговаривать!

— Но это ведь правда! — с искренней убежденностью сказал он. — Ты действительно замечательная — и потому-то все это так досадно.

Она вновь покраснела, неподвижно потупив взор в угрюмом смущении.

— И еще, Энн, — ласково проговорил Старвик, хотя голос его зловеще подрагивал от подступающего к горлу смеха, — ты просто очаровательна в этом красном платье, — в его чувственном, жеманном голосе вновь задрожала язвительная насмешка, — и *чрезвычайно* соблазнительна... *чрезвычайно*... — тут плечи его и весь он задрожал, неслышно веселясь, — ну прямо искусительница, — восхищенно промолвил он и вдруг подавился смехом. Потом, взяв себя в руки, повернулся к Юджину, еще красный от смеха, и сказал серьезно: — Удивительно! Право же, она чудо как хороша!

— Фрэнк! — она глянула на него в беспомощном гневе. Затем вдруг коротко, сердито рассмеялась. — Боже! — иронически воскликнула она. — Дороговато мне приходится платить за комплименты.

Но этого короткого сердитого смешка, как всегда, оказалось достаточно, чтобы расцвела ее скрытая, благородная красота. Лицо ее мгновенно просветлело, преобразилось, с него исчезло обычное угрюмое, тяжелое выражение, щеки, которые раньше выглядели припухлыми, чуть набрякшими книзу, как у упитанного ребенка, порозовели, чудесные алые губы раздвинулись в белозубой, сияющей, прелестной улыбке, и Юджин вновь заметил, как замечал уже не раз, что ее взгляд, устремленный на Старвика, перестал быть тяжелым и сердитым и в ее серых, вдруг затуманившихся глазах засветилась бесконечная нежность.

— Да-да, — заключил Фрэнк тихо, серьезно, хотя с лица его еще не совсем сошел вызванный смехом яркий румянец. — Ты одно из самых прекрасных созданий на этом свете.

Он сказал истинную правду. В тот вечер Энн была поразительно красива. Она надела новое вечернее платье, сшитое для нее известным модельером. Великолепного красного цвета, это платье из легкой дымчатой кисеи словно плавало в воздухе; ни одно одеяние в мире не могло бы так ярко подчеркнуть ее сумрачную красоту и так хорошо выявить до-

стоинства ее благородной фигуры. Волосы ее, черные, жесткие и благоухающие, были разделены посередине простым пробором, и Юджин заметил в них несколько седых прядок, но это отнюдь не портило ее облика, дышавшего благородством и прямотой — и тогда, когда она хмурилась и щеки ее казались по-детски округлыми, и тогда, когда ее черты вдруг озаряла чудесная счастливая улыбка.

И во всех прочих отношениях Энн являла собой этот удивительный, прекрасный союз грации и величественности, ребенка и женщины. Кисти ее рук были удлиненными, узкими и смуглыми, пальцы — длинными и изящными, с маленькими и хрупкими, точно птичьи, суставами; однако вместе с тем это были сильные, чуткие, деятельные руки. И выше запястий они были длинными и изящными, крепкими и нежными, как у молоденькой девушки, но Юджин заметил, что груди у нее не крепкие и круглые, а длинные, тяжело отвисшие — груди зрелой женщины. Встав танцевать со Старвиком, она оказалась на голову выше его, однако, вся проникнутая какой-то необыкновенной радостью и счастьем, она точно парила в его объятиях — амазонка с крупными руками, ногами и грудью и одновременно создание светлое и утонченно прелестное, словно дитя.

Вместе они танцевали превосходно; в знак уважения к Старвику оркестр вновь исполнил его любимую "Chile Bon Bon"; когда они вернулись за столик, лицо Старвика было залито румянцем под влиянием чувства, которое всегда вызывала у него эта песня, глаза его увлажнились, и он высоко, страстно, почти по-женски воскликнул, обращаясь к Юджину:

— Господи! Ну не чудесно ли! Это же просто дивная музыка! Это одна из гениальнейших песен на свете, честное слово! В ней есть то, что отличает величайшие произведения примитивизма, — то же самое, что есть в примитивистском Аполлоне и в мадонне Чимабуэ из Лувра. Бог мой, — воскликнул он высоким женственным голосом, — да в ней все, все! Я считаю, это самая гениальная песня в мире!

Он налил в бокал шампанского, холодного и шипучего, и жадно выпил, с влажным взором, глубоко взволнованный.

LXXIX

Стояли серые сумерки, угасал короткий, быстро сходящий на нет зимний день, когда двое молодых людей вышли из музея, собираясь скоротать время до назначенной встречи с женщинами за бокалом и разговором в одном из бесчисленных заманчивых кафе волшебного города. Выйдя из Лувра, они кликнули такси, быстро миновали один из мостов через Сену, прокатили по узким улочкам Латинского квартала и остановились перед "Клозери-де-Лила", где им предстояло встретиться с женщинами.

Они провели остаток светлого времени суток на веранде; хотя погода стояла холодная, им было тепло от выпитого, от беседы и споров, от непрестанного веселого кипения жизни, шума голосов вокруг, от красочного зрелища, что разворачивалось на улице перед ними, — тепло среди искрящегося, необычайного, волнительного, радостного великолепия вечерней жизни Парижа, которая казалась этим молодым американцам такой удивительной и волшебной. Серые сумерки, свежий зимний воздух, который одновременно и бодрил, и располагал к неге, наполняли их странным возбуждением, трепетным предчувствием чего-то совсем нового, необыкновенного.

И яркая игра красок, непрекращающийся переплеск и сверкание жизни вокруг них и на мостовой, аромат и могучая сила коньяка словно распахивали перед ними весь мир без остатка, позволяя безгранично и раскованно наслаждаться им. Все это вместе взятое, включая удивительную смесь запахов — разом и чувственную, и порочную, и тонкую, и бесстыдную, — смесь, которую всеми порами источает парижская жизнь, смесь, компоненты которой невозможно определить наверняка, но которая похожа на букет из витающих в серых сумерках ароматов дорогих духов, вин, пива, бренди с добавкой едкого ностальгического запаха французского табака, и жареных каштанов, и черного французского кофе, и бесчисленных волшебных ликеров самых ярких и притягательных цветов, и роскошного аромата ухоженных женщин, — вмиг покоряло юношей очарованием необыкновенного, волнующего мира.

Однако, несмотря на всю прелесть этого мира, несмотря на общество Старвика, которое всегда дарило ему уверенность и покой, призрак прежнего неисцелимого смятения не желал совершенно исчезнуть: Юджина продолжал тайно томить прежний голод. Почему он оказался здесь? Ради чего приехал? Отсутствие цели нынешнего существования, ленивая беззаботность четверки, враждебная всякому труду, постоянное сидение в кафе за едой, питьем и разговорами, а затем смена столика, переход в другое кафе, — но более всего чужие, нагоняющие тоску лица французов, странная, чужая жизнь этого волшебного города, бесконечно заманчивая, но решительно чуждая тому, к чему он привык на родине, — все это теперь необъяснимо тяжким грузом легло Юджину на душу, вновь пробудив в нем прежнее чувство горькой неприкаянности, вызвав безымянное ощущение стыда и вины, которое возникает у всякого американца, влачащего ленивую, полную удовольствий жизнь, и которое органически присуще американцам, которое ничем не вытравить у них из крови. И, томясь от смутного, но настойчивого брожения в мозгу этих беспокойных мыслей, он вдруг обернулся к Старвику и без единого слова объяснения спросил:

— Ты что, действительно чувствуешь себя здесь как дома?

— Что значит "как дома"?

— Ну, не кажется тебе, что ты здесь не на месте? Ты никогда не ощущал, что ты здесь лишний — что ты чужак, иностранец?

— Нет-нет, совсем наоборот! — с легким нетерпением ответил Старвик. — По-моему, впервые в жизни я *не чувствую* себя иностранцем. Я никогда не был "как дома" на Среднем Западе, откуда я родом, — я ненавидел те края с самого раннего детства, я всегда чувствовал себя там лишним и хотел вырваться оттуда. Но в Париже я сразу почувствовал себя как дома — здешняя жизнь мне гораздо ближе, чем любая другая, которая мне известна, и впервые я чувствую, что попал наконец домой.

— И тебе не мешает, что ты чужой?

— Конечно нет! — решительно сказал Старвик. — А потом, я здесь не чужой. Чужим ты можешь быть только в чужой для тебя стране. А эта страна мне не чужая.

— Но в конце-то концов, Фрэнк, — ты же не француз. Ты американец.

— Отнюдь нет, — твердо ответил Старвик. — Я американец по рождению, это дело случая, — а по духу, по характеру, по своим склонностям я всегда был европейцем.

— И ты думаешь, что сможешь вести дальше такую вот жизнь и тебе никогда не надоест?

— Что ты называешь "такой вот жизнью"? — спросил Старвик.

Его друг кивнул на шумную публику, запрудившую кафе.

— Я имею в виду — торчать целый день в кафе, потом в ночном ресторане, есть, пить, болтать... Перебираться из одного места в другое — растрачивать на это жизнь.

— Наверное, это не худшее из того, на что можно растратить жизнь? — спокойно ответил Старвик. Он серьезно поглядел на друга. — Ты не находишь, что это весьма приятно?

— Да, Фрэнк, до поры до времени. Но тебе не кажется, что потом это надоест?

— Если и надоест, — ответил Старвик, — то не больше, чем день за днем являться на службу к девяти и уходить в пять, заниматься ненужной и бесполезной работой, которую прекрасно мог бы делать кто-нибудь другой. Нет уж, по мне, такая вот жизнь, — он кивнул на занятые столики, — гораздо интересней и приятнее.

— Но как же ты можешь чувствовать себя здесь своим? — сказал другой. — Мне казалось, ты должен ощущать разницу. Я вот чувствую, что я здесь чужой, что это не моя жизнь, что из этих людей я никого не знаю.

— Пожалуй, ты еще скажешь мне, что американцу не дано постичь душу француза? — Эту банальную фразу Старвик произнес со спокойным сарказмом, и его собеседнику бросилась кровь в лицо.

— А хоть бы и так — разве это не правда?

Старвик устало окинул взглядом гомонящие за соседними столиками компании.

— Боже! — спокойно произнес он. — Не хочется и пробовать. Сдается мне, большинство из них такие же скучные, как и в любой другой стране.

— Если ты так думаешь, то чем же притягивает тебя Париж? Как же ты можешь быть такого мнения о людях и одновременно чувствовать себя тут как дома?

— Потому что Париж принадлежит миру — Европе — в большей степени, чем Франции. Сюда приезжают не для того, чтобы познать французов, — сюда приезжают затем, чтобы найти здесь самую приятную, утонченную и цивилизованную жизнь на земле.

— Хорошо, но ведь есть вещи и поважней, чем вести утонченную и приятную жизнь.

— Например? — поглядел на него Старвик.

— Например, делать свое дело. Мне кажется, для тебя это все же гораздо важнее.

Старвик вновь замолчал; черты его исказила прежняя животная гримаса, отражение невыносимых мук и смятения души, — она лишь на миг появилась на его симпатичном румяном лице, набежала и исчезла; потом он заговорил тихо, с безграничной усталостью отчаявшегося, которая успела целиком завладеть им:

— Делать свое дело! Господи! словно в этом есть какой-нибудь прок.

— Было время, Фрэнк, когда ты считал, что есть.

— Да, было время, — вяло подтвердил он.

— А сейчас уже не считаешь?

Старвик молчал; когда он заговорил вновь, его слова не были прямым ответом.

— Как всегда, неугомонное сердце... — устало и грустно сказал он; затем помолчал, глядя на друга. — Почему? Сколько я знаю тебя, ты всегда

был таким, Юджин, — готовым поглотить весь мир, вечно в бешеной гонке, ненужной, безнадежной, тщетной гонке за знаниями.

— Почему ненужной, Фрэнк? Почему безнадежной?

— Потому что это безумие, которое ширится и ширится в тебе, потому что, пока тебя гложет этот голод, тебе не дано утолить его и исцелиться; потому что сердце твое разобьется, ты выдохнешься и сойдешь с ума; а еще потому, что если бы даже ты смог осуществить свое немыслимое желание и впитать в себя весь накопленный в мире запас знаний и опыта, то не добился бы этим ничего.

— Здесь я не могу с тобой согласиться.

— Ты и вправду считаешь, — продолжал Старвик устало, — что если удовлетворишь свое безнадежное стремление прочесть все книги на свете — узнать всех людей — побывать во всех уголках Земли, то это что-нибудь тебе даст? Сейчас ты день за днем рыщешь по книжным лавчонкам на набережной Сены, перелопачиваешь тонны хлама и макулатуры, пока не иссякнут силы и не охватит отчаяние. Когда ты не с нами, то сидишь в кафе один, со словарем, и пытаешься уловить смысл какой-нибудь ненужной, бессмысленной книги. Ты уже не получаешь удовольствия от чтения, ведь тебе не дает покоя гигантское количество еще не прочитанных тобою книг; ты ходишь по музеям — по Лувру — и не можешь наслаждаться картинами, потому что тебя снедает желание увидеть и запомнить их все, и ты растрачиваешь силы в этой дурацкой гонке. Тебя уже не радуют люди вокруг, ты ходишь по улицам Парижа, сидишь здесь, в кафе, полном народу, — и вместо того чтобы радоваться веселью и жизни, которые тебя окружают, мучишься мыслью о том, что не знаешь никого из этих людей, не знаешь ничего об их судьбах, что в Париже четыре миллиона жителей, а знакомых не наберется и десятка... Юджин, Юджин, — печально сказал он, — и эта твоя болезнь забирает над тобой все больше власти — если ты не справишься с ней, она сведет тебя с ума и погубит.

— Однако же, Фрэнк, этой болезнью страдали многие. Из-за нее, ради знаний, доктор Фауст продал душу дьяволу.

— Увы, — ответил Старвик, — где-то он, дьявол? — Помолчав, он продолжал тихо, как прежде: — Ты и вправду считаешь, что станешь мудрее, если прочтешь миллион книг? Считаешь, что лучше поймешь жизнь, если узнаешь миллион человек, вместо того чтобы разобраться в самом себе? Считаешь, что от тысячи женщин получишь больше удовольствия, чем от двух или трех, увидишь больше, если объездишь не полдюжины стран, а целую сотню? Считаешь, наконец, что станешь счастливее, если "сделаешь свое дело", вместо того чтобы ничего не делать? Господи! Юджин... — в его усталом голосе слышалось покорное отчаяние, с которым он уже не мог бороться, отчаяние обреченного, — тебе все еще кажется, что "делать свое дело", как ты говоришь, зачем-то нужно, но какая разница, сделаешь ты его или нет? Ты хочешь вести жизнь художника, вершить труд художника, творить из материала, которым пользуется художник, — но какая, в конце концов, разница, работать ты будешь или бездельничать?

— Ты не всегда думал так, Фрэнк.

— Да, — устало сказал Старвик, — было время, когда я думал иначе. Было время, когда я верил, что жизнь художника — прекраснейшая жизнь на земле, единственная, какую я хотел бы вести.

— А теперь?

– Теперь – пустота... пустота... – сказал он так тихо, что Юджин едва услышал его. – Нет никакой разницы... Я прихожу в Лувр и смотрю на эту колоссальную гору хлама – вверху и внизу бесконечные галереи, увешанные бездарными и невнятными произведениями тысяч мертвецов, которые когда-то чувствовали то же, что и я: у них была потребность творить, излить свою душу, они верили, что искусство и удел художника – единственные стоящие вещи в мире. Потом они умерли, оставив после себя отчаянно скучные работы, ненужные свидетельства своих мук, сваленные на этом гигантском складе бесполезного искусства, – там есть только три картины, которые мне хотелось бы написать, – и я знаю, что меня не хватило бы ни на одну из них. Я думал, что мне хочется сочинять пьесы, но теперь и тут чувствую то же самое: среди тысяч пьес, которые я читал или видел, вряд ли наберется дюжина таких, какие я хотел бы написать, – и теперь я знаю, что не смог бы написать ни одну из них... К чему это все? Зачем ты подстегиваешь себя, тратишь все силы в этой неистовой гонке – ради бессмысленного желания прибавить еще одну книгу или пьесу к горам уже написанных? Зачем приносить в жертву душу – чтобы огромное количество невнятных, посредственных, серых произведений стало еще больше? – Он чуть помолчал, затем, раскрасневшись от волнения, воскликнул высоким, страстным голосом: – Самое великое... самое бесценное... за что не жалко отдать жизнь – так невыразимо... так абсолютно, безнадежно невыразимо! И если нам не дано создать лучшее – зачем вообще что-то делать?

И Юджин вспомнил залитые лунным светом улицы Кембриджа, ту ночь, когда Старвик, хмельной от вина и благородного, безрассудного юношеского пыла, остановился и звонко, на всю безмятежно спящую улицу, провозгласил своего друга великим поэтом. И эти гордые, глупые слова заставили жарко забиться сердце Юджина, исполнили его надежды и восторга, он схватил Старвика за руку, и сжал ее страстно и горячо, и сказал Фрэнку то, во что верил в это мгновенье всей душой: что Старвик – удивительный человек, гордость своего времени и своего поколения.

И, вспомнив тех хмельных и счастливых ребят, что стояли в лунном свете на тихой улице и поверяли друг другу свои крепкие взаимные надежды, он чуть было не спросил Фрэнка: разве усталое покорство, уверенность в поражении, забравшие над ним теперь такую безграничную власть, лучше, чем те гордые и глупые ребячьи мечты?

Но он не сказал ничего, и после недолгого молчания Старвик глянул на часы и подозвал официанта, заметив, что пора уже отправляться в кафе на Монпарнас: туда должны были прийти женщины. И они заплатили по счету и вышли; но этот день и разговор с Фрэнком запомнились Юджину на долгие годы. Ибо в словах Фрэнка явственно прозвучали его отказ от борьбы, отчаяние, его растущее безразличие и апатия.

LXXX

Отношения в четверке накалились почти до предела. За месяц кутежа пришлось заплатить суровую дань. Их измученные тела и истрепанные нервы взывали об отдыхе, о целительной передышке, которая могла бы восполнить иссякшие источники энергии. Но, словно горемыки, приверженные к наркотикам, они не могли разбить тиранические оковы непрерывных наслаждений. Старвика, казалось, совершенно поработил этот бессмысленный, яростный бег, эти безумные поиски новых ощуще-

ний, эта безнадежная погоня за недосягаемым счастьем, исполнением желаний. Он словно не мог или не хотел разрушить злые чары. Наоборот, все его силы точно питали этот жестокий голод — голод, который невозможно было заглушить, который лишь рос по мере его утоления, — и с каждым днем его зловещая пассивность, его безобразное, покорное приятие поражения становились все очевидней.

Он, единственный среди них всех, сохранял внешнее спокойствие. И эта его холодная бесстрастность сводила с ума: он встречал потоки брани, протестов, упреков и мольбы с грустным и смиренным видом, как бы печально сокрушаясь, спокойно принимая всякое обвинение или выпад, словно бы искренне, благородно и грустно раскаиваясь, и это бесило больше, чем могло бы взбесить любое намеренное оскорбление. Ибо за этой непроницаемой броней покорства, за этой обреченностью, не желающей облекаться в конкретную форму, ясно угадывалось отвратительное высокомерие, говорящее, что слова тут бесполезны, поскольку нет таких слов, которые могли бы выразить роковые предвидения его души, и нарочито — упрямо, с мерзкой извращенностью — отказывающееся от всякой борьбы.

Поведение его становилось все более абсурдным, сумасбродным, нелепым. Он вел себя глупо, как герой мелодрамы, но смеяться над его выходками было невозможно — такая в них сквозила обреченность. Он совершал невероятные поступки, создавал невероятные ситуации, уместные разве что в опере, но до того ненормальные и нелепые в реальной жизни, что за него приходилось краснеть. И самым постыдным и недостойным в его поведении было то, что это презрение к здравому смыслу не имело никакой цели, а нарочитое безрассудство, с которым он лез на рожон, лишь окрашивало нереальные, мелодраматические оперные сцены в реальные, кровавые, гибельные тона.

По вине Старвика они постоянно оказывались в дурацких ситуациях, чреватых большими неприятностями. Как-то вечером в кафе на Монмартре он затеял с незнакомым человеком ссору, которая сошла бы за фарс, если б не имела таких безобразных последствий, не вызывала бы потом таких болезненных, позорных воспоминаний. Этот человек, порождение ночи, гаденький сморщенный французик с непристойным взглядом, желтой кожей и острой бородкой, наполовину скрывающей лицо, похожее на мордочку грызуна, не мог отвести от Энн своих похотливых глаз, ощупывал ее благородную фигуру взором, в котором читалась грязная, одобрительная усмешка, почти столь же бесстыдная и ощутимая, как открытое прикосновение, а когда оркестр заиграл очередную песенку, подошел к их столику, поклонился и довольно вежливо пригласил ее на танец.

Энн отчаянно покраснела, угрюмо уставилась в скатерть, но не успела она собраться с мыслями для ответа, как вмешался Старвик:

— Мадмуазель не желает танцевать. Пожалуйста, подите прочь.

Услышав этот краткий отказ, произнесенный холодным, высокомерным голосом, француз обозлился. Рот его растянулся в мерзкой усмешке, обнажив нечистые желтые клыки, и он ответил:

— Разве даме не позволено иметь свое мнение? Может быть, мсье ее телохранитель?

— Уйдете вы наконец или нет? — повторил Старвик холодно и бесстрастно, с легким утомлением. — Вы нам докучаете.

— Прелестно! — французик откинул назад голову и язвительно, издевательски рассмеялся, обнажив клыки: — Неужто воскрес сам господин д'Артаньян, а дама так робка и невинна, что не может отвечать за себя? Превосходно! — вновь вскричал он и заключил с ироническим поклоном: — Мсье, от всей души благодарю вас за это чудесное развлечение! Вы настоящий шут!

В ответ Старвик взял со стола сифон с сельтерской и, ни на секунду не изменив своему прежнему холодному бесстрастию, выпустил струю из сифона прямо в желтую физиономию француза.

Кафе мигом превратилось в бурлящий водоворот. Публика повскакивала из-за столиков, танцующие остановились, оркестр с взвизгом оборвал музыку, а владелец заведения и официант со всех ног кинулись к ним.

Их тут же окружила возбужденно жестикулирующая, гомонящая толпа, все заговорили разом. Старвик уже стоял лицом к лицу с противником, холодный и бесстрастный — лишь румянец ярче проступил на его розовых щеках. На француза же было страшно смотреть — такая дикая ненависть исказила его черты. Мокрый, даже не утершись салфеткой, которую угодливо подсовывал ему взволнованный официант, он оттолкнул хозяина, пытавшегося его удержать, и, подойдя к Старвику вплотную, прорычал:

— Ваше имя, мсье! Я хочу знать ваше имя! Мои представители появятся у вас завтра утром!

— Хорошо, — холодно отвечал Старвик. — Я буду ждать. Мсье сможет получить любое желаемое удовлетворение.

И, вынув из бумажника визитную карточку, он подписал под именем свой адрес и отдал ее французу.

— Так, замечательно! — хрипло воскликнул тот, взглянув на карточку. — До завтра!

Он расплатился по счету и ушел, оставшись глух ко всем извинениям и уговорам хозяина.

— Но, Фрэнк, дорогой мой! — воскликнула Элинор, когда они уселись опять. — Что ты думаешь делать? Не собираешься же ты... — она не закончила, глядя на него тревожно и изумленно.

— Да, — холодно, спокойно ответил Старвик. — Он предложил мне дуэль, и, если ему угодно, я готов.

— Не пори чепухи! — с нетерпеливым смешком вскричала Элинор. — Что ты смыслишь в дуэлях! Детка, не смеши! На дворе ведь двадцатый век, дорогуша. Разве ты не знаешь, что теперь это уже не принято?

— Безусловно, — с каменной невозмутимостью ответствовал Старвик. — Тем не менее я готов, если ему угодно. — Он перевел на нее спокойный взгляд, затем сказал серьезно: — Это мой долг. Право же... сама понимаешь.

— Долг! — нетерпеливо вскричала Элинор. — Рехнулся ребеночек! — Голос ее сразу зазвучал решительно, четко, властно, она заговорила с ним спокойно, без крика, но настойчиво, как говорят с детьми: — Фрэнсис! — спокойно промолвила она. — Послушай меня! Не прикидывайся дурачком! Что тебе за дело до этого плюгавенького? Поезд ушел! Дуэль! Святый Боже! Да не будь ребенком. Слыхано ли это?

Ее насмешливый тон заставил его чуть покраснеть, но он отвечал холодно и бесстрастно:

— Безусловно! Тем не менее, если ему угодно, я готов!

— Готов! — снова воскликнула Элинор. — Ох, Фрэнсис, до чего ты непробиваемый! Да на чем ты собрался драться?

— На чем ему будет угодно, — отвечал Старвик. — На пистолетах или на шпагах — не имеет значения!

— На пистолетах! На шпагах! — слабо вскрикнула Элинор и тихо засмеялась. — Дурень ты, дурень, да что ты понимаешь в шпагах и пистолетах? Ты ведь ни разу шпаги в руках не держал, а что до пистолетов, так ты не сумеешь даже толком прицелиться и спустить курок.

— Не имеет значения, — сказал он очень тихо, обреченно. — Я выстрелю в воздух.

Несмотря на то, что все это смахивало на глупейшую мелодраму, никому не было смешно. Они вдруг поняли, к каким роковым последствиям может привести этот фарс, и, почувствовав, как глубоко душевное отчаяние Старвика — то страшное отчаяние, которое, казалось, толкает его на поиски гибели, — поняли, что он, стоит лишь ему получить такую возможность, не отступится от своих слов.

Элинор собралась уходить; она подозвала официанта и, спросив счет, сказала решительно:

— Пойдем! Пошли-ка отсюда! Ты слишком много выпил! По-моему, тебе нужно проветрить мозги — толика свежего воздуха не повредит. Утром ты на все посмотришь по-другому!

— Ни в коем случае! — твердо сказал он и добавил, увидев, что она поднимается с места: — Сядь, пожалуйста. Мы еще не уходим.

— Но почему, дорогуша? Ты что, не готов? Мало набедокурил для одного вечера, а может, еще кого-нибудь хочешь вызвать на поединок? Между прочим, мог бы и об Энн подумать. Я полагаю, она не прочь уйти отсюда хотя бы на время.

— Но почему же? — спросил он с искренним удивлением, поворачиваясь к Энн. — Тебе здесь не нравится? Здесь весьма неплохо, да и музыка хороша, право же!

— Ах, чудно, чудно! — язвительно пробормотала она. С самого начала ссоры она угрюмо, с пылающим лицом смотрела в скатерть и лишь теперь, вдруг подняв глаза, коротко, сердито усмехнулась и сказала:

— Боже! Мне хочется спрятаться под стол — я чувствую себя... *раздетой*!

При этих словах Старвик весь побагровел от смущения. Некоторое время он глядел на нее, а потом резко, сердито, с жестким укором произнес:

— Энн! Это... *очень* плохо, и... *очень* дурно, и... и... очень *неблагородно* с твоей стороны!

— Ничего не попишешь! — пробормотала она.

— Да, — сказал он спокойно, хотя на щеках его горели два ярких, сердитых пятна. — Мне *чрезвычайно* стыдно за тебя. Твое поведение *совершенно* недостойно. Сейчас тебе следовало бы проявить больше... — он запнулся, тщательно подыскивая слово, — больше *характера*. Право же!

— Ну конечно — характера! — вспыхнула она, поднимая на него свои полные слез, прекрасные, сердитые глаза. — Тебе не занимать характера только потому, что ты все время боишься остаться в дураках! Фрэнк, я устала от этих разговоров! Везде, куда бы мы ни пошли, кому-то обязательно надо "проявить характер" — и всем это страшно отравляет жизнь. Ради бога, давай поменьше говорить о характере и давай попробуем просто радоваться и получать какое-то удовольствие от жизни,

быть хоть чуть-чуть счастливыми и вести себя, для разнообразия, как нормальные, приличные люди. Я так ждала этой поездки с Элинор... а теперь... — Слезы досады и разочарования заблестели у нее в глазах, и, чтобы скрыть их, она мрачно уткнулась взглядом в стол, а затем пробормотала: — Везде выставлять себя на посмешище, устраивать сцены, затевать скандалы! Обязательно надо впутаться в историю, заставить всех возненавидеть нас, не получить ровно никакого удовольствия! Облить газировкой какого-то замухрышку... — ее передернуло от отвращения, она отвернулась. — Боже! Меня тошнит от этого!

— Мне жаль, что так вышло, — спокойно ответил он. — Я постараюсь впредь избегать подобного, но все-таки, Энн, ведь это получилось оттого, что я так к тебе отношусь, и так тебя уважаю, и не спущу никому, кто оскорбит тебя!

— Ах-х! Оскорбит меня! — с досадой сказала она. — Господи боже, Фрэнсис, ты думашь, меня надо защищать от всякого недомерка? Когда я работала санитаркой, мне приходилось бывать одной в самых отвратительных трущобах Бостона, и я привыкла справляться с людьми в два раза крупнее. Защищать меня! — горько сказала она. — Вот спасибо! Я приехала сюда не за тем, чтобы меня защищали, — я в этом не нуждаюсь. Сама могу о себе позаботиться. Лучше постарайся вести себя по-человечески — давай будем друзьями, будем немножко думать друг о друге, а о том, чтобы меня защищать, не беспокойся!

LXXXI

Ночью он спал мало. Скандал в ресторане и его последствия представлялись фантастическими, невероятными, словно в кошмаре. Рано утром он встал, подошел к окну и выглянул наружу; серый рассвет едва забрезжил над крышами и трубами Парижа. Постепенно проступали из мглы старые дома, побитые, бледно-желтые; в утреннем свете они казались самыми что ни на есть будничными и обыкновенными, и при виде их слепящие огни Монмартра, музыка, пьяные голоса и ссора с французом — все странные, зловещие ночные картины — стали необычайно далекими и нереальными, похожими на сон. Неужели это случилось? Неужто Старвика и вправду вызвали на дуэль? И он таки на нее решится?

Он встал и оделся, затем, с пересохшим ртом, чувствуя какую-то непонятную легкость в онемевшем теле, вышел на улицу и отправился в такси на улицу Бонапарта. Утренний гомон, поднятые шторы, уборщицы и горничные на коленях у распахнутых дверей, открывающиеся магазины — все это еще больше отдаляло от реальности минувшую ночь.

Когда он появился в студии, все уже были на ногах. Энн готовила на завтрак кофе и яичницу. Элинор причесывалась, Старвик еще не спустился с балкона. Укладывая волосы, Элинор разговаривала со Старвиком, который отвечал ей оттуда.

— Фрэнк! — говорила она. — Ну неужели у тебя хватит глупости пойти на это? Ты что, всерьез собираешься так поступить?

— Да, — холодно отвечал он сверху, — собираюсь. Именно так!

— Но... тьфу ты! Не будь ослом! — нетерпеливо воскликнула она. Повернулась к Энн, хмуро улыбаясь, закусила губу и, качнув головой, удивленно вскричала: — Экая чушь! Видела ты хоть раз в жизни такого ненормального?

Но ее подбородок, ее хмурая улыбка выдавали знакомую им всем мрачную решимость.

Когда вошел Юджин, Энн у плиты оглянулась и, с ложкой в руке, мрачно осмотрела его. Потом вдруг коротко, сердито рассмеялась и сказала Элинор:

— Пожалуйте! Вот и второй! Хороша парочка!

— Дорогушенька! — со зловещим весельем вскричала Элинор. — А где же цилиндр? Где полосатые брюки, визитка? Где ящик с дуэльными пистолетами?.. Порядок, мсье д'Артаньян, — иронически сообщила она в сторону балкона, — ваш друг, мсье Портос, прибыл... да и завтрак готов, дорогуша! Как это говорится в армии, — невинно осведомилась она, — на пустой желудок не воюй?.. Кхм! — она прочистила горло. — Снизойдет ли мсье д'Артаньян, отправляясь на подвиг, до завтрака в компании двух слабых женщин... или мсье предпочтет уединиться со своим верным секундантом, дабы обсудить... кхм! кхм!.. последние приготовления?

Старвик не отвечал, пока не спустился вниз.

— Можете остаться, если хотите, — равнодушно промолвил он. — Все равно мне нечего им сказать. — Повернувшись к Юджину, он заметил с великолепной, томной скукой: — Выясни, чего они хотят. И передашь мне, что им угодно.

— Н-но, Фрэнк... что же я им скажу? Ты подумал?

— Что хочешь, — равнодушно ответил Старвик. — Все, что хочешь. Скажи, я готов встретиться с ним где угодно... на любых условиях, — как пожелают. Пусть всё решают по-своему.

Он взял ложку и принялся за апельсин.

— Ох, Фрэнк, ну идиот! — вскричала Элинор, схватив его за шевелюру и мотнув. — Хватит дурить! Кончай ломать комедию!

Он спокойно поднял глаза и посмотрел на нее устало, терпеливо.

— Извини! — сказал он. — Но я *должен*. Если он пожелает, мне придется идти. Уж этого-то, по крайней мере, он может от меня требовать — право же!

Завтрак продолжался в неловком, напряженном молчании, прерываемом лишь угрожающими выпадами Элинор, на которые Старвик реагировал устало и бесстрастно.

В десять снаружи послышались шаги, кто-то поднялся на веранду, и звякнул звонок. Женщины обменялись тревожными взглядами, Старвик спокойно встал и отвернулся, и тут же Элинор резко сказала:

— Entrez[1].

Дверь открылась, и вошел человек. На нем были полосатые брюки, которые не мешало бы погладить, потрепанный, заношенный сюртук, под мышкой — портфель. На вид — лет сорока пяти, лыс, желт, с усишками и вороватым взглядом. Он быстро, цепко обежал глазами всех, кто находился в комнате, затем спросил:

— Мсье Стар-уик?

— Да, — обернувшись, спокойно ответил Старвик.

— Ах, bon! — живо откликнулся французик и обнажил, улыбаясь, пожелтевшие клыки. Войдя, он чуть подался вперед, сжимая портфель тонкими, жадными пальцами; теперь шагнул ближе, вынул из бумажника карточку и, щеголевато взмахнув ею, подал Старвику со словами:

1. Войдите.

– Monsieur, permettez-moi. Ma carte[1].

Старвик равнодушно глянул на карточку и собирался было положить ее на стол, но гость остановил его. Протянув худую, не слишком чистую руку, он сказал вежливо, но торопливо:

– S'il vous plait, monsieur![2] – забрал карточку и упрятал ее обратно в бумажник.

Старвик показал на стул и предложил:

– Присядьте.

Дальше разговор шел на смеси французского с ломаным английским. Маленький француз уселся, заботливо поддернув полосатые брюки, положил свои цепкие ручки на костлявые колени, подался вперед и с очередной обворожительной и несколько отталкивающей улыбкой проговорил:

– Мсье Стар-уик есть американ, n'est-ce pas?

– О да, – сказал Старвик.

– И были вчера вечером в "Ле-Ра-Мор"?

– О да, – снова сказал Старвик.

– И мсье, – осведомился он, кивнув на Юджина, – тоже были там?

– О да, – отвечал Старвик.

– И мадмуазель... и мадмуазель, – он вежливо повернулся к женщинам, – они тоже были там?

– О да, – как прежде, ответил Старвик.

– Ах, bon! – воскликнул французик, энергично кивая, полностью удовлетворенный. Затем, живо потерев костистые сухие ручки, взялся за свой тощий, старый вытертый портфельчик, крепко зажатый меж колен, быстро расстегнул ремешки, открыл его и извлек оттуда несколько ярко-желтых листков, исписанных мелким почерком.

– Мсье... – начал он, прочистив горло и выразительно пошелестев гладкими листками, – мсье, я полагаю, – он посмотрел на Старвика снизу вверх, вежливо, но с неприятно-двусмысленным выражением, – мсье, я полагаю, может быть... – он слегка, укоризненно пожал плечами, – мсье немножко... выпили?

Некоторое время Старвик молчал; потом, покраснев и чуть набычась, холодным, непреклонным тоном ответил:

– Oui! C'est ça, monsieur![3]

– Ах-х! – вновь воскликнул французик с сухим удовлетворенным смешком. – А когда кто-нибудь выпьет... и особенно, мсье, когда мы еще молодой... – он вновь издал вежливый смешок, – он иногда делает и говорит такой вещь, что потом будет жалеть, а?

– Ну конечно! – тут же воскликнула Элинор – быстро, горячо, нетерпеливо. – Вы абсолютно правы! Фрэнк выпил... и все произошло так внезапно... сделанного не воротишь... нам жаль... нам всем очень жаль: это был опрометчивый поступок... нам очень жаль – мы извиняемся!

– Ну нет! – сердито покраснев, воскликнул Старвик и с негодованием взглянул на Элинор. – Отнюдь нет! Я не согласен с тобой!

– Ох, Фрэнк, помолчи, дурень! Дай я все улажу, – вскричала она.

Потом, повернувшись к французу, заговорила быстро, гладко, пустив в ход весь свой незаурядный талант, чтобы задобрить и улестить гостя:

1. Позвольте, мсье. Моя карточка.
2. Простите, мсье!
3. Да! Вы правы, мсье!

– Мсье, чем мы можем загладить свой прискорбный проступок?

– Comment?[1] – озадаченно спросил французик.

– Monsieur Starwick, – продолжала Элинор с льстивой убедительностью, – monsieur Starwick – comme vous voyez, monsieur, – est très jeune. Il a toutes les fautes de la jeunesse. Mais il est aussi un homme de grand esprit; de grand talent. Il a le temperament d'un artiste: d'un homme de genie. Comme un Français, monsieur, vous, – льстиво продолжала она, – *vous* connaissez cette espèce d'hommes. Vous savez qu'ils ne sont pas toujours responsables de leurs actes. C'est comme ça avec monsieur Starwick. Il est de bonne coeur, de bonne volonté: il est honnête, généreux et sincère, mais il est aussi plein de témperament – impulsif: – il manque de jugement. Hier soir nous avons tous – comme on dit – fait la noce ensemble. Monsieur Starwick a bu beaucoup – a bu trop – et il a été coupable d'une chose regrettable. Mais aujourd'hui il se repent très sincèrement de sa conduite.

Il vous offre ses apologies les plus profondes. Il a déjà souffert assez. Dans ces circonstances, monsieur, – заключила она с подкупающей доверительностью, – on peut excuser le jeune homme, n'est-ce pas? – on peut pardonner une faute si honnêtement et sincèrement regrettée[2].

Она замолчала, удовлетворенная, и на лице ее читалось: "Ну как? Согласны ведь? Знаю, что согласны!"

Но французика оказалось нелегко уломать. Взмахнув тощей ручкой и отрицательно покачав головой, он издал сухой двусмысленный смешок и сказал:

– Ах-х! Не знаю, не знаю! Эти извинения!.. – он двусмысленно пошевелил пальцами. – Эт-то оч-чень приятно, извинения ваши, – но – как сказать? имеется dom-mage!.. Нанесен ущерб... Мсье, – веско сказал он Старвику, – вы серьезно нарушили закон. Как сказать? *Нападение*, мсье, – у нас во Франции нападение – une chose très sérieuse! Vous comprenez?[3]

– О да, – холодно ответил Старвик.

– Mon client, – торжественно прокашлялся французик, – mon client, мсье Реналь, был terriblement blessé – insulté![4] Мсье! – возопил он. – Пр-росто ни-и-обходимо сделать des réparations, n'est-ce pas?[5]

– О да, – холодно сказал Старвик. – Я готов дать любое удовлетворение.

Французик удивленно воззрился на него и возбужденно, алчно воскликнул:

– Ах, bon! Так вы согласны?

– Абсолютно, – сказал Старвик.

1. Как?
2. Мсье Старвик – мсье Старвик, как видите, мсье, очень молод. Ему свойственны все недостатки юности. Но у него светлая голова; он чрезвычайно талантлив. У него душа художника, душа гения. Вам, мсье, – ведь вы француз, – знакомы такие характеры. Вы знаете, что эти люди не всегда отдают себе отчет в своих поступках. Мсье Старвик – именно такой человек. Он великодушен и мягок; он честен, благороден и искренен, но он такой несдержанный... вспыльчивый: ему не хватает здравомыслия. Вчера вечером мы вместе – как это говорится? – кутнули. Мсье Старвик много выпил – слишком много – и совершил прискорбный поступок. Но сегодня он искренне сожалеет о своем поведении. Он приносит вам глубочайшие извинения. Он уже довольно наказан. Так что, мсье, – можно ведь и простить молодого человека, верно?.. можно извинить ему ошибку, в совершении которой он по-настоящему, искренне раскаивается.
3. Очень серьезная вещь. Понимаете?
4. Мой клиент... страшно оскорблен – потрясен!
5. Возмещение.

– Bon! Bon! – алчно восклицал человечек, потирая ручки с жадным удовлетворением. – Monsieur est sage, – вы, как сказать? весьма мудрый. Monsieur est Américain – n'est-ce pas? – un étranger – comme vous, mademoiselle... et vous, monsieur... et vous, mademoiselle[1], – и чтобы путешествовать – надо быть libre – на свободе – n'est-ce pas – и избегать осложнений...

– Однако... – недоуменно сказала Элинор. – То есть... я что-то не пойму...

– Alors[2], – говорил француз, – это лучше, избегать осложнений – oui! Ах, – игриво поглядел он на Старвика, – mais monsieur est sage... est très, très sage! C'est toujours mieux de faire des réparations... et éviter les conséquences plus sérieuses[3].

– Однако! – вновь воскликнула Элинор с растущим изумлением. – Не понимаю. О каком возмещении идет речь?

– Вот о каком, мадам! – возвестил француз и, торжественно кашлянув, пошелестел бумагами, которые держал в руке, затем поднес их к глазам и начал:

– Pour l'endommagement d'un veston du soir – trois cents francs![4]

– Что? *Что?* – тихим, ледяным голосом проговорила Элинор. – *За что?*

– Mais oui, madame! – пылко вскричал француз, впервые поднимаясь до вершин морального негодования, – un veston du soir complet – ruiné, madame! – *completement, absolument* ruiné!... Trois cents francs, monsieur, – вкрадчиво обратился он к Старвику, – c'est pas cher!... Pour moi, oui! – c'est cher – mais pour vous – ah-h! – он помахал грязной ручкой и пренебрежительно усмехнулся, – c'est rien! Rien du tout[5]. – Он пошуршал гладкой бумагой, откашлялся и продолжал: – Pour l'endommagement d'une chemise – une chemise, n'est-ce pas, du soir? – он испытующе глянул на них, – cinquante francs[6]...

– Но это... – прошептала Элинор. – Это же... – Изумленная, она уставилась на Старвика. Старвик молчал.

– Pour l'angoisse mentale, – продолжал француз.

– Что? – с трудом выговорила Элинор и поглядела на Энн. – Что он сказал?

– Моральный ущерб, – коротко ответила Энн. – Ну, – обратилась она к французу, – почем нынче моральный ущерб?

– C'est cinq cents francs, mademoiselle[7].

– А этот человек? – воскликнула Элинор, озаренная внезапной догадкой, – этот человек...

– Да-да, адвокатишка последнего разбора! – горько сказала Энн. – Ты что, сразу не поняла, что ли?

– Ах, мадмуазель, – с укоризненной миной начал было французик, протестующе шевельнув пальцами, – вы...

1. Мсье американец, верно? иностранец... как и вы, мадмуазель... и вы, мсье... и вы, мадмуазель...
2. Итак.
3. Но мсье мудр... весьма, весьма мудр! Всегда лучше возместить ущерб... и избежать более серьезных последствий.
4. За порчу вечернего костюма – триста франков!
5. Да-да, мадам! – Вечерний костюм просто пропал, мадам!.. совершенно, безвозвратно пропал! Триста франков, мсье, – это недорого!.. Для меня да – дороговато, – но для вас – тьфу! пустяк. Чистый пустяк.
6. За порчу сорочки – сорочки к вечернему костюму, так? – пятьдесят франков...
7. Пятьсот франков, мадмуазель.

– Сколько? – сказала Энн по-французски ровным, лишенным выражения голосом. – Сколько вам надо?

– Vous comprenez, mademoiselle[1]...

– Сколько? – грубо повторила она. – Сколько надо?

В его вороватых лисьих глазках вдруг вспыхнул голодный, алчный огонек.

– Mille francs! – торопливо сказал он. – Mille francs pour tout ensemble!... Pour vous, mademoiselle, – он снова скорбно, пренебрежительно усмехнулся и пошевелил грязными пальчиками, – c'est rien – pour moi[2]...

Она резко поднялась, подошла к полке и взяла кошелек. Открыла, вынула пачку банкнот, вернулась и швырнула перед ним на стол.

– Но, мадмуазель... – забормотал он, не в силах поверить в свое счастье, словно под влиянием гипноза приковавшись взором к денежной пачке.

– Расписку, – сказала она.

– Comment? – непонимающе глянул он, потом вскричал: – Ah-h! Un reçu! Mais oui, mais oui, mademoiselle! Tout de suite![3]

Трепеща от нетерпения, он нацарапал расписку на листке желтой бумаги, отдал ей, дрожащей рукой схватил деньги и запихал к себе в бумажник.

– А теперь вон, – сказала Энн.

– Mademoiselle? – он поспешно вскочил, схватил портфель и шляпу и беспокойно поглядел на нее. – Vous dites?[4]

– Вон отсюда, – сказала она, медленно наступая на него.

Он бросился к двери, точно вспугнутая кошка, бормоча:

– Mais oui... mais parfaitement... mais[5], – и скатился по лестнице, нервно, опасливо оглядываясь и спотыкаясь. Она захлопнула за ним дверь, вернулась к столу, села и молча, мрачно уставилась в тарелку. Старвик был красен, ни на кого не смотрел и не проронил ни слова. Элинор занялась салфеткой: она крепко прижала ее ко рту и не отпускала. Время от времени грудь, живот, тяжелые плечи ее непроизвольно вздрагивали, и до них доносились приглушенные, сдавленные всхлипы и вздохи.

Это оказалось для нее слишком: они услыхали слабый придушенный вскрик, она вскочила, вслепую ринулась через всю комнату в ванную и заперлась там. А потом они услышали взрывы безумного смеха, взвизги, восклицания и стоны, после чего наступила мертвая тишина, нарушаемая лишь изнеможенными вздохами. Энн с угрюмым, несчастным видом продолжала глядеть в тарелку. Что же касается Старвика, он сидел усталый и отрешенный, бесстрастный, величественный, как всегда, – только лицо его очень напоминало своим цветом вареного рака.

LXXXII

Как-то ночью в маленьком баре, или бистро, на Монмартре Старвик познакомился с одним молодым французом – в дальнейшем их знакомство переросло в странную дружбу, и с тех пор этот француз часто сопровож-

1. Видите ли, мадмуазель...
2. Тысячу! тысячу за все разом!.. Для вас, мадмуазель, это пустяк... но для меня...
3. Как? А-а! Расписку! О да, да, мадмуазель! Сию минуту!
4. Мадмуазель? Что вы сказали?
5. О да... чудесно... однако...

дал Фрэнка в его похождениях. Тогда было уже около четырех часов утра; после обычной ночной череды раззолоченных ресторанчиков, кафе, а затем погребков и закусочных более сомнительного свойства Старвик сильно опьянел и стал неуправляем, поссорился с Элинор и Энн, пытавшимися отвезти его домой, и после этого бесцельно шатался по улицам, перебираясь из одного дешевого кабака в другой.

Женщины упрямо ходили следом: Старвик не позволял им присоединиться к нему, и они попросили Юджина составить компанию этому сумасброду и проследить, чтобы он не натворил глупостей. По сути дела, Юджин едва ли был трезвее приятеля, но, исполненный чувства долга и по-юношески гордый доверием двух красивых женщин, он не отставал от Фрэнка ни на шаг, опрокидывал рюмку за рюмкой, пока ночь не слилась в сплошное пьяное пятно, вереницу злобных физиономий — в сознании потом остались лишь какие-то разрозненные осколки света на черном ночном фоне и отдельные эпизодические сцены, мгновенно, накрепко и невыносимо ярко отпечатавшиеся меж гигантскими провалами памяти. И, вырванное из всей ослепительной ночной круговерти, из безумного пьяного вихря, навеки запечатлелось в его мозгу одно скорбное видение. Это был образ — или, скорее, *ощущение присутствия* двух женщин, Энн и Элинор, которые ожидали во тьме, повторяли все их путаные хмельные метания, вместе с ними пробираясь сквозь эту сумасшедшую ночь, — они держались поодаль, но не теряли их из виду. Он и не глядел на них, и словно бы не замечал их, но хорошо помнил потом, что они были рядом. И воспоминание это сконцентрировалось наконец в одной скорбной картине, которая тысячи раз вставала перед ним годы спустя. Они со Старвиком выбрались из очередного бара, яркого пятна на крутом и длинном склоне холма, и, спотыкаясь, рысили вниз, к другому призывному огоньку, мимо запертых магазинов и темных жилых домов.

Вдруг он почувствовал за спиной Энн и Элинор. Оглянулся и увидел двух женщин, неспешно бредущих следом, одиноких, упорных, на удивление терпеливых. И эта картина — длинная, тихая ночная улица, зажатая меж высоких жилых домов и запертых лавчонок, и силуэты двух женщин, медленно бредущих за ними, — вспоминалась ему позже как печальное предвестие того, во что предстояло вылиться их общей судьбе, и того, что находит место в судьбе многих других. И потому она навек запечатлелась у него в памяти, неотвязная, окутанная скорбным и таинственным ореолом, — собственно говоря, картина эта вышла из своего фактического обрамления, имена и конкретные лица роли уже не играли — она стала отражением чего-то жизненно важного, вечного и непреложного. Это был образ бесплодной любви и обреченной веры, любви, которая ни к чему не придет, и прекрасной жизни, жертвующей собою в слепом обожании пропащей души, холодного, не способного на отклик сердца. И все это скорбно воплотилось в ночной сцене, ясно сказалось в грациозной, тихой прелести двух женщин, таких сильных, таких упорных, так бесконечно преданных, неторопливо бредущих по улице, зажатой меж высоких крутых домов, среди ночного безмолвия, следом за двумя хмельными гуляками.

Вдруг видение это сменяется яркой, насыщенной живыми деталями сценой: очередной бар, взрывы хриплого смеха вокруг, сочные, довольные голоса, внезапный наплыв иссеченных шрамами ночи и воспламененных ее весельем лиц: проституток, таксистов, негров и прочих — той самой, безымянной и неизменной публики, которая появляется откуда-

то — бог весть откуда — и живет чем-то — бог весть чем, — а поутру забивается вновь в неведомые щели — но живет только здесь, в недоброй ночной тьме, недолговечная, как мотыльки, и полная пагубы, как змеиный взгляд.

Он видит себя тяжело навалившимся на оцинкованную стойку бара, пялящимся на бледные дряблые руки, запачканный фартук и рубашку, запачканную недобрую физиономию ночного бармена, пачкуна с хитрым и уклончивым взглядом. Голоса, выкрики, ругань и смех сливаются в невнятный гам, и вдруг рядом раздается голос Старвика, хмельной, спокойный и ошеломительно тихий.

— Monsieur, — сказал он, и голос его, такой негромкий, лишь благодаря контрасту прорезал, словно нож, окутавшую их пелену звуков, — monsieur, du feu, s'il vous plaît[1].

— Пожалуйста, мсье, — спокойно отвечал веселый, приятный голос. — Отчего же нет?

Он обернулся и увидел Старвика с сигаретой во рту — неуклюже нагнувшись, тот пытался прикурить от другой, которую вежливо поднес ему какой-то молодой француз. Наконец Старвику это удалось; неловко затянувшись, он выпрямился, слегка приподнял шляпу в знак благодарности и сосредоточенно, как говорят пьяные, произнес:

— Merci. Vous êtes bien gentil[2].

— Нет-нет, — весело ответил юный француз, чуть пожав плечами, — что вы! Какой пустяк!

И поскольку Старвик по-прежнему смотрел ему в лицо с пьяной сосредоточенностью, француз в ответ глянул на него совершенно спокойно, участливо, доброжелательно и шутливо-вопрошающе:

— Мсье? — вежливо сказал он уставившемуся на него Старвику.

— Я хочу сказать, — медленно проговорил Старвик своим жеманным, похожим на женский голосом, — что вы мне *чрезвычайно* нравитесь. Вы *чрезвычайно* добры и *чрезвычайно* великодушны, и вообще, вы *благороднейший* человек. Я вам *чрезвычайно* благодарен.

— Однако, — с шутливым изумлением отвечал француз, слегка удивленно пожимая плечами, — я же ничего не сделал? Вы спросили du feu, огня, — и я дал вам! Я польщен... однако... — тут он снова пожал плечами с чуть циничным, но очень обаятельным юморком, — не вижу здесь ничего особенно благородного.

Он был молод, не старше тридцати, немного выше среднего роста, худощав и подвижен, с резкими и тонкими чертами лица, какие часто встречаются у французов. Лицо, очень миловидное и обаятельное, дышало живым, циничным умом; в уголках тонкого рта пряталась улыбка — умная, вежливо-циничная, недоверчивая улыбка, — и голос, и манеры его тоже красноречиво свидетельствовали об этой национальной черте — недоверии, том предельно учтивом недоверии, которое заставляет поднимать тонкие брови и тактично говорить: "Вы так полагаете?", — но вместе с тем внимать, не соглашаясь, и вежливо, но упорно избегать утвердительных ответов.

Одежда его не отличалась от одежды многих молодых французов того времени: угрожающая агрессивность рубашки "апаш" вполне гармонировала с прочим, довольно дешевым и крикливым облачением по тог-

1. Мсье, огоньку, пожалуйста.
2. Благодарю. Вы очень любезны.

дашней моде. Его наряд был продуманным, но дешевым: фетровая шляпа с широкими, по-французски загнутыми с боков полями, пальто с подбитыми плечами, сильно приталенное; брючки казались коротковаты и узковаты, едва прикрывали верх ботинок. Еще на нем были гетры и шарф довольно яркой расцветки, завязанный свободно, как галстук, и прикрывающий воротник и рубашку. И наконец, он затягивался сигаретой медленно, томно, искушенно, опустив веки, и тонкие губы его кривились жестоко и горько, придавая резко очерченному лицу зловещее выражение апаша.

После слов француза Старвик пылко воскликнул высоким, хмельным голосом:

— О нет! Нет! Нет!.. Вы — *благороднейший* человек... замечательный... я *восхищаюсь* вами...

— Я польщен, — вежливо ответил француз, снова почти неуловимо пожав плечами.

— О нет! Вы — мой друг! — горячо, высоким голосом вскричал Старвик. — Вы мне нравитесь — вы должны выпить со мной.

— Если вам угодно — пожалуйста! — вежливо согласился француз. Повернувшись к пачкуну-бармену, не сводящему с них подозрительного, недоверчивого взора, он властно, резко сказал: — Une fine[1]. А вы, мсье, — вопросительно глянул он на Юджина, — полагаю, вы тоже выпьете?

— Пока не надо, — его стаканчик еще не был пуст. — Мы... мы оба уже выпили сегодня.

— Да-да, вижу, — вежливо сказал француз, и в уголках его тонкого рта мелькнула циничная усмешка, которая не нуждалась в толковании. Подняв свой стаканчик, он учтиво произнес:

— À votre santé, messieurs[2], — и выпил.

— Слушайте! — воскликнул Старвик. — Вы теперь наш друг и должны звать нас по имени. Меня зовут Фрэнк, его — Юджин, а вас?

— Мое имя Алек, — улыбнулся француз. — Так меня зовут.

— Чудесно! — пылко воскликнул Старвик. — Это замечательное имя! прекрасное имя! Алек!.. Écoute! — обратился он к пачкуну-бармену с мерзким взглядом. — Juh pawnse qu'il faut — encore du cognac, — кое-как выговорил он и неловко, с пьяным радушием повел рукой. — Encore du cognac, s'il vous plaît![3] — И бармен в угрюмом молчании взял со стойки бутылку и налил три стаканчика, а Старвик обернулся к Алеку и вскричал с опасной восторженностью: — Да будет коньяк, Алек!.. Коньяк для тебя и меня, для всех нас и всегда!.. Да здравствует хмель — великий хмель, божественный, чудный, вечный хмель!

— Как вам угодно, — вежливо сказал Алек, уклончиво пожав плечами. Затем поднял стакан и выпил.

Бар они покинули около четырех часов утра. Они выбрались наружу рука об руку, Старвик держался за Алека, чтобы не упасть, и кричал, пьяный:

— Nous sommes des amis!.. Nous sommes des amis éternels! Mais oui! Mais oui![4]

По всей темной и молчаливой улице прокатились звенящие отголоски этих пьяных выкриков.

1. Сорт коньяка.
2. Ваше здоровье, мсье.
3. Слушайте! Я полагаю, надо... еще выпить. Еще коньяку, пожалуйста *(искаж. франц.)*.
4. Друзья!.. Друзья навек! Да! Да!

– Alec et moi – nous sommes des frères – nous sommes des artistes![1] Ничто не разлучит нас! Non – jamais! Jamais![2]

Такси, ожидающее в темноте неподалеку, быстро подкатило к ним и притормозило у обочины. Внутри сидели Энн и Элинор; Элинор открыла дверцу и мягко позвала:

– Фрэнк, садись в такси, поедем домой.

– Mais jamais! Jamais! – истерично завопил Старвик. – Без Алека – никуда!.. Мы братья... друзья... у него душа поэта.

– Фрэнк, не валяй дурака, – спокойно, но решительно и твердо сказала Элинор. – Ты пьян, садись в такси и поедем домой.

– Mais oui! – заорал он. – Je suis ivre! Я пьян! И всегда буду пьян – вечный хмель для нас с Алеком!

– Послушайте! – тихо, вежливо обратилась к французу Элинор. – Вы не могли бы уйти, оставить его? Он пьян, он не соображает, что делает, ему действительно необходимо домой.

– Ну конечно, мадам, – любезно отозвался Алек. – Ухожу. – Он повернулся к Старвику и спокойно, с обаятельной тонкогубой улыбкой сказал: – Я думаю, Фрэнк, лучше тебе сейчас ехать домой, non?

– Нет! Нет! – отчаянно завопил Старвик. – Никуда не поеду без Алека... Алек! – крикнул он, вцепившись в него с пьяным исступлением. – Ты не можешь уйти! Ты не должен уйти! Не покидай меня!

– Может быть, завтра, – улыбаясь, ответил Алек. – Может, мы встретимся завтра?.. Я думаю, тогда ты будешь лучше себя чувствовать.

– Нет! Нет! – упрямо твердил Старвик. – Сейчас! Сейчас! Алек, не покидай меня. Мы с тобой братья, мы должны рассказать друг другу все... Ты должен показать мне все, что знаешь, все, что видел, – должен научить меня курить опиум – взять меня туда, где собираются курильщики опиума... Алек! Алек! J'ai la nostalgie pour la boue[3]...

– Ох, Фрэнк, прекрати этот пьяный бред! Садись в машину, едем домой...

– Нет! Нет! – буянил Старвик, вопя пронзительным пьяным голосом. – Мы с Алеком сейчас пойдем вместе – он обещал показать мне места, которые он знает, – раскрыть мрачные тайны... самого дна...

– Ох, Фрэнк, бога ради, сядь в машину; ты ведешь себя как законченный кретин!

– Нет! Без Алека – никуда, – он должен поехать с нами – он собирался показать мне...

– Я покажу тебе, Фрэнк, – мирным тоном пообещал Алек. – Но не сегодня, non! – Он сделал отрицательный жест, голос его был тверд. – Сейчас не могу. Я жду здесь одного человека. Я должен быть... у меня дело, да. Завтра, если хочешь, я встречусь с тобой здесь. Но не сегодня, non! – Голос его звучал уверенно, резко, неумолимо. – Не могу. Сейчас не могу.

После бесконечных упрашиваний и уговоров, а также обещаний Алека, что завтра он встретится с ним, дабы совершить путешествие "по самому дну", Старвика наконец усадили в такси. Тем не менее всю дорогу, пока такси мчалось по Парижу, по тихим темным улицам, через Сену

1. Алек и я – братья! Художники!
2. Нет, никогда! Никогда!
3. Я жажду грязи.

в Латинский квартал, Старвик буянил и вопил о своей вечной дружбе с Алеком, с которым его теперь ничто не разлучит. Вскоре такси свернуло на пустынную, темную улочку Бо-Ар и остановилось перед гостиницей Юджина. Две женщины беспокойно и нетерпеливо ждали, пока Юджин выберется наружу. Элинор быстро пожала ему руку и сказала:

— Доброй ночи, лапка. Увидимся завтра утром. Не забудь, что нам ехать в Реймс.

Но только он вылез, как Старвик выбрался за ним и, шатаясь, побежал к повороту, колотя тросточкой в запертые ставни магазинов и визжа изо всей мочи:

— Alec! Alec! Où est Alec? Alec! Alec! Mon ami Alec! Où êtes-vous?[1]

Юджин кинулся вдогонку и настиг Старвика как раз в тот момент, когда он уже скрывался за поворотом на улицу Бонапарта, ведущую к Сене. С помощью силы и уговоров он вернул его обратно и вновь водворил в такси, которое быстро подкатило задним ходом. Потом захлопнул дверцу за этим буйнопомешанным и успел расслышать слова Элинор — они донеслись до него из отъезжающего такси сквозь хмельной туман: "Спасибо, милый. Ты молодчина... Завтра..." — и вопли Старвика:

— Алек! Алек! Где Алек?

Они с места рванули вверх по тихой пустынной улочке, по узкой ленте, скудно освещенной редкими фонарями и зажатой меж высоких старых зданий с затворенными ставнями. Юджин вернулся к гостинице, позвонил в ночной звонок, его впустили. Когда он, спотыкаясь, взбирался на шестой этаж по головокружительной винтовой лестнице, перед ним промелькнули маленький консьерж с женой: вспугнутые посреди тяжкого сна, для безопасности обняв друг друга, они следили за ним из жалкого крошечного алькова, их ночного убежища, — на миг показались их бледные убогие личики и испуганные глаза.

Он одолел витые пролеты и прошел в свою комнату, включил свет и тут же рухнул на кровать без чувств, в пьяном изнеможении.

Спустя некоторое время — Юджину почудилось, что не прошло и пяти минут, — он услышал, как Старвик внизу колотит во входную дверь и громко выкрикивает его имя и имя Алека. Затем Юджин услыхал спотыкающиеся шаги на лестнице; он подскочил к двери и отворил ее как раз вовремя, чтобы поймать Старвика, ввалившегося в комнату. Старвик бушевал, он словно сошел с ума и уже не соображал, что делает; он принялся изо всех сил лупить тростью по кровати, выкрикивая:

— Вот!.. Вот!.. Вот!.. Прочь, прочь, проклятое пятно, я с тобой покончу... Чужой... я тебя не знаю... ты стал чужим... прочь! Прочь! Прочь!

Он уставился на Юджина безумными, налитыми кровью глазами и пробормотал:

— Кто ты? Ты чужой?.. Я тебя совсем не знаю?.. Или ты... — тут еле слышный голос его угас, и он рухнул в кресло с пьяным рыданием.

Вскоре он поднялся опять, дико озираясь вокруг, снова ударил тростью по кровати и громко выкрикнул:

— Где Юджин? Где тот Юджин, которого я знал?.. Где? Где? Где? — Спотыкаясь, он ринулся к двери и распахнул ее, вопя: — Алек! Где ты?

Он вывалился в коридор и рискованно повис на перилах, таращась туда, где зияла головокружительная пропасть глубиною в пять этажей.

1. Алек! Алек! Где Алек? Алек! Алек! Друг мой Алек! Где вы?

Юджин выскочил следом, схватил его за руку, и они вместе побежали — или покатились — вниз по лестнице. Это был безумный, фантастический спуск, бесконечный, словно в кошмаре, вираж: они слепо наваливались на скрипящие перила, спотыкались, падали, Старвик считал тростью ступеньки, и каждая лестничная клетка провожала их расплывчатыми кляксами испуганных лиц: это, затаив дыхание, выглядывали из приоткрытых дверей другие жильцы мсье Жели, потрезвее. Наблюдатели молили Бога, чтобы все обошлось, и благополучное завершение спуска ознаменовалось такой дружной и горячей хвалой Всевышнему, какая в доме Жели была вознесена впервые.

Глубокий общий вздох облегчения прошелестел в потемках, куда круто уходила витая лестница. Но их подстерегала очередная опасность. У подножия лестницы стояла гигантская, полутораметровой высоты ваза, которая, судя по ее ухоженному виду и той трогательной заботливости, с какой горничная Мари каждый день протирала ее, считалась гордостью заведения. Старвик, не замечая ничего вокруг, промчался мимо и задел ее, ваза устрашающе качнулась и стала медленно валиться набок, — в этот момент Юджин услышал тихое восклицание объятой ужасом мадам Жели: "Mon Dieu! Ça tombe, ça tombe!"[1], а затем громкий, дружный, облегченный вздох зрителей: он поймал вазу и бережно, аккуратно водворил ее на прежнее место, преисполненный такого внутреннего ликования, какое знакомо лишь гимнасту, совершившему прыжок в воздухе и умудрившемуся с лету вновь попасть на трапецию. Посмотрев вверх, он увидал круглые взволнованные лица стариков Жели у дверей их квартиры и светлые испуганные глазки так и не разжавших объятий маленького консьержа с женой: они украдкой глядели вниз из-за своей занавески.

Наконец двое молодых людей выбрались на улицу и вскоре поймали такси, едущее по улице Бонапарта. Когда они снова очутились на Монмартре, над церковью Сакре-Кёр забрезжил бледный рассвет. После нескольких очередных порций дешевого крепкого коньяка они вывалились из бара, поймали другое такси и помчались по Парижу обратно. Ко времени их возвращения в студию уже совсем рассвело.

Женщины не спали, ждали их. Старвик промычал что-то и, прижав руку ко рту, бросился через всю комнату в ванную. Там его вырвало. Шатаясь, опустошенный, он вышел оттуда, добрел до кушетки, на которой обычно спала Энн, и рухнул замертво.

Минуту-другую Элинор созерцала его с задумчивым и одновременно довольным видом, словно ее забавляло это зрелище.

— Ну а теперь, — жизнерадостно сказала она, — пора развеять дрему Спящей Красавицы. — Она улыбнулась, по своему обыкновению, лучезарной улыбкой, но в уголках ее рта залегли жесткие складки, и взгляд был тяжелый. Она подошла к кушетке и, глядя на распростертое перед нею тело в заляпанной одежде, ласково позвала: — Вставай, милый. Завтракать пора.

Он слабо застонал и перекатился на другой бок.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ягненочек! — Голос ее звучал нежно, однако она взяла Старвика за шиворот и усадила его отнюдь не лилейной ручкой. — Мы ждем тебя, дорогуша. Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Не забудь, милый: в девять мы отправляемся в Реймс.

1. Боже! Падает, падает!

— О господи! — несчастным голосом простонал Старвик. — Не надо! Все что угодно, только не это. Я не могу! Завтра — куда хотите, только оставьте меня сейчас в покое. — Он опять свалился на кушетку.

— Очень жаль, золотко, — сказала Элинор жизнерадостно и весело, с железной неумолимостью, — но теперь уже поздно откладывать! Раньше надо было думать! Все решено, мы едем — и ты, — вдруг голос ее резко посуровел, — *ты* едешь вместе с нами. — Некоторое время она сурово глядела на него, потом снова взяла за шиворот и, дернув вверх, усадила опять: — Фрэнк, — жестко сказала она, — возьми себя в руки и встань. Хватит с нас этого безобразия!

Он слабо застонал и, качаясь, поднялся. Он был на грани обморока и выглядел так жалко, что Энн, к тому моменту вернувшаяся из ванной, залилась краской сочувствия и сердито, с укором воскликнула, обращаясь к Элинор:

— Да не трогай ты его! Пусть спит, если хочет. Ты что, не видишь — он еле на ногах стоит? Зачем тащить его в Реймс, если у него нет никакой охоты? Ну и отложим до завтра, ничего не случится. Какая нам разница, когда ехать?

Элинор непреклонно улыбнулась и коротко, решительно качнула головой.

— Нетушки, — спокойно ответила она. — Никаких отсрочек. Мы едем сегодня, как и было задумано. И мистер Старвик отправляется с нами! Хочется ему или не хочется, выдержит он дорогу или не выдержит, но он поедет, живой или мертвый!

Услышав это категорическое заявление, несчастный Старвик вновь испустил стон. Она обернулась к нему и негодующе сказала:

— Фрэнк! Тебе *придется* пройти через это. Никуда не денешься! Если ты плохо себя чувствуешь, что ж, очень жаль, — но все равно, тебе придется через это пройти! Ты знал о поездке с прошлой недели — и если для того, чтобы шляться по всем кабакам на Монмартре, ты выбрал именно эту ночь, пеняй на себя. Но ехать тебе придется! Хватит нас подводить.

И, приведенный в чувство, задетый за живое ее вызовом — вызовом, который так часто бросают люди, пустившие по ветру всю свою жизнь и придающие чересчур большое значение пустякам, ибо не способны добиться в жизни ничего стоящего, — он поднял голову, глянул на нее сердитыми красными глазами и спокойно сказал:

— Хорошо, я поеду. Но я *чрезвычайно* возмущен, Элинор!

— Прекрасно, дорогой, — спокойно отвечала она. — Возмущаешься — ну и возмущайся себе на здоровье. Только, знаешь ли, уговор дороже денег.

— О да, — холодно сказал Старвик. — Именно.

— Ну а теперь, — уже мягче добавила она, — иди-ка в ванную и взбодрись маленечко. Холодный душ наверняка пойдет тебе на пользу. — Она обернулась к Энн и спокойно спросила у нее: — Ты там закончила?

— Да, — лаконично ответила Энн. — Все в порядке. Я убрала там. — Несколько мгновений она мрачно смотрела на старшую подругу, потом вдруг, по своему обыкновению, отпустила краткий, сердитый смешок: — Боже! — сказала она отрывисто и грубовато, но с удивительной, обескураживающей добротой. — В жизни такого не видела! Не пойму, куда это все поместилось! — голос ее дрогнул под наплывом щедрого, доброго,

отчаянного веселья. — Чего там только не было — с ума сойти, какое разнообразие...

Старвик залился краской и тихо, серьезно промолвил, глядя на нее:

— Извини меня, Энн. Я страшно, страшно виноват!

— Ничего, — ответила она коротко, но мягко. — Я привыкла. Я ведь три года проработала в больнице. Такие вещи меня уже не трогают.

— Ты просто *замечательный* человек, — медленно, отчетливо произнес он. — Я тебе *чрезвычайно* благодарен.

Она покраснела и отвернулась, сказав только:

— Сядь, Фрэнк. Выпей кофе, тебе станет лучше. Я сейчас приготовлю. — И, как всегда, неслышно и споро принялась за дело.

В этих нескольких обыкновенных словах удивительным образом сказались вся сила, нежность и благородство души и характера Энн. Ее откровенные, простые слова о только что выполненной отвратительной работе, самая их лаконичность, щедрая, грубоватая доброта ее внезапной усмешки снова обнажили ее истинную натуру — незаурядную и способную на такую любовь и самоотверженность, что благодаря этому Энн не только с триумфом вознеслась над своим родным, затхлым, мертвым, снобистским мирком, но и легко превозмогла брезгливость, которая непременно помешала бы большинству людей на этом свете выполнить такую работу.

Старвику она всегда напоминала разные божества, с которыми познакомили его искусство и университеты: Майю, или одну из великих, олицетворяющих Землю матерей древних, или китайскую богиню милосердия, — и он часто сравнивал ее с ними.

Но его товарищу красота ее казалась менее мифической, более земной и несущей в себе черты национальности. Отчасти в ней воплотилось его видение великой Америки; глядя на нее, он вновь чувствовал тоску по той радостной, счастливой, полной удач жизни, о которой мечтал еще ребенком, по тому волшебному миру, который с детства грезится каждому американцу. Эта жизнь словно всегда рядом, рукой подать, — возьми и владей, стоит лишь произнести магическое слово, отыскать подходящий ключ. Это мир, порожденный нашей землей, нашей кровью, мир, слитый из миллиона наших погод и освещений, и мы знаем, что он будет необыкновенным, благородным и невыразимо прекрасным, если только нам удастся его найти. Наконец, она была воплощением загадочной прелести Новой Англии, потаенной глуби непостижимого человеческого сердца, тихой женственности, о которой тоскует каждый.

LXXXIII

Автомобиль, который они арендовали для поездок на четыре месяца, был подан к девяти часам. Через несколько минут они уже мчались в Реймс.

За руль села Элинор; Юджин занял место рядом; Энн и Старвик устроились на заднем сиденье. Машина была хорошая — "панхард", — и Элинор вела ее прекрасно, быстро, с замечательной сноровкой, которую она проявляла всегда и во всем, обгоняя попутные автомобили и оставляя позади даже стремительные, юркие такси с такой изумительной легкостью, что никто этого даже не замечал.

Они словно на волшебных крыльях миновали гигантскую запутанную уличную сеть, монументальный хаос центра Парижа. Как обычно, всем спутникам властной Элинор передавалась толика ее уверенности. В ее присутствии, по ее мановению странный и чуждый мир вокруг обретал близкие, знакомые черты, точно превращаясь в главную улицу родного города, исчезала неразбериха путаных, загроможденных домами и кишащих людьми кварталов, все становилось удивительно простым и понятным. Чары этой женщины словно делали Париж чуточку американским — и тогда этот город напоминал Юджину волшебные, прекрасные мечты его детства.

Это было поразительно. Город вдруг расстелился перед ними великолепной, ясной картой, стал походить на одну из восхитительно простых и удобных туристических схем — разноцветные и красивые, они манят к себе, точно игрушки, и все знаменитые "городские достопримечательности" — Эйфелева башня, Мадлен и Нотр-Дам, Трокадеро и Триумфальная арка — выглядят на них необычайно привлекательными и яркими.

В то утро Париж и вправду казался чудной, обольстительной, сияющей игрушкой. Игрушкой, возникшей будто по волшебству ради того, чтобы развлечь мудрых, проницательных, всезнающих американцев, какими были они с Элинор. Игрушкой замечательно простой и понятной, готовой дарить наслаждения; ею можно было натешиться вдосталь, и никого из них она не могла озадачить или поставить в тупик — особенно потому, что с ними ехала Элинор, способная объяснить ее устройство и завести ее.

Это было невероятно. Исчезли безумное смятение, гнетущее одиночество, безысходное отчаяние, первое время терзавшие его в Париже. Кончилась прежняя горькая пора, когда он вслепую боролся с навалившимся на него ошеломительно многогранным миром, слишком сложным, чтобы его постичь, слишком далеким и чуждым, чтобы его понять. Исчез прежний душный ужас, исчезло чувство беспредельной заброшенности, мучившие его, когда он ощупью пробирался по улицам среди неисчислимых орд иноземцев со странными смуглыми лицами, словно безглазая ползучая тварь, которая суетливо и слепо тычется во все стороны на дне фантастического гигантского океана огромной глубины, не в силах представить себе ни его размеров, ни его формы, ни его свойств, ни своей цели. Исчезла горькая, мучительная, отчаянная тщета — тщета бесплодной борьбы, что вытягивает из человека жилы, вымотывает и опустошает его, взамен заражая его душу ужасом обреченного, невыносимым страхом потерявшего всякую опору, словно в космическом пространстве, лишенного всех высоких чаяний и моральных сил, — страхом раздавленного, выпотрошенного и развеянного прахом в кошмарной враждебной пустоте, где все духовное мужество человеческое гниет и разлагается, точно прошлогоднее яблоко, где все вдохновенные мечты о труде и величии кажутся более жалкими, чем царапанье собаки в глухую стену, — ужасом, который охватывает заплутавшего в бескрайней чащобе бурлящих улиц незнакомого города и который много безнадежнее ужаса, выпадающего на долю исследователя непознанных тайн какой-нибудь далекой Амазонки.

Теперь все это исчезло — неутолимый голод, душный ужас и древняя пелена, сковывающая населенный призрачными полчищами человеческий разум, — бесплодная борьба вечного Фауста, — а вместо них возникла чудесная игрушка, сказочная, заманчивая и легкодоступная.

Французы превратились в обворожительную нацию: такие веселые, жизнерадостные, такие неисправимые — они очень походили на детей или на волшебный игрушечный народец.

Благодаря Элинор все эти славные люди на оживленных городских улицах казались удивительно простыми и симпатичными. В них не осталось ничего чужого, поведение их было непредсказуемо, ибо они — французы, но тем не менее совершенно понятно. Ее манера, ее живая, веселая, слегка рассеянная речь — как бы беглый комментарий к происходящему за окнами машины — делали все абсолютно ясным. Это было необычное племя, чудно́е племя, племя, единственное в своем роде, — они были обаятельны, вызывали изумление, с них не стоило много спрашивать — дети, игрушечный народец, что с них возьмешь, французы.

— Ну-ну, лапка, — бормотала она себе под нос, наблюдая за толстячком таксистом, который, отчаянно нажав на газ, рискованно юркнул вперед, обогнав их, и гордо притормозил, — давай, давай, миляга, давай, делай как знаешь, я тебе мешать не стану... Боже ты мой! — восклицала она, откидывая голову и заливаясь вдруг жизнерадостным смехом, — гляньте-ка на того старого усача, вон там, за столиком, — видели, как он пошевелил усищами и выкатил свои разбойничьи глазищи на прохожую девушку? С ума можно сойти! — вновь со смехом воскликнула она, покусывая губы, и в веселом удивлении качнула головой... — Благодарю, — вежливо пробормотала она в адрес постового жандарма, который пронзительно свистнул и взмахнул маленьким белым жезлом, показывая, что проезд свободен, — monsieur l'agent, vous êtes bien gentil[1], — плавно переключила скорость и пронеслась мимо него.

И таким прекрасным, волшебно преображенным вставал перед ними весь Париж — огромная блестящая игрушка, великолепная череда роскошных магазинов и чудесных кафе, бесконечный, дивный живой узор — толпы радостных, обаятельных счастливчиков и искателей наслаждений, — и во всем этом было что-то необычайное, легкое, светлое, удивительное, благодаря чему гигантская панорама распадалась на тысячи чарующих, изумительных картин, незабываемых и чудесных, создающих вместе единый облик — яркий, красочный и величественный облик целого города.

Они миновали гигантскую паутину парижского центра и теперь катили мимо старых домов, по бескрайнему и запутанному восточному району, пересекая широкую полосу безобразных, уродливых пригородов.

И вот, с быстротой сновидения, они вырвались на открытую местность, полетели по шоссе меж высоких рядов тополей, под влажно-серым небом, убеленным тревожной молочной дымкой.

Элинор была очень весела, бодра, часто и неожиданно смеялась, напевала обрывки песен, вдруг серьезнела и снова радовалась непонятно чему. Энн мрачно помалкивала. Старвик же, казалось, вот-вот потеряет сознание. В Шато-Тьерри он заявил, что дальше ехать не может; они остановились у маленького кафе и попробовали подкрепить его бренди. Он впал в бессильное оцепенение, из которого его не могли вывести. В ответ на все их уговоры и просьбы он лишь качал головой и бормотал еле слышно:

1. Вы очень любезны, господин полицейский.

— Не могу!.. Оставьте меня здесь!.. Не поеду дальше!..

Прошло три часа, прежде чем им удалось растормошить его, вывести из кафе и вновь усадить в машину. Щеки Энн горели от негодования. Она яростно выпалила:

— Ты не имела права тащить его с собой! Знала ведь, что он не сможет, — он еле живой! Надо везти его обратно в Париж!

— Извини, милая, — решительно ответила Элинор и лучезарно улыбнулась, — но назад дороги нет! Только вперед!

— Фрэнк не может вперед! — сердито воскликнула Энн. — Сама знаешь, что не может. Просто свинство с твоей стороны тащить его дальше — ты же видишь, в каком он состоянии!

— Тем не менее мы едем вперед, — с мрачной бодростью ответила Элинор. — И мистер Старвик поедет с нами. Придется ему испить эту чашу до дна. А если он скончается по дороге, мы похороним его с воинскими почестями прямо на поле брани... Allons, mes enfants! Avancez![1] — и, весело, жизнерадостно мурлыча себе под нос песенку про Мальбрука, включила передачу, автомобиль плавно тронулся с места и быстро набрал ход.

Это было ужасное путешествие — одно из тех испытаний, которые причиняют такие долгие и жестокие муки, что после них остается кошмарный, неизгладимый отпечаток в памяти всякого, кому пришлось их перенести. Когда они выехали из Шато-Тьерри, короткий зимний день уже начал быстро угасать. До Реймса добрались почти в темноте. Никто не знал цели этой поездки; никто не понимал, зачем она нужна, что они хотят здесь увидеть; никто об этом не спрашивал.

Когда они очутились на улицах города, уже почти стемнело. Элинор сразу повернула к собору, остановила машину и вышла.

— Voilà, mes amis![2] — иронически сказала она. — Наконец-то мы здесь!

И она изящным, эффектным жестом указала на огромное полуразрушенное здание: нависшая над ними громада едва очерчивалась в сгустившемся мраке, высились разбитые арки и мощные опоры, неясными пятнами брезжили дыры в колоссальном каменном кружеве, украшенном фигурами древних святых и королей, маячили остатки башен — сумрачные руины в сумеречном мире.

— Великолепно! — пылко воскликнула Элинор. — Грандиозно!.. Фрэнк! Фрэнк! Ты должен выйти и упиться этим благородным зрелищем! Я так часто слышала от тебя о его красоте... Нет-нет, дорогой мой, ты *должен*! — с глубоким убеждением отвечала она на его слабый, изнеможенный стон. — Ты никогда не простишь себе, да и мне тоже, если окажется, что ты проделал такой далекий путь и даже не взглянул на собор.

И, невзирая на его вялые протесты, она взяла Старвика за руку и вытащила из машины. Поддерживаемый с одной стороны ею, с другой Юджином, он некоторое время таращился на темную громаду собора слепыми, невидящими глазами.

Потом все они опять заняли свои места, и она повезла их в лучшее кафе в лучшей городской гостинице. Старвик чуть не рухнул, выбираясь из машины. Ноги у него подкосились и он упал бы, если б Энн не удержала его, обхватив рукой. Вид у него был жалкий. Он не мог поднять го-

1. Ну же, детки! Вперед!
2. Ну вот, друзья!

лову: она болталась туда-сюда, словно венчик цветка, слишком грузный для хилого стебля. Глаза потускнели и казались незрячими. В зале его пришлось вести: он еле волок ноги, точно на них висели пудовые гири. В зале было просторно и красиво. Они выбрали столик. Старвик, спотыкаясь, добрел до мягкого сиденья у стены и тут же упал на него. С этого мига до самого конца поездки сознание уже не возвращалось к нему полностью. Энн села рядом и поддерживала его, обняв одной рукой. Он приник к ее плечу, точно младенец. Щеки женщины пылали от возмущения, она негодующе смотрела на Элинор, но та ни словом, ни жестом не выдала, что заметила в поведении Энн или Старвика какую-то необычность.

Напротив, она весело болтала с Юджином, оживленно обменивалась остроумными репликами со всеми окружающими, она никогда не была более деятельной, бойкой, веселой и обаятельной, чем в тот вечер. И, шутливо объявив себя "хозяйкой вечеринки", она заказала роскошный ужин – деликатесы и шампанское из знаменитых местных погребов. И все они, проголодавшись на свежем воздухе после долгой поездки, отдали еде должное – все, кроме Энн, которая ела мало и хранила сердитое молчание, обнимая Старвика за плечи, и самого Старвика, не способного выйти из глубокого оцепенения и проглотить хоть что-нибудь.

Они собрались уходить в десятом часу. Элинор расплатилась по счету и, не переставая легко и жизнерадостно болтать, словно это ужасное путешествие не доставило ее спутникам ничего, кроме сплошного удовольствия, направилась к выходу. Энн и Юджин наполовину несли, наполовину тащили Старвика; им помогали чем могли несколько всерьез обеспокоенных официантов. Его усадили в машину, затем сели остальные. Элинор, бегло оглянувшись и жизнерадостно воскликнув: "Ну, детки, готовы?" – завела мотор, и начался долгий обратный путь в Париж.

Это было страшное, незабываемое путешествие. Им казалось, что конец никогда не наступит. Жуткие муки, которые они испытывали, растянули время в невероятной, немыслимой степени, минуты обратились в столетия. Им стало казаться, что они никогда не доедут, что они катят, не трогаясь с места, где-то в пустоте, вне пространства, что они зависли в пугающих заоблачных высях, в межпланетном вакууме, и колеса автомобиля вечно и тщетно вращаются в недвижном беге, немолчной тиши, застывшем полете.

И с самого начала они перестали понимать, где находятся. Выехав из Реймса, они совершенно потеряли ориентацию. Стояла холодная ночь, конец февраля – какой-то плотный туман опустился на землю, окутал ее белым облаком и по мере того, как дело шло к полуночи, густел все больше и больше. И сквозь эту мглу в машину просачивались лишь колдовской блеск утопленной луны, превративший море тумана, в котором они искали путь, в бескрайний молочный океан, и цепкий, жестокий, сырой, пронизывающий холод, который украдкой вползал к ним в салон и пробирал их до самых костей, причиняя настоящие страдания.

На протяжении всей этой жуткой бесконечной ночи они вслепую блуждали по Франции, залитой молочным морем антарктического тумана. Им чудилось, что позади сотни миль, что они давно миновали Париж, пропавший, затерявшийся в этой мгле, что уже близятся окраины Лиона или Бордо, что скоро замелькают гостеприимные огоньки на бе-

регу Ла-Манша, — а может быть, они повернули к северу, пересекли Бельгию и вот-вот уткнутся в Рейн.

Время от времени дорога вилась по призрачным улицам какого-нибудь старого городка; по обочинам дороги вставали крутые, голые, белесые стены домов, окутанных туманом, точно привидения, и столь же молчаливых. Потом они выбирались оттуда и снова ехали среди открытых полей — но где, в каких краях, никто не знал и не отваживался предположить, — и вдруг выныривала низко висящая над горизонтом луна. Она возникала из-за стены тумана внезапно, в каком-нибудь доселе скрытом просвете — и такую луну не доводилось прежде видеть ни одному смертному. Это было первобытное, дикое, безумное жерло, древний, выщербленный, сумасшедший диск, который рдел, словно гаснущий уголь, — он походил на дикую, первобытную луну из фантастического сна. Этот диск висел по левую руку от них, как раз над низкой холмистой грядой, почти вровень с машиной — так невысоко, так призрачно-близко, что его почти можно было потрогать.

Около полуночи блуждание во тьме привело их в какой-то белый, словно нереальный, город-призрак — вглядевшись, Элинор вдруг узнала его, как узнают место, памятное по событиям далекого детства: это был Суассон. Она хорошо знала городок со времен войны: здесь находился полевой госпиталь, в котором она проработала водителем полтора года. Старвик на заднем сиденье, в темноте, привалился к плечу Энн; он едва сознавал, что происходит. Испустив жалобный стон, он пробормотал, что дальше ехать не может, что им нужно остановиться. Они нашли еще открытое кафе при гостинице и не то внесли, не то втащили его туда. Ему заказали бренди, попытались немного взбодрить; он походил на мертвеца, он сказал, что не может ехать дальше, что его должны оставить тут. И впервые в серьезном голосе Элинор послышались участие и глубокое беспокойство, впервые она сменила гнев на милость. Тем не менее она осталась непреклонна и отказала ему мягко, но решительно. Он снова впал в бессознательное состояние; Элинор обратила к остальным тревожный взор и спокойно сказала:

— Нельзя бросать его здесь. Обязательно нужно добраться с ним до Парижа.

Два жутких часа ушли на попытки привести его в чувство, на уговоры в последний раз собраться с силами и ехать; потом Старвика усадили в машину. Энн укутала его пледом и весь остаток пути прижимала к себе, словно мать ребенка. Лицо ее в тусклом, неверном свете было сумрачно, хмуро, неподвижный взгляд темных глаз устремлен прямо вперед.

Вооруженные советами обеспокоенного официанта, они снова выехали на дорогу, по предположению ведущую в Париж. Бесконечная ночь все тянулась; белая пелена тумана густела, они опять проезжали призрачные городки, выныривающие вдруг, бесплотные и молчаливые, точно сновидения, окутанные этим странным, цепенящим, кошмарным маревом. Потом первобытная, пылающая рдяным огнем луна скрылась за каким-то взгорком. Теперь они перестали различать что бы то ни было, дорога впереди совершенно растворилась, фары освещали непроглядную белую стену, они ползли дальше вслепую, черепашьим шагом.

Но все же — постепенно, дюйм за дюймом, фут за футом, — они пробирались вперед. Юджин стоял на подножке и всматривался в белесую стену тумана, пытаясь разглядеть хотя бы обочины дороги. Пронизывающий, сырой холод тек сквозь туман и словно иглами впивался в него.

Время от времени Элинор останавливала машину, он спрыгивал и топал онемелыми ногами, размахивал замерзшими руками и старательно дышал на пальцы, чтобы хоть немного согреть их. Потом опять начиналось бесконечное, терпеливое продвижение вперед – почти ощупью, с черепашьей скоростью.

Мало-помалу в беспросветном море тумана каким-то образом стала чувствоваться близость утра. Чаще возникали на пути призраки городков и поселков; городки казались крупнее, один раз Элинор нечаянно уткнулась в бордюрный камень, не успев отреагировать на предостерегающий возглас своего впередсмотрящего. Дважды они наехали на деревья, ряды которых окаймляли невидимые улицы. Началась мостовая, машина запрыгала по булыжнику, вокруг маячили какие-то большие строения.

Вдруг они услышали самый волнующий, самый незабываемый из всех утренних звуков на свете – одинокое цоканье копыт по булыжной мостовой. В призрачной дымке перед ними вырисовались неясный силуэт лошади и рыночная повозка, которая покачивалась меж двумя высокими скрипучими колесами, – на ней были уложены опрятные, красивые ало-зеленые пучки моркови, аккуратно перевязанные точно букеты.

Они увидели во мгле белое пятно, лицо возницы, увидели большую, медлительную, серую в яблоках лошадь, неторопливо бредущую на центральный рынок.

Они въехали в Париж, и туман стал рассеиваться. Под гигантским саваном расползающейся мглы, в неясном сером свете словно заново нарождались бледные, бесплотные древние здания столицы. По улице, вдоль газона, быстро прошагал человек со склоненной головой, руки в карманах, – облик рабочего от сотворения мира. На веранде кафе, в сером свете забрезжившего утра они увидели официанта с подоткнутым фартуком, снимающего со столиков плетеные стулья, и светло-коричневые вывески баров и магазинов: Bière – Pâtisserie – Tabac[1]. Вдруг над ними промелькнули гигантские очертания Лувра с распластанными крылами, и вот уже рассвело, и Юджин услышал низкое, истовое "слава богу!" Элинор.

Знакомый мост, Сена, подслеповатые старые дома, похожие на убогих нищих, выползших погреться в скудных лучах, узкая прогалина улицы Бонапарта и, наконец, тихая пустынная улочка, его дом.

Они быстро, поспешно, рассеянно попрощались с Юджином и тут же поехали дальше. Женщины не думали ни о чем и ни о ком, кроме Старвика, единственного, ненаглядного, обожаемого. В серой утренней дымке, без сознания, укутанный тяжелым пледом, он все еще покоился на плече у Энн.

LXXXIV

Целый день Юджин спал глубоким, беспробудным сном, точно наглотавшись таблеток. Когда он очнулся, уже опять стемнело. И этот переход от ночи к ночи, глубокий сон, в который он погрузился, вконец измученный кошмарными ночными приключениями, хаосом и непрерывной суетой двух предыдущих дней, разом отдалили все недавно случившееся,

1. "Пиво", "Кондитерская", "Табак".

придали ему грустную окончательность, сделали достоянием неумолимого времени. Юджину вдруг почудилось, что пора дружбы с Энн, Элинор и Старвиком безвозвратно миновала; тревожное и неуловимое чувство подсказывало, что больше он их никогда не увидит.

Он встал, оделся и спустился вниз. Он повстречал старика Жели с супругой, их дочек, горничную Мари, малютку консьержа; ему померещилось, что в их взглядах сквозит странное любопытство, словно они знали какую-то печальную, грустную весть, и его охватил непонятный трепет, сердце его сжалось. Возникло неясное предчувствие, которое и прежде всегда посещало его в таких случаях, — быть может, оно знакомо каждому, кто покидал свой дом на день-другой. Он ждал дурных новостей, какого-то неведомого несчастья; ему хотелось спросить у них, не искал ли его кто-нибудь, — не предполагая, кто бы это мог быть, — не должны ли они что-нибудь передать ему — не ведая, кому это могло понадобиться, — он еле сдерживался, чтобы не потребовать от них немедленного признания в том, какая именно страшная беда настигла его, пока он был в отъезде. Но он не спросил ничего и, провожаемый их странными, тревожными, как ему показалось, взглядами — ему часто мерещились такие взгляды, в которых словно таился намек на какой-то общий секрет, на загадочный союз, молчаливый уговор людей, считавших его чужаком, — поспешил выйти из дому.

На улице было мокро, старые камни мостовой тускло поблескивали, фонари едва просвечивали сквозь туман, а за его пеленой шныряли невидимые такси, слышались их резкие, пронзительные гудки.

Однако все имело какой-то непривычный вид: улицы Парижа казались призрачными и нереальными, словно он приехал сюда после многолетнего отсутствия или только что оправился от долгого, тяжкого недуга.

Он поужинал в ресторанчике на набережной, а потом, удрученный гнетущим светом фонарей, унылым видом высоких старых домов и пустынной тишиной Латинского квартала, лишь изредка нарушаемой каким-нибудь ошалелым такси, которое с безумной скоростью пролетало по узкой улочке к мосту через Сену, навстречу яркому, радостному сиянию огней ночной жизни, покинул этот темный квартал, словно олицетворяющий собой его собственный удел — беспокойное одиночество, — отправился за реку и провел остаток вечера с книгой в одном из кафе у "Магазэн-дю-Лувр".

Когда он проснулся на следующее утро, его уже ожидала pneumatique от Элинор. Она писала:

"Лапушка, куда ты пропал? Никак не очухаешься после нашего грандиозного загула, или решил сделать нам ручкой, или как? Неведение — страшная вещь, ты согласен? Если да, сегодня в половине первого ждем тебя на ленч. Приходи в студию. Элинор", — а под этим было приписано круглым, словно детским, почерком: "Мы хотим тебя видеть. Вчера скучали без тебя. Энн".

Он снова и снова перечитывал это краткое и ничем не примечательное послание, он ликующе рассмеялся и сделал боксерский выпад и снова перечел записку. В нем вскипел прежний неудержимый восторг. Он подбежал к окну и выглянул наружу: лимонно-желтый рассвет окрасил блеклые старые стены, и крыши, и трубы Парижа; повсюду искрились здоровье, надежда, радость труда и утра — и все это лишь оттого, что ему прислали письмо две подруги из Бостона.

Он держал этот гладкий листочек бережно, точно священный пергамент, точно древнюю реликвию, которая не терпит бесцеремонного обращения; он даже поднес его к носу и понюхал. Ему показалось, будто листок издает тонкий, чувственный аромат женственности, заманчивый, соблазнительный запах, неуловимый и чарующий, как благоухание цветка, — аромат, которым две женщины словно наделяли все вокруг; любому предмету от их прикосновения передавалось что-то радостное, светлое и нежное. Он перечитывал единственную скупую строчку, добавленную Энн, словно волшебную поэму: эти слова звучали ровно, скупо и невыразительно, точно их произнес голос Энн, — и он открывал в этой простой фразе тысячи тайных смыслов, видел в ней нежность мудрой, простой и сдержанной натуры, чью глубину бессилен передать язык, не располагающий для этого нужными средствами.

Когда он пришел в студию, женщины ждали его, но Старвика с ними не оказалось. Энн была спокойной и сдержанной, как всегда; Элинор болтала еще веселее обычного, но за этим весельем он почувствовал глубокую тревогу, серьезное беспокойство, сквозившее в ее озабоченном взгляде.

Ему сообщили, что после возвращения из Реймса Старвик отправился на встречу с Алеком и пропал без следа. Ни вчера днем, ни нынче ночью женщины не получили от него никакой весточки и теперь, на второй день после его исчезновения, были заметно взволнованы.

Однако за ленчем — они ели в ресторанчике поблизости, рядом с вокзалом Монпарнас — Элинор оживленно тараторила, повторяя, что Старвик молчит просто шутки ради и такие забавы вполне в его характере.

— Он же ненормальный, и все тут! — восклицала она с веселым смехом. — Такое поведение как раз в его духе — тут и удивляться нечему. Вот увидите, он заявится, — со спокойной уверенностью говорила она, — заявится через день-другой после какого-нибудь сумасшедшего приключения, которое может произойти только с Фрэнсисом Старвиком. Рехнуться можно, как он подцепил тогда этого француза, Алека! Честное слово, ненормальный! — весело восклицала она. — Но вот ведь в чем штука: иначе он не был бы Фрэнком!

— Не вижу особенных поводов для веселья, — кратко отвечала Энн. — По-моему, дело дрянь. Мы ничего не знаем об этом французе — кто он, что он, — даже фамилии его не знаем. Он запросто может оказаться последним бандитом и убийцей в Париже.

— Ну знаешь, милая, — не смеши! — возразила Элинор. — Человек как человек — Фрэнк якшался с разной публикой, и всегда это кончалось благополучно — и на этот раз будет так же! — восклицала она, точно отмахиваясь от какой-то тревожной думы. — Все будет в порядке! Ей-богу, глупо изводить себя такими мыслями.

Но, несмотря на эти бесшабашные заверения, в ее взгляде читались беспокойство и болезненная растерянность, почти откровенная мука.

После ленча он ушел, пообещав вернуться к обеду. Придя снова, не обнаружил никаких изменений. Когда они пообедали, женщины отправились в студию ждать Старвика, а Юджин поехал искать его на Монмартр: он пообещал сразу же известить их, если найдет Старвика или что-нибудь о нем разузнает. На Монмартре он сначала обошел заведения, которые особенно нравились Старвику и в которых он бывал чаще

обычного — насколько Юджин их запомнил, — однако никто не видел там Фрэнка с тех пор, как они приходили все вместе. Наконец он завернул в бистро на улице Монмартр, где они познакомились с Алеком, и спросил у пачкуна-бармена с подозрительным, увертливым взглядом, не видел ли он за последние три дня Старвика или Алека. Некоторое время тот недоверчиво его рассматривал; потом угрюмо ответил, что никого не видел. Несмотря на отрицательный ответ, Юджин остался, пил у стойки коньяк, стопку за стопкой, и наблюдал, как в бар вливаются, то и дело сменяя друг друга, толпы зловещего ночного сброда. Он ждал до четырех утра; ни Старвик, ни Алек не появились. Юджин сел в такси и поехал на Монпарнас. Когда он вернулся в студию, женщины не спали в ожидании новостей; ему пришлось разочаровать их. Потом он распрощался с ними до полудня.

Они ждали целый день; на женщин, мучимых зловещими предчувствиями, жалко было смотреть; Энн кратко предложила обратиться в полицию. Около шести вечера, когда они бурно обсуждали, как быть дальше, снаружи послышались шаги и в студию вошел Старвик, а за ним по пятам — француз, Алек.

Старвик был в прекрасном расположении духа, глаза ясные, на круглом свежем лице здоровый румянец. В ответ на возбужденные приветствия и вопросы он лишь рассмеялся, словно поддразнивая их, но говорить ничего не стал. Когда они попробовали выяснить у Алека, где пропадал Старвик, француз тоже улыбнулся обаятельной, но недоброй улыбкой, вежливо пожал плечами и промолвил: "Не знаю, наверное, он сам скажет, если захочет, — если же нет..." — потом опять пожал плечами и вежливо улыбнулся. Они так и не узнали, что скрывалось за этим упорным, загадочным молчанием. Старвик не выдал тайны. Правда, во время ужина, который протекал очень весело, Старвик раз или два туманно, мимоходом упомянул Брюссель, но все старания Элинор, подвергшей его ловкому, ироничному и умелому допросу, пропали втуне: он только посмеивался своим булькающим смешком да помалкивал.

И тогда вконец расстроенная Элинор весело рассмеялась и воскликнула:

— Ненормальный, просто ненормальный! Ну что я вам говорила? Такое только Фрэнк мог выкинуть!

Но, несмотря на ее беззаботную болтовню, на звонкий веселый смех, на замечательное умение держаться, в глазах у этой женщины появилось нечто новое, еще незнакомое Юджину, — страшная, мучительная растерянность, горькое сознание краха. И хотя она болтала с французом весело и непринужденно, очаровательно улыбаясь, — хотя она сразу же признала его "своим" и впоследствии много раз с неиссякаемым энтузиазмом повторяла, что он "просто молодчина — мне *так* нравится!" — в ее глазах, устремленных на него, частенько мелькало выражение, от которого становилось не по себе.

С тех пор Алек сделался их постоянным гостем, неизменным спутником Фрэнка. И никогда, ни при каких обстоятельствах он не терял вежливости и обаяния, никогда не переставал остроумно шутить, демонстрируя цинизм урожденного горожанина, — очень привлекательный, симпатичный человек, с которым приятно скоротать время. Они никогда не спрашивали у него фамилии, не выясняли, откуда он родом, из какой семьи, чем занимается. Они словно приняли его странную дружбу со Старвиком как нечто само собой разумеющееся: ежедневно водили

его с собой по кафе, ресторанам, ночным барам и кабачкам, точно старинного приятеля. И он тоже принимал их благосклонность вежливо и изящно, был весел, умен и обаятелен, держался удивительно благородно и непринужденно. Он тоже никогда не задавал щекотливых вопросов: он был дипломатом от природы, обладал врожденным чувством такта. Однако день ото дня в его взоре росли озадаченность и недоумение; язык его красноречиво молчал, но недоуменный взгляд не в силах был скрыть вопрос и говорил о его мыслях яснее ясного.

Что касается Юджина, то он впервые ощутил тяжкое, мучительное сомнение. Многое вдруг пришло ему на память: слова и обрывки фраз, мимолетные и случайные вспышки и проблески былого на всем его пути от самого Кембриджа, давным-давно позабытые и внезапно вернувшиеся опять. И теперь при взгляде на Старвика он иногда испытывал странное, неприятное чувство: ему казалось, что перед ним совершенно незнакомый ему человек.

LXXXV

В последний момент, когда потрепанная ладья их дружбы уже готова была затонуть окончательно, Элинор снова спасла положение. Энн, угрюмая и раздраженная, объявила, что на следующей неделе отправляется домой, Юджин решил ехать на юг Франции, "в какое-нибудь тихое, спокойное местечко", где он мог бы "поселиться и писать", — такими словами определял он свой идиллический замысел. Что же касается Старвика, то он был по-прежнему холоден, утомленно-печален и бесстрастен; он принимал обидное крушение их планов с усталым покорством, выказывая одновременно и грусть, и глубочайшее безразличие; при этом собственные его планы были окутаны еще более плотной, чем обычно, завесой трагической таинственности. И тогда, видя, в какой отчаянной ситуации они оказались, и понимая, что нечего ждать помощи от этих трех жаждущих уединения мизантропов, Элинор поспешно взяла дело в свои руки и словно опять превратилась в шофера из полевого госпиталя.

— Ну вот что, ребятки, — заявила она весело и безапелляционно, и шутливая речь ее ласкала слух, умиротворяла, была непререкаемо авторитетна, точно слова властной матери, обращенные к перессорившимся детям, — никто никуда не едет; никто не едет домой; никто и никуда, кроме как в замечательное путешествие, которое мы задумывали с самого начала. Стартуем на следующей неделе — мы с Энн будем вести машину, а вы, мальчишки, можете бить баклуши и предаваться сладостным грезам сколько душе угодно, а когда вам приглянется какое-нибудь местечко для работы, мы остановимся там и поживем до тех пор, покуда вам не надоест трудиться. А потом двинемся дальше.

— Куда? — тусклым, мертвым голосом спросил Старвик. — Куда двинемся?

— О чем ты говоришь, лапонька! — весело воскликнула Элинор. — Да хоть куда! Куда глаза глядят! Вот в чем вся прелесть-то! Мы не будем связывать себя всякими проектами и планами — будем останавливаться где захотим и разъезжать, где наши душеньки пожелают. Впрочем, я думаю, — уже более трезво продолжала она, — сначала мы поедем в Шартр, а оттуда дальше в сторону Турени, с остановками в Орлеане, или Блуа, или Туре — где понравится, и будем жить там сколько захотим. Потом

мы могли бы двинуться к Пиренеям, объехать все тамошние края; несколько дней можно провести в Биаррице, а после этого махнуть в страну басков... Там есть просто очаровательные уголки!

– А не поехать ли нам в Испанию? – спросил Старвик, и в его голосе впервые прозвучала нотка интереса.

– Запросто! – вскричала она. – Лапонька, мы можем повидать все что угодно, поехать, куда нам только заблагорассудится. В том-то и прелесть нашего предприятия. Если ты хочешь писать, хочешь прокатиться в Испанию и сочинить там что-нибудь этакое – ну что ж! оп-ля – и дело в шляпе! – шутливо воскликнула она, щелкнув пальцами. – Нет ничего проще!

На некоторое время все примолкли. Против своей воли они поддались влиянию волшебных чар и сидели, завороженные открывшейся перед ними радужной перспективой. С помощью своего драгоценного дара – делать любую цель удивительно желанной, доступной и близкой – Элинор придала сочиненному ею фантастическому проекту самый естественный и разумный облик. Теперь все это казалось вовсе не абсурдным, а, напротив, заманчивым и легкоосуществимым – даже нелепейшее предложение "прокатиться в Испанию и сочинить там что-нибудь этакое", даже пустые надежды на то, что в пути можно будет "остановиться в любом местечке, которое нам приглянется, и работать, пока не надоест"; она не только окрасила это немыслимое турне в волнующие тона чувственных удовольствий и счастья, но представила его как разумное средство для достижения серьезной цели.

И вскоре в горле у Старвика, очнувшегося от приятных раздумий, навеянных этой чудной картиной, забулькал прежний ликующий смешок, он повернулся к Юджину и заметил с обычной своей жеманной интонацией:

– Неплохо звучит, верно?

Мало-помалу и с лица Энн, уступая место интересу, исчезала мрачная растерянность; вдруг она сердито усмехнулась и сказала:

– Это и вправду было бы неплохо, если бы некоторые для разнообразия вели себя как нормальные люди.

Несмотря на эту сердитую реплику, лицо ее смягчилось и потеплело, словно в ее душе снова ожила вера в то, что будущее наконец принесет им долгожданное счастье.

– Ну разумеется! – тут же убежденно воскликнула Элинор. – Именно так мы и будем себя вести! И Юджин у нас развеселится, как только мы выедем из Парижа! – вскричала она. – Вот увидите! Просто в последние месяц-два мы взяли *убийственный* темп! Такого никому на свете не вынести! Юджин устал, все мы страшно издергались, нас вымотали эти постоянные ночные бдения, пьянство, ходьба по ресторанам – но после нескольких дней отдыха все встанет на свои места... Вот этим-то, деточки, мы наконец и займемся – прямо сейчас, немедленно! – Она говорила ласково, твердо, властно. – Сегодня же выезжаем из Парижа!

– Куда? – спросил Старвик. – Куда мы едем?

– Сначала в Сен-Жермен-ан-Лэ, отдохнем там перед отъездом денек-другой. Остановимся у тебя в пансионе, Фрэнсис, и ты сможешь заодно уложить свои вещи, потому что вряд ли опять туда вернешься. Потом, на ночь, приедем обратно в Париж; здесь мы проведем уж никак не больше одного дня – Энн и я возьмем вещи из студии, а Юджин сходит к себе в гостиницу, так что получится... постойте-ка... – она легко, задумчиво по-

барабанила пальцами по столу, — получится, что мы полностью соберемся и будем готовы к отъезду самое позднее в понедельник утром.

— Может, мне лучше остаться в городе сейчас и собрать вещи? — предложил Юджин.

— Лапонька, — мягко, шутливо и подкупающе ласково сказала Элинор, коснувшись его руки, — ни в коем случае! Сегодня после обеда ты отправляешься с нами! Мы все слишком тебя любим, чтобы дать тебе возможность улизнуть в последнюю минуту!

И по губам Элинор, на миг преобразив ее необычное, исполненное благородного достоинства лицо, скользнула легкая, нежная, милая улыбка — светлый образ бесконечно женственной, тонкой и прекрасной души, которая едва ли не гротескно сочеталась с ее крупным и тяжелым телом.

Итак, с удовольствием подчинившись благой воле этой незаурядной женщины, вновь обретя надежду, испытывая настоящий восторг при мысли о замечательной поездке, веселые, шумные, счастливые, они в тот же день отправились в Сен-Жермен-ан-Лэ. Когда приехали, солнце уже быстро клонилось к закату; они оставили автомобиль у старого кафе неподалеку от вокзала и около часу гуляли все вместе по просторным аллеям леса — огромного, величественного, печального творения рук человеческих, столь не похожего на американские чащи: здесь вовсе не ощущалось грубого, буйного, первобытного лиризма, свойственного нашей необъятной земле, зато безраздельно властвовали чары времени. Этот лес хорошо знал Генрих Четвертый, эти высаженные людьми стройные колонны напоминали естественный собор и порождали мысли о древней, классической, величественной поре, поре печалей и трагического восторга. Здесь вечно отдавались эхом шаги давно умершей знати.

Багровое светило угасающего дня почти скрылось за горизонтом, когда они покинули лес: подошел час закрытия, ибо в этой стране, в этом древнем аристократическом местечке держали под контролем даже леса, открывая и закрывая их, словно к ним были применимы самые обычные человеческие мерки.

Они постояли немного на огромном крутом холме Сен-Жермен, глядя в ту сторону, откуда приехали. В долине под ними, точно змея, неслышно вилась Сена, поблескивающая серебристыми кольцами, а дальше, за полями, перелесками и деревнями, быстро теряя очертания в вечерних сумерках, курилась гигантская, усыпанная светящейся алмазной пылью масса — это был Париж, необъятное, фантастическое скопище древних замков и сказочных башенок, подернутый дымкой, прекрасный, словно мечта, очарованный остров: как будто из моря опалового тумана соткался мягкий, невесомый, плавучий образ изумительной, недосягаемой красоты. Это была далекая страна Кокейн[1], перевитая вечно бегущей нитью неслышной серебристой реки, город-легенда, подобный Каркассону, — неведомый край, куда тщетно стремятся попасть люди. И вскоре им стало казаться, что они слышат мощный, дремотный, манящий ропот этого вечного волшебного города — ропот, который словно вобрал в себя всю тоску, радости, печали, надежды, честолюбивые мечты, разочарования, безысходное отчаяние и любовь человеческую. И хотя в этом дремотном, далеком звуке слились все го-

1. Сказочная страна изобилия и праздности в средневековых легендах.

лоса жизни, он был едва уловимым, вечным, бессмертным и отрешенным, точно гул времени. И он вечно парил в поднебесье над сказочным градом, где люди живут и умирают, — и всегда оставался прежним.

Они спустились с холма и пошли выпить по аперитиву перед ужином в старое кафе, расположенное недалеко от вокзала. Заведение оказалось одним из тех старых, милых, поблекших кафе, что встречаются в маленьких французских городках. Все здесь радовало глаз, было уютным, точно старый башмак; потертые кожаные диванчики, стулья и столики,-зеркала в тусклых позолоченных рамах, потемневшая от времени, усаженная пятнами стойка создавали атмосферу покоя и удобства, привычного домашнего комфорта; чувствовалось, что целые поколения спокойных людей сменяли друг друга, заходя сюда изо дня в день по издавна заведенному обычаю, и это было совсем не похоже на бешеный ритм жизни, мишуру и соблазнительный блеск парижских кафе. Аристократическая тишина и величие огромного леса, волшебный образ зачарованного града в вечернем мареве, мерцающие серебряные кольца вечной реки наполнили их сердца и души изумлением и тихим восторгом. И старое кафе тут же завладело ими, приняло их как своих, окружило домашним комфортом; это было одно из тех мест, которые сразу, благодаря интуиции, мгновенному прозрению, кажутся "славными", хотя и непонятно, чем вызвано это чувство. Как только они вошли, хозяин улыбнулся им и спокойно, свободно, по-дружески заговорил с ними, словно со старыми знакомыми, — и только они уселись у стены на удобные кожаные сиденья, как подошел официант и стал рядом, с улыбкой ожидая заказа. Таких официантов часто видишь за границей — это чуть утомленные пожилые люди с резкими чертами лица, остроумные и полные доброжелательности, состарившиеся в услужении, но по-прежнему проворные и ловкие; как правило, каждый из них — "примерный семьянин", обремененный женой и детьми, и при этом глубокий знаток человеческой натуры, которого годы, проведенные среди тысяч клиентов, сделали мягким, честным, вежливым мудрецом и любителем легкой двусмысленности. Они заказали по аперитиву — вермут-касис для женщин и перно для Юджина со Старвиком — и сидели, беседуя неторопливо и умиротворенно, слегка усталые, с тем дружеским взаимопониманием, которое приходит вслед за угасшими страстями, огорчениями и ссорами. Два последних месяца, наполненные Парижем и ночными попойками, казались дурным сном, а впереди лежала светлая, прямая дорога.

Когда они вышли из кафе, уже спустилась тьма; они завели машину и отправились на другой конец городка, в пансион, где Элинор уже заказала для них комнаты. Выяснилось, что номер для Старвика в этом пансионе Элинор сняла еще три месяца назад, сразу после его приезда в Париж, но тогда он прожил в номере всего две недели, хотя большинство его книг и других вещей до сих пор оставались там. В общем, это была одна из дорогостоящих, бесполезных, обреченных на горькую неудачу попыток Старвика найти место — то несуществующее счастливое место, где его ждет удача, где он сможет наконец "поселиться и спокойно писать".

Когда четверо друзей приехали в пансион, там как раз начался ужин. Для них оставили столик, но едва они вошли в общую комнату, как все дружно прекратили есть: на молодых людей с подозрением устремились две дюжины пар блеклых, потухших глаз, и тут же седые головы за каждым столиком алчно, настороженно придвинулись одна к другой и побежал по комнате жадный, потайной шепоток.

Очевидно, у старых пансионеров уже давно сложилось весьма нелестное мнение о Старвике и Элинор. Когда они вошли, им удалось разобрать в заполнившем комнату свистящем шепоте несколько ядовитых обрывочных фраз:

– Ah, c'est lui!.. Et la dame aussi!.. Ils sont revenus ensemble... Mais oui, oui![1]

Сидящая за ближним столиком ведьма с копной крашеных рыжих волос, в старомодном платье, обильно расшитом мелким бисером, уставилась на них со злобой и жадным любопытством, потом зашипела, склонившись к соседу напротив, старику с опухшим апоплексическим лицом и густыми белыми усами, и соседке, морщинистой старушке с крошечными, точно у ящерицы, глазами-бусинками, – по-видимому, его жене:

– Mais oui!.. Oui!.. C'est lui, le jeune Américain!.. Personne ici ne l'a pas vu depuis trois mois[2]. – Старик пробормотал что-то хриплым придушенным голосом; ведьма, похожая на старого попугая, выпрямилась, решительно припечатала стол костлявой рукой и комично выкрикнула басом: – Mais justement!.. Justement!.. C'est comme vous voyez![3] – а потом, исподтишка поглядывая на Элинор и Фрэнка, которые покатывались со смеху, опять хрипло зашептала: – Il n'est pas son mari!.. Il est beaucoup plus jeune... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non![4] – выпалила она с горячечным нетерпением, как только ее жадного уха коснулся тихий вопрос старика. – Elle est déjà mariée!.. Oui! Oui![5] – последние слова она произнесла решительно, метнув в сторону Элинор негодующий взгляд. – Mais justement! Justement!.. C'est comme vous voyez![6]

В тот вечер Элинор была живой и веселой, искрилась счастьем, точно праздничный фейерверк. Она ловила все на лету, схватывала мгновенно, понимала с полуслова – и тут же находила во всем повод для неудержимого веселья, увлекая и заражая им своих друзей даже тогда, когда, казалось, не было никакой особенной причины радоваться. Им подали суп, неаппетитную коричневую жижу, в которой плавали какие-то странные, противные ломтики – что-то беловатое и пористое, непристойного вида. Наверное, это был рубец; Юджин мрачно и подозрительно уставился в тарелку, потом взглянул на Элинор, и та в приступе бурного веселья откинулась на спинку стула, прижала пальцы к губам и разразилась громким жизнерадостным смехом. Потом, не успел он раскрыть рта, легонько коснулась его руки и быстро, серьезно, понимающе и сочувственно произнесла:

– Да-да, знаю, милый! Я совершенно согласна!

– Что это? – тупо, озадаченно пробормотал он. – Похоже на...

– Ясно! Ясно! – немедленно вскричала Элинор, не дав ему закончить, и снова залилась веселым, неудержимым смехом. – Это как раз то, на что оно похоже, – и ни слова больше! Мы все полностью с тобой согласны! – Она шутливо покосилась на подозрительную жидкость в тарелке, потом уверенно, решительно сказала: – Пожалуй, нет! Если вы не против, я воздержусь! – а потом, снова взглянув на его лицо, не смогла совладать с очередным приступом заразительного смеха. – Боже! – вос-

1. Явился, голубчик!.. И она тоже!.. Вместе пожаловали... О да, да!
2. Ну да!.. Да!.. Это он, тот молодой американец!.. Три месяца ни слуху ни духу.
3. Вот именно!.. Именно!.. Вы абсолютно правы!
4. Он ей не муж!.. Он слишком молод... Да нет же, нет!
5. Она уже замужем... Да! Да!
6. Безусловно! Безусловно!.. Сами видите!

кликнула она. — Просто прелесть! Вы только гляньте на бедняжечку! — И снова быстро, легко, ласково коснулась его руки.

Ее буйная, жизнерадостная веселость передалась всем им; ужин удался на славу. Они вновь услышали довольный, булькающий, многозначительный смех Старвика — иногда ему аккомпанировал короткий смешок Энн: ее лицо, прекрасное как никогда, сияло счастьем, и все вокруг казалось удивительно милым и славным. Элинор кликнула официантку, и странный суп незаметно исчез со стола, но прочие блюда были замечательны, и они увенчали это пиршество двумя бутылками самого лучшего сотерна из закромов пансиона. Ужин был слегка омрачен лишь присутствием пожилых пансионеров, взиравших на беспечную молодежь с презрительной снисходительностью, однако это никого не раздражало: друзья вели себя так, точно попали в музей древних реликвий, собранных для их увеселения, происходящее служило им превосходным поводом для шуток, подозрительные взоры, алчный шепоток и сдвинутые головы вызывали у них приступы неудержимого хохота, а Элинор, оглядываясь кругом и вдоволь насмеявшись, прижимала пальцы к губам, чтобы успокоиться, и говорила:

— Просто прелесть!.. Боже! Просто чудо!.. С ума можно сойти!.. Фрэнк... Фрэнк... — тихим, сдавленным голосом продолжала она, — ты погляди только!.. Сделай милость, взгляни хоть разок вон на ту крашеную старушечку с финтифлюшками, за соседним столиком... А старикан-то!.. Господи! Если бы взглядом можно было испепелить! А что они говорят о нас!.. Они наверняка думают, что мы живем в грехе всем скопом... Какое поведение! — с притворным ужасом вскричала она. — И какая наглость, друзья мои, прямо на глазах у порядочных людей!.. Нет, это просто ужас, не правда ли, мсье Дюваль!.. Милый, — с шутливым укором обратилась она к Старвику, — и тебе не стыдно?.. Как ты намерен поступить с девушкой — по-честному или нет?.. Ты собираешься сделать из меня честную женщину или как?.. Ну же, давай, дружочек, — вкрадчиво проговорила она, чуть подавшись к нему, — утешь мою душеньку! Скажи, обойдешься ты со мной по-хорошему или нет? — допытывалась она.

— Обязательно! — отвечал Старвик, розовея от сдерживаемого смеха. — Только... — в горле у него забулькал довольный, коварный смешок, — что значит "по-хорошему", а?.. То есть... — он затрясся в беззвучном смехе, потом продолжал очень серьезным, доверительным тоном, — то есть ты хочешь узнать жизнь? — он многозначительно поднял брови, а потом закончил шутливо, с нарочито пошлой интонацией: — Ты понимаешь, что я имею в виду, — узнать *настоящую* жизнь?

— Фрэнк! — взвизгнула она и откинулась на спинку стула, прижав пальцы к губам. — Да вовсе нет, милый, — продолжала она с прежней иронической серьезностью, — ведь перед тобой невинная девушка из Бостона, что в Массачусетсе, и она понятия не имеет о том, *что* ты имеешь в виду — ты, чудовище! — вскричала она. — Разве ты не знаешь, что мы, бостонские девушки, не можем начать жить по-настоящему до тех пор, пока вы не превратите нас в честных женщин?

— Ну, тогда, — спокойно отвечал Старвик, вновь краснея от подступающего к горлу смеха, — тогда мы можем хоть сейчас начинать настоящую жизнь. Мне сдается, один добрый человек уже позаботился о том, чтобы превратить тебя в честную женщину!

— Боже! — взвизгнула Элинор и снова, откинувшись назад, закатилась беспечным, радостным смехом. — Бедняжка Гарольд!.. Я про него и

забыла!.. Вот чего не хватает в этом чудесном местечке: чтобы сейчас сюда вошел Гарольд и воззрился на нас поверх своих роговых очков...

– Да, да, – подхватил Старвик, – а за ним твои папенька с маменькой, и во взгляде у них, – он прыснул, – во взгляде у них столько *горечи.* Знаешь, – обратился он к Юджину, – им так *горько* видеть меня, право же. Очевидно, – продолжал Старвик, – они считают меня беспринципным развратником, который соблазнил... – голос его дрогнул опять, – соблазнил их единственную невинную до-оченьку! – Он так издевательски слащаво прогнусавил последнее слово, что они дружно расхохотались. – Право же, – серьезно продолжал он, утерев платком покрасневшее от смеха лицо и обращаясь к Элинор, – я уверен, что они именно так и думают. На днях, когда твои папенька с маменькой пришли в студию и застали меня там, – родители Элинор находились тогда в Париже, – папаша смерил меня таким взглядом, точно я Казанова, а он – Коттон Мэзер[1]. Да-да! Именно так и посмотрел, честное слово. По-моему, он решил, что ты стала моей наложницей.

– Ну, миленький мой, – вкрадчиво, игриво отозвалась Элинор. – Разве нельзя мне побыть твоей наложницей? Фу, какой ты вредный! – с укором произнесла она. – Я так хочу побыть чьей-нибудь наложницей! – Она обернулась к Юджину с протестующим видом. – Ну как это называется? Ответь, пожалуйста. Вот я, совершенно безупречная тридцатилетняя дама, всю жизнь прожила в Бостоне, имею массу достоинств и всегда руководствуюсь самыми лучшими побуждениями. Всю жизнь я была паинькой и каждому пыталась угодить как могла, но сколько я ни старалась, – вздохнула она, – никто так и не захотел помочь мне осуществить мою заветную мечту – побыть чьей-нибудь наложницей. Разве это честно? Ответь, пожалуйста!

– Ну нет уж, – с упреком сказал Старвик. – Прежде чем осуществлять свою заветную мечту, ты должна выйти в свет и заработать себе репутацию!.. Хотя, пожалуй, – добавил он, окинув быстрым веселым взглядом злобные физиономии старых шептунов за соседними столиками, – пожалуй, ты ее уже заработала!

После ужина они сразу поднялись в номера, снятые Элинор. Старвик занимал две большие удобные комнаты в одном крыле пансиона; в гостиной у него уютно потрескивал разведенный в камине огонь. Юджину Элинор отвела маленькую спаленку, а себе и Энн – комнаты побольше. В номере у Энн тоже весело пылал чудесный камин. Элинор и Старвику явно хотелось остаться вдвоем и поговорить: это желание выражалось у них в таинственном, весьма многозначительном помалкивании, которое Юджин часто замечал в подобных случаях. Они заявили, что отправляются на прогулку.

LXXXVI

Когда они покинули пансион, Юджин подошел к номеру Энн и постучал. При виде его она не удивилась, только мрачно отступила в сторону, пропуская, и закрыла за ним дверь. Потом опять вернулась на свое место перед камином и, подавшись вперед, облокотясь на колени, стала молча, угрюмо, не отрываясь смотреть на потрескивающие дрова.

1. Коттон Мэзер (1663–1728) – пуританский священник и ученый из Новой Англии.

— Где остальные? — наконец спросила она. — Ушли?

— Да, — ответил он. — Гулять. Сказали, что вернутся через часок.

— Ну да, — цинично сказала она. — Решили, наверно, сделать мне приятное, оставить нас с тобой вдвоем. Я же такая замечательная, что для меня просто необходимо что-нибудь сделать. Господи! — горько произнесла она. — Как мне надоело это трогательное внимание! Я уже сыта им по горло!

Он ничего не ответил на это, и она не стала продолжать. Подавшись вперед всем своим большим телом, облокотившись на колени, она угрюмо смотрела в огонь.

Он сел на другой стул, но тишина, это сидение на стульях и мрачный вид женщины действовали на него угнетающе, и вскоре ему стало мучительно неловко и стыдно. Он вскочил, взял с кровати подушку, швырнул ее на пол и улегся рядом со стулом Энн, устроившись поудобнее, головой к танцующему огню. Пламя уютно пригревало, дрова стреляли и потрескивали, мягко мерцали, распадаясь, догорающие угольки, пахло смолистой сосной, и все это, вместе с широкими старыми половицами, тишиной в доме и холодным ночным оцепенением, царящим снаружи, благодаря чему-то домашнему в облике комнаты и крупной, склоненной к огню фигуре женщины из Новой Англии, угрюмой, молчаливой отрешенности ее волевого, красивого лица, ее запаху — запаху крупной, здоровой, согретой теплом очага женщины, — все это вскоре пробудило в нем необычайно сильное, приятное и знакомое чувство, всегда дремлющее у человека в крови, за многие годы уже позабытое, но сейчас вновь ярко вспыхнувшее и набравшее силу. Оно заполнило его душу и сердце, растеклось по жилам глубоким покоем, тихой счастливой радостью и, подобно возвратившейся древней вере, возродило в нем прежнее убеждение в том, что чувственная оболочка жизни повсюду одна и та же, что люди живут в этом маленьком французском городке так же, как живут они в его родном городе, так же, как живут по всей земле. И после странной, непривычной ночной жизни в Париже, на другом континенте, которую он вел вот уже несколько месяцев, это возрождение прежнего чувства, нерушимой веры в великое племя землян, объединяющее всех и каждого, наполнило его душу тихим умиротворением и счастьем.

Энн не шевелилась; склонившись вперед, облокотясь на колени, она по-прежнему смотрела в огонь, и, глядя вверх на ее смуглое, угрюмое, залитое теплым румянцем лицо, он заснул — заснул глубоким, беспробудным, тяжелым сном, вконец измотанный сумасшедшей гонкой последних недель.

Он не знал, сколько времени, уснув, пролежал на полу. Но разбудил юношу ее голос, невыразительно и однообразно твердивший его имя — твердивший так тихо, ровно, настойчиво, что поначалу Юджин принял эти звуки за сон. Но голос повторял его имя вновь и вновь, тихо, настойчиво, монотонно, пока Юджин не понял, что он настоящий, что он звучит наяву. И тогда что-то медленно, глухо, тяжело, могучими толчками забилось в нем, он поднял веки и посмотрел ей в лицо. Она наклонилась еще больше и пристально, задумчиво глядела на него сверху вниз; лицо ее было дремотно-неподвижным, играло бликами, точно цветок. И когда он взглянул на нее, она ответила ему тем же задумчивым пристальным взором и снова без всякой интонации произнесла его имя.

В один миг он оторвался от пола и сидя обнял ее. Он стал рядом с ней на колени и сжал ее в объятиях, охваченный безмолвной, неодоли-

мой страстью; он снова и снова целовал ее лицо и шею, теплые от жаркого очага, гладкие и нежные, точно бархат; он снова и снова покрывал ее лицо неловкими, неуклюжими поцелуями, мучимый безумным, неодолимым желанием и вместе с тем жестоким стыдом, страшным чувством вины. Ему хотелось поцеловать ее в губы, но он не смел; все время, пока он неуклюже, отчаянно прижимал ее к себе и целовал, он желал ее больше, чем когда-либо желал женщину, и однако чувствовал, что его прикосновения оскверняют ее, точно он пытался лишить девственности весталку, изнасиловать монахиню.

Он не знал, откуда взялось это чувство, откуда пришел этот бессмысленный стыд, ощущение страшной вины, словно у покусившегося на святыню. Он так часто бывал с проститутками и случайными доступными женщинами, что ему, казалось, не составило бы труда овладеть этой крупной, неловкой, угрюмой девицей, но он только неуклюже прижимал ее к себе, что-то глупо бормотал и снова и снова покрывал поцелуями ее теплое, мрачное лицо.

Он неловко положил руку ей на грудь, но его тут же охватил такой жгучий стыд, что руку пришлось убрать. Тогда он дотронулся до ее колена, сунул руку под юбку; от прикосновения к ее теплой ноге его точно пронзило электрическим током, и он вновь отдернул руку. И все это время женщина не делала ничего, не пыталась сопротивляться или оттолкнуть его, но лишь молча, угрюмо, бесстрастно сносила его объятия, и лицо ее тлело каким-то мрачным, подспудным желанием, которого он не мог ни разгадать, ни назвать. Он не знал, зачем она разбудила его, зачем окликала, какие мысли, какие стремления скрывались за этим задумчивым взглядом, за этой молчаливой угрюмой покорностью, хочет она отдаться ему или нет.

Он не знал, почему прикосновение к ней вызывает у него стыд и чувство вины. Возможно, причиной этому были ее внутреннее благородство и красота ее натуры, делавшие физическую близость с нею почти немыслимой; возможно, тут сыграло какую-то роль и сознание им своей социальной, классовой неполноценности — чувство гадкое и постыдное, но ему часто бывают подвержены молодые люди; оно знакомо всем американцам, и всех оно мучило — даже тех, кто с гневом отвергает его существование, хотя, сам того не замечая, усердно его культивирует. Действительно, иногда он с горечью сознавал ее "исключительность", вспоминая, что она вышла из "старинного бостонского рода", из богатого, неприступного и очень обособленного слоя; он знал, что у такой красивой и соблазнительной женщины, как Энн, есть широкий выбор среди богатых представителей ее собственного круга, а сам он — всего лишь сын рабочего.

И все же он знал, что самое главное — то, что сейчас сдерживает его, покоряет своей прелестью, наполняет сердце тоской и неодолимой страстью и одновременно препятствует обладанию, — это оно, удивительное, горькое, загадочное и щемяще-прекрасное, навеки вошедшее в его жизнь, навеки в ней оставшееся и навеки непостижимое, — то, названием чему были два слова: Новая Англия.

И когда он понял это, его охватили такая великая любовь и великая ненависть, каких он еще не ведал. Им овладела безумная, свирепая злоба, душный приступ отчаяния, рвущегося наружу бранью. Он схватил ее за плечи, дернул к себе и бросил ей в лицо горькое проклятие. А она была безмолвна, угрюма, бесстрастна, как прежде, не сопротивлялась и не

отвечала ему, пока он тряс ее, обнимал, проклинал, обезумевший от желания и невыносимого стыда.

— Ну же, — хрипел он, встряхивая ее, — скажи что-нибудь!.. Пошевели хоть пальцем!.. Ты, проклятая бездушная деревяшка!.. Кого ты из себя корчишь, а?.. Да чем ты лучше других?.. Энн, Энн! Взгляни на меня!.. Не молчи! Да что же это!.. Ох, будь ты проклята, — прорычал он с бессознательным юмором, не замеченным ими обоими, — я же тебя люблю!.. Какая ты красивая, молчунья, какая роскошная бостонская шлюха, — страстно пробормотал он, — а ну-ка, повернись сюда... взгляни на меня... ох, черт возьми! не могу! не могу! — словно обезумев, воскликнул он и в первый раз с каким-то отчаянием поцеловал ее в губы, а потом, озираясь, точно помешанный, не соображая, что делает, потащил ее к кровати, приговаривая: — Да, да, сейчас, будь я проклят... Ты все молчишь, моя чудная, прекрасная блэкбейская потаскуха... Энн! — исступленно вскричал он. — Будь я проклят, я расшевелю тебя, ты у меня растаешь, девочка, — ты у меня станешь как шелковая! Ну-ка, где наша лапка? — с вожделением, в каком-то пронзительном экстазе он медленно потянул к себе ее длинную руку и прихватил зубами округлое плечо. — А шейка, а наши теплые щечки, а надутые губы, а прекрасный живот, моя прелесть, — такой белый, чудный, щедрый, он сможет выносить дюжину ребятишек, верно?.. А длинные ноги, а крепкие бедра, а этот чудесный изгиб от талии до колена, — не женщина, а щедрая, невспаханная целина, — но я тебя вспашу! — в исступлении воскликнул он, — а наши большие молчаливые глаза, а длинные кисти и тонкие пальчики — откуда у тебя такие красивые, изящные руки, ты же большая, а? ну-ка, дай мне их, — какие длинные, благородные пальцы аристократки, — сказал он с вкрадчивым, жестоким вожделением и вдруг почувствовал, как дрожат ее длинные пальцы у него на руке, накрыл их своей и ощутил вместе с их трепетаньем, как дрожит в его объятиях все ее большое, медлительное тело, — и его вдруг пронзили отчаянная, невыносимая жалость и раскаяние. — Энн, Энн, не надо, — пробормотал он и умоляюще схватил ее за руку. — Не смотри так... не бойся... ну, ну же! — отчаянно воскликнул он и, обняв ее за дрожащие плечи, стал легонько похлопывать, утешая. — Пожалуйста, не надо так... не дрожи... не бойся меня!.. Господи, Энн, да не смотри же на меня так... я не хотел... мне страшно жаль, Энн, — ох! но ничего, все уладится! Клянусь тебе, все уладится! — глупо твердил он, умоляюще и виновато сжимая ее руку, не сознавая, что говорит, полный стыда и ужаса, нахлынувших на него в расплату за кощунство.

Дыхание ее было неровным, прерывистым, она коротко и беззвучно всхлипывала, словно напуганный ребенок; этот испуг, ее изящные руки, длинные дрожащие пальцы — для такой крупной женщины кисти у нее были удивительно хрупкими и нежными, — все заставляло его жестоко раскаиваться в содеянном. Она говорила — глотая слова, горячо, сбивчиво, — и он горячо, жадно соглашался с нею во всем, хотя не улавливал и не понимал даже половины сказанного.

— Нельзя оставаться... — срывалось с ее губ. — Уйдем отсюда... куда-нибудь... куда угодно... Мне нужно поговорить с тобой... Я должна сказать тебе! — тихо, отчаянно воскликнула она. — Ты не понимаешь... ужасная, чудовищная ошибка! — прошептала она. — Я скажу тебе, сейчас же... только уйдем отсюда...

— Да-да... конечно... куда хочешь, Энн. Куда скажешь, — с готовностью соглашался он со всеми ее словами; они в лихорадочной спешке на-

кинули верхнюю одежду и уже стояли на пороге, как вдруг появились Старвик и Элинор.

Старвик спросил, куда они собрались; они ответили, что хотят прогуляться. "А-а", — неопределенно откликнулся он. И Старвик, и Элинор заметили краску и смущение на их лицах, их лихорадочную поспешность и проводили пару любопытными и довольно беспокойными взглядами, но ничего больше не сказали.

В пансионе было тихо, все уже легли спать; на улице тоже стояла тишина. Ночь была спокойная, морозная; безмолвие и сон царили повсюду, куда ни глянь. Дома с запертыми ставнями хранили сторожкое, таинственное молчание, как всегда в маленьких французских городках; казалось, никто, кроме двух заезжих туристов, не рискует высунуть нос из своего убежища. Они быстро пошли в сторону железной дороги, пока еще не разговаривая друг с другом, и их шаги по замерзшей мостовой гулко отдавались в тишине.

Наконец Энн остановилась под одним из редких, одиноких уличных фонарей, обернулась к Юджину и заговорила скоро, возбужденно, что совсем не вязалось с ее обычным угрюмым немногословием.

— Послушай, — сказала она, — мы должны забыть о сегодняшнем вечере — обо всем, что произошло!.. Это я виновата, — вымолвила она неловко, с мучительной совестливостью старой девы, и эта интонация в сочетании с необычайной чистотой ее натуры и силой духа, так хорошо известными Юджину, придала ее словам удивительно трогательный оттенок, — я не хотела завлекать тебя, — наивно продолжала она. — Надо было сразу тебя остановить.

— Нет, Энн, — ответил он, — ты тут ни при чем! Это не твоя вина! Ты ничего не могла поделать: это я все затеял.

— Нет, нет, — повторяла она с жалким, угрюмым упорством. — Это все я виновата... Могла бы до этого не доводить... — Несчастная, она резко отвернулась и вновь зашагала вперед.

— Но послушай, Энн, — отчаянно принялся он убеждать ее, поравнявшись с ней, — не суди об этом так... Не переживай это так сильно!.. Мы же ничего плохого не сделали, честное слово!

— Господи... — не поворачивая головы, пробормотала она, — это было гадко... просто гадко с моей стороны!.. Мне так стыдно, — сказала она. — Я поступила просто по-свински!

— Да ты здесь ни при чем! — возразил он. — Это все я!

— Нет, нет, — снова пробормотала она. — Я сама все начала... не знаю зачем... Но я не имела права... есть одна вещь, о которой ты не знаешь.

— Какая? Какая вещь, Энн? — он не знал, плакать ему или смеяться над этим упорным новоанглийским самобичеванием, над этой совестливой целомудренностью, из-за которой, казалось, она и приняла случившееся так близко к сердцу.

Она замедлила свой широкий шаг под следующим фонарем и, обернувшись, заговорила отчаянно, решительно:

— Вот что! — сказала она. — Ты должен забыть все, что случилось сегодня... Я не знала, что ты... так ко мне относишься. Ты должен забыть обо мне... Ты никогда больше не должен думать обо мне... в этом смысле!

— Почему? — спросил он.

— Потому что... — пробормотала она, — это нельзя... нельзя.

— Почему нельзя?

Она чуть помолчала, потом взглянула ему прямо в глаза.

— Потому что, — сказала она коротко и твердо, — из этого ничего не выйдет... Я не могу ответить тебе тем же.

На миг он потерял дар речи и ему показалось, что сердце его сковала тонкая ледяная корка.

— Ох... — наконец выдохнул он, потом, помолчав, добавил: — И что, никогда не сможешь?

Она не ответила и быстро пошла вперед. Он снова кинулся за ней, схватил ее за руку и силой повернул к себе лицом. Затем резко бросил:

— Отвечай! Значит, никогда?

На ее мрачном лице застыло немое страдание; она тихо промолвила:

— Есть одна вещь, которой ты не понимаешь... о которой ты не знаешь...

— Я не об этом спрашиваю. Говори.

— Нет, — мрачно сказала она. — Я не могу ответить тебе тем же. И никогда не смогу. — Она отвернулась с несчастным лицом и пошла дальше. Ледяной обруч все крепче сжимал его сердце, он снова догнал ее и снова остановил.

— Послушай, Энн. Ты должна сказать почему. Я должен знать. — Она жалко качнула головой и отвернулась, но он схватил ее и потянул назад, требуя еще решительнее: — Нет уж. Я должен знать. Это потому... ты не можешь ответить тем же такому, как я... потому что ты не можешь представить меня в этой роли?

Она молчала; жалкая, она безмолвно глядела на него; затем покачала головой в знак отрицания.

— Нет, — сказала она, — не поэтому.

Ледяной обруч наливался тяжестью, Юджину казалось, что он не сможет больше вымолвить ни слова. Но спустя какое-то время он все же выговорил:

— Значит... значит, есть кто-то еще?

Она сделала невольный жест, исполненный муки и отчаяния, и, отвернувшись, хотела идти дальше. Но он схватил ее, рванул к себе и крикнул:

— Отвечай, черт возьми! Да или нет?

Ему долго пришлось дожидаться ответа, и слова ее были такими тихими, что он едва их расслышал.

— Да, — сказала она и отняла руку. — Пусти.

Он снова нагнал ее и потянул назад. Ледяной обруч, казалось, вмерз ему в грудь навеки, и сердце в его холодных тисках бухало, точно кузнечный молот.

— Кто он?

Она молчала, и он грубо встряхнул ее.

— Отвечай... Кто-нибудь из твоих прежних знакомых?..

— Пусти, — прошептала она. — Я не скажу.

— Скажешь, будь я проклят, — прохрипел он, не отпуская ее. — Кто он? Кто-то из твоих старых друзей, там, на родине, или нет?

— Нет! — крикнула она, вырвалась с придушенным рыданием и чуть ли не бегом кинулась вперед. — Оставь меня, наконец! Я не скажу!

И вдруг ужасное прозрение, мгновенно вспыхнувшая догадка пронзила его, словно нож. Сердце его окаменело, дыхание прервалось; звериным прыжком он настиг ее, повернул к себе одним махом и крикнул:

— Энн! А ну, посмотри на меня! — Он взял ее за подбородок и грубо вскинул ей голову: — Ты любишь Старвика?

У нее вырвался протяжный стон, полный тоски и отчаяния; она попыталась высвободиться из его цепких рук и закричала жалобно, испуганно:

— Пусти! Пусти!

— Отвечай, черт тебя побери! — прорычал он. — Старвик это или нет?

Она сделала последнее отчаянное усилие и все-таки вырвалась на свободу, вскрикнув, словно раненое животное:

— *Да*! *Да*!.. Это он! Что, доволен? Теперь ты оставишь меня в покое? — и слепо, с рыданием кинулась вперед.

Он опять бросился за ней, и опять нагнал ее, и взял за руки — не затем, чтобы обнять, а лишь для того, чтобы удержать, остановить, чтобы хоть как-то, если возможно, постараться облегчить отчаянные, горькие, не находящие выхода страдания этой женщины, мысль о которых невыразимо мучила его. Юджина обуял страх, сковал такой глубочайший ужас, какого он еще никогда не испытывал; он едва сознавал, что делает, о чем говорит, но не мог вынести вида этой немой безысходной муки, этой невыразимой тоскливой обреченности. И он бормотал, холодея от ужаса, еле ворочая непослушным языком: "Но как же это, Энн!.. Старвик, Старвик!.. это бесполезно! бесполезно... Господи боже мой, вот не повезло!.. Вот не повезло!" Ибо он вдруг понял то, в чем не осмеливался признаться себе раньше, — понял, кто такой Старвик на самом деле, в кого он превратился, — и мог теперь лишь хрипло бормотать: "Боже! Боже! Как жаль! Вот не повезло!" — не соображая, что говорит, только сознавая с леденящим ужасом, какой жестокий, расчетливый удар нанесла им злая судьба, исковеркавшая их жизнь, и какой горький удел ждет эту замечательную женщину, эту щедрую натуру, которая готова отдать все свои силы, всю любовь, все богатства своей благородной души в жертву пустому, погибшему человеку.

В тот миг ему безумно, невыносимо хотелось только одного: хоть немного утешить ее, освободить, исцелить от этих ужасных мук обреченной любви, хотя бы в малой мере успокоить ее исстрадавшуюся душу, сделать что-нибудь, пожертвовать своей жизнью ради облегчения, пусть минутного, ее страшной пытки.

И он держал ее в объятиях, поглаживая по плечу и бессмысленно приговаривая, бессознательно повторяя одно и то же:

— Ну ничего!.. Ничего, Энн!.. Не надо плакать, не надо переживать... все уладится, вот увидишь! — и с ужасом, с горечью сознавая, что ничего уже не поправить, что все, все бесповоротно и окончательно погибло, что нанесенный удар слишком силен и жесток, а рана слишком глубока, чтобы надеяться на исцеление.

Она осталась в его объятиях, она уткнулась лицом ему в плечо, ее красивые, сильные, изящные руки лежали на его руках — она отчаянно прижалась к нему и долго, горько, безутешно плакала на тихой, спящей, скованной морозом улочке маленького французского городка, словно большое, смертельно раненное животное, и все, что он мог сделать, — это обнимать ее до тех пор, пока из ее груди не исторгнется последнее мучительное, судорожное рыдание.

Когда все кончилось и плач прекратился, она вытерла слезы и, глядя на него с немой, горячей мольбой, жалко прошептала:

— Ты ведь не скажешь им? Ты ничего не скажешь об этом Фрэнку, правда? Он никогда не узнает?

И, в приливе безграничной, пронзительной жалости к ней, в ужасе от ее безысходного отчаяния, он обещал, что ничего не расскажет.

Молча они вернулись обратно по замерзшим, спящим улицам. Они пришли в пансион после полуночи; весь дом давным-давно спал. Когда они поднимались по лестнице, раздался бой часов.

LXXXVII

Он не видел ее все следующее утро, пока не подошло время ленча. Она рано отправилась на прогулку с большой овчаркой и провела утро в лесу. Элинор и Старвику он сказал, что возвращается в Париж. Старвик не ответил ничего, а Элинор, помолчав, холодно сказала с легкой примесью сарказма в голосе:

— Ну-ну, дорогуша. Дело хозяйское. Поезжай, если тебе не под силу бороться с соблазнами большого города. — Она чуть помолчала, затем с иронией спросила: — Так, стало быть, мы не удостоимся чести совершить путешествие в вашем изысканном обществе?.. Право, — сухо заметила она, — я предпочла бы быть в курсе твоих дальнейших планов... Неведение, мой милый, становится *совершенно* невыносимым. Если тебе жаль нас разочаровывать, — ядовито продолжала она, — то я прошу тебя: пусть этот удар обрушится на наши головы сразу, не стоит нас больше щадить. В конце концов, — с едкой насмешкой произнесла она, — мы ведь можем и пережить это страшное потрясение... Право, я хотела бы знать, — резко сказала она, не услышав ответа. — Если ты не поедешь, мы пригласим кого-нибудь вместо тебя — нам нужен четвертый, чтобы было с кем разделить расходы, — язвительно добавила она, — так что я хотела бы узнать о твоих планах сейчас.

Он уставился на нее с пылающим лицом, в нем вспыхнула безобразная, жаркая злоба, но, как обычно, ее стремительный выпад застал его врасплох. Пока он собирался с мыслями, придумывая достойный ответ, она уже отвернулась от него и со смиренным видом сказала Старвику:

— Может, ты попробуешь выведать, какие у него планы? У меня что-то не получается. *Очевидно*, — уверенно произнесла она, напирая на это слово, — очевидно, у нашего юного друга отнялся язык. — И она отправилась прочь, спокойная и хладнокровная, как всегда, только на щеках у нее горели сердитые пятна.

Когда она ушла, Старвик повернулся к нему и сказал с мягким упреком:

— Ты бы все-таки поставил ее в известность. Право же.

— Хорошо! — быстро и горячо ответил он. — Ставлю тебя в известность, пожалуйста: я не поеду.

Старвик помолчал, затем спокойно, устало, с печальной покорностью промолвил:

— Что ж, очень жаль.

Юджин не ответил ничего: он стоял, глядя на Старвика холодным, тяжелым, ненавидящим взором. Спокойная речь Старвика, почти христианское смирение, с которым он принял его слова, казались ему только личиной, скрывающей ехидное, надменное высокомерие и презрительную самоуверенность, апломб вечного счастливчика. С холодной ненавистью он смерил глазами изящную, томную, хрупкую фигуру Стар-

вика, глянул на его открытую, слабую шею и подумал жестоко и расчетливо: "Ну что мне стоит скрутить это проклятое хилое тельце и переломить его о колено, как гнилую палку! Ах ты, изнеженный пижон, жалкая подделка под человека, — ты ведь только и умеешь, что подличать да жеманничать, хоть и изображаешь из себя великого художника, — ах ты сволочь, эстетишка, бабье нещечко, паршивая бостонская болонка..."

Злобные ругательства вскипели в его душе вместе с волной слепой ненависти и жаждой убийства, и он не мог ни смирить свои чувства, ни выразить словами эту удушливую, лютую ненависть; ненависть и жажда убийства откровенно горели в глазах Юджина, его кулаки свирепо сжимались и ныли, он едва ли не ощущал, как его длинные пальцы железной хваткой смыкаются на теплом, податливом горле врага; и наряду со всем этим он чувствовал себя безнадежно обманутым, одураченным, побежденным уже одной только откровенной покорностью противника его злобной воле, чувствовал, что проиграл борьбу человеку чересчур для него тонкому, коварному и неуловимому, который — так казалось ему теперь — всегда сможет побить его и благодаря своему невероятному везению и удачливости всегда будет отнимать у него самое драгоценное.

Тысячи раз он представлял себе это событие. Тысячи раз, как всякий юноша, он представлял себе появление врага — и тот всегда рисовался ему в одном и том же, вполне определенном облике. В его воображении враг всегда приходил, облаченный в броню ненависти и силы, с открытым забралом, и бросал ему издевательский вызов, глумясь и угрожая. Он всегда приходил, сея ужас свирепой угрозой и откровенным бахвальством, пытаясь лишить соперника храбрости и мужества, взять верх с помощью жестокого насилия и лютого напора. Он никогда не являлся украдкой, он всегда вставал перед ним лицом к лицу, и Юджин, как и всякий другой юноша, давал себе клятву, что будет готов к этому и достойно встретит его, не отступив ни на шаг, — и либо победит, либо падет в отчаянной борьбе, не изведав неизгладимого стыда горького бесчестья.

И вот враг пришел — но вовсе не так, как он ожидал, и вовсе не в том облачении, какое он рисовал себе. Враг пришел не в броне неукротимой мощи и наглого бахвальства, не оттуда, откуда он его ждал, но подкрался тихо, неслышно, с безграничным коварством — подкрался в таком обличье, какого он не представлял себе никогда. Враг пришел под личиной друга, он пришел, превознося его, со словами гордой надежды и благородного доверия на устах, он восхищался им и смирялся перед ним — да, так появился враг, и, выражая свое восхищение и благородную веру в него, он вместе с тем отнимал у него самое дорогое в жизни, словно не думая о том, не замечая и не желая того.

Старвик и Элинор поссорились опять, на сей раз потому, что он тоже решил не откладывая вернуться в Париж. Никто, кроме Элинор, не знал цели его поездки; и цель эта, какой бы она ни была, ей явно не нравилась. Когда Юджин спустился в столовую на их последний совместный завтрак, они горячо обсуждали это, вовсе не замечая, какой живой интерес вызывает их разговор у перешептывающихся стариков. А может быть, они всё замечали, но попросту не придавали этому значения: ведь даже в ссоре они сохраняли свою особую, гордую и аристократическую манеру держаться — манеру, все яснее и яснее свидетельствующую о том, что внешний мир они воспринимают лишь как фон, на котором разво-

рачиваются их собственные тонкие, романтические взаимоотношения, слишком возвышенные и далекие от судеб обычных людей, и о том, что пошлое мнение света, на их взгляд, абсолютно недостойно внимания двух столь незаурядных и одаренных личностей, ведущих непонятную простым смертным беседу.

Элинор возражала Старвику решительно, уверенно, не повышая голоса, но твердо – с обычным своим бостонским выговором, но абсолютно непреклонно, – вежливо и властно выносила она свое категорическое суждение, убежденная в собственной правоте, подсказанной ей знаниями и опытом:

– Брось даже думать об этом! Говорю тебе, *брось!* Ты можешь нарваться на крупные неприятности!

Старвик был сердит и красен; он говорил спокойно, жеманно, но явно с трудом сдерживал гнев и негодование.

– Я *возмущен*, – отвечал он. – Говорить такие вещи – это *чрезвычайно* некрасиво, *чрезвычайно* нехорошо с твоей стороны! Я *возмущен*! – спокойно произнес он с суровым упреком.

– Прости! – бросила она коротко и выразительно, на английский манер. – Возмущаешься – возмущайся, дело твое! Но в конце-то концов, душечка моя, чего ты ждал? Если ты намерен повсюду таскать с собой какого-то прохиндея, которого подцепил в кабаке на Монмартре, твои друзья не обязаны проявлять восторг по этому поводу! Это уж наше право!

– Я *возмущен* твоими словами! – снова сказал он своим манерным тоном.

– Прости! – вновь кратко, резко бросила она. – Но я говорю то, что думаю! – Она поглядела на него, потом вдруг, энергично и решительно качнув головой, зашептала с неприязнью и отвращением: – Не тот он человек, Фрэнк!.. Я готова принять во внимание его достоинства... но человек не тот – не тот!.. Не годится он!.. – Она говорила с уверенной интонацией уроженки Новой Англии, утонченной аристократки "с характером", выносила свое бесповоротное суждение о низшем существе, которое "не годится".

И вновь Старвик – яркие пятна горели на его щеках – проговорил холодно, спокойно, с несгибаемым упрямством:

– Я *возмущен* твоими словами!

По всей видимости, он решил пригласить в предстоящее путешествие по стране Алека-француза, который довольно часто присоединялся к ним с тех пор, как они со Старвиком познакомились в баре на Монмартре. Больше того, Фрэнк договорился встретиться с французом нынче вечером в Париже, но с присущей ему высокомерной скрытностью дотоле умалчивал о своих планах. Поэтому теперь и вспыхнула ссора.

Когда появился Юджин, они безучастно посмотрели на него и продолжали спорить; Энн пришла позже, молча заняла свое место за столом и угрюмо принялась за еду. Совместный завтрак протекал невесело. Как обычно, Элинор завела свою легкую, оживленную болтовню, но на этот раз – что было особенно заметно по контрасту с ее прекрасным расположением духа вчера вечером – ее разбирали злость и досада; расстроенная, она стремилась посильней уязвить и ужалить, точно, причиняя боль другим, сама получала облегчение.

– Лапушка, – в своей излюбленной саркастической манере обратилась она к Юджину, – надеюсь, ты не совсем позабудешь меня, когда мы

расстанемся?.. Будешь иногда слать открытки, чтобы я не падала духом?.. Или ты покидаешь меня навеки?.. Потому что, если так оно и есть, дорогуша, я хочу услышать об этом сейчас же... пусть мне будет больно, но я предпочитаю знать худшее, чтобы можно было сразу отправляться в сад и есть землю пригоршнями, или завывать, или биться головой о стену, и так далее, — сказала она шутливо, но со зловещей искоркой в глазах и едва уловимой ноткой в голосе, не оставлявшей никакого сомнения относительно ее истинных намерений. — Ну так как же, лапонька?.. Вспомнишь ты обо мне когда-нибудь — когда-нибудь потом, и черкнешь ли мне письмецо?.. Пускай там будет всего одна строчка — не важно, зато я буду знать, что ты еще *помнишь* обо мне!.. — колко сказала она. — Ну же, милый, — просительно добавила она, наклоняясь к нему, — обещай мне... Обещай, что напишешь малюсенькое письмецо... ну хоть вот такую крохотулечку, — она шутливо показала двумя пальцами какую, а потом, пока он, красный, зло глядел на нее и собирался с мыслями для ответа, мгновенно и умело нанесла последний решающий удар:

— Вот и чудненько! — воскликнула она и быстро, решительно потрепала его по руке. — Боже благослови тебя, милый! Я знала, что ты не откажешься!

Конец ленча прошел в угрюмом, тяжелом молчании. После еды Юджин поднялся наверх, собрал саквояж, потом спустился и заплатил по счету. Когда он вышел на улицу, Элинор уже ждала его в машине. Старвик еще не появился.

— Клади вещи назад, — кратко распорядилась она, — и иди скажи Фрэнку, чтобы он поторопился, если хочет ехать. Времени немного.

— А где Энн? — спросил он. — Разве она не поедет с нами на вокзал?

— Милый мой, — холодно ответила она, — не имею ни малейшего понятия. Пойди и спроси ее, если уж это так тебя интересует.

Он опять покраснел; потом, мучительно смущаясь, неловко выговорил:

— Элинор... если ты не против... то... я хотел бы...

— Что? — кратко, нетерпеливо, резко бросила она, обернувшись и глядя на него. — *Чего* ты хотел бы?

— Если ты не против, — сказал он, сглотнув от смущения, и, разозлившись на себя за собственную неловкость, выпалил: — Ну, деньги мои!

— Что?.. Что? — снова бесцеремонно, с нарочитым удивлением осведомилась Элинор. — А-а! — воскликнула она, словно на нее внезапно нашло озарение. — Твои *деньги*!.. Ты имеешь в виду экспресс-чеки, которые отдал мне на хранение?

— Да, — несчастным голосом сказал он, чувствуя невыразимый стыд и смущение из-за того, что приходится просить свои собственные деньги, и внутренне проклиная себя за глупый поступок: в приливе дружеской симпатии, последовавшем за недавним примирением, он отдал ей все до последнего цента, — если ты не против... то...

— Разумеется, дитя мое! — воскликнула Элинор, прекрасно разыгрывая удивление. — Отдам сию же минуту! — и она вынула из сумочки тощий черный бумажник, где заключалась вся его наличность — три чека достоинством в двадцать долларов каждый. — Пожалуйста, сэр! — сказала она и вручила ему бумажник с таким видом, что он снова устыдился своей просьбы и почувствовал себя виноватым, точно его уличили в скупости или он умыкнул чужое.

— Ты прости, — извиняющимся тоном пробормотал он. — Прости, что я напомнил тебе об этом, Элинор... но, понимаешь... это все, что у меня осталось.

— Да ну? — откликнулась она. — А куда делось остальное? Когда мы познакомились, было больше.

— Ну... наверное, потратил, — запинаясь, промямлил он. Ответ последовал моментально и уязвил его в самое сердце, безжалостный, ядовитый, точно укус змеи.

— Да? — сухо сказала она. — Интересно где. По-моему, в нашей компании ты не истратил ни цента.

Он был готов задушить ее. Вены веревками вздулись на его лбу, лицо побагровело, на миг он ослеп: горячая, душная волна крови кинулась ему в голову. Он пытался что-то сказать, горло его конвульсивно сокращалось, но слова не шли оттуда — он лишь бессмысленно таращился на нее, весь красный, издавая какие-то хриплые, невразумительные звуки. Прежде чем он придумал, что ответить, она опять вывернулась: из пансиона вышли Старвик и Энн, и она тут же заговорила с ними, предлагая поторопиться.

По дороге на вокзал никто не проронил ни слова. Юджин сидел сзади, вместе с Энн и большой овчаркой; Старвик и Элинор впереди. Когда приехали на вокзал, до отхода поезда оставалось еще больше пяти минут. Они со Старвиком купили билеты третьего класса и вышли наружу, где их ждали женщины. Старвик и Элинор отошли в сторонку и снова начали препираться; Энн молчала и смотрела на Юджина с немым страданием — этот взгляд наполнял его душу раскаянием и горькой жалостью, и вместе с тем он чувствовал слабость и пустоту, охваченный безудержным, невыносимым желанием.

Они сердито и мрачно глядели друг на друга — извращенное, гордое упорство юности не позволяло им идти на уступки и выказывать сожаление, хотя каждому отчаянно хотелось, чтобы это сделал другой.

— Прощай, — сказал он и протянул ей руку. — Прощай, Энни.

— Что? — угрюмо отозвалась она. — Это как понимать?

— Я говорю, прощай, — упрямо повторил он.

— Ты что, не поедешь с нами?

Он помолчал некоторое время, затем, кивнув в сторону Элинор, горько сказал:

— Твоя приятельница, кажется, не жаждет моего общества. Она считает, что я не вношу своей доли в расходы.

— Что она тебе сказала? — спросила Энн.

— Да так, ничего, — тихо ответил он, задыхаясь от ярости. — Ничего особенного. Всего-навсего милая дружеская шуточка, которые я так люблю. Она сказала всего-навсего, что не знает, куда я подевал свои деньги, — что я-де не тратился в вашей компании.

На ее лице заалел жаркий румянец, она рассерженно поглядела на Элинор, потом воскликнула:

— Это свинство с ее стороны! — и, опять обернувшись к нему, тихо спросила: — Ну так что, значит, ты отказываешься от поездки? Не поедешь с нами?

— Я ведь уже сказал, — грубо ответил он. — Чего тебе еще надо?

Она угрюмо, с досадой поглядела на него, и вдруг глаза ее наполнились слезами.

— Чудесное путешествие меня ждет, правда? — проговорила она. — Сулит столько приятного, прямо деваться некуда, а?

— Ничего-ничего, справишься, — с издевкой сказал он. — Не думаю, чтобы ты очень по мне скучала, — хотя втайне питал отчаянную надежду на то, что все будет наоборот.

— Да уж, прелестно, что и говорить, — горько промолвила она. — Сиди себе на заднем сиденье вместе с собакой... пока они, — она кивнула на Элинор и Старвика, — ведут свои замечательные разговоры... оставят меня одну сторожить собаку, а сами будут гулять вдвоем ночи напролет... просто чудо как хорошо, правда? — с яростным сарказмом сказала она.

— Так вот зачем я был нужен? — спросил он. — Составить тебе компанию на заднем сиденье! Вместо собачки! Для порядку, да?.. Чтобы выглядело приличнее, когда в Бостоне прослышат о путешествии мистера Старвика с двумя подружками! Поэтому меня приглашали, да? Занять пустое место, чтобы всегда был на подхвате — мало ли что понадобится...

Она сделала шаг к нему, сжала кулаки, глаза ее наполнились слезами и все большое тело содрогнулось от мучительной досады и отчаяния.

— Будь ты проклят! — тихим сдавленным голосом произнесла она и отвернулась, чтобы скрыть слезы, со сжатыми кулаками.

В этот миг подошел Старвик и, покраснев, спросил спокойно, небрежно:

— Послушай, Энн! Ты не дашь мне тысячу франков?

Она круто повернулась, молча посмотрела на Старвика сердитыми, красными глазами, а потом, к его и своему собственному удивлению, комично и яростно выпалила:

— Ну не-ет!

Его лицо залила краска смущения, но, поглядев на нее еще немного, он повернулся и пошел назад к Элинор. Скоро послышался ее холодный голос:

— Прости меня, Фрэнсис, но я не могу!.. Надо было раньше об этом думать!.. Если ты не останешься здесь и не поедешь завтра с нами, придется тебе самому выкручиваться... Нет, сэр, не могу... хочешь, делай по-своему, пожалуйста, а меня уволь!.. Мне этот человек *не нравится*... Я решительно не одобряю твоих намерений.. Я *не стану* тебе помогать!

Они обменялись какими-то тихими, напряженными репликами, и спустя миг Старвик сказал:

— Ты не имеешь права так говорить! Я *возмущен* твоими словами!

Круглое лицо его горело от досады и унижения; он резко повернулся и пошел, не прощаясь. Тут раздался крик проводника: "En voiture! En voiture, messieurs!"[1] — и Элинор, взглянув на Энн и Юджина, коротко сказала:

— Если хотите успеть, поторопитесь!

Юджин повернулся к Энн, чтобы проститься; она, не обращая внимания на его протянутую руку, стояла, сжав кулаки, и сердито смотрела на него мокрыми глазами.

— Прощай! — грубо сказал он. — Будешь со мной прощаться?

Она не ответила, все так же глядя на него, а потом отвернулась.

— Ну ладно, — с досадой бросил он. — Как знаешь.

1. "По местам! По местам, господа!"

Ни слова не сказав Элинор, он поднял саквояж, бросился к платформе и проскочил через калитку как раз в тот момент, когда маленький пригородный поезд тронулся. Старвик поднимался в вагон, Юджин кинулся следом, швырнул внутрь саквояж и, запыхавшись, вскарабкался наверх; проводник с сердитым лицом захлопнул за ним дверь.

LXXXVIII

По дороге в Париж Юджин и Старвик почти не разговаривали. Единственные пассажиры в отделении, они сидели друг против друга и хмуро смотрели в окно. Короткий зимний день быстро угасал, и границу Парижа они пересекли уже в сумерках; на подъезде к вокзалу Сен-Лазар вагон стал то и дело подпрыгивать на стрелках, снаружи замелькали огни; порой в окнах высоких старых домов, стоящих у железнодорожного полотна, можно было заметить и лица их обитателей. За одним окном Юджин успел разглядеть круглый, накрытый темной скатертью стол посреди комнаты, включенную лампу с абажуром и черноволосого мальчишку лет двенадцати; облокотившись на стол и подперев щеки руками, он читал книгу, а рядом деловито двигалась женщина, расставляя на скатерти тарелки, раскладывая ножи и вилки. А когда поезд сбавил скорость, он заметил, как на самом верхнем этаже старого здания, торчавшего прямо посреди путей, другая женщина подошла к окну, глянула вверх на клетку с канарейкой, потом дотянулась до нее и сняла с крючка. Краснощекая и грубоватая с виду, она напоминала "даму полусвета" отошедшей в прошлое ренуаровской поры; и все же он словно знал ее всю жизнь.

Они миновали длинные вереницы притихших темных вагонов; поблизости от вокзала мимо них пропыхтели несколько пригородных поездов, везущих людей домой после трудового дня. По большей части это были составы из маленьких, забавных двухэтажных вагончиков, какие можно увидеть только во Франции; при взгляде на эти поезда Юджину всегда становилось смешно, однако набитые едущими домой французами, они тоже казались ему удивительно знакомыми, привычными. Когда их состав уже затормозил у платформы, Юджин заметил на соседнем пути поезд, отправляющийся в порт[1]. С лоснящимися, как у пантеры, боками, роскошный, ухоженный, он стоял наготове, мурлыча, точно гигантский кот, — это великолепное средство передвижения сразу наводило на мысли о породившем его мире, полном богатства и удовольствий. За ним угадывалась целая блистательная вселенная — мир великолепных отелей и знаменитых курортов, гигантские, внушающие благоговейный трепет белогрудые лайнеры и косые столбы дыма, который валом валит из их огромных труб. Угадывалось за ним и темное побережье Франции, вспышки маяков, серые неприступные стены гавани, полукружье ее ярких, редких огней, а еще дальше — широкие морские просторы, вечный бег бурливых ночных волн, рассекаемых громадным, сияющим корпусом лайнера, а еще дальше, в невообразимой дали, едва различимые, бледные утренние очертания берегов Америки и потом — шпили и бастионы сказочного острова, легкая волшебная дымка, окутывающая камень и сталь гигантского города.

1. Специальный поезд, время отправления которого согласовано с пароходным расписанием.

Но вот поезд, в котором они ехали, стал у перрона, и Юджин со Старвиком двинулись вверх по набережной, пробираясь среди шумной толпы.

Старвик повернулся к нему, мучительно покраснел и сказал неловко, жеманно:

— Послушай! Мы еще увидимся?

— Не знаю, — коротко ответил Юджин. — Если захочешь меня найти, я, наверное, пока буду на прежнем месте.

— А потом... куда отправишься?

— Не знаю, — снова резко сказал он. — Еще не решил. Прежде чем ехать дальше, мне надо подождать, пока придут деньги на дорогу.

Румяные щеки Старвика покраснели еще сильнее, и, помолчав, он возобновил разговор с заметным смущением:

— Послушай! Ты куда сейчас?

— Не знаю, Фрэнсис, — ответил тот. — Думаю, в гостиницу: оставлю саквояж и узнаю, за мной ли еще моя комната. На всякий случай давай попрощаемся сразу — вдруг больше не увидимся.

Старвик смутился так, что на него больно было смотреть; он помолчал еще, потом сказал:

— Послушай! Ты не будешь против, если я пойду с тобой?

Он был против; он хотел остаться один, как можно скорее избавиться от общества Старвика и связанных с ним отвратительных воспоминаний, но тем не менее коротко ответил:

— Разумеется, если хочешь, пойдем со мной, хоть я и не понимаю зачем. Если ты сейчас едешь в студию, возьмем такси, подбросишь меня до гостиницы. Но если у тебя встреча с кем-то на этом берегу, так почему бы не подождать здесь?

Лицо Старвика пылало от унижения и стыда; казалось, слова даются ему с трудом, и когда он наконец заговорил, его спутник был поражен, увидев у него в глазах явное, неприкрытое отчаяние.

— Вот что, послушай! — сказал он и облизнул сухие губы. — Ты не можешь дать мне немного... немного денег? Пожалуйста.

Во взоре его промелькнуло нечто похожее на ужас и мольбу.

— Мне это необходимо, — отчаянно добавил он.

— Сколько тебе нужно?

Старвик помолчал, потом пробормотал:

— Я мог бы обойтись пятью сотнями.

Другой быстро прикинул в уме: по действующему тогда курсу пятьсот франков равнялись примерно тридцати долларам. Пришлось бы пожертвовать почти половиной всего, что у него осталось, однако достаточно было одного взгляда на лицо Старвика с написанными на нем унижением и мольбой, чтобы его захлестнула волна свирепой, мстительной радости: игра стоила свеч.

— Хорошо, — кивнул он и двинулся дальше. — Пойдем со мной в гостиницу, я брошу там вещи, а потом обменяем чеки.

Старвик согласился без возражений. И Юджин начал играть с ним, как кошка с мышью. Они взяли такси и отправились на другой берег, к нему в гостиницу. Старвик остался ждать внизу, а он пошел с саквояжем наверх, пообещав, что "забежит на минутку, только умыться", и спокойно провел у себя добрых три четверти часа. Когда он спустился вниз, волнение Старвика заметно возросло; он шагал из угла в угол и курил одну сигарету за другой. Точно так же — один спокойный, другой взвинченный до предела — они покинули гостиницу. Старвик спросил, куда они

идут; Юджин жизнерадостно ответил, что они идут обедать в скромный маленький ресторанчик на противоположном берегу. Когда они миновали мост и гигантские арки Лувра, Старвик уже кусал губы с досады. В ресторане Юджин заказал обед и бутылку вина; Старвик отказался от еды, Юджин выразил сожаление и со вкусом взялся за дело. Когда он покончил с обедом и принялся щелкать орехи, Старвик был уже на грани срыва. Он нетерпеливо осведомился, куда теперь лежит их путь, но его товарищ ответил с упреком:

— Слушай, Фрэнк, что за спешка? У тебя впереди целый вечер — куда торопиться?.. И вообще, почему бы не посидеть здесь? Местечко подходящее. Верно? Я сам его нашел!

Старвик огляделся и сказал:

— Да, место неплохое, и еда, кажется, приличная... Но, боже мой, — горько пробормотал он, — до чего же здесь пошло!

— Пошло? — с укором промолвил Юджин, состроив удивленную мину. — Ах, Фрэнк, Фрэнк, что я слышу — и это от тебя-то! Разве пристали такие речи поэту и художнику, человеку тонкому и чуткому, глубокому знатоку людей? Разве тут не великолепно, разве не чудно, разве не изумительно? — издевался он. — Ты ведь такой поклонник Франции — человек, который чувствует себя здесь как дома, в отличие от дома! Нет, Фрэнк, это недостойно тебя: я-то думал, что с каждым вдохом грудь твоя переполняется любовью к Франции. Я-то думал, что сердце твое, сердце художника, бьется в унисон с сердцами жителей этой благородной страны. Я-то думал, ты души в ней не чаешь, — находишь ее *просто изумительной*, — съязвил он, — и *чрезвычайно* прекрасной, и *невероятно* замечательной, — и вот те здрасте: ты воротишь от этих людей нос и называешь их пошлыми, словно они какие-нибудь паршивые американки! Пошло! Как же здесь может быть пошло, Фрэнк? Разве ты не видишь, что кругом одни французы?.. К примеру, этот юноша, — он указал на восемнадцатилетнего помощника официанта, который с грохотом сваливал грязную посуду со стола на поднос. — Ну разве это не *прелесть*, а, Фрэнк? — ядовито говорил он, подражая интонации приятеля. — Ведь в том, как он сгребает со стола тарелки, есть что-то *чрезвычайно* величественное и *необычайно* трогательное, — продолжал он, умышленно копируя жеманный выговор Старвика. — Честное слово, в этом вся суть, — право же, знаешь, — это прямо как на картине Чимабуэ в Лувре, которую обожаем мы оба, — ну, на той, где изображена мадонна, а вокруг нее такие маленькие мадонночки. Ты только посмотри на его руки! — проникновенно заметил он, в то время как мальчишка энергично утер рукой сопливый нос — пальцы у него были толстые, короткие. — Ну где, Фрэнк, — в восторге воскликнул он, — *где* у нас на родине можно найти что-либо подобное? Я имею в виду эту *грацию*, это *благородство*, эту полнейшую неосознанность, с которой наш юный друг только что провел рукой по носу — или носом по руке... Ха! Ха! Ха! Я совсем запутался, Фрэнк, — право!.. движение было так совершенно, так мимолетно — ей-богу, трудно сказать, что и чем — что и чем он вытер, нос рукой или руку носом, — *несомненно*, это был удивительный жест, поразительный! и сколько в нем внутренней завершенности, напоминает фугу, не правда ли? — и, серьезно поглядев на своего спутника, он с нажимом сказал: — Ведь так же, Фрэнк?

Во время этого издевательского монолога лицо Старвика пылало; он поднял на него тяжелый взор и холодно, лаконично произнес:

– Именно!.. Может быть, пойдем, если ты не против... – его румянец стал еще ярче, и он мучительно, с трудом выговорил: – и... и сделаем то, что ты обещал?

– Ну *разумеется*! – вскричал Юджин, вновь пародируя голос и манеру Старвика. – Сейчас же! Немедленно! Ту де свит – как говорят здесь, у нас!.. Пожалуйста! – с энтузиазмом воскликнул он. – Пожалуйста, Фрэнк!.. Ту де свит! – восторженно произнес он. – Ту де свит!.. Не "сейчас"! Не "сразу"! Не "немедленно"! А "ту де свит"!.. Ах, Фрэнк, как это не похоже на наш грубый язык! Кель шарм! Кель мюзик! Кель орижиналит!.. Честное слово, в этом вся суть!.. право же!..

– Именно! – повторил Старвик и поглядел на него тяжелым, горьким взглядом. – Так пойдем?

– Mais oui, mais oui, mon ami! Но сначала я хочу пригласить сюда благородного отрока, который с такой естественностью, с таким ненаигранным изяществом утерся пятернею – это было так *по-французски*!.. Мы его понимаем: ведь у нас, художников, родственные души, нес-па? Как часто мы беседовали вместе... Да-да, Фрэнк, ты полюбишь его, как родного брата... под этой форменной тужуркой бьется великое сердце Франции... и, ах! какая красота, клинок разящий галльского ума, как остроумен он и мудр... Ecoutez, garçon![1] – позвал он; парень обернулся, удивленный; потом, при виде молодых людей, толстые губы его медленно сложились в дружелюбную улыбку тупицы. С готовностью улыбаясь, он направился к ним – коренастый, неуклюжий восемнадцатилетний малый, толстые сухие губы, короткие мясистые руки с корявыми ногтями крестьянина. У него было лицо простака и тугодума, непонятливого и бестолкового, здоровый румянец во всю щеку; это лицо выражало терпеливую серьезность и животное добродушие.

– Bonsoir, monsieur, – подойдя, сказал он. – Vous désirez quelque chose?[2] – И он вновь неуклюже улыбнулся, озадаченно и доверчиво таращась на них.

– Да-да, дружок!.. Я рассказал о вас своему приятелю, и он жаждет познакомиться с вами. Он тоже американец, как и я... но очень любит Францию. Ну а я рассказал ему, как вы любите Америку!

– О да, да! – пылко вскричал парень. – Ля Франс и ль'Америк большие друзья, нес-па, мсье?

– Верно, приятель! Правильно говоришь!

– Вашингто-он! – вдруг выпалил малый в порыве счастливого вдохновения.

– О да! да!.. Лафайет! – в восторге завопил Юджин.

– Пер-шинг! – радостно воскликнул парень. – Ля Франс э ль'Америк! – горячо провозгласил он, неуклюже повернулся к Старвику, сцепил вместе два коротких, толстых пальца и принялся совать их ему под нос, энергично кивая большой башкой и восклицая: – C'est comme ça!..[3] Ля Франс э ль'Америк! – Он снова азартно потряс у Старвика под носом своими сцепленными пальцами и сказал: – Mais oui! Mais oui!.. C'est toujours comme ça!..[4]

– О господи, – простонал, отворачиваясь, Старвик, – как пошло! Как это невыносимо, ужасно!

1. Послушай, дружок!
2. Добрый вечер, мсье... Чего угодно?
3. Вот они как!
4. Завсегда так!

— Мсье? — озадаченно произнес парень и тупо, ошеломленно уставился на поникшую спину Старвика.

Единственным ответом Старвика был очередной стон; он сидел, опершись слабой рукой о спинку стула, в позе донельзя усталого, изнемогшего человека. На терпеливом лице парня, обращенном к Юджину, отразилась тревога; тот пояснил:

— Он глубоко тронут... Твои слова перевернули ему всю душу!

— А-а! — воскликнул парень, внезапно осененный счастливым прозрением, и с новым пылом принялся энергично кивать, как лошадь, повторяя:

— Mais c'est vrai! C'est comme je dis!.. La France et l'Amérique[1]...

— О боже! — не оборачиваясь простонал Старвик и слабо, безвольно махнул рукой. — Скажи ему, чтобы он ушел!

— Он глубоко тронут! Он говорит, что больше не вынесет!

Парень устремил на поникшую спину Старвика серьезный, преисполненный благодарности взгляд и собрался было развить свой успех, но тут его сердито окликнул хозяин, веля ему заняться делом и оставить джентльменов в покое.

Он повиновался с заметной неохотой, не преминув опять энергично кивнуть, провозгласить, что "La France et l'Amérique sont comme ça!" и сделать прощальный жест: сцепить согнутые крючком толстые пальцы в знак содружества наций.

Когда он ушел, Старвик устало обернулся и сказал слабым голосом:

— Боже! Ну и заведение! Как тебе удалось отыскать такое?.. И как ты вообще можешь это переносить?

— Да ты погляди на него, Фрэнк... Разве ты не в восторге? — съехидничал Юджин. — Он же ведет себя так *величественно*, так *просто*, так *незамысловато*! Право же, это *чрезвычайно* удивительно! Прелесть, право!

Бедный малый и впрямь потерял голову от такого нежданного, непривычного успеха. Опять принявшись вытирать столы и сгребать на поднос приборы, он не переставая кивал и бормотал себе под нос: "Mais oui, mais oui, monsieur!.. La France et l'Amérique... Nous sommes des vrais amis!"[2], а время от времени даже прерывал работу, дабы проиллюстрировать свои слова, сцепив два толстых пальца, и заметить: "C'est toujours comme ça!"

Эта приподнятость духа наконец довела беднягу до беды. Ибо, набрав полный поднос и одной рукой удерживая его на весу, он снова пробормотал свое "C'est comme ça" и в знак солидарности опрометчиво взмахнул свободной рукой; поднос с горой тарелок, находящийся в неустойчивом равновесии, качнулся, парень сделал отчаянную попытку поймать его, а потом, ошалело раскинув руки, полетел вслед за подносом на пол и растянулся во весь рост под грохот безнадежно разбитой посуды.

У хозяина вырвался безумный вопль. Он неуклюже подбежал к парню — плотный, приземистый французский буржуа, одетый в черное и выкрикивающий проклятья. Усы у него топорщились, точно иглы у разъяренного дикобраза, лицо, и без того красное, совсем побагровело: казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар.

— Скотина! Болван! Идиот! — завопил он на парнишку, который кое-как поднялся на ноги и стоял перед ним с дурацким выражением пол-

1. Верно! Я и то говорю!.. Франция и Америка...
2. Да-да, мсье!.. Франция и Америка... мы настоящие друзья!

ной, беспомощной растерянности. — Salaud!..[1] Свинья!.. Архитектор паршивый! — он выкрикнул это бессмысленное ругательство придушенным голосом и, кинувшись на парня, закатил ему оплеуху, а потом принялся наступать, угощая его тычками и ударами, от которых тот пытался спастись, неуклюже отпрыгивая.

— Какая грация, Фрэнк! — жестоко комментировал Юджин. — Как *величественны* и вместе с тем *просты* и как бессознательны все их жесты! Одни только руки чего стоят! — иронически заметил он, когда взбешенный хозяин наградил несчастного малого очередным безобразным, неуклюжим тычком, от которого тот чуть снова не полетел на пол. — По-моему, это чем-то напоминает фугу... что-то вроде Чимабуэ или ранних примитивистов... право, похоже...

— Ублюдок! Бандит! — завизжал хозяин и нанес плачущему парню такой свирепый удар, что тот рухнул на четвереньки: — Предатель! Misérable scélérat![2] — завопил он и неуклюже пнул толстой ногой упавшего парня.

— Ну где?.. Где, — издевался Юджин, глядя, как бедняга, горько рыдая, поднимается на ноги, — где, Фрэнк, в нашей Америке можно увидеть подобное?

— Боже! — вставая, сказал Старвик. — Это невыносимо! — И в отчаянии добавил: — Идем отсюда!

Они расплатились и вышли на улицу. Спускаясь по ступеням, они еще слышали за спиной рыдания и шумные всхлипы: закрыв толстощекое лицо короткопалыми, неуклюжими руками, мальчишка горько плакал.

Юджин не знал, для чего Старвику понадобились деньги, но ясно видел — они нужны ему во что бы то ни стало. Жалко было смотреть на него: судя по одной-двум вспышкам в ресторане и безумному нетерпению, которое он так редко позволял себе проявлять, нервы его жестоко пострадали из-за долгой задержки. Теперь он то и дело посматривал на часы; потом обернулся к Юджину и спокойно, но с глубоким негодованием сказал:

— Послушай. Если ты собираешься давать мне деньги, дай их, пожалуйста, сейчас. Иначе они мне будут уже не нужны.

И Юджин, устыдившись при виде сдержанного, но глубокого негодования на лице Старвика, осознав, что тянуть и издеваться после того, как он обещал дать деньги, было с его стороны неблагородно и низко, грубо сказал:

— Ладно, пойдем. Сейчас получишь.

Они свернули на улицу Сент-Оноре, сделали еще один поворот и зашагали к Вандомской площади, где находился обменный пункт, или "круглосуточный банк", — там приезжие могли получить за свои чеки наличные. Они вошли, и он обменял три оставшихся у него чека; ему выдали немногим больше девятисот франков. Он пересчитал деньги, отделил для Старвика пятьсот франков, положил остаток в карман, а потом, обернувшись, сунул Старвику в руку тонкую пачку банкнот, грубо проговорив:

1. Мерзавец!
2. Подлец несчастный!

— На́ тебе деньги, Фрэнк. А теперь будь здоров. Я тебя больше не задерживаю.

Он повернулся к двери, но его насмешка не прошла незамеченной.

— Минутку, — остановил его ровный голос Старвика. — Что ты хочешь этим сказать?

Он помедлил с ответом, чувствуя, как в нем медленно закипает неудержимая ярость.

— Чем — этим?

— Что ты меня больше не задерживаешь.

— Ты получил то, что хотел, или нет?

— Это ты о деньгах?

— Да.

Старвик спокойно посмотрел на него, потом сунул тонкую пачку обратно ему в руку.

— Забери, — сказал он.

На миг Юджин лишился дара речи. Его душила страшная ярость; он заскрипел зубами и сжал кулаки, изо всех сил борясь с желанием безжалостно сдавить это мягкое горло и одним ударом превратить лицо в кровавое месиво.

— Ах ты подонок... — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. — Подонок!.. — Он отвернулся, резко бросив: — Пошел отсюда!.. Хватит с меня! — И размашисто зашагал через площадь. Слышно было, как Старвик бежит следом; у поворота на улицу Сент-Оноре он нагнал его и упрямо сказал:

— Нет, я пойду с тобой!.. Право, я должен! — от волнения его голос стал почти по-женски высоким, и он страстно продолжал: — Если между нами что-то осталось невыясненным, надо разобраться с этим, пока ты не уехал... нельзя бросать так... надо покончить с этим, обязательно... право, мы должны!..

Юджин на мгновение замер как вкопанный. Все его существо — струящуюся по жилам кровь, бьющееся в груди сердце и саму плоть — сковала, точно паралич, ледяная жажда убийства. Он облизнул пересохшие губы и хрипло вымолвил:

— Покончить! — кровь жаркой волной ударила ему в голову, одновременно напряглись руки, в нем вскипела какая-то свирепая, неудержимая сила и проклятье воплем, звериным рычанием исторглось из его груди:

— Покончить! Ладно, сволочь, мы с этим покончим! Покончим, ты, жеманная б... — грязное ругательство наконец сорвалось с его губ в слепом порыве лютой ненависти, и вдруг словно разом лопнула тугая сеть, которая не давала вырваться наружу душившей его черной злобе и отчаянию побежденного. Он подался вперед, сгреб Старвика за грудки — ненависть и вспыхнувшая в нем жажда убийства придали его рукам страшную, невероятную силу, — оторвал легкое тельце от земли, точно мешок с тряпьем, и хватил его о стену дома с такой звериной яростью, что голова Старвика, ударившись о камень, отскочила назад, словно мячик. Старвик потерял сознание; шляпа его слетела, трость выпала из разжавшихся пальцев и с громким костяным стуком покатилась по мостовой. Зрачки на миг плавно, механически, как у куклы, закатились и вернулись обратно. Затем, когда Юджин ослабил хватку, колени его подкосились, глаза закрылись, голова поникла, и он стал падать, скользя спиной по стене.

Старвик упал бы, если бы Юджин не поймал его, не поддержал и не прислонил к стене на то время, пока длился обморок. И в эти секунды

Юджина захлестнуло такой крутой, мощной волной стыда, отчаяния и тошнотворного ужаса, что он сам едва устоял на ногах. Вся кровь на миг отхлынула от его сердца, и оно превратилось в пустую скорлупу. Он решил, что убил Старвика — сломал ему шею или повредил череп, — но хрупкая фигурка его мертвого или потерявшего сознание товарища по-прежнему была исполнена грации и томного величия. Голова его тяжко склонилась к плечу, сползшее по стене тело замерло в прекрасной и жуткой позе последнего отдыха — эту позу можно увидеть на великих полотнах, изображающих снятие Спасителя с креста, — как будто красота, гармония и внутренняя соразмерность всех произведений искусства, на которые Старвик взирал, надев личину невозмутимости, оставили на нем свой неизгладимый след и этот след не могли стереть даже смерть или потеря сознания.

В этот миг его соперник острее всего осознал свой полный, окончательный крах. У него было такое чувство, словно под конец своего рокового пути он намеренно совершил самое мерзкое и постыдное деяние, словно несчастья, худшего, чем то, в котором он оказался повинен, нельзя себе и представить. И причиной этому был не только отчаянный, тошнотворный ужас при мысли о насильственной смерти Старвика — смерти от его рук. Юджина угнетала еще и кощунственность его поступка, ему казалось, что от последствий столь жестокой и отвратительной развязки ему теперь никогда не избавиться, что этого пятна он никогда не смоет. Ибо есть редкие натуры, исполненные такого врожденного достоинства, — люди, тело и душа которых настолько неприкосновенны, что всякая фамильярность, всякое оскорбление, а тем паче насилие по отношению к ним просто немыслимы. И если оскорбление нанесено, если насилие совершилось, преступнику воздастся сторицей, он будет сурово наказан: неизгладимая память о случившемся заставит его стократ пережить свое преступление, всякий раз заново испытывая тот же ужас и мучаясь тем же позором.

Старвик принадлежал именно к таким людям: его осенял столь явный ореол неприкосновенности, что в этом отношении Юджин не знал ему равных. И теперь, когда Юджин стоял, поддерживая Старвика у стены, окликая его по имени, тормоша и умоляя очнуться, охватившие его стыд, отчаяние и горькое сознание бесповоротного краха были страшно, неизмеримо глубоки. Ему казалось, что никаким другим поступком нельзя было яснее подчеркнуть превосходство врага и его собственное поражение. И мысль, что Старвик навсегда останется в выигрыше, всегда будет лишать его самого дорогого, что никогда и ни в чем ему не сравниться с ним, не достичь даже самой пустячной победы, преисполнила его невыносимого ужаса. И, страдая и казнясь, он горько проклял свою глупость, толкнувшую его на этот поступок. Он охотно отдал бы руку — ту самую, которая нанесла удар, — лишь бы вернуть все назад, но знал, что каяться поздно, и вдруг понял с безумным страхом, что о его провале и позоре теперь знает и Старвик, что он будет помнить об этом всю жизнь и уже одно это поможет ему сохранить уверенность в своей полной и окончательной победе. И этот стыд, ужас, мучительное и неизгладимое сожаление о содеянном не покинули его и тогда, когда он с болезненным облегчением заметил, что веки Старвика затрепетали, поднялись, а затем мутный, бессмысленный взгляд его сменился спокойным и осознанным.

И все-таки Юджин испытал невероятное облегчение. Он нагнулся, поднял с земли шляпу и трость Фрэнка и протянул их ему со словами:

— Извини, Фрэнк.

Старвик надел шляпу и взял трость.

— Ничего. Наверное, этого было не избежать, — сказал он спокойным, ровным и безжизненным тоном. — Но теперь, перед тем как расстаться, мы должны понять, что это. Надо разобраться в этом, выяснить, в чем здесь дело. Обязательно надо, честное слово! — В его голосе прозвучала несгибаемая решимость, интонация, уже знакомая Юджину, — он знал, что эту решимость не способны поколебать ни угроза смерти или физического насилия, ни боязнь навлечь на себя другие, сколь угодно тяжкие беды. — Мне надо понять, что это такое, прежде чем я расстанусь с тобой, — сказал Старвик. — Обязательно.

— Ладно! — с безрассудной решимостью воскликнул Юджин. — Пойдем же!

И, рука об руку, они молча зашагали по пустынной мостовой улицы Сент-Оноре, мимо закрытых магазинов и старых молчаливых зданий, которые, как живые, словно наблюдали за страданиями измученного Юджина, — бесконечно жестокие, немые и бесстрастные, будто само загадочное время, хранящие долгую память о минувших веках, о невыразимых муках, тоске и смятении миллионов растаявших как дым, безымянных и забытых человеческих жизней.

Так, в позоре, тишине и отчаянии, началась безумная, хмельная, разнузданная, головокружительная пляска ночи.

LXXXIX

На следующее утро, часов около десяти, в дверь к Юджину постучали, и вошел Старвик. Ни словом не упомянув о прошлом вечере, он сразу же, в обычной своей небрежной манере, обронил:

— Послушай. Элинор и Энн здесь, они приехали сегодня утром.

— Где они? — это внезапное сообщение поразило его точно электрическим током. — Здесь? Внизу?

— Нет, пошли по магазинам. Я договорился с ними на ленч у Прюнье. Энн сказала, что, может быть, попозже зайдет к тебе на минутку.

— До ленча?

— Да, — ответил Старвик. — Послушай, — снова небрежно, жеманно произнес он. — Ты, наверное, вряд ли захочешь пойти с нами на ленч?

— Благодарю, — неловко ответил Юджин. — Но мне нужно в другое место.

Усилие, которое совершил Старвик, чтобы преодолеть смущение и задать этот вопрос, заставило его мучительно покраснеть. Он оперся на тросточку и продолжал, глядя в окно:

— Еще вот что, послушай. Элинор просит не забывать ее. — Он немного помолчал, затем добавил, хотя каждое слово давалось ему с трудом: — После ленча мы заглянем в Лувр: я хочу напоследок еще раз посмотреть Чимабуэ.

— Когда вы уезжаете?

— Завтра, — сказал Старвик. — Послушай, — осторожно промолвил он, глядя в окно, — мы выйдем из Лувра часа в четыре... я думал... если ты окажешься где-нибудь поблизости... по-моему, Элинор с удовольствием повидалась бы с тобой перед отъездом. Мы будем у главного входа.

Сообщить все это явно стоило ему больших мучений: на протяжении всего разговора он опирался на свою тросточку и не отрываясь смотрел

в окно, а однажды на его румяном лице промелькнула знакомая животная гримаса, выражение, полное неизбывной боли и тоски, — впервые Юджин заметил его еще несколько лет назад в Кембридже, где они познакомились. Потом, не глядя на Юджина, Старвик шагнул к двери. Стоя спиной к нему, помедлил, рассеянно постукивая тростью по стене.

— Хорошо, если тебе удастся прийти. А если нет...

Он обернулся; глаза их встретились последний раз в жизни, и оба они без уверток, не таясь обнажили друг перед другом свою душу. Потом каждый из них время от времени еще ловил взглядом далекие отблески чужой жизни, судьбы их по воле непредсказуемого случая и трагических обстоятельств удивительным образом переплетались, но они никогда больше не стояли лицом к лицу.

Теперь же, открыто и прямо глядя на Юджина — в его лице и глазах, в интонациях голоса, во всем его облике сквозила глубокая искренность, — Старвик промолвил:

— Если мы больше не увидимся, тогда прощай, Юджин. — Он помолчал еще немного, потом ровным голосом заговорил вновь, и на лице его вспыхнул румянец — так глубоко и серьезно было вложенное в слова чувство: — Ты был мне добрым другом. Я никогда тебя не забуду.

— Я тоже, Фрэнк, — ответил Юджин. — И не важно, что произошло, — пусть наши отношения изменились, — но ты занимал в моей жизни такое место, какого больше не занять никому.

— Какое? — спросил Фрэнк.

— Вот какое: ты был молод — мой сверстник, — и ты был моим другом. Вчера ночью, после... после того, что случилось, — продолжал он, покраснев в свою очередь при этом мучительном воспоминании, — я долго думал обо всех годах нашего знакомства. И я только теперь понял, что ты — первый и единственный мой ровесник, которого я мог назвать своим другом. Ты был моим единственным истинным другом — я всегда надеялся на тебя, безоговорочно в тебя верил. Ты был единственным настоящим моим другом. Теперь все иначе. Ты отнял у меня самое важное, отнял, даже не подозревая об этом, и тут уже ничего не поправить. Ты был моим братом и моим другом...

— А теперь? — тихо спросил Старвик.

— Ты мой смертельный враг. Прощай.

— Прощай, Юджин, — грустно ответил Старвик. — Но вот что еще я хочу сказать. Что бы я у тебя ни отнял, я не хотел, не искал этого. И я бы вернул это обратно, если бы мог.

— Ах, какое душевное благородство, — съязвил другой. — Надо же, какой счастливчик: можешь дарить направо и налево, сам не замечая того, и все равно останешься победителем — ах, какая кротость и доброта!

— И еще, — продолжал Старвик. — Какие бы муки и страдания ни причиняли тебе твой сумасшедший голод, твои неутолимые желания, каким бы счастливчиком я тебе ни казался, я променял бы всю свою жизнь на один час твоей, чтобы хоть на час обрести пусть самую малую толику твоих мук, твоего голода, твоих надежд... Как хорошо жить, чувствовать и страдать — пусть даже все это сплошное заблуждение! Прийти в этот мир полным сил, молодости, жизни... а не так, как я, — мертворожденным... не ведать, что значит мертвое сердце и бесстрастная страсть... холодный мозг и холодная безнадежность надежды... быть неукротимым безумцем, яростным мучеником, но все-таки верить; жить в страданиях, но все-таки жить, а не умирать... — Он повернулся и распах-

нул дверь. — Я отдал бы все, что имею, и все, чем я, по-твоему, богат, за один-единственный час такой жизни. Ты называешь меня удачливым, счастливым. Но я не знаю человека удачливей и счастливей тебя самого. Прощай, Юджин.

— Прощай, Фрэнк. Прощай, враг мой.

— Прощай, друг, — сказал Старвик. Он вышел, и дверь за ним затворилась.

В четыре часа пополудни Юджин ждал их у главного входа в Лувр. Увидев, как они спускаются по лестнице, он вдруг почувствовал прилив глубокой нежности к ним и подумал, что все трое, в сущности, прекрасные люди. Элинор сразу же направилась к нему и заговорила с ним мягко, дружески, искренне, без тени манерничанья, жеманства и скрытой недоброжелательности. Пока они беседовали, Старвик спокойно стоял рядом; Энн наблюдала за ними, спрятав руки в карманы мехового жакета, угрюмая и молчаливая. В сгущающихся серых сумерках они производили впечатление славных, симпатичных, щедрых людей, которым чуждо все низкое и мелочное, людей, чья жизнь непременно должна быть благородной и возвышенной. По сравнению с ними все прочие посетители музея выглядели как убогие провинциалы; даже американцы и другие туристы казались серыми, жалкими и неинтересными. На миг он ощутил едкую горечь неразрешимой жизненной тайны, в нем вспыхнуло отчаяние и безумная надежда. Что в этой жизни не так? Что проникает в души людей, коверкая их истинную природу, ломая, калеча и извращая их искренние и благородные побуждения? Откуда появляются мерзкие, коварные демоны жестокости и распада, мук, ошибок и заблуждений, отчего с несокрушимым, злобным упорством толкают они людей на поступки, которых те не хотят совершать, — на поступки, которые откликаются такой болью, ибо они не достойны их благородных натур и подлинных целей?

В этих мыслях было столько горькой обреченности и тщеты, что они буквально сводили с ума, — но тайна оставалась неразрешимой. Когда трое этих замечательных, необыкновенных и равно прекрасных людей разговаривали и прощались с ним, каждое их движение, взгляд, каждое слово красноречиво выражали стойкую непоколебимость человеческой веры. Их спокойные, серьезные и дружелюбные лица и жесты, простая, ясная и дружелюбная речь, невольная нежность друг к другу — она сквозила в их позах, взглядах, которыми они обменивались, мелких невольных жестах и словно объединяла их в одно целое своим живым теплом, — все это с откровенной, неприкрытой, чудесной простотой точно стремилось сложиться в слова, которые невозможно было не понять:

"Обязательно приходит миг, когда, задержавшись на краю обрыва, оставив яростную борьбу, мы успокаиваемся и оглядываемся; тает пелена болотных испарений, чреватых лихорадкой, призраки расплываются, словно обманчивый мираж, и мы стоим здесь с тобою вместе, друг, мы обретаем способность видеть ясно, наши души исполнены мира и сердца спокойны — и мы имеем то, что имеем, знаем то, что знаем, и мы есть то, что мы есть".

Ему казалось, что для всех четверых сейчас и настал такой миг, что безмятежный покой и мудрость снизошли на них и сквозят в каждом их взгляде; ему казалось, что вся его жизнь, все годы, минувшие с той поры, как он впервые отправился на таинственный Север и увидел большие города, — с той поры, как он впервые встретил Старвика, — были лишь

призрачным кошмаром — пестрой вереницей безумных, яростных дней и хмельных бесшабашных ночей, неизмеримой бездной, полной бесчисленных памятных эпизодов, метаниями крохотной пылинки, затерянной среди исполинских теней, оглушенной и задыхающейся в круговороте бессмысленных битв, пустой суеты и слепой ярости. И теперь ему казалось, что он — как и все они — впервые обрел ясность ума и покой и что истина, скрытая в душе каждого человека, впервые предстала их внутреннему взору и нашла свое подлинное выражение.

Держа его за руку, Элинор неторопливо говорила:

— Мне жаль, что ты не поедешь с нами. Пока мы были вместе, с нами случались и странные, и малоприятные вещи, мы часто вели себя безрассудно, но это уже в прошлом; все мы мучились и переживали и все теперь жалеем о своих поступках. Я хочу сказать напоследок, что мы все любим тебя и всегда будем вспоминать о тебе как о своем друге, и надеяться, что ты живешь счастливо, и радоваться твоим успехам, как своим собственным... А сейчас прощай, милый, и постарайся всегда думать о нас с симпатией и любовью — так же, как мы будем думать о тебе. Не забывай нас; всегда поминай нас добром, и мы тоже запомним только добро... Быть может, — на лице ее промелькнула улыбка, и веселая, и задумчивая, — быть может, когда я стану пожилой бостонской леди и заведу себе кошку, попугайчика и канарейку, ты как-нибудь заглянешь ко мне. Из меня выйдет симпатичная старушка, но у меня вряд ли будет много развлечений... потому что у нас не забывают ничего и никогда... забыть могут где угодно, только не в Бостоне... а на этот раз, лапка, я слишком далеко зашла. Так что мне не будут досаждать визитами, и я тоже всех оставлю в покое... а потому, если ты не будешь обременен богатством, или славой, или излишней добропорядочностью, приходи повидаться со мной... А сейчас прощай.

— Прощай, Элинор, — сказал он. — Всего тебе доброго.

— Послушай, — спокойно сказал Старвик, — мы пойдем... Элинор и я... Я думаю... если ты не собирался куда-нибудь еще... вы с Энн могли бы пообедать вместе.

— Я... я не... — запнулся он, глядя на Энн. — Но может, ты...

— Нет, — угрюмо и жалко, уставившись в землю, промолвила она. — Я тоже не.

— Ну, — сказал Старвик, — тогда увидимся позже, Энн... Прощай, Юджин.

— Прощай, Фрэнк.

Они в последний раз обменялись рукопожатием, а затем Старвик и Элинор покинули их. Так короткие, будничные прощальные слова навеки расторгли узы дружбы — разбили прежнюю веру, надежды и пылкие клятвы юности. Они виделись потом еще однажды — по воле случая их судьбы нежданно пересеклись, — но никогда больше не разговаривали друг с другом.

Они хранили неловкое молчание, пока не увидели, что Старвик и Элинор взяли такси и укатили. Потом зашагали вперед: надо было пересечь гигантский четырехугольник Лувра. Очертания раскинувшегося впереди Тюильри и площади Согласия скрадывала легкая голубоватая дымка. Крохотные такси носились по огромному пространству между гигантскими крыльями Лувра, ныряли под арки, наполняя двор угрожающим осиным жужжанием, тревожными и пронзительными гудками. И, прони-

кая сквозь завесу голубоватого тумана, их ушей достигал безбрежный рокот волшебного Парижа, гул мощный и дремотный, точно голос самого времени, — в этом гуле сливались разговоры и громкие восклицания четырех миллионов горожан, но он все равно оставался приглушенным — ровный, манящий, грозный и волнующий, пение жизни и смерти. Он завораживал Юджина могучими чарами сказочной, пленительной жизни. Дышалось легко, воздух был свеж и словно насыщен неуловимым ароматом надежд большого города, тайных обещаний, печали, восторга и ужаса, отчаянного и безымянного голода, нестерпимого желания. Все тело его сладко ныло в предвкушении чего-то чудесного, и сердце билось скорей и сильнее; он дышал глубоко; разлитый в воздухе пьянящий аромат заставлял кровь быстрее бежать по жилам и, смешиваясь с переполнявшими его грудь тоской, радостью и печалью, порождал какое-то необыкновенное, волшебное чувство, будил неутолимую жажду приключений.

Они не спеша пересекли гигантский двор Лувра и, пройдя под сводами огромной арки, оказались на улице Риволи. Там царила предвечерняя суголока, властная суета жизни и городского движения; улица кишела блестящими автомобилями — угрожающе урчали моторы, раздавались гудки и предостерегающие оклики, — а по другой ее стороне, под арками и меж колонн, нескончаемым потоком текла парижская публика.

Они перешли улицу, углубились в бурлящий лабиринт, выбрались из него на площадь перед Театром комедии и отыскали свободный столик на веранде кафе "Режанс". Многочисленные посетители уютного старого кафе весело болтали, и все-таки по сравнению с улицей, где яростно бурлила толпа, здесь было удивительно спокойно и уютно. Маленькие отдельные терраски, столики, потертые канапе и старые стены — все здесь казалось каким-то по-домашнему милым, и сразу возникало впечатление, будто находишься в уютной кабинке для наблюдений, в ложе старого театра, сценой которому служит весь мир.

В одной из таких уютных кабинок на веранде славного старого кафе им удалось найти свободные места; они уселись и заказали официанту обед. Потом некоторое время сидели молча, потягивая бренди и наблюдая за пестрой уличной суетой.

Наконец, не глядя на него, Энн сказала ровным, почти лишенным выражения голосом:

— Что вы с Фрэнком делали вчера вечером?

Он встрепенулся; сердце его забилось быстрее; он быстро взглянул на нее и ответил:

— Да так, ничего. Пообедали, прогулялись — вот и все.

— Всю ночь гуляли? — коротко спросила она.

— Нет. Я пришел рано. В двенадцать был уже дома.

— Что случилось с Фрэнком?

Удивленный, он пристально посмотрел на нее.

— Случилось? О чем ты, что значит "случилось"?

— Что он делал после того, как ты отправился домой?

— Откуда я знаю? Наверное, пошел в студию. Зачем тебе это?

Она немного помолчала, угрюмо глядя на улицу. Заговорив снова, она так и не посмотрела на него; голос ее был ровен, сух и холоден, спокоен, мрачно-невозмутим.

— Ты считаешь, это по-мужски — здоровому детине вроде тебя лезть с кулаками на такого, как Фрэнк?

Он задохнулся от ярости, перед глазами у него все поплыло. Он заскрипел зубами, медленно качнулся взад-вперед и тихо, с усилием выговорил:

— Так он, значит, сказал тебе? Прибежал поплакаться, так, что ли? Паршивый...!

— Ничего он нам не сказал, — сухо ответила она. — Фрэнк не из таких — он не любит хныкать. Только мы не могли не заметить у него на затылке шишку размером с гусиное яйцо, а дальше мне уже нетрудно было догадаться. — Она повернулась, прямо, безжалостно поглядела на него и резко сказала: — Замечательно это ты придумал, а? Решил, наверное, одним махом все уладить. Что ж, теперь тебе есть чем гордиться!

Тонкий, острый клинок жестокой ревности пронзил его грудь и повернулся в сердце. Голосом, дрожащим от невыносимой муки и унижения, он стал горько язвить:

— Ну-ну, Фрэнки, пупсик!.. Неужели плохие, злые дяди разбили твою драгоценную головку?.. Ничего, ничего, сладенький! Сейчас мамочка поцелует, и все пройдет... Сейчас твоя большая, ласковая мамулечка-дорогулечка поцелует вот здесь, и все заживет! А в следующий раз, когда наш карапузик пойдет гулять, наша добрая мамулечка из Бостона пойдет с нами, да, пупсик? — и поглядит, чтобы этот гадкий, гадкий дядя нас больше не трогал.

Она сердито покраснела и сказала:

— Никто не собирается нянчиться с Фрэнком. Он этого не хочет, да ему это и не нужно. Только я считаю, что это просто свинство, когда здоровая дубина не может держать себя в руках и затевает драку с таким хрупким человеком, как Фрэнк. Тебе должно быть стыдно — это просто гадко с твоей стороны!

— Ах ты сука, — медленно, тихим сдавленным голосом произнес он. — Ты, чистенькая, ухоженная, вылощенная сучка для бостонских снобов!.. Катись обратно в Бостон! — зарычал он. — Катись туда, откуда приехала, — там тебе место!.. Я, стало быть, здоровая дубина, да? А этот паршивый жеманный эстетишка — самый расчудесный на всем белом свете!.. Да будьте вы прокляты, дешевки, дрянь, шлюхи бостонские! вместе с этим вашим "Он чудный, он такой чудный, право!" — "Ах, чудо! Ах, прелесть! Ах, как это замечательно!" — бессвязно выпаливал он. — Да кого вы, в самом деле, из себя корчите? С души воротит от этого вашего бостонского сюсюканья!.. Так значит, я здоровая дубина, да? — Эти слова жгли его невыносимо. — А милый, чудненький крошка Фрэнсис слишком хрупкий, слишком нежный... ах, он сладенький... а бандиты вроде меня взяли да и размозжили ему головку об стенку... Да будь ты проклята, Энн! — взвизгнул он. — Ты-то кого из себя корчишь, кукла проклятая, кобыла бостонская? Кто ты такая, что я должен сидеть тут и слушать твою бостонскую чушь да помалкивать, пока вы, две бостонские шлюхи, превозносите Старвика до небес с утра до вечера и рассказываете мне, какой он гениальный и насколько он лучше всех остальных? Смешно, ей-богу! — сбивчиво восклицал он, ослепнув от ярости и боли, перебивая самого себя, потому что уязвленная гордость не давала ему как следует собраться с мыслями. — Смотреть, как все достается этому паршивому эстетишке! Да ты не стоишь того! Не стоишь! — горько воскликнул он. — Ты говоришь, что я здоровая дубина, — а я за одну минуту почувствую больше, узнаю больше, увижу больше, во мне больше жизни, сил и воображения, чем во всех вас, вместе взятых, — да я настолько лучше

всех вас, что... что... нет никакого сравнения! — неуклюже выпалил он и продолжал: — Да ты не стоишь того! Не стоишь, Энн! Почему же я должен падать перед тобой на колени, и боготворить тебя, и вымаливать у тебя хоть одно слово любви и сострадания... а ты называешь меня здоровой дубиной... а сама всего лишь бездарная богатая аристократка... и не стоишь того! — отчаянно вскричал он. — Почему так получается, ведь ты не стоишь того, Энн?

Она покраснела, потом коротко, сердито усмехнулась и сказала:

— Боже! Прелестный нынче будет вечерок, судя по тому, что ты тут вопишь как сумасшедший и уже начал расточать комплименты. — Она горько поглядела на него и сказала язвительно: — Ты ведь умеешь говорить такие милые вещи! Ах, чудесно! Чудесно! Просто замечательно! — У нее снова вырвался сердитый, отрывистый смешок. — Боже! Кое-чего из этих милых вещей я никогда не забуду!

И, уже мучимый раскаянием и стыдом, невыразимой гложущей болью в сердце, он схватил ее за руку и взмолился покорно, униженно:

— Да, я знаю! знаю!.. Прости меня, Энн, я больше не буду — Бог свидетель, честное слово, не буду!

— Почему ты так себя ведешь? — спросила она. — Почему ты бранишь и поносишь меня и говоришь такие вещи о Фрэнсисе, одном из самых замечательных людей на свете, который о тебе ни разу слова худого не сказал?

— Да знаю я! — жалко простонал он и стукнул себя по лбу. — Я не хотел... просто не мог удержаться... Энн, Энн! Я так тебя люблю!

— Ага, — пробормотала она, — хороша любовь, которая позволяет говорить такие вещи!

— Но когда я слышу, как ты хвалишь Старвика, на меня опять находит... Господи! Господи!.. почему все так сложилось? Почему именно Старвика ты...

Она встала, разгневанная, пылая негодованием.

— Хватит! — бросила она. — Не можешь держать себя в руках, не можешь помолчать об этом — тогда я не намерена оставаться...

— Не уходи! Не уходи! — взмолился он, в порыве ужаса схватив ее за руку и не отпуская. — Ты же хотела остаться! Побудь еще немного — только не уходи, не бросай меня, Энн! Прости меня! Я больше не стану говорить об этом, обещаю тебе. Только подумать... нет, нет, не уходи, Энн! Пожалуйста, не уходи! Я стараюсь молчать, но не могу с собой справиться! Все, больше не буду про это — только не уходи! Останься со мной хоть ненадолго, и все будет в порядке. Честное слово, все будет хорошо, ты только не уходи.

Она стояла, прямая, неподвижная, опущенные руки сжаты в кулаки, глаза полны слез от смущения и досады. И вдруг с непроизвольным, отчаянным жестом вконец измученного человека она горько воскликнула:

— Боже! Зачем все это! Ну почему люди не могут быть счастливы?

Они метались по городу целую ночь. Они посетили все прежние места — те места, где уже бывали с Элинор и Старвиком. Они были в "Ле-Ра-Мор" и в "Лекок-э-Лан", в "Мулен-Руж", и в "Ле-Баль-Табарен", и в "Ла-Боле", в "Жокей-клубе", у Собора и в "Ротонде" — даже в "Баль-Бюлье". Они заходили в большие ночные рестораны и в маленькие, в огромные кафе и маленькие бары, они обошли все низкопробные заведения и злачные места, все притоны и кабаки; они побывали и там, где бывает только бо-

гатая и фешенебельная публика — иностранцы, состоятельные французы, туристы, эмигранты, — и в таких местах, куда богачи и аристократы заглядывают лишь ради того, чтобы увидеть жизнь, кишащую на самом дне, тварей, населяющих гигантскую трясину ночи, — воров, проституток, жуликов, сводников, лесбиянок и педерастов — зловонные человеческие отбросы, проклятую тлетворную стихию первобытного зла, которое выползает наружу из темных крысиных нор, живет лишь под сенью мертвенного электрического ночного зарева, а потом, словно по мановению волшебного жезла какого-то черного мага, уходит, растворяется, бесследно исчезает в породившем его лабиринте.

Куда все пропало? Тот, другой мир, в котором они жили совсем недавно, полтора месяца назад, мир, полный ночного волшебства и колдовского очарования, теперь казался далеким и нереальным, как сон. Невозможно было поверить, что эти дешевые заведения со слепящими огнями, стершейся позолотой, безвкусными зеркалами и есть те самые чудесные уголки, где всего полтора месяца назад им кружили голову тяжкие дурманные ароматы, те самые оазисы, которые сверкали в ночи, точно таинственные и соблазнительные прибежища порочных страстей. Теперь они безвозвратно поблекли: дешевые, точно Кони-Айленд, испещренные пятнами и жалкие, будто накрашенное лицо потаскушки на полуденном свету. Все окутывавшие их волшебные чары развеялись, обнажив презренное, вопиющее убожество; посетители были до отвращения невзрачны, музыка мертва — от них остались лишь тени прежних великолепных, демонических личностей и незабываемых мелодий.

И теперь они поняли, что так оно и есть на самом деле, так было всегда. Кафе, люди, музыка — ничто не изменилось. Изменились только они сами. И они переходили в ночи из одного заведения в другое, пили, смотрели, танцевали, делали то же, что и прежде, но это не помогало: все стало неинтересным, все навеки утратило свое недавнее очарование. Они сидели угрюмые, точно под конец карнавала, чувствуя странную опустошенность; их преследовали видения прошлого. Призраки Элинор и Старвика — особенно Старвика — сопровождали их повсюду, они были словно череп на праздничном столе. И Юджина вновь захлестнула мутная, яростная досада, он понял, что проиграл бесповоротно и окончательно: отсутствуя, Старвик торжествовал победу еще более явно, чем если бы не покидал их, ибо лишь он один благодаря своему необычайному, редкостному дару мог волшебно преобразить этот жалкий балаган, и теперь все волшебство исчезло вместе с ним.

Потом все слилось в вихре смятенной ярости, сумасшедшего поиска и отвергнутого желания. Всю ночь они метались между двух сияющих полюсов — Монмартра и Монпарнаса; то, что ему потом удалось вспомнить, походило на разрозненные обрывки какого-то кошмара: темные затихшие улицы, старые молчаливые дома, долгий спуск с Монмартра; внезапный всплеск огней на площадях, бульварах; кафе, ночные рестораны и проспекты, ошеломляющий глоток холодного воздуха после очередного бара и вновь путешествие по темным улицам, где-то в отдалении — визгливый гудок такси, лихие виражи на безлюдных перекрестках, лучи света, падающие на воду Сены, мосты, и гулкие арки, и темные улицы, крутой склон холма и вновь — иссиня-белое зарево ночи, разношерстная и зловещая ночная публика.

Он не знали, зачем идут дальше, почему не останавливаются, не прекращают эту бесплодную гонку. Но что-то удерживало их вместе; они не

могли попрощаться и разойтись. Энн по-прежнему была мрачна, сердита, говорила мало, предпочитая хранить молчание, в кафе и барах заказывала бренди, в ночных ресторанах — шампанское, но сама пила немного и, пока пил он, продолжала угрюмо, сердито молчать.

Он был словно взбесившийся зверь; он рвал и метал, вопил, изрыгал проклятия, просил, умолял, бранил ее и признавался ей в любви одновременно, во всех его речах не было ни связи, ни смысла, ни толку; они изливались наружу в едином страстном порыве, порожденные жестоким столкновением слепой любви, ненависти и невыразимой тоски, терзавших его измученную душу:

— Ох, Энн!.. Стерва, какая же ты красивая... Все молчишь, угрюмая, мрачная, милая, — вот и пойми тебя, шлюха бостонская! Ах, стерва!.. Стерва! — простонал он и сжал ее руку, отчаянно восклицая: — Энн, Энн, я люблю тебя!.. Ты самая прекрасная... самая милая... лучшая... самая красивая в мире... Энн! Ну погляди же на меня, ты, бессловесная, тупая скотина... Ах, стерва... Сучка бостонская... Скажи хоть слово... будь человеком... Оттай, растопись, ледышка... Молчишь, мрачная, красивая стерва!.. неужто ты совсем пустая... совсем безмозглая?.. Энн, милая, упрямая дурочка, если б ты знала, как я тебя люблю...

— Боже! — воскликнула она с коротким, быстрым, сердитым смешком, от которого лицо ее на миг словно осветилось и стало несказанно прекрасным, удивительно нежным и чистым. — Боже! Хорош влюбленный! То ты меня любишь, то ты меня ненавидишь, то я мрачная, бессловесная бостонская шлюха, то пустое место, а то вдруг самая распрекрасная девушка в мире! Нет, ты просто очарователен! — горько усмехнулась она. — Ай да комплименты!

— Стерва! — жалко простонал он. — Милая, чудная, угрюмая, безмозглая, — Энн, Энн, ради всего святого, скажи что-нибудь, ответь мне! — Он схватил ее за руку и отчаянно тряхнул. — Скажи хоть слово, покажи мне, что ты еще жива, что в тебе остались хоть какие-то крохи жизни, любви, красоты. Энн, Энн, взгляни на меня! Бога ради, скажи мне, кто ты? Неужели ты совсем пустая? У тебя что, ничего за душой нет? Ради Христа, вымолви хоть одно живое слово — ради Христа, покажи мне, что ты настоящий человек, а не дохлая рыба, сплошь Бостон, Бэк-Бей и холодная рыбья кровь, — несуразно выпалил он.

— Боже мой! Бостон и холодная рыбья кровь, с ума сойти! — покраснев, сердито пробормотала она.

— Ну а кто, кто ты? — язвительно продолжал он. — Скажи, ради Бога, что ты за женщина? Никогда я не слышал от тебя ничего такого, что не мог бы сказать десятилетний ребенок. Никогда не слыхал ничего, что стоило бы запомнить. Все, что я о тебе знаю — это что ты из Бостона, не замужем — тридцать лет — уже не молоденькая — потихоньку начинаешь седеть — хорошо обеспечена, получаешь надежный доход — приехала сюда развлекаться, подальше от папаши, семьи и "Бостон ивнинг транскрипт", но ни на миг о них не забываешь, понимая, что вернешься к ним, — скажи на милость, да неужели это все?

Она издала короткий сердитый смешок, но в смехе ее не было злобы.

— Фрэнк назвал бы это кратким, но мастерским описанием, верно? Есть за что поблагодарить. — Она спокойно поглядела на него и просто сказала: — И что с того? Даже если ты прав, что с того? По твоим словам, я всего лишь самая заурядная, серая личность, и пока не объявились вы со Старвиком, никто не видел во мне ничего другого и замечал только

то, о чем ты сказал. Слушай, — голос ее был тверд, в нем звучал угрюмый вызов, — чего ты вообще хочешь от людей, а? Ты считаешь, это порядочно — говорить о том, какая я распрекрасная, хотя я вовсе не такая, а потом идти на попятный и ругать меня за то, что я всего лишь обыкновенная женщина? — Она помолчала, залившись сердитым румянцем, затем сказала: — Что касается моего интеллекта, то я закончила Брин-Мор[1], хвостов не имела, вышла со средней оценкой "хорошо". Это насчет моей головы. — Она прямо, сердито взглянула на него, глаза ее были мокры от слез. — Что с того? — продолжала она. — Ты говоришь, я тупая, обыкновенная, серая, — ладно, я больше ни на что и не претендую. Не всем же быть гениями вроде вас со Старвиком, — сказала она, и вдруг слезы покатились у нее из глаз по залитым краской щекам. — Я такая, какая есть, и никогда не пыталась стать другой — а если ты считаешь меня тупой, бестолковой, обыкновенной, это еще не дает тебе права оскорблять меня... Пойдем, я хочу домой, — она попыталась встать, но он удержал ее, притягивая к себе.

— Ах, стерва... Мрачная, угрюмая, чудная моя... Ах, Энн, Энн, как я люблю тебя... я ни за что не отпущу... ох, чтоб тебя, Энн...

Это закончилось только на рассвете, в закусочной неподалеку от "Ле-Заль", куда они с Элинор и Старвиком часто ходили по утрам пить шоколад или кофе с булочками. Неподалеку, на рынке, уже началась предрассветная суета — оттуда долетали шум и грохот, крики продавцов, смесь всех чудесных запахов земли и утра, первых лучей солнца, здоровья, и радости, и начинающегося дня.

Когда они вышли из закусочной, уже совсем рассвело, и они наконец погрузились в молчание. Они поняли всю тщету, бесполезность и безнадежность разговоров, поняли, что сказать друг другу больше нечего.

Он расстался с ней на улице, у порога студии. Она позвонила, калитка отворилась, и перед тем, как уйти, она постояла неподвижно, глядя на него, сердитая, с красными щеками и глазами, мокрыми от слез, — воплощение немой, мрачной скорби. Сердце его разрывалось, но он не находил нужных слов.

— Прощай, — сказала она, — если больше не увидимся... — Она умолкла и закрыла глаза, ее опущенные руки сжались в кулаки, из закрытых глаз брызнули слезы, и она сдавленно выкрикнула: — Да это будет для меня просто счастьем! Поездочка мне удалась. Господи! Зачем только я встретила всех вас...

— Энн! Энн!

— Если тебе нужны деньги... если у тебя нет...

— Энн!

— Господи! — воскликнула она. — Зачем я только поехала!

Она горько плакала и, слепо, исступленно метнувшись в калитку, захлопнула ее за собой.

Больше он никогда не видел ее.

1. Частный женский колледж в Пенсильвании.

Александр Генис
Самураи на экране

Фабула американского "Последнего самурая" проста. Капитан американской армии, оставшийся без работы после окончания индейских войн, нанимается инструктором в формирующуюся (по прусскому образцу) императорскую армию Японии. После первой же стычки с восставшими самураями он оказывается у них в плену. Как "кавказский пленник", герой Тома Круза постепенно проникает в мудрые традиции старинного обихода и становится на сторону самураев в их отчаянной, но безнадежной схватке с прогрессом.

В сущности, это — сюжет вестерна: одинокий ковбой на дальнем Западе, в данном случае — на Дальнем Востоке. Более того, "Последний самурай" воспроизводит ту же сюжетную ситуацию, что разворачивалась в увенчанном "Оскарами" фильме "Танцующий с волками". В обеих картинах офицер американской армии переходит на сторону противника, понимая несправедливость борьбы с отсталыми "дикарями". Перекличка между двумя "зелеными вестернами" демонстративна. Герой Тома Круза мучится воспоминаниями о жестокостях индейских войн, в которых он прославился. "Последний самурай" мог бы считаться продолжением "Танцующего с волками" на новой территории. Но между двумя картинами — трагедия 11 сентября, которая в корне изменила идеологический контекст. Самураи, показанные в фильме с такой любовью и уважением, — бесспорно реакционная сила. Защищая уходящий образ жизни, они, что соответствует историческим фактам, убивают "гайдзинов"-иностранцев и их японских союзников, надеясь террором остановить неизбежные перемены, необходимые их стране.

Вам это ничего не напоминает? Достаточно только перенести действие из Японии XIX века, скажем, в Афганистан XXI. Искусство, однако, живет по своим законам. Положительных и отрицательных героев здесь определяет не историческая правда, а произвол художника. Зритель обречен полюбить то, к чему лежит душа автора.

В "Последнем самурае" главный предмет любви — Япония. На экране мы привыкли встречать ее в двух ипостасях. Либо это сверхсовременная земля завтрашнего дня, либо эстетизированная феодальная старина Куросавы. Теперь нам показали третью, малознакомую Японию — страну транзита, только что начавшую свой мучительный путь к будущему. (Кстати, описанию того же этапа посвящен новый роман Акунина "Алмазная колесница".)

В семидесятые годы XIX века Япония торопится догнать мир, от которого островная империя с таким успехом столетиями себя ограждала, японцы лихорадочно перенимают все, что еще недавно считали "варварским". Западная жизнь ввозилась целыми блоками, так же неспособными вписаться в контекст и пейзаж, как токийский вокзал (точная копия амстердамского) в японскую архитектуру. Старательные и неуклюжие европейские инкрустации изрядно уродовали Японию, лишь подчеркивая особую, непонятную западному глазу нищету.

В "Последнем самурае" мы видим страну, которая все еще переживает шок, оставленный визитом адмирала Пири, вынудившего Японию открыться Западу. Явление первых американцев вызывало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы едят

© А. Генис, 2004

детей, другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны американцам, чтобы поместился хвост.

Однако уже через несколько лет после начавшей вестернизацию революции Медзи японцы сами надели чужую одежду. Японские гравюры точно зафиксировали перемены. На них появляются изображения японской знати, одетой по-европейски. (Такие чиновники играют важную роль в фильме.) Эти гравюры с трогательным реализмом чисто физически передают неловкость исторической ситуации: широко расставив ноги, выпятив животы, безвольно повесив руки, с трудом удерживаясь на краешке непривычного стула, министры во фраках и генералы в мундирах готовы вести свою страну на Запад.

Труднее всего расставались с привычками оставшиеся без работы самураи. Иногда они нанимались кондукторами в трамваи, где им поначалу разрешали носить привычные мечи.

Самураи во многом напоминали западных рыцарей. И тех и других окружали легенды, сыгравшие принципиальную роль в становлении уже нашей, современной этики. Но рыцарь служил идее (и прекрасной даме, конечно), всегда сражаясь за добро (каким его тогда понимали). Для самурая главное — лояльность. Независящая ни от каких привходящих обстоятельств, она ценна сама по себе. Лояльность не нуждается в причине и оправдании. Как раз эту — центральную — черту воинского кодекса "Бусидо" труднее всего освоить западному кино, обращающемуся к самурайской теме.

Пожалуй, лучше всех с этим справился американский мастер независимого кинематографа Джармуш в его полупародийном фильме "Пес-призрак". Герой этой картины — бездомный бродяга, живущий в современном Нью-Йорке по строгим законам самурайской доблести. Присягнув на верность убогим мафиози, он прекрасно отдает себе отчет в низости объекта своей лояльности. Но кодекс чести требует не рассуждать, а действовать, никогда не задавая вопросов.

В основу своего фильма Джармуш положил старинную японскую книгу "Хагакурэ" (с ней не расстается герой его картины). Этот трактат — учебник безоглядной жизни, написанный оставшимся не у дел самураем Ямамото Цунэтомо, который умер (своей смертью!) в 1719 году. Книга его открывает нам странный мир утонченной красоты и беспредельной жестокости: "То, что лишь немногие в состоянии умело отрубить голову, еще раз доказывает, что смелость мужчин пошла на убыль".

Лучшее изречение из "Хагакурэ" стало девизом многих поколений японцев, повторявших его в трудные минуты уже своей, столь не похожей на прошлое, жизни: "Следовать по Пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер".

Как ни странно, кодификация самурайского этикета произошла почти через век после окончания свирепых гражданских войн. Воцарившийся во всей Японии мир сделал бесполезным — и опасным — весь класс наемных воинов. Но это ничего не изменило: дело самураев стало ненужным, однако их дух по-прежнему оставался — и остается! — идеалом японской культуры. Самураи превратились в касту хранителей национального идеала, в своего рода жрецов обряда, утратившего смысл, но не цель — сделать человека хозяином своей жизни и смерти: "Я постиг, что Путь Самурая — это смерть. В ситуации 'или-или' без колебаний выбирай смерть. Сделать правильный выбор в ситуации 'или-или' невозможно".

Об этом уроке японского экзистенциализма надо помнить, глядя на экран, где герой Тома Круза проходит ускоренный курс самурайской жизни.

В центре ее — рукопашный бой. Конечно, это очень удобно для вестерна, где поединки, как у Шекспира, развлекают зрителя по дороге к развязке. В "Последнем самурае", однако, каждая такая сцена несет своеобразную философскую нагрузку. Бой, словно ария в опере, останавливает действие, чтобы мы, как и положено самим самураям, забывали о победе или поражении, впиваясь глазом в очередную схватку. В ней —

квинтэссенция восточной самобытности, проникнув в которую именно иноземец, пришлый американский ветеран, и оказывается "последним самураем".

Но прежде чем стать им, он должен был освоить тонкости боевого искусства. В схватках самураев побеждал тот, кто умел отключить свой мозг, достигнув состояния "му-шин" — "без-сознания". Расставшись с контролем рассудка, боец рассеянно следил за происходящим, ни на чем не фиксируя внимания. (Глядя на лист, мы не видим дерева.) Полагаясь на вымуштрованное тело, самурай заставлял себя забыть об обретенном выучкой мастерстве. Только когда безыскусность оборачивалась непредсказуемостью, он наносил неотразимый удар, неожиданный для ОБОИХ противников.

Объясняя этот феномен, великий учитель дзэн-буддизма Судзуки сравнивал состояние "му-шин" с подсознанием, резервы которого самураю открывала многовековая традиция. Об этом много — впрямую и обиняками — говорится в фильме. И не зря. Эти педагогические усилия готовят зрителя к кульминации. Решающий и уже бессмысленный бой обретает высшее значение потому, что только теперь мы понимаем, *за что* сражались самураи.

В отличие от предыдущих кровавых, но все же героических баталь-

ных эпизодов, этот снят безжалостно. Летящих навстречу смерти всадников срезает одна единственная нелепая, но скорострельная пушка — предшественница нашего пулемета. До сих пор, соревнуясь в отваге, сражались люди. Теперь, знаменуя начало нового времени, в бой вступил бездушный автомат, с которым нельзя соперничать духом.

Подчиняясь голливудскому стандарту, фильм не кончается этой сильной сценой, а жаль, ибо к ней нечего прибавить. Истинный финал картины — истребление восставших: самураи вступили в бой с машиной, чтобы не стать ее рабами. Только потому, что жителям XXI века так хорошо знаком страх этого рабства, мы и готовы, уже не задумываясь об исторической неправоте безнадежного бунта, сочувствовать последним самураям.

Нью-Йорк

О кулинарном искусстве, убийцах персиков и "неистинности истины"

Альфред Коллерич. *Убийцы персиков. Сейсмографический роман* / Перев. с немецкого Владимира Фадеева. СПб.: Симпозиум (серия "Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге), 2003

Автор романа, Альфред Коллерич, недавно приезжал в Москву в связи с публикацией русского перевода "Убийц персиков". Вместе с переводчиком этой книги Владимиром Фадеевым он побывал в гостях у "Иностранной литературы". Запись состоявшейся в редакции журнала беседы мы намерены опубликовать в одном из ближайших номеров.

"Отвращение противозаконно, оно противоречит скрижалям кулинарного искусства. Это искусство удаляет из вещей то, что нам неприятно в них, преподносит их в облагороженном виде. <...> Торжествует власть над временем, постигая самое себя". Такие слова можно прочитать на первых страницах романа Альфреда Коллерича (р. 1931) "Убийцы персиков", написанного в 1972 году, но переведенного и опубликованного только что.

Книга не только интересна сама по себе, но показывает какой-то незнакомый нам лик современной литературы, заставляет еще раз задуматься о том, что, собственно, представляет собой литературный авангард, пробуждает желание не просто читать интересные книжки, но воспринимать нынешний литературный процесс как живое целое, как *осмысленный* диалог наших современников, а не их отдельные, случайно доносящиеся до нас реплики. Желание в наших условиях трудно выполнимое, и обнадеживающее обстоятельство здесь – существование самой серии "Австрийская библиотека". Дело в том, что подбор книг серии диктуется не случайной конъюнктурой книжного рынка, борьбой издательств за отдельные сенсационные новинки, но продуманной политикой составителя, филолога Александра Белобратова, а кроме того, все книги отличаются высоким качеством переводов, редакторской и полиграфической работы.

Имя Альфреда Коллерича мне абсолютно ничего не говорило. Между тем, как выяснилось, это человек, уже сама *биография* которого неотделима от истории австрийской литературы. В 1960 году в Граце он возглавил альтернативное литературное движение и с тех пор – до настоящего времени – издает литературный журнал "Манускрипты", где печатает произведения писателей-"диссидентов", многие из которых успели за это время прославиться во всем мире (сошлюсь только на два известных и в России имени – Петера Хандке и Эльфриды Елинек). Публикация первого романа Коллерича, программного для этого движения, важна тем, что помогает понять причины раскола в австрийской литературе. Раскол этот произошел в начале 60-х годов, причем именно по той линии, которая обозначена в начале романа: должно ли "кулинарное искусство" писательского творчества

"облагораживать" свой материал (и читателей), исключая из конечного продукта все "отвратительное"? "Облагораживать" читателей — то есть распространять какую-то общественно полезную идею или идеологию, быть патриотичным, давать "положительных героев"?

Я сразу оговорюсь, что в романе об "убийцах персиков" на первый взгляд речи о литературе вообще нет. Перед нами не то притча в кафкианском духе, не то несколько разрозненных притч (с прозрачными аллюзиями на "Замок" Кафки): описание некоего *замка*, где восемнадцать господ непрерывно наслаждаются изысканными трапезами, приготовляемыми внизу, в поварне, поварихой и семью служанками. В замке как будто все организовано очень разумно, господа господствуют, слуги им верно служат, господа стараются их и себя "облагородить" — каждый из них имеет свою точку зрения на способ достижения этой цели. И они приглашают к столу философов, художников, анархистов, и в их беседах звучат отголоски чуть ли не всех знаменитых споров о личности и обществе, потрясавших Австрию с начала эпохи модерна: отголоски мистических теорий, фрейдизма, ницшеанства, релятивизма Маха, концепций нарциссизма, "вырождения", женского начала как тождества Клеопатры и Богоматери, марксистской теории и прочего. А объединяет все это красивая идея совершенного порядка, "платонического пира" мудрецов, правильного круга, круговращения, превращения (низшего — в высшее). И философы прекрасно уживаются с господами — несмотря на свои интеллектуальные терзания занимают (с благодарностью или без таковой) отведенное для них место в просвещенном замке...

Кто-то рассказывает нам эту историю. Рассказывает, как сперва кажется, сухо и скупо описывая один за другим отдельные фрагменты мозаики замковой повседневности: факты и идеи, временные и причинно-следственные сцепления между которыми для нас непонятны. Вдруг, где-то в середине книги, тон меняется, становится более заинтересованно-*личным* — осуществляется (на короткое время, в рамках одной главы) переход от повествования в третьем лице к повествованию в первом. Некий взрослый человек рассказывает о давно случившемся, незначительном на первый взгляд событии: о том, как два подростка, графский сын и выполнявший его волю сын слуги, мальчик О., застрелили из ружья прачкину кошку... Эта глава играет в романе ключевую роль, потому что при ее чтении у читателя впервые возникает мысль, что мальчик О., "я" и повествователь от третьего лица — один и тот же человек. Такая догадка заставляет еще раз вернуться к уже прочитанному, и тогда непонятные прежде эпизоды начинают соединяться в более или менее целостную картину. Мы постепенно понимаем, что речь на самом деле идет о взрослении мальчика: о первой несправедливости, с которой он столкнулся в замке и о его собственной вине (убийстве кошки); о том, как чуть позже жертвой другой несправедливости стал его отец: графиня спилила посаженное им персиковое деревце, поскольку, как сказано в книге, "все, что жило не по ее закону, осмеливалось творить, обречено смерти". Наконец, о порожденных этой второй несправедливостью обиде и гневе, заставивших О. взбунтоваться против порядков замка — взбунтоваться прежде всего в своих мыслях, то есть перестать слепо доверять "словам всевластного языка".

Роман заканчивается эпизодами разрушения замка, символизирующего определенный тип общества (авторитарного, иерархически упорядоченного) и соответствующее этому обществу сознание. Все, о чем рассказчик говорил ранее, показывало, как мы

теперь понимаем, закономерность такого разрушения. Вновь и вновь подчеркивалось, что повседневная жизнь, даже и не восставая против навязываемых ей систем, все-таки в них не укладывается, ими не исчерпывается — и потому со временем неизбежно их разрушает.

Замок гибнет не только физически. Главное, он гибнет в сознании людей: "Пришло время, когда место кухни занял рассказ о кухне, а круглый стол уступил место рассказам о круглом столе. Предметы стушевались. Многозначащий замок стал знаком, лишенным смысла". Трагедия ли это, как опасался один из героев романа, пытавшийся свести мир "к единому слову" и не представлявший, "что будет, если каждый вообразит себя субъектом"? Рассказчик приходит к парадоксальному выводу: "Индивидуализм и коллективизм одинаково дурны, ибо озабочены лишь продолжением собственного существования, а это сводит всю палитру к одной-единственной краске". Возможная альтернатива — чуткое внимание к Другому; единственное, что позволяет человеку выглянуть за крепостную стену своих эгоистических интересов и убедиться в том, что "его мир имеет окно".

Жизнь — после гибели замка — не обещает всеобщего счастья, зато открывает, как и любая жизнь, множество разных возможностей. Рассказчик не таит зла на бывших "господ", потому что, похоже, думает, что те, кто им подчинялся, чаще всего делали это добровольно. Когда замок как система незыблемых представлений гибнет, начинается какая-то новая свобода. Но переход этот совершается незаметно, и последняя фраза романа лишена какой бы то ни было патетики: "Когда О. вышел из ельничка, был день как день, такой же, как все другие дни". Упоминание О. в этой фразе, на мой взгляд, подтверждает, что весь текст романа можно интерпретировать как внутренний монолог, который главный герой (повзрослевший О.) произносит, стоя в лесу напротив уже разрушенного замка.

История мальчика О. есть, по сути, *правдивая* история самого Коллерича. Правдивая не только в биографическом смысле (писатель провел свое детство на землях одного из штирийских замков, где его дед, а потом отец исполняли должность управляющего прудами и лесными угодьями), но, главное, потому, что Коллерич всю свою сознательную жизнь, с ранней юности, боролся против навязываемых ему "готовых" истин. Неслучайно и свое автобиографическое эссе 1983 года он назвал: "О неистинности истины".

Разрушив сперва "замок" в себе, Коллерич начал разрушать реальный замок австрийского литературного истеблишмента, став в 1960 году бессменным "управляющим" форума для свободного обмена мнениями оппозиционно настроенных писателей Граца (форум "Городской парк") и, как мы уже упоминали, издателем журнала "Манускрипты". В одном из своих интервью он вспоминает, что в Австрии "в начале 60-х годов культурный климат был крайне реакционным и далеким от всех движений современного искусства"[1]. Однако уже в 70-е, благодаря его личным усилиям и стараниям единомышленников, ситуацию удалось переломить. (Характерно название сборника работ этой группы, опубликованного в 1975 году: "Как жители Граца выступили в поход, чтобы захватить Литературу".) Тот факт, что в 60-е Коллерича привлекали к суду за распространение порнографии в связи с публикацией в "Манускриптах" романа Освальда Винера "Усовершенствование

1. См. интервью А. Коллерича: "Das Schreiben hat immer ein wenig gelitten". Alfred Kolleritsch im Gesprach mit Gerhard Moser uber die "Manuskripte", das eigene Schreiben und die Zukunft der Avantgarde (из Интернета).

Средней Европы", давным-давно отошел в область преданий. Ныне Австрия гордится произведениями своих "непатриотичных" и нарушавших все правила детей — Томаса Бернхарда, Эльфриды Елинек, того же Альфреда Коллерича. А мы только вступаем в пору судебных преследований и публичных разоблачений собственных "плохих" литераторов...

Коллерич — автор нескольких романов, отмеченных престижными премиями, рассказов, сборников философской лирики; человек большой культуры, защитивший в 1964 году диссертацию о понятиях "подлинности" и "неподлинности" у Хайдеггера. Его авангардизм диктуется вовсе не желанием эпатировать читателя, но тем, как он понимает задачи литературы: "Таково было мое намерение: перемешать разные дискурсы, чтобы найти новый подход к тому, что мы называем реальностью, — подход гораздо более многоплановый"[1]. Литература, по убеждению Коллерича, не может быть лишенной всего "неприятного", а только "облагораживающей" читателей хотя бы уже потому, что — в его восприятии — она рождается из раны и сама есть рана, принуждающая человека выйти за пределы бесплодного "постижения самого себя":

Рана — это дверь
для нахождения Ты,
орган восприятия,
который не обманывается.
<...> Рана
перемешивает тебя с миром.

Простота восприятия

<...> Я не уступлю господам
этот шрам. Наши раны
для них недосягаемы.

Дом, в котором я...

Понятно, что текст, построенный как соединение разных историй и голосов, как диалог между ними, требует от переводчика особенно бережного отношения к авторскому слову. Переводчику Владимиру Фадееву удалось не только передать богатство смысловых оттенков романа, но и добиться того, чтобы разрозненные фрагменты складывались в единый текст, чтобы не пропало столь важное для поэтики Коллерича (всегда исследующего противоречие между живой жизнью и концепциями, в которые ее пытаются втиснуть) ощущение зримости, чувственной конкретности описываемых им вещей, чтобы эта книга — когда ее читают по-русски, — попросту говоря, доставляла удовольствие.

Татьяна Баскакова

1. Интервью писателя, взятое Сисси Такс, 16/17.2.1991. Цит. по: La poetica di Alfred Kolleritsch, a cura di Massimo Bonifazio (из Интернета).

Открытое письмо

Обзор ответов на читательскую анкету, опубликованную в № 12, 2003

Четвертый раз за последние несколько лет мы обратились к вам с просьбой высказать мнение о журнале. В новом веке эта форма общения с читателями уже обрела свой ритм (раз в два года), и некоторые из вас начали писать в редакцию, не дожидаясь выхода декабрьского номера. "Логика подсказывает, что последний из номеров содержит традиционную анкету", – предположили Андрей Иванов и Дмитрий Ткаченко из Соснового Бора. И логика их не обманула.

Конечно, огорчает то, что откликов становится меньше: увы, падает не только тираж, но и число наших корреспондентов. Однако и поводов для радости тоже немало. Во-первых, у журнала сложился круг постоянных читателей и почитателей. Многих мы уже встречаем как старых добрых знакомых: это и москвичка Тамара Гамхарашвили, и Сергей Потолицын из Сыктывкара, и 87-летний Залман Розенбаум из Жуковского, читающий "ИЛ" с 1935 года, когда "И" в заголовке обозначало литературу не "Иностранную", а "Интернациональную". Во-вторых, с каждым годом в почте появляются новые имена, и принадлежат они большей частью людям молодым: если судить по письмам, то около трети наших нынешних читателей не перешагнули 30-летний рубеж.

Некоторые вопросы в анкете стабильно повторяются, и за несколько лет успели выработаться и схожие типы ответов. Отдельные голоса сливаются в представительный читательский хор. И поэтому мы попробовали дать ваши ответы как групповые реплики, соединяя фрагменты из писем по принципу коллажа взаимодополняющих цитат (все выдержки из писем далее выделены курсивом).

Отрадно сознавать, что самую большую группу в этом хоре составляют преданные поклонники журнала, которые дают журналу безоговорочно высокую оценку:

"'ИЛ' – любимый журнал с давних времен. ... Я считаю, что журнал держит свой уровень. ... Лично для меня он интересен от начала до конца. ... Я обожаю читать 'Иностранку' всю от корки до корки. Что-то бывает лучше, что-то хуже – но я думаю, что это нормально. ... 'ИЛ' для читателей и почитателей высокоинтеллектуальной литературы – глоток чистого воздуха, очищающего душу (извините за пафос). ... В российской провинции это едва ли не единственное окно в мир, "глоток свежего воздуха", помогающий выжить в атмосфере тотальной бездуховности. ... Все литературные открытия и удовольствия от чтения – от вас. Иду с вами и за вами, полностью доверяя вашим вкусам и выбору. ... В течение последних десяти лет все журналы интересные. Прекрасные переводы. ... Вы стабильны, и причем на высоком уровне. Пожелание – так держать!"

Одни признаются журналу в дружбе:

"Журнал – старый друг, без которого плохо. Вы – Мои Лучшие Друзья! Я 'общаюсь' с вами больше и душевнее, чем с моими друзьями. Многие разочаровали. Вы – Нет!... Журнал для меня как родной, я читаю его с юности, привыкла к нему, и когда беру в руки новый номер, у меня такое чувство, что я открываю в своем друге новые черты",

а другие — в более нежных чувствах:

"Пока 'Иностранка' – единственная настоящая 'любовь'. Вы только держитесь, не разбегайтесь".

Есть и "семейные" читатели:

"Журнал читаем всей семьей. ... Мы вас любим и очень ждем каждый месяц. ... Вопрос о продлении подписки на 'ИЛ' не обсуждается в нашей семье никогда. Спасибо за то, что вы есть!... Наша семья в нескольких поколениях – читатель и подписчик журнала со дня его основания. Я знакома с ним с той поры, как научилась читать!"

Для кого-то журнал — профессиональное подспорье:

"Журнал 'Иностранная литература' один из самых моих любимых. Тем более что он не только чтение для души, но и помощь в моей работе",

а для кого-то — источник творческих амбиций:

"Пока журнал будет издаваться, останусь его постоянным читателем, а возможно, и автором".

Для многих "ИЛ" — это связь и с миром большой литературы:

"Для меня 'ИЛ' – это окно в мир литературы, благодаря журналу можно составить картину происходящего в мировой литературе. ... Я надеюсь, что журнал отражает мировой литературный процесс. Это то, что я хотела бы от него получать. Насколько это действительно так, трудно судить человеку, читающему в основном только на русском языке. Так что вся надежда на ВАС, уважаемая редакция",

и с миром вообще:

"О заграница я могла и могу узнать только из журнала 'ИЛ'. То, что показывается, я не особо принимаю. А вот то, что читается, – это и есть правда, потому что я думаю над прочитанным, могу вернуться к нему не один раз. Именно 'ИЛ' повлияла на меня в юности, я перестала быть идеалисткой в 16 лет. И в этом заслуга журнала. Уже тогда я поняла, что мир живет лучше и умнее нас. И всю жизнь как могла внушала это своим ученикам. Благодарю за то, что вы выжили".

Радует, что многие читатели отмечают позитивную динамику развития журнала:

"Мое глубокое убеждение – с каждым годом журнал 'ИЛ' становится все лучше и лучше – и по форме, и по содержанию. Я уже писал вам раньше, что теперь его даже приятно просто держать в руках – либо в предвкушении встречи с чем-то новым, либо с чувством глубокого удовлетворения от прочитанного. ... Столько открытий, особенно для более молодых читателей. Практически не к чему 'придраться'. ... Как мне показалось, выбор публикаций стал разнообразнее. ... Разнообразнее по тематике, по авторам, по жанрам. Стали печатать российских писателей, живущих за границей. ... Приятно читать современных авторов, еще не изданных большим тиражом. ... И конечно, оформление!!!... Иллюстрации, оформление изменились к лучшему. ... Стал компактнее, ярче... обложкой. Относительно содержания – сделался утонченнее, что ли. ... Журнал становится все лучше и лучше, приближаясь к реальному литературному процессу, давая его адекватную картину. ... Стал еще более интересным, современным. ... Охватывает более широкий спектр литературных явлений. Ориенти-

рован на публикацию современных произведений. Глубокие литературоведческие комментарии. ... Удивительно, но пролистывая номера за 1987–2003 годы для участия в чайнворде, поражалась, насколько от номера к номеру журнал становился интереснее, ярче, современнее. Даже если сравнивать 2002 и 2003 годы, то 2002-й просто меркнет перед подборкой, художественным оформлением, тематическим настроением номеров 2003 года. Настолько ярко, звучно каждый номер говорил за себя, что не осталось ни одной непрочитанной страницы. ... В последние два года журнал читался, пожалуй, интереснее, чем в два предыдущих года. Некоторые номера казались сделанными точно в соответствии с моими пожеланиями, высказанными в последней анкете. ... Определенно лучше, лучше и лучше!"

Немало, впрочем, и тех, кто считает, что журнал был по-своему хорош и раньше:

"Ушли в прошлое идеологические заданности. В то же время следует отметить, что журнал вносил свежую струю в нашу затхлую жизнь советского периода. ... Конечно, помнятся Ч. Айтматов и В. Лакшин. Но даже в мрачные времена – первые годы после перерыва, когда в нас втискивали главным образом т. н. третий мир, – в каждом номере было что-то интересное. ... Если сравнивать с восьмидесятыми, то, разумеется, лучше. Однако и тогда были отменные публикации. ... Журнал был очень интересен в конце 80-х – начале 90-х годов. Каждый номер прочитывался полностью. Сейчас журнал тоже очень хорош. Каждый интересующийся иностранной литературой найдет в нем то, что ему понравится. ... Последние годы публикации можно оценить как 'пульсирующие' по своему качеству, но ближе к хорошей (лучшей) части спектра".

А многие из тех, кто оценивает журнал высоко, сетуют по поводу ухудшения общекультурной ситуации:

"Остался высокий художественный уровень (я очень вас люблю). Но тиражи падают – что тут можно сделать? Вызывает грусть падение интереса к хорошей литературе. ... Объективно судить не могу, т. к. солидного стажа с вашим журналом не имею, но то, что журнал держит планку – это точно. Всякий раз при получении очередного номера смотрю тираж, отмечая динамику. ... Огорчает уменьшение тиража из года в год. ... Дело в том, что не хочется терять 'Иностранку', она мне очень нравится вопреки всему".

Есть читатели, особо отмечающие отдельные номера и произведения:

"Нравятся практически все материалы под рубриками 'Вглубь стихотворения', 'Литературное наследие', 'Литературный гид', 'Портрет в зеркалах', 'Трибуна переводчика'. Очень много интересного узнал об истории журнала в 'Вестнике иностранной литературы'. Великолепен номер 5 за 2003 год, посвященный нобелевским лауреатам. ... Вообще, очень хороша публицистика, статьи, эссе. ... Не могу не отметить поразительный 12-й номер за 2003 год... просто новогодний подарок для любого человека, и тем более психолога. Сколько полезной информации я почерпнула со страниц этого номера – не передать. ... А вот что действительно поразило воображение, так 'Исправленное издание' Петера Эстерхази. Гран-при! Я даже несколько ночей не спала, а если и забывалась коротким сном, то кто-то из-за кулис громко звал: 'Петер! Петер!' И гномы в сопровождении марша выходили на сцену. А в неосвещенном зале никого не было. Просыпаюсь и не понимаю – какой Петер? Не сразу доходит, что это автор сумасшедшей книги. Как он живет теперь? Пишет ли? Время лечит, конечно. Но ведь это совсем свежая рана. Ничего подобного никогда не читала и вряд ли прочту. Бедный папа, бедный сын, бедные мы все. ... Начинаю с 'Курьера ИЛ'. Может быть, возможно увеличить объем рубрики? ... Хороши 'NB', 'Из классики XX

века', 'Комментарий'. Интересно читать о гостях редакции журнала и интервью с ними. ... Очень огорчила безвременная кончина А. М. Зверева. ... Это великая утрата для всех читателей журнала. ... Верила ему безоговорочно".

Другие же, оценивая журнал в целом высоко, акцентируют внимание на недостатках:

"За последние десять лет значительно лучше, но последний (2003 год) несколько разочаровал, не дотянул, по-моему, до своей же планки. ... 2002 год был очень удачным – читали-перечитывали и до дыр зачитывали. 2003-й оставил впечатление кромешной пустоты – вроде и имена известные, а скучно. ... Некоторые номера откровенно скучны и беспомощны, другие прочитываются с огромным удовольствием. Раздражают откровенно рекламные публикации глав из романов, впоследствии выходящих отдельным изданием. Всё же выписываю журнал, а не рекламный проспект. ... Два 'журнальных варианта' романа в одной книжке подряд – вот уже и 'худой' журнал. Журнал уровня 'ИЛ' не должен опускаться до дайджеста – это не ваша функция. Текст, представленный не полностью, теряет свою ценность, самодостаточность, а главное – ту глубинную суть, ради которой, собственно, и создавался. ... Кстати, далеко не все из обещанного и заманчивого опубликовано (где, например, Умберто Эко?).

... Почему-то стал казаться хуже, но, просмотрев последние номера, увидела столько прекрасных произведений – и чувство благодарности к редакции перевесило мелкие недовольства. На нас же, читателей, на всех не угодишь, да?

... Журнал не стоит на месте; было всякое – и падения, и взлеты. Есть ощущение движения. ... Но при всех недоработках последние два года 'ИЛ', безусловно, может записать себе в актив. ... Подобно отечественной экономике, журнал уже миновал низшую точку спада и теперь пытается шагать в верном направлении. Но почивать на лаврах рано".

А многие читатели не видят особого смысла в том, чтобы давать журналу оценку — ведь альтернативы ему все равно нет:

"Просто каждый год журнал становится другим: новые люди, новые произведения, новые мысли и впечатления. ... Но в целом гениальные произведения встречаются все реже. ... Журнал по-прежнему по содержанию очень неоднороден. Даже слабые номера, по прозе скажем, могут проиграть; но за счет других разделов 'наберут необходимые очки'. ... Был период, когда хотела отказаться (подписываться). Но быстро одумалась. Ваш журнал почти единственная пища для души. ... Подписываться на журнал буду, но по инерции, т. к. больше нечего читать в нашей несчастной стране. ... Разочарования были, но акцент делал на то, что понравилось, поэтому точно сказать не могу. ... На каждое слово рано или поздно находится читатель. ... Не думаю, что то, что показалось наиболее сложным для моего восприятия, на самом деле является наименее удачным. ... Просто что-то не тронуло душу и... желудок тоже".

Ну и, конечно, без негатива тоже не обошлось. Критических замечаний накопилось немало, и мы постараемся обязательно учесть их в своей работе:

"Хуже, и намного. Складывается впечатление, что все значительное уже напечатано. Я не думаю, что это так! ... Хуже, и это мнение не только мое. ... Журнал стал сложнее стилистически. Многие публикации не столько интересны, сколько требуют напряжения. Непрочитанного остается сейчас больше, чем раньше. Удручает, что не все переводчики в ладах с русским языком. ... По-моему, стало меньше открытий новых, интересных авторов. За последние два-три года с вашей подачи заинтересовали только Лоренс Даррелл и Мервин Пик. А это авторы давно 'ушедшие'. Кутзее, Уэльбек хороши, но с полок книжных магазинов в руки не просятся. Только Эко радует, и Павича продолжаем читать.

... В начале знакомства с 'ИЛ' был Сэлинджер. На склоне лет – Дон Делилло. Не хочется верить, что литературные конструкции заняли место волшебной магии слова. ... Многое, к сожалению, почти не осталось в памяти. А некоторое, например 'Поцелуй женщины-паука' Пуига, оставило неприятный осадок. Хотя сам по себе роман хороший несомненно. ... У вас появились почти в каждом номере романы не 'сильных' писателей, как бы второго и более низкого сорта. В целом можно сказать, что стало больше 'воды', проходных материалов. Мало открытий. ... Новеллы, рассказы, стихи читать не могу. Начинаю читать рассказ, чувствую, что не Чехов, и на этом все. ... Самое интересное в публикации стихов – это вступительные статьи. Поэзии не хватает ни ярких образов, ни неожиданных мыслей. Русские даже малоизвестные поэты зачастую интереснее. ... Критический раздел, по-моему, лишился какой-то концептуальности, стал просто разрозненным собранием откликов, далеко не всегда посвященных действительно важным тенденциям и именам (хотя по-прежнему замечательны Б. Дубин, С. Зенкин, С. Кузнецов). ... Многие выпуски 'Курьера' страдают необязательностью материала. ... Наименее удачна рубрика "'ИЛ': истоки и история", и даже не темой (история журнала довольно интересна), а затянутостью и сумбурностью надерганных статей. ... Исчезла рубрика 'Галерея ИЛ' и статьи о творчестве художника. ... Не нравится дробление журнала 'ИЛ' на кучу рубрик – сборная солянка получается. ... По оформлению старого журнала ностальгирую. ... Обложка и дизайн оставляют желать лучшего. ... Если можно, то на обложке журнала не надо портить сюжет цифрами с номером и годом издания, перечнем публикаций. И еще: никогда прежде журнал не распадался на страницы. Жаль журнал, как живое существо.

... Восторженное читательское отношение к журналу постепенно уходит, и это должно насторожить. Наблюдаются некоторые элементы статики и однообразия. Вы стали тяготеть к очень неординарным, мрачным, полуфантастическим произведениям, иногда довольно грубым, подспудный смысл которых зачастую понятен только их авторам. Это то же самое, что псевдоэлитарное кино, – когда-нибудь да надоест! Где крепко скроенные мелодрамы, детективы, эссе, реалистические произведения с "жизненным" сюжетом? Вы же сами печатаете списки бестселлеров (неужто они все таковы?). Мало авторов-женщин, а значит, мало изящества... Пожалуйста, печатайте меньше 'проходных' произведений из серии 'ни уму, ни сердцу'. Почаще помещайте обзорные литературоведческие материалы о национальных литературах нового времени".

А теперь посмотрим, какие произведения вы сочли лучшими за последние два года:

Место	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Иселин К. Херманн	"Par avion. Переписка, изданная Жан-Люком Форёром"	2003, № 6
2	Мануэль Пуиг	"Поцелуй женщины-паука"	2003, № 6
3	Мишель Уэльбек	"Платформа"	2002, № 11
4	Фредерик Бегбедер	"99 франков"	2002, № 2
5	Джулиан Барнс	"Как все было (обсуждение)"	2002, № 7
6	Гюнтер Грасс	"Траектория краба"	2002, № 10

7	Франсин Проуз	“Голубой ангел”	2002, № 11, 12
8	Рубен Давид Гонсалес Гальего	“Черным по белому”	2002, № 1
9–12	Луи-Поль Боон	“Менуэт”	2003, № 10
	Абель Поссе	“Пражские тетради”	2003, № 4
	Венсен Равалек	“Ностальгия по черной магии”	2003, № 10
	Кристоф Рансмайр	“Ужасы льдов и мрака”	2003, № 2, 3
13–14	Патрик Модиано	“Маленькое чудо”	2003, № 7
	Мервин Пик	“Титус Гроанский”	2002, № 3
15–16	Ахмаду Курума	“Аллах не обязан”	2002, № 8
	Йозеф Рот	“Склеп капуцинов”	2002, № 6

Вопреки ожиданиям, выше других были оценены не бесспорные фавориты Уэльбек и Бегбедер; на двух первых строчках оказались имена, новые для российских читателей. *“Прекрасно, что вы считаете своим долгом познакомить читателей с самыми известными именами и произведениями, ставшими литературными событиями, не боитесь рисковать, вводя новые имена. ... Хотелось бы отметить особенный психологизм повестей Иселин К. Херманн и Флер Йегги. Обе эти повести также стали темой двух семинаров: о чувстве одиночества и непонятости, свойственных подростковому периоду, и страхе быть услышанным и отвергнутым. ... Как поклонник латиноамериканцев, не могу не поблагодарить вас и Бориса Владимировича Дубина за Мануэля Пуига”.* Уэльбека охарактеризовали как автора, который *“выделяется острым, бескомпромиссным взглядом на мир, ‘где исчезает индивидуальность’”.* Бегбедер удостоился более лаконичных оценок: *“Насущно. Просто супер!”* Не остались без внимания *“сильнейшие произведения”* уже знакомых нашему читателю Грасса и Рансмайра; *“открытием”* же стал Луи-Поль Боон.

В первую десятку вошли и две публикации из разряда “нон-фикшн”. По уже сложившейся традиции “Документальную прозу” мы выделяем в отдельную категорию:

Место	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Рубен Давид Гонсалес Гальего	“Черным по белому”	2002, № 1
2	Абель Поссе	“Пражские тетради”	2003, № 4
3	Питер Акройд	“Биография Лондона”	2002, № 10
4	Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер	“Я, Феллини”	2002, № 3
5–6	Франц Кафка	“Из писем Фелиции Бауэр”	2003, № 2
	Артур Кёстлер	“Автобиография”	2002, № 7, 8

“Большое впечатление произвела книга Гонсалеса Гальего. И близкая, и страшная, и талантливая проза. Недаром книга получила Букеровскую премию. Понравились ‘Пражские тетради’ Абеля Поссе. Возможно, из-за того, что в центре произведения по сей день не разгаданная фигура Че Гевары, которую, впрочем, тетради сделали ненамного четче и понятнее. Помимо удовольствия от текста в прекрасном переводе Евгении Михайловны Лысенко, был рад найти подтверждение собственным взглядам о необходимости разделять идею, какой бы привлекательной она ни казалась, и реальность. Раздел документальной прозы, безусловно, последние годы в журнале самый интересный”.

Предпочтения в категории “Статьи, эссе” распределились так:

Место	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Сьюзен Сонтаг	“Болезнь как метафора”	2003, № 8
2–5	Петер Биксель	“Швейцария глазами швейцарца. Заметки об ущербности демократии”	2002, № 9
	Малькольм Брэдбери	“Тут вам звонили, а вы...”, “Язык для своих: карманный справочник структуралиста”, “Вирджиния Вулф”	2002, № 12
	Роберто Калассо	“Брак Кадма и Гармонии”	2003, № 8
	Татьяна Толстая	“Зверотур”	2003, № 12

“Очень важная работа ‘Болезнь как метафора’ (1978) Сьюзен Сонтаг. Причина рака есть нарушение внутренней координации бессознательных процессов организма человека. Эстетизировать рак невозможно. В конце жизни мы все банкроты. Так получилось, что раньше этой статьи я трудился над довольно вязким текстом ‘Археологии знаний’ (1969) Мишеля Фуко. В мягком, рассеянном свете, иногда сквозящем в его мыслях, многовариантности дискурсивных решений, проблемы С. Сонтаг представлялись примиряющими и не лишенными интеллектуальной красоты”.

Вообще о второй части журнала уже сложилось определенное читательское мнение:

“Вся вторая половина журнала – это ваша незанятая ниша. То, что содержит ‘Документальная проза’, ‘Литературный гид’, ‘Портрет в зеркалах’, ‘Литературная биография’, ‘Из классики XX века’, ‘Статьи, эссе’, в магазине не найти. Это ваш козырь. Поэтому, покупая книги, без журнала мне не обойтись. Интересно, что всем своим знакомым после рассказов о том, чего начиталась в ‘ИЛ’, даю под присягой об аккуратности почитать и вижу тот же интерес, что и у своих единомышленников”.

Наш журнал стремится не просто публиковать отдельные художественные произведения, но по возможности полнее и глубже отражать литературный процесс. Инструментом этого служат специальные номера (тематические и “национальные”) и популярная рубрика “Литературный гид”. “Как Вы относитесь к спецномерам и к “Литгидам”?” – таким был один из вопросов анкеты.

Большинство читателей оценивает положительно и “Гиды”, и спецномера:

“Прекрасно, особенно к ‘Литературным гидам’. ... С огромным интересом. Чтение журнала обычно начинаю с этих разделов, особенно “Лит. гид”. ... Очень хорошо. ... Великолепно. ... Иногда с восторгом. ... Энергично приветствую!... Несомненно, они нужны. ... Исключительно важное и нужное дело. Почти всегда – в тему. Ни в коем случае не прекращайте эту традицию. ... Продолжайте дальше. ... Совершенно правильно иногда делать такие номера. ... Этим вы оказываете большую помощь читателям в выборе произведений. Нравится, читаю практически всё. ... В ‘Литературном гиде’ интересных публикаций больше, чем наоборот. Отдельное спасибо Б. Дубину: его публикации – профессионализм высочайшего класса, параллельно с работами покойного А. М. Зверева, еще раньше – А. Карельского. ... Эти рубрики представляют особый интерес,

очень информативны, могут быть использованы при разработке университетских курсов по литературе.

Произведения, объединенные под одной тематической линией, настраивают на особенное восприятие, будь то творчество писателей, поэтов определенной страны или одна тематическая линия повествования. Восторг вызвал № 12 за 2003 год. Просто зачитать 'до дыр' и держать возле кровати. Сны будут сладкими! ... Кроме того, номер стал раритетом на всем психологическом факультете института, все хотели прочитать, скопировать, отксерокопировать. В общем, читали, обсуждали, устраивали групповые чтения на семинарах – тема-то 'животрепещущая' для нас, психологов. Теперь вот будем ждать заявленного литературного гида на 2004 год – 'Литературная сказка'.

... Из литературных гидов запомнился 'Уснуть и видеть сны'. ... Самый последний выпуск 'Литературного гида' лучше всех. Настоящий новогодний подарок для читателей. О снах и сновидениях. 'Зверотур' Татьяны Толстой вне конкуренции – и смешно, и умно.

... Очень нравятся подборки по странам ('Швейцарский перекресток', например). Хотелось бы особенно отметить швейцарский и австрийский выпуски, 'Новые американцы', а также 'Литгиды', посвященные сновидениям и взаимоотношениям полов. ... Немецкий номер произвел глубокое впечатление.

... Полностью поддерживаю. Предлагаю свои темы: современная литература Румынии, Болгарии, Словакии, Норвегии, Португалии, Венгрии, Латинской Америки, Австралии и т. д. 'Магический реализм', 'Черный юмор', 'Литературные мистификации', 'Без конца' (неоконченные произведения).

... Хотелось бы видеть номера, посвященные юмору и сатире, дневникам, записным книжкам и письмам зарубежных классиков, отдельным писателям".

Несколько меньше тех, кто хорошо относится к "Гидам" и плохо — к спецномерам:

"Специальные номера бывают удачными, а иной раз напоминают советские времена в 'ИЛ'. 'Гид' почти всегда хорош. ... Спецномера, видимо, сокровище для филологов и критиков, а для нас, 'простецов', интереснее 'Литературные гиды' – ни один пока не разочаровал. ... Может быть, стоит тематический принцип 'Литературного гида' распространить и на специальные номера?

Специальные номера – скучновато и вымученно. 'Литературный гид' – неплохо, в общем, даже очень неплохо. ... Рубрика 'Литературный гид' интересна и познавательна. Пример – публикации о творчестве Малькольма Брэдбери в 2002 году. Специальные номера, мягко говоря, не впечатляют по причине низкого качества публикаций.

Очень хороши 'Гиды' 2003 года, особенно по снам, жаль, что многие аспекты темы не удалось затронуть. Номера, посвященные странам, гораздо менее удачны: от каждого автора по кусочку, и цельности не получается.

... Понравились 'Он и Она' и 'Уснуть и видеть сны', а швейцарцы ужасны. ... Понравились 'Профессор Брэдбери' и 'Батальное полотно – он и она'".

Еще меньше читателей отдают предпочтение специальным номерам:

"Номера, посвященные литературе страны, понравились. Но подборка рассказов о привидениях или болезнях, занимающая весь журнал, отталкивает. Целый номер потерян для меня. ... 'Сны и сновидения' (как сказали бы герои бессмертного фильма 'Дело было в Пенькове') несколько озадачили...

С большим удовольствием познакомилась с первым номером 2003 года. А вот от 'австрийского' и 'швейцарского' выпусков я ждала большего. Где продолжатели дела Ст. Цвейга, Й. Рота, Ф. Дюрренматта и М. Фриша? К сожалению, это не так мощно и масштабно. Хотелось бы увидеть: итальянский, пор-

тугальский, скандинавский, польский, чешский выпуски. ... Главное, чтобы страна, представленная в спецномере, была интересна, тогда и читать будет увлекательно. ... Как насчет Японии, Исландии?"

"Дело не в рубрике и не в стране, а в том, интересен ли материал и насколько хорошо сделан конкретный выпуск рубрики", – считают некоторые:

"Жду с интересом, часто кончающимся разочарованием. ... 'Швейцарский перекресток', 'Неисчерпаемая Австрия', 'Немецкий акцент' довольно скучны, за редким исключением (эссе Хандке, переписка Дюрренматта, Кафки). ... Литгид 'Нобелевская библиотека' не оставил никаких впечатлений. 'Батальное полотно' и 'Уснуть и видеть сны' очень интересны.

... Некоторые 'Литгиды' читал не отрываясь, например 'Неисчерпаемую Австрию', некоторые – толком и не заметил. ... Есть более и менее удачные, но в целом всё, что имеет отношение к обзорам, ориентирам, срезам, взглядам и отражениям – очень важно в журнале".

Есть и читатели (их немного), негативно относящиеся к данной форме публикаций:

"Я не люблю специальные номера: это как комплексный обед в столовой. ... Отрицательно, если в них фрагменты книг, главы из книг и т. д. Я хочу составить мнение из целого. ... Специальные номера и 'Литературные гиды' хотелось бы видеть более разнообразными и интересными..."

Вернемся ненадолго к публикациям первой, "художественной" половины журнала. Вот как выглядят ваши предпочтения в "малых жанрах" – рассказах и стихах:

Рассказы

Место	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Исаак Башевис Зингер	*Рассказы*	2003, № 5
2–3	Джон Апдайк	"Многообразие религиозного опыта"	2003, № 8
	Ханиф Курейши	*Рассказы*	2002, № 3
4–8	Симона Винчи	*Рассказы*	2003, № 7
	Филипп Делерм	"Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни"	2002, № 7
	Уве Йонсон	*Рассказы*	2003, № 9
	Энрико Морович	"Двенадцать рассказов из книги 'Обыденные чудеса'"	2002, № 12
	Шарль Нодье	"Рассказы здравомыслящего насмешника"	2003, № 4

Поэзия

Место	Автор	Произведение	Когда опубликовано
1	Вислава Шимборская	"Две обезьяны Брейгеля", "Утопия", "Тень"	2003, № 5
2–3	*Стихи поэтов Японии*	Танка и хайку	2003, № 10
	Рут Фэйнлайт	"Цвет сахарной бумаги"	2003, № 4

4–7	Эндре Ади	*Стихи*	2002, № 11
	Ингеборг Бахман	“Что истино”, “Слова”	2003, № 2
	Иоанн Павел II	“Римский триптих”	2003, № 10
	Шеймас Хини	*Стихи*	2003, № 5

“В разделе поэзии обращают на себя внимание не столько авторы, сколько переводчики. Вот и сейчас Наталья Ванханен блестяще представила нам творчество Сальвадора Эсприу из скромной Каталонии. Снова украшением журнала стали переводы Анатолия Гелескула, которые уже давно не воспринимаются как переводы: столь органично входят они в ткань русской словесности. А вот печатаемые вами стихи некоторых современных поэтов, случается, вызывают недоумение. По большому счету, честь всей сегодняшней поэзии у вас отстаивала (и с успехом) одна Вислава Шимборска в рубрике ‘Вглубь стихотворения’. Удачная рубрика: стихотворение в ней освещается с разных сторон, позволяя разглядеть в нем то, что не лежит на поверхности, и читатель присоединяется к процессу творчества”.

По вопросу о худших публикациях читатели, как обычно, высказывались деликатно и дипломатично:

“Затрудняюсь ответить. Если, на мой взгляд, они и были, то, вероятно, кому-то показались удачными. ... Все дело вкуса. ... Считаю, что в чем-то просто некомпетентна. ... Что-то нравится больше, что-то меньше, но ведь о вкусах не спорят, это уже относится к авторам и читателям. ... Неудачные стараюсь не читать. ... Даже если не очень нравилось содержание, нравилось, как написано или переведено”.

Но список тем не менее сложился:

Место	**Автор**	**Произведение**	**Когда опубликовано**
1	Милорад Павич	“Кровать для троих. Краткая история человечества”	2003, № 3
2	Франсин Проуз	“Голубой ангел”	2002, № 11,12
3	Петер Эстерхази	“Harmonia cælestis”	2002, № 10
4–5	Венсен Равалек	“Ностальгия по черной магии”	2003, № 10
	Кристоф Рансмайр	“Ужасы льдов и мрака”	2003, № 2, 3

Вот уж действительно получилось: на вкус и на цвет... Ведь романы Проуз, Равалека и Рансмайра оказались и среди лучших, и среди худших. Что же касается Павича, то здесь перед нами еще один парадокс: несмотря на лидерство в этом “черном списке”, его имя попало в первую десятку тех, кого читатели более других хотят видеть среди авторов книг серии “Иллюминатор”.

Кроме Павича, в списке наиболее желанных присутствует еще один “культовый” писатель – Умберто Эко. Только два автора сохранили место в десятке за два года, прошедшие с момента предыдущего опроса: Дж. М. Кутзее и Мишель Уэльбек. Остальные же – это либо те имена, которых журнал в 2002–2003 годах открыл для читателя (Мануэль Пуиг, Венсен Равалек, Мануэль Ривас, Мервин Пик), либо те, интерес к кому возродился благодаря новым журнальным публикациям (Джулиан Барнс и Малькольм Брэдбери).

Примечательно, что вообще в ответах на этот вопрос было упомянуто более двухсот авторов, причем две трети из них — только по одному разу. Наверное, уходят в прошлое те времена, когда все читали одно и то же; теперь каждый читает свое и ищет автора, интересного персонально для себя. Конечно, утверждать, что понятие "литературная мода" вообще исчезает, было бы преждевременным — ведь на рынке по-прежнему доминируют лишь несколько имен (Коэльо, Мураками...). Впрочем, как раз "ИЛ" (вместе со своими читателями) можно считать законодателями моды: ведь, например, нынешние "лидеры продаж" Перес-Реверте и Зюскинд были замечены публикой именно на страницах журнала. А читатель тем временем идет вперед, и сегодня среди ваших предпочтений нет "королей рынка", а есть имена новые, малоизвестные, но, возможно, именно этим и привлекательные...

Подавляющее большинство ответивших на анкету предполагает подписываться на журнал и впредь: *"Конечно, ведь это практически единственный источник информации о современной литературе. ... Буду выписывать при условии поддержания нынешнего уровня вашей издательской деятельности. ... Как всегда с удовольствием и ожиданием нового номера. ... Да, обязательно. В годы, когда нельзя было подписаться в Украине, добывали в Москве. Сейчас проще".*

Многие, увы, сетуют на финансовые проблемы: *"Выписывать хотел бы, но многое будет зависеть от уровня зарплаты и стоимости журнала. ... Да, если позволят финансы. Да, но проблема денег. ... Увы, пока нет, это очень дорого. Даже не все библиотеки выписывают журнал, что уж говорить об индивидуальных подписчиках. Хотя жаль, что, как я говорила, все поколения нашей семьи выписывали его, а сегодня такой возможности нет, но очень хочется, чтобы она была..."*

Желаем всем нашим читателям успешного преодоления материальных трудностей и роста благосостояния до того уровня, когда подписка на "ИЛ" станет для семейного бюджета абсолютно нечувствительной. А пока мы предлагаем обещанные десять бесплатных подписок на 2005 год тем, кому повезло в розыгрыше:

1 А. М. Баженов, доцент кафедры социологии и политологии, г. Тула.
2 В. Л. Голубев, г. Курган.
3 К. М. Кирпичникова, биолог, г. Санкт-Петербург.
4 И. Ю. Кононенко, психоаналитик, г. Шахты.
5 Н. В. Митрофанова, пенсионерка, г. Саранск.
6 А. А. Парамошкин, филолог, г. Сызрань.
7 Е. А. Романовский, фотограф, г. Благовещенск.
8 В. Ю. Стеблянский, частный предприниматель, г. Ставрополь.
9 М. Шеланкова, г. Бийск.
10 Е. Н. Шталь, музейный работник, г. Кировск.

Напомним, что участвовали в розыгрыше те из вас, кто полностью разгадал чайнворд и построил из двадцати ответов вот такую цепочку: ВаксмахеРужевиЧораНечаеВазАрундатИскандеРавалеКундерАдаМаки-Нью-ЙоркеРемарКомнатАксеноВольФилиПильХерманНестеров.

Книги издательства "Иностранка", разыгранные нами среди всех ответивших на анкету, получат следующие двадцать адресатов:

1 Аноним, г. Минск.
2 А. И. Белов, преподаватель математики, г. Москва.
3 Ал. Бешкарев, преподаватель литературы, г. Сыктывкар.
4 С. И. Бочка, ст. Кущевская Краснодарского края.
5 Г. З. Губанова, актриса, г. Лыткарино Московской обл.
6 Н. А. Евстигнеева, учитель, п. Зеленая Роща Ульяновской обл.
7 А. Ю. Иванов, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
8 А. С. Киченко, г. Черкассы (Украина).
9 П. Б. Крайкина, студентка, г. Апатиты Мурманской обл.
10 П. С. Молдаховский, сельский врач, с. Вишнивка (Украина).
11 В. И. Мурзинцева, программист на пенсии, г. Новосибирск.
12 Семья Онохиных, г. Невьянск Свердловской обл.
13 Е. Ю. Пермякова, пенсионерка, г. Владивосток.
14 И. Р. Ратке, доцент Ростовского института повышения квалификации работников образования, г. Новошахтинск.
15 Л. М. Русанович, учительница истории, г. Амурск Хабаровского кр.
16 Т. Скарынкина, г. Сморгонь (Беларусь).
17 Э. М. Удлер, вузовский преподаватель, г. Челябинск.
18 Дм. Урбанович, г. Новгород Великий.
19 В. В. Филиппов, слесарь, г. Великие Луки Псковской обл.
20 И. В. Чурсина, инженер, г. Новочеркасск

А соавторами сегодняшнего "Открытого письма" стали (помимо уже названных счастливчиков):

А. Белов (Зеленоград), Т. Березина (Углич), С. Бестужева (Москва), Т. Бестужева (Москва), А. Бешкарев (Сыктывкар), С. Бочка (Краснодарский край), Л. Воронкова (Воронежская обл.), Т. Гамхарашвили (Москва), Г. Губанова (Лыткарино), Е. Дубовенко (Тула), Н. Евстигнеева (Ульяновская обл.), А. Иванов (Сосновый Бор), В. Иванчихин (Осинники), В. Ильина (Хабаровск), А. Киченко (Черкассы, Украина), О. Корганова (Москва), П. Косов (Чехов), Н. Кравченко (Воронеж), П. Крайкина (Апатиты), Т. Кузьменко (Самара), Ю. Кузьмин (Апатиты), Е. Мещерякова (Хабаровск), П. Молдаховский (Волынская обл., Украина), А. Молочников (Санкт-Петербург), С. Мощук (Брест, Белоруссия), В. Мурзинцева (Новосибирск), семья Онохиных (Невьянск), Е. Пермякова (Владивосток), Е. Полховская (Крым, Украина), С. Потолицын (Сыктывкар), Г. Пяткина (Симферополь, Украина), М. Радченко (Ростов-на-Дону), И. Ратке (Новошахтинск), З. Розенбаум (Жуковский), Л. Русанович (Амурск), Т. Скарынкина (Сморгонь, Беларусь), В. Сумин (Омск), Ю. Тищенко (Ростов-на-Дону), Э. Удлер (Челябинск), И. Уличева (Магнитогорск), Э. Умнова (Шацк), Д. Урбанович (Новгород), В. Филиппов (Великие Луки), Е. Царькова (Москва), И. Чурсина (Новочеркасск), С. Шашин (Волгоград).

Авторы номера

Вуди Аллен
[Аллен Стюарт Кёнигсберг]
Woody Allen [Allen Stuart Konigsberg]
[р. 1935]. Американский писатель, драматург, кинорежиссер, актер. Лауреат трех премий Американской киноакадемии *Оскар*.

Автор пьес *Не пейте воду* [*Don't Drink the Water*, 1966], *Плавающая лампочка* [*The Floating Lightbulb*, 1981], сборников прозы, многочисленных киносценариев. На русском языке вышли его книги *Записки городского невротика, маленького очкастого еврея, вовремя бросившего писать* [2002] и *Шутки Господа* [2002]. В *ИЛ* [1989, № 8] напечатаны его рассказы из сборника *Сводя счеты* [*Getting Even*] и пьеса *Смерть* из сборника *Без перьев* [*Without Feathers*], а также рассказы из сборника *Побочные эффекты* [*Side Effects*; 2001, № 1].
Публикуемая пьеса *Riverside Drive* взята из книги *Три одноактные пьесы* [*Three One-act Plays*. New York: Random House Trade Paperbacks, 2003].

Меир Шалев
Meir Shalev
[р. 1948]. Израильский писатель и журналист. Лауреат итальянской премии *Джульетта* за лучший роман о любви [2002].

Автор романов *Русский роман* [1985], *Как несколько дней* [1994], *Фонтанелло* [2002], *Эсав* [2002, рус. перев. 2002], сборника литературоведческих статей *Главным образом о любви* [1995], детских книг и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Be-beito ba-midbar* [Tel-Aviv: Am Oved Publishers Ltd, 1998].

Яна Симон
Jana Simon
Немецкая журналистка. Лауреат нескольких премий в области журналистики.

Публикуемый роман – ее литературный дебют.
Печатается по изданию *Denn wir sind anders* [Berlin: Rowohlt-Berlin Verlag GmbH, 2002].

Шарль Бодлер
Charles Baudelaire
[1821–1867]. Французский поэт.

Автор поэтического сборника *Цветы зла* [*Les Fleurs du mal*, 1857, доп. изд. 1861 и 1869 посмертно], сборников прозы *Искусственный рай* [*Les Paradis artificiels*, 1860], *Маленькие поэмы в прозе* [*Petits Poèmes en prose* [1869]. Неоднократно в разных переводах печатался на русском языке, в том числе в *ИЛ* [2000, № 9].
Перевод публикуемых стихотворений выполнен по изданию *Les Fleurs du mal* [Paris: Gallimard, 1964].

Томас Вулф
Thomas Wolfe
[1900–1938]. Американский писатель.

Автор романов *Взгляни на дом свой, Ангел* [*Look Homeward, Angel*, 1929; рус. перев. 1971], *Паутина и скала* [*The Web and the Rock*, 1939], *Домой возврата нет* [*You Can't Go Home Again*, 1940; рус. перев. 1977], сборника повестей *От смерти к утру* [*From Death to Morning*, 1935], сборника эссе *История романа* [*The Story of a Novel*, 1936] и др. На русском языке также напечатаны его повести *Паутина земли* и *Смерть – гордая сестра* [*ИЛ*, 1971, № 7], сборники повестей и рассказов *Портрет Баскома Хока* [Библиотека *ИЛ*, 1987] и *Смерть – гордая сестра* [2000].
Публикуемые фрагменты романа печатаются по изданию *Of Time and the River* [Penguin Books, 1971].

Александр Александрович Генис
[р. 1953]. Писатель, эссеист. С 1977 г. живет в Нью-Йорке.

Автор книг *Американская азбука* [1994], *Вавилонская башня* [*ИЛ*, 1996, № 9], *Темнота и тишина* [1998], *Довлатов и окрестности* [1999], *Иван Петрович умер* [2000], *Билет в Китай* [2001], *Пейзажи* [2002], *Сладкая жизнь* [2004]. Статьи и эссе А. Гениса неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Олег Вениаминович Дорман
[р. 1967]. Кинорежиссер, драматург, переводчик с английского.

В его переводе опубликованы книга *Мастер-класс* К. Кеслёвского, сборник рассказов *Шутки Господа* В. Аллена, книги и статьи зарубежных кинематографистов.

Рафаил Нудельман
Писатель, журналист, переводчик с английского, польского и иврита.

В его переводе публиковались произведения Ст. Лема, Е. Жулавского, Дж. Ле Карре, М. Хласко, М. Шалева, А.-Б. Иегошуа, М. Даймонта и др.

Алла Фурман
Переводчик с иврита и английского.

В ее переводах [совместно с Р. Нудельманом] опубликованы романы М. Шалева *Эсав* и А.-Б. Иегошуа *Путешествие на край тысячелетия*.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др.

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Инолиттл* [1995], *Иллюминатор* [2001].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Ф. Г. Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского и К.-И. Галчинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы многократно публиковались в *ИЛ*.

Владимир Олегович Бабков
[р. 1961]. Переводчик с английского, лауреат премий *ИЛ* [1991] и *Инолит* [1995].

В его переводах публиковались повесть О. Хаксли *Гений и богиня* [*ИЛ*, 1991, № 5], романы О. Хаксли *Через много лет* [*ИЛ*, 1993, № 4], Дж. Барнса *История мира в 10 1/2 главах* [*ИЛ*, 1994, № 1], В. С. Найпола *Полужизнь* [*ИЛ*, № 5, 2003] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.

- **оптимальные условия подключения,**
- **бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам**

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (– В ЦЕНТРЕ ГОРОДА –) В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.

адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.

подробности:
WWW.RINET.RU

В формлении обложки
использован фрагмент картины
швейцарского художника
Пауля Клее [1879–1940]
Молодое дерево [1932].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran
http://www.inostranka.ru

В Москве журнал
можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок
обращаться в отдел
распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru
e-mail: journal@inostranka.ru

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.05.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1701.
Тираж 7 600 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[8] 2004

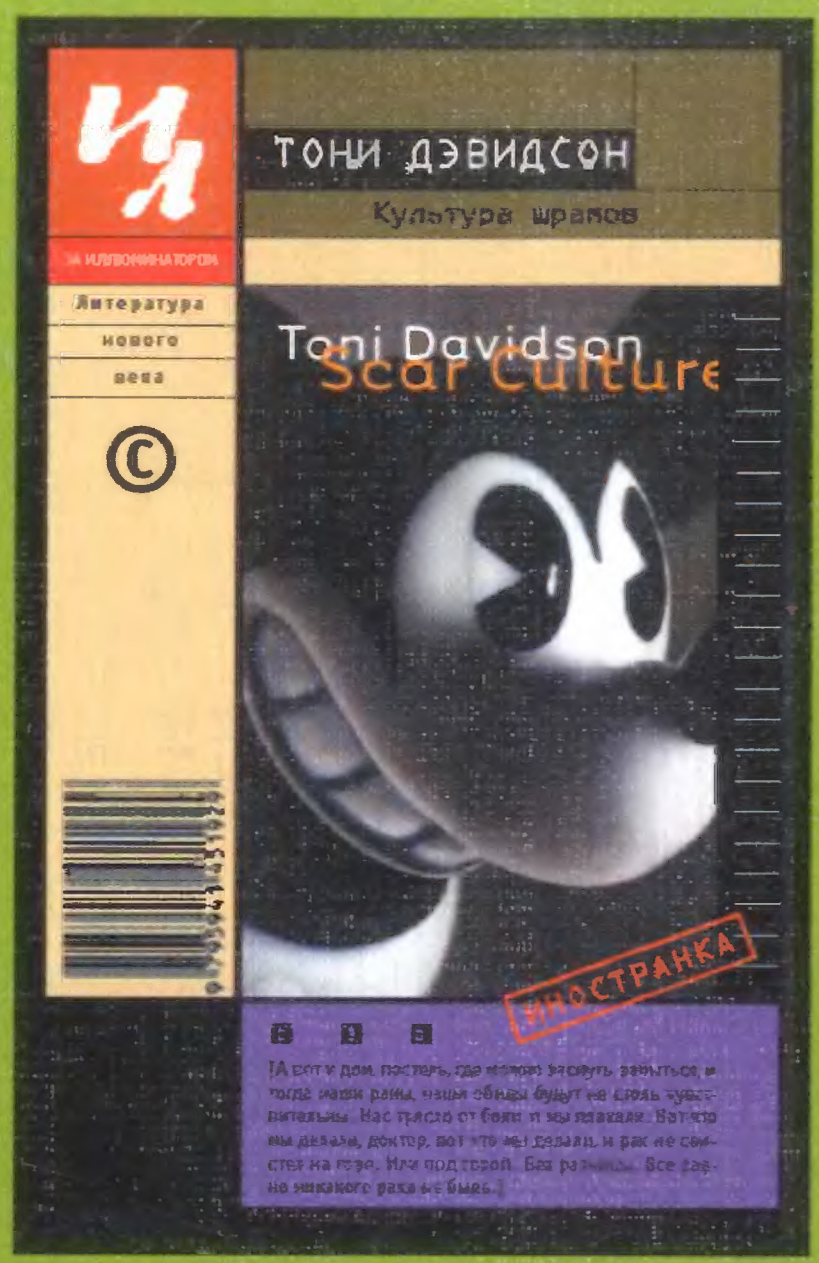
РОМАН ГРЭМА СВИФТА “СВЕТ ДНЯ” / “В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ” КОНСТАНТИНОСА КАВАФИСА В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ” / “ПОЕЗДКА В РОССИЮ” МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / СТИХИ ЖАН-КЛОДА ПЕНСОНА / СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК В РУБРИКЕ “ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА” / “НА ЛОНДОНСКОЙ СЦЕНЕ” МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

ИНДЕКС 70394

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №7, 1-288